

Эйтан
Финкельштейн

**Пастухи
фараона**



Новое
Литературное
Обозрение

Пастухи фараона



Новое
Литературное
Обозрение

Эйтан Финкельштейн



Пастухи фараона

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МОСКВА 2006

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6
Ф59

Финкельштейн Э.

Ф59 Пастухи фараона: Роман-ералаш. — М.: Новое литературное обозрение, 2006. — 480 с.

Описываемые в этой книге события начинаются в первый день девятнадцатого века, а заканчиваются — в последний двадцатого. Исторические главы в ней перемежаются жизнеописанием главного героя, родившегося в России, жившего в Литве и Польше, участвовавшего во всех войнах Израиля, объездившего весь свет, но в конечном счете заблудившегося где-то в небесных коридорах. Все это происходит на фоне русской и еврейской истории, где действуют политики (от Екатерины Великой и сенатора Державина до Бен Гуриона, Хрущева и Ельцина), а также раввины, революционеры, жандармы, ученые, адвокаты, чекисты, аферисты и разные прочие персонажи.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 5-86793-469-1

© Э. Финкельштейн. 2006
© Художественное оформление.
«Новое литературное обозрение», 2006

Симону Маркишу посвящается

Книга первая

Там, где хозяин вешает свое оружие,
недостойному пастуху не повесить
своей котомки.

Талмуд

Два достоянья дала мне судьба:
Жажду свободы и участь раба...

Семен Фруг

1. «КАК НЕВКУСНО, Т. ЛЕНИН!»

Полуночный звонок из Иерусалима не предвещал ничего хорошего — звонил сотрудник, аккредитованный в Кнессете. Это был бездельник и ужасно назойливый тип. В газету его засунули как потомственного маарахника¹ — его дед когда-то оказал важную услугу Бен Гуриону, а отец заседал в правлении Гистадрута², — но журналист он был слабый, толковой статьи добиться от него было невозможно. Своим долгом, однако, считал он звонить мне чуть ли не за полночь и морочил голову слухами из иерусалимских коридоров. При этом всякую сплетню: кто с кем, кого «непременно» снимут, а кого «уже» назначили — преподносил так, будто умел проникать в святая святых. Послать его ко всем чертям я не решался, но разговоры старался свести к минимуму.

На этот раз он и сам был немногословен.

— Адони³, ты ведь читаешь по-русски? Так вот, эти мерзавцы решили ликвидировать русский фонд в библиотеке; русские книги уже выносят в коридор. Приезжай завтра с утра — заберешь, что захочешь, их все равно выбросят на свалку.

Тут я должен кое-что пояснить. Год шел 1978-й, страна все еще переваривала приход к власти Бегина и его партии Ликуд⁴, маарахники, особенно из числа функционеров, которые 30 лет правили страной, как своей вотчиной, не могли свыкнуться с мыслью, что отстранены от руля. Так что «мерзавцами» в устах моего сотрудника были

¹ Маарахник — член левоцентристского партийного блока Маарах.

² Гистадрут — профсоюзное объединение, находившиеся под контролем партии Маарах.

³ Адони — господин, в обиходе — приятель, старина (*иврит*).

⁴ Ликуд — блок правых партий.

члены Кнессета — ликудники. Все, что бы они ни делали, он тут же озвучивал как «предательство», «катастрофа» и тому подобное.

Признаюсь, звонок меня озадачил. Запросто махнуть в Иерусалим я не мог. Жил я тогда в Раанане, редакция находилась в центре Тель-Авива, на дорогу уходил чуть ли не час. Да и работы было невпроворот: людей не хватало, тексты набирали на композере, газету макетировали вручную, поправки клеивали собственными руками. А еще вечные обиды авторов, капризы сотрудников, не говоря уж о том, что иногда и самому хотелось что-то написать. Словом, свободного времени не было вовсе.

И все же — русские книги, да еще из Кнессета!

В ту пору в Тель-Авиве было несколько магазинов русской книги. Самым солидным считался магазин Яши Тверского. Забавный старичок был этот Тверский. В кипе¹, с короткой трубкой в зубах, он всегда улыбался, всегда старался угодить клиенту. Меня он неизменно встречал вопросом: «Как это такой молодой человек интересуется русскими книгами?» Подразумевалось, что русские книги — удел стариков. К слову сказать, думал так не один Тверский.

При всем том отыскать нужную книгу в его лавке было нелегко; библиофил и антиквар, Тверский за новинками не следил, новых книг не закупал, распродал старые коллекции, которые случайно попадали к нему в руки. Так что нам, любителям русской словесности, не оставалась ничего другого, как искать новинки в Париже или Мюнхене.

Так ехать в Кнессет или не ехать? Я долго колебался, но, в конце концов, страсть книголюба взяла верх, я позвонил в редакцию, предупредил, что появлюсь во второй половине дня, и с утра пораньше помчался в Иерусалим.

¹ Кипа, ермолка, — шапочка, которой верующий иудей обязан постоянно прикрывать голову.

Никакой свалки в библиотечном коридоре я не обнаружил. Картонные ящики с наклейками «Руси» — русские — аккуратно стояли вдоль стены. Выбрасывать их, да и отдавать первому встречному никто не собирался. Пришлось пустить в ход журналистское удостоверение, позвонить кое-кому из важных лиц и подписать полдюжины расписок. Но, когда формальности закончились, директор библиотеки сбросил с себя важный вид, засучил рукава и принялся вместе со мной таскать ящики и укладывать их в мой огромный «Форд». Газетчиков тогда уважали, да и нравы были попроще!

Встала, однако, проблема: где все это разместить? Гаража у меня не было, искать же склад было занятием долгим и муторным. В конце концов, пришлось свезти книги домой и захламить ими чуть ли не всю нашу квартиру. Нет худа без добра — домашние ворчали, требовали освободить жилое пространство; все вечера я занимался тем, что распаковывал ящики, разбирал свое новое приобретение.

Ждало меня жестокое разочарование.

Тома Ленина, фолианты Маркса, Мартов в бумажном переплете, Энгельс — в кожаном, мемуары Троцкого, отчеты о конференциях РСДРП и съездах ВКП(б). И снова классики марксизма, и снова уставы партий, решения съездов эсеров, меньшевиков и большевиков. Сочинения Сталина. Герцен, Радищев, Бухарин. Разрозненные тома Достоевского, Плеханов, Абрамович. Десятки книг и книжонок, чьи авторы были мне незнакомы.

По молодости я был правым. Правым не в том смысле, что примыкал к Ликуду, но марксистов ненавидел, социалистов презирал, а всякие там социальные теории считал кислощенской мурой. Так что первая мысль, которая пришла в голову, — выбросить все это на свалку! Унаследованное уважение к печатному слову не позволило и, увы, до сих пор не позволяет мне выбрасывать книги. Кончилось тем, что я разложил их вдоль свободных стен, решив, что избавиться от сомнительного бо-

гатства всегда успею. Разложил и нехотя стал просматривать. И вот тут...

Еще только начав разбирать ящики и расставлять книги, я обратил внимание, что все они, даже тома из собранных сочинений, даже кожаные фолианты, изрядно потрепаны, то тут, то там торчат вырванные страницы, записки, газетные вырезки. Когда же пришло время каждую книгу открыть и просмотреть, то и вовсе убедился: зачитаны они «до дыр»¹, испещрены пометками, исчерканы вдоль и поперек. Отдельные строки, абзацы обведены, взяты в скобки, помечены галочкой. То простым карандашом, то цветным. То автоматической ручкой, то перьевой. И ни одного чистого поля — заметки, знаки, вопросительные и восклицательные, и снова заметки, и уже заметки на заметки. Совсем выцветшие и более свежие, на русском, на иврите, реже на польском или немецком.

«Как невкусно, т. Ленин!», «Ты видишь, Берл, он даже в критический момент не боялся раскола и был прав!». И тут же ответ: «Ты забываешь, у них не было англичан. Б.», «Вот откуда наш Нахум взял эту глупость!», «И это пишет социал-демократ!», «??? Спросить у Берла», «Помнишь нашего ком-ра, Марг-на, он был кадровым военным, но учил нас другому!» Ответ: «т. Тр-й выиграл войну, а наш М. пресмыкался перед англичанами!» И тут же, размахисто: «Антисемит ваш т. Тр-й, мерзкий еврейский антисемит, т. Сталин дал ему принц-ую оценку!», «Но ведь В.И. об этом много раз писал?», «Единый фронт — пустые дела». Ответ: «Не пустые, когда строишь гос-во!», «Эли, учись у Т-го. Д.», «Это то, чего не понимает наш Меир», «Хамор!»¹, «Ло, ло в'од па'ам ло!»², «т. Голда, ты видишь, как они отстаивали линию партии, а наши интеллигенты боятся стычек с Э-ль, смешно!»

Я перелистывал одну книгу за другой, выискивая места, где было много заметок и где их еще можно было ра-

¹ Хамор — осел (*иврит*).

² Ло, ло в'од па'ам ло — нет, нет и еще раз нет! (*иврит*)

зобрать. Это напоминало увлекательную игру — я пытался установить почерк, разобрать слова, понять, кем и кому адресованы выцветшие строки. С другой стороны, это было путешествие в написанную историю каких-то сложных, почти личных отношений между теми, кто стоял у истоков нашего государства.

Писаную историю я знал хорошо, равно как и почерки главных действующих лиц на ее сцене: Бен Гуриона, Берла Каценельсона, Хаима Вейцмана, Моше Шарета, Голды Меир и уж тем более отца нашей журналистики Нахума Соколова. Для меня было само собой разумеющимся, что и в ишув¹, и после провозглашения государства, между мапамниками² и херутниками³ шла жестокая драка. Ни для кого в стране не было секретом, что «Альталену» — пароход с оружием для Лехи⁴ — Хагана⁵ потопила по личному приказу Бен-Гуриона. Так что заметка, сделанная его рукой на полях одного из томиков Троцкого: «Эли, если бы ты прочел эти строки, то не искал бы (вместе с Берлом) дружбы с Ж.», сказала мне о многом. «Эли» — это, конечно же, Элияху Голomb, командир Пальмаха⁶, основатель наших вооруженных сил, между прочим, свояк Бен-Гуриона. «Берл», понятно, — Каценельсон, единственный человек, к мнению которого Старик — Бен-Гурион — прислушивался. Слова же вождя левых означали, что его ближайшие соратники искали контактов с «Ж.», безусловно, с Жаботинским — кумиром правых. Что-то об этом было известно, но

¹ Ишув — община (*иврит*). Так называлась еврейская община Палестины до создания государства Израиль.

² Странники левосоциалистической сионистской рабочей партии Мапам.

³ Странники праворадикальной сионистской партии Херут, вокруг которой сформировался блок Ликуд.

⁴ Лехи — вооруженная подпольная группа сионистов праворадикального направления.

⁵ Хагана — подпольная еврейская армия в Палестине во времена британского правления.

⁶ Пальмах — ударные части подпольной еврейской армии Хагана.

считалось, что Каценельсон и Голомб действуют с согласия Старика. А на самом деле...

Чуть ли не год я возился с книгами из Кнессета, все больше убеждаясь, что стою на пороге какого-то важного открытия. В конце концов, мне стало ясно, что недолгая, прошедшая на глазах и вызубренная наизусть история нашего государства в действительности полна белых пятен и неразгаданных тайн, соткана не только из фактов, но и из мифов и легенд. И еще я понял, что закончились, навсегда ушли те очень важные и очень загадочные времена. Что-то изменилось во мне; партийные словечки меня больше не раздражали, ненавистные имена не выводили из себя. Я смотрел на перекочевавшие из Кнессета книги и думал: вот где еще хранится дух отцов-основателей, вот где еще живы их человеческие эмоции и неотшлифованные мысли, не вынесенные в историю споры, подлинные симпатии и антипатии. Каким чудом все это попало в мой дом, зачем мне суждено было узнать эти тайны? Быть может, на мою долю выпала роль Хеврат-Кадиша¹: покойника перевезли в домик на кладбище, чтобы обмыть, завернуть в саван и предать земле.

2. ГРЕЗЫ КРЫМСКОЙ НОЧИ

В предместье Бахчисарая император, доселе без особого интереса наблюдавший унылый степной пейзаж и время от времени любезно кивавший своей спутнице, давая знать, что внимательно ее слушает, неожиданно приказал остановить карету. Показав пальцем на человека, который возился в поле, недалеко от дороги, велел позвать. Человек подошел. Вид у него был чудной: на русского крестьянина похож он не был, но и на татарина тоже. На голове плотно сидела каракулевая шапка, — вроде кавказской

¹ Хеврат-Кадиша — похоронное братство (*уврит*).

папахи, длинный халат надет был поверх белой рубахи, высокие башмаки аккуратно зашнурованы до колен.

Человек низко поклонился, но шапки не снял.

— Спроси, кто такой и чем занимается, — обратился император к переводчику.

— Крестьянин он, дом имеет и землю. Табак выращивает. Семья пятнадцать душ.

— А веры, веры какой будет? — нетерпеливо спросил австрийский император.

— Говорит, из иудейской секты караимов.

— Пусть идет, — сказал император и живо обратился к своей спутнице: — Вот, вот, сударыня, это как раз то, чего я так давно добиваюсь от этого племени. Чтобы исправить и сделать полезным для государства, его нужно отвлечь от вредных промыслов и пересадить на землю.

Хотя до того беседовали они о письме Дидро, которое недавно получила Екатерина, Иосиф безо всякого перехода начал рассказывать российской императрице о реформах еврейской жизни, которые он проводил в своей империи.

— Мой *Tolerantzpatent* — манифест терпимости — сулит этому народу права полноценных граждан под условием его исправления. И это уже приносит плоды в Богемии и Моравии. Евреи там стали посылать детей в общие школы, участвовать в городских делах, жертвовать на государственные нужды. В Венгрии расширение прав этого племени мы поставили в зависимость от выполнения нашей просветительской программы. И, представьте, *Systematica gentis Judaicae regulata* — другой манифест терпимости, предназначенный для венгерской провинции, тоже дает результаты. А Нижняя Австрия? Здесь из этого народа уже образовалась группа вполне просвещенных, полезных отечеству граждан.

Увлечшись, Иосиф поведал Екатерине и о плане возложить на иудейских подданных обязанность отбывать натуральную воинскую повинность, и о том, что в конце

концов мечтает он полностью подчинить жизнь этого народа *Judenpatent* — еврейской хартии, которая — император чуть понизил голос — «должна противустать французской Декларации прав человека и гражданина».

Тут Иосиф заметил, что спутница его, пытаясь скрыть зевоту, все чаще прикладывает к губам кружевной платок.

— Я утомил вас, сударыня?

— Ничуть, но я предпочла бы продолжить наш разговор за ужином.

Иосиф велел остановить, откланялся и пересел в свою карету.

Подъехали Потемкин и Зубов; Екатерина махнула рукой — хочу остаться одна.

Нет, не утомил ее австрийский император, которого пригласила она осмотреть Новороссию, показать, как распоряжается своими приобретениями. В словах же Иосифа услышались ей и похвальба, и скрытый намек на то, что лишь он один проводит реформы тонкие и глубокие, лишь он один добился успехов в части самой трудной, касательной иудейского племени.

Хорошо рассуждать тебе, друг мой, думалось Екатерине. Ты-то начал реформы еще под матушкой своей, Марией Терезией. От нее же унаследовал и австрийскую корону, и трон Священной Римской империи. Кто мешал тебе в реформах твоих? Кого было страшиться тебе?

И припомнилось Екатерине начало ее царствования, когда через неделю после вступления на престол прибыла она в Сенат и оказалась в глубоком затруднении: первым поставлен был вопрос о допущении в империю иудеев, изгнанных предшественницей ее. Умом понимала Екатерина всю выгоду от водворения в России этого торгового народа, да никак не могла начать царствование таким проектом. В тот час надлежало ей показать себя защитницей православной веры, успокоить умы, возбужденные воцарением мужеубийцы, к тому же нишей принцессы из захудалого рода Ангальт-Цербстских.

Да и чем похваляется император Иосиф — разве не ей обязаны сыны израилевы, которые в Польском королевстве были ничейными и бесприютными, словно звери лесные, правом записываться в сословие купцов и мещан? Разве не старалась она, чтобы племя сие рассталось с привычками вредными, с промыслами, ущерб приносящими? Широко распахнув двери страны иностранцам и инородцам, разве не думала она, что и иудейские ее подданные, преобразившись видом и духом, помогут разбудить русское купечество, поднять торговое и фабричное дело, проложить Империи российской дороги в далекие страны, как открыли они Испании путь в Америку, а Британии — в Индию?

Черным бархатом затянуло крымское небо. Царица задремала.

Не суждено было сбыться мечтам Екатерины — твердо стояла Русь против России, и новые ее жители — так уж повелось с самого начала — стали заложниками этой извечной борьбы. Не пришлось российским евреям снаряжать в дальние странствия своих колумбов, основывать свою Ост-Индскую компанию, прокладывать дорогу к богатствам Китая, Индии и других далеких стран. Да что там далекие страны! Необозримые просторы собственного отечества остались для них запретными, им и в своей стране не позволено было приложить труд, энергию, мастерство, чтобы освоить нетронутые богатства Сибири, Урала, Севера.

Либеральные поначалу воззрения Екатерины уступили место взглядам предшественницы ее, императрицы Елизаветы, и вовсе не желавшей терпеть в стране «врагов христовой веры». Указом от 1794 года просвещенная императрица установила для евреев, желающих записаться в городские сословия, «подати вдвойне против положенных с мещан и купцов христианского вероисповедания», а взамен воинской повинности вынудила их платить рек-

рутский налог, опять-таки вдвойне по сравнению с купцами-христианами.

Главным же препятствием на пути к равноправию стала черта еврейской оседлости.

Понятно, купцы и ремесленники внутренних губерний — Москвы и Смоленска, в первую очередь, — видели в евреях-торговцах и мастеровых опасных конкурентов. Ссылаясь на старые традиции Московского государства, они выступили с ходатайством перед Государственным Советом не допускать еврейских купцов в великорусские губернии. Ходатайство это было удовлетворено Госсоветом, а 23 декабря 1791 года последовал указ Екатерины, гласивший, что «евреи не имеют права записываться в купечество и мещанство во внутренних российских городах и портах». Это был первый законодательный акт, направленный на возведение стен большого российского гетто, — Черты. Избежав участи крепостных крестьян, евреи вскоре обнаружили, что на новой родине их закрепили не за помещиками, но за самим государством.

3. ВОРОВАННЫЙ ВОЗДУХ

Время шло к десяти, но Аба все еще не мог понять, отчего так тревожно на душе. Он расстраивался, мрачнел, хватался то за одно, то за другое и, наконец, улегся на диван, решив перебрать в памяти все по порядку.

Сердце? Да, с самого утра оно побаливало. Но сердце шалило часто, и это его не пугало. Тем более, что новые таблетки, которые привез Иоси, мгновенно снимали боль. Все-таки хорошо, что сын стал депутатом Кнессета, — избранныкам народа дают-таки хорошие таблетки!

Нет, сердце ни при чем.

Ясно, что-то произошло вчера вечером. Но что? Был Иоси. Он молодец — два, а то и три раза в месяц выбира-

ется к ним в кибуц¹. Правда, один, без снохи и внуков. Вначале они с Ривкой сильно огорчались, но потом свыклись с тем, что внуки приезжают в кибуц только на Песах² и на Рош га-Шана³. Нет, нет, то, что Иоси приехал без внуков, не могло вывести его из равновесия.

Что еще было вчера?

Да, был журналист из «Маарив»⁴. Конечно, все связано с ним! Но что именно? Позвонил он в среду утром, назвался. Аба опешил, имя это было хорошо известно — писал этот парень о Советском Союзе, о коммунизме, о советских евреях. Так почему он обращается к нему, а не к Зяме, ведь у них в кибуце не он, а Залман Абрамов, бывший депутат Кнессета, — главный специалист по советским делам?

— Ах, вот что, ты не о советских евреях хочешь говорить. Так о чем? О Галипполийской экспедиции? Ну, конечно, участвовал... Помню? Что-то помню... Лучше всего в шаббат.

Журналисты Абу не смущали. Бывало, облепят как мухи, засыплют каверзными вопросами, но он не терялся, не давал сбить себя с толку. И все же телефонный звонок его смутил — в первый момент он даже подумал, что скандальный писака из Тель-Авива докопался до польской истории. В глубине души он всегда надеялся, что когда-нибудь ему удастся рассказать о польских делах. Но нет, речь шла о временах столь далеких, что Аба едва о них помнил. Почему же он согласился? Ради Иоси. Пусть знает, что отца еще не забыли, что даже знаменитости приезжают к нему в кибуц. А если выйдет скандал? Что ж, он сумеет поставить на место этого выскочку!

Аба не сомневался, что парень из «Маарив» — выскочка. В кибуце его статьями просто возмущались. Неизвестно,

¹ Кибуц — коллективное сельскохозяйственное поселение.

² Песах — еврейская пасха.

³ Рош га-Шана — еврейский Новый год.

⁴ «Маарив» — название популярной израильской газеты.

откуда он взялся, но сразу начал писать желчные опусы о Советском Союзе. Ну, ладно бы критиковал проарабскую линию Москвы, они и сами были против односторонней позиции России, но этот парень каждый раз поднимал руку на основу основ — принципы социализма и коллективизма — и всякий раз старался унижить Советский Союз, приуменьшить его достижения. У него так получалось, что в Америке все хорошо, а в СССР — все плохо. Они-то в кибуце моментально сообразили, что этот «специалист по советским делам» учился в Америке, где и заразился ненавистью к СССР и к социализму. Дело дошло до того, что Зяма, как председатель общества дружбы «Израиль — СССР», пытался вынести вопрос об антисоветских статьях в главной газете страны на обсуждение Кнессета: «Это подрывает наши отношения с великой державой». Голда, правда, отрезала: «Там и подрывать нечего», и даже в повестку не включили. Потом как-то свыклись, а после смертных приговоров в Ленинграде¹ к статьям этого парня стали относиться серьезнее.

Серебристый «Форд» остановился возле домика Абы ровно в шесть; в первую минуту старый кибуцник опешил — судя по разговору, он понял, что имеет дело с саброй², но из машины вышел молодой человек... в пиджаке и галстуке. Кажется, за все пятьдесят лет, что существовал этот кибуц, человека в галстуке здесь не видали!

Сели. Аба показал на Иоси — мой сын! Журналист равнодушно кивнул, но Аба заметил, что Иоси-то на него посмотрел с любопытством.

¹ В декабре 1970 г. в Ленинграде состоялся судебный процесс, на котором группа евреев обвинялась в попытке угона самолета с целью бегства за границу. Все члены группы были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, а двое — к расстрелу, который позже был заменен тюремным заключением..

² Сабра — кактус (*иврит*). Так называют евреев-уроженцев Палестины или Израиля.

Ривка подала кофе и печенье. Пошли вопросы. «Почему Жаботинский был против «Корпуса погонщика мулов», а Трумпельдор — за? Правда ли, что англичане не принимали палестинских евреев в боевые части? Служили в Корпусе неевреи?»

— Мне тогда было восемнадцать, помню, как меня учили наматывать обмотки на ногах и запрягать мулов... Жаботинского я видел один раз на митинге под Каиром... Офицеров не помню, у нас был сержант, он показывал, какие ящики навьючить и куда везти... не все понимали по-английски... как-то объяснялись... там были не только евреи, были разные, кто жил в Англии, но не имел гражданства, — их забирали по мобилизации, а мы шли добровольно — англичане ведь обещали отдать нам Палестину.

Аба так и не понял, почему этого парня интересовали события столь далеких лет. Сказал бы толком, что он хочет, о чем будет писать, тогда и беседа была бы на равных, а то получается — из тебя что-то тянут, но для чего, тебе знать не положено. Да и Иоси, похоже, не понял, где тут цимес. В конце концов, Аба разозлился и решил поставить столичного сноба на место.

Как бы желая польстить гостю, перевел разговор на другую тему.

— Читал вашу статью о советской науке, вы там упомянули имя академика Лысенко, а я вот учился по трудам этого выдающегося ученого. Видите, — Аба показал на книжную полку, — это полное собрание трудов Лысенко, издал «Мак — Милан» в Лондоне. Вам что-то говорит это издательство? А это на итальянском, «Теория стадийного развития растений». Прекрасная вещь, она мне очень помогла, когда я писал докторскую работу в университете Миссури-Коламбия.

Аба с удовольствием наблюдал, как гость заерзал на стуле, покраснел и стал нервно расстегивать верхнюю пуговицу рубашки.

— Сталинский выкормыш этот Лысенко, он виновен в гибели выдающегося генетика Вавилова, он писал доносы на лучших ученых, он вообще погубил всю советскую генетику. Его имя следует вычеркнуть...

— Не знаю, не знаю, — перебил Аба, — когда я учился в Высшей сельскохозяйственной школе в Лондоне, нам читали специальный курс «Методика яровизации по Лысенко». А когда довелось работать в Африке, внедрял там лысенковские методы выращивания картофеля.

— О Лысенко вообще нельзя говорить как об ученом, — срывая с себя галстук, чуть ли не кричал гость из Тель-Авива, — его теория наследственности — это примитив, это глупость, это антинаука.

Теперь уже голос повысил Аба.

— Кто может судить, что наука, а что — антинаука? Кто — вы, я? Нет, только практика дает ответ на этот вопрос. Вы что, не пробовали виноград без косточек или вы круглый год не едите клубнику и помидоры? А ведь все это — селекционная наука!

Аба хорошо помнил, что в какой-то момент закашлялся и схватился за сердце. Боль была ерундовой, но Ривка тут же подскочила и взяла его за руку.

— Мужу надо принять лекарство, — извинилась она и увела его на кухню.

Что было дальше? Дальше Ривка стала говорить, что, мол, не стоит нервничать, что этот парень идеологически ангажирован, его все равно не переубедить и что-то еще в этом роде. Чтобы гость не понял, она перешла на русский, но сквозь стеклянную дверь Аба заметил, как парень неожиданно резко повернул голову в сторону кухни, а затем с удивлением спросил Иоси:

— Твои родители говорят по-русски? И так хорошо! Как это им удалось сохранить такой красивый русский язык?

— О, это интересная история. Когда они приехали сюда полвека назад и решили заложить кибуц, в котором

мы с тобой пьем кофе, то поклялись никогда больше не говорить по-русски. И не говорили, только недавно начали.

— И ты знаешь по-русски?

— Ни слова, родители меня обокрали.

Аба вскочил с дивана. Он понял, что мучило его все утро: он обокрал сына?!

Еще до школы из рассказов дедушек и бабушек всякий израильтянин знал, что заселение страны началось в конце прошлого века, когда молодые люди из Харькова и Одессы, предав огню свои университетские дипломы, отправились работать батраками в дикую, пустынную Палестину. От школьных учителей он узнавал, что четыре первых президента Израиля были выходцами из России, причем отец-основатель еврейского государства Давид Бен-Гурион когда-то носил фамилию Грин и бегал в коротеньких штанишках по городу Плонску. Уже не из школы и не от дедушек и бабушек, но из справочников и энциклопедий каждый израильтянин мог узнать, что легендарный Иосиф Трумпельдор отличился не только в борьбе с арабами, но был и героем Русско-японской войны, полным георгиевским кавалером. Оттуда же он, всякий израильтянин, мог узнать, что основателем первых промышленных предприятий в подмандатной Палестине был горный инженер из Иркутска Моисей Новомейский, а другой инженер, электрификатор Палестины Петр Рутенберг, был когда-то видным эсером, другом Бориса Савинкова, заместителем комиссара Петрограда.

Да, русские корни еврейского государства пробивались на поверхность на каждом шагу, однако наше общество всегда старалось не замечать русского начала своей истории. Спросить израильтянина, откуда родом его дедушка и какую фамилию носил он до приезда в Палестину, считалось дурным тоном. В России это было бы понятно: если ваш дедушка до 1917 года был дворянином

или, упаси Бог, полицейским, факт этот надо было тщательно скрывать. Но у нас не было ни ВЧК, ни НКВД, ни КГБ. Так почему же израильтяне так тщательно стирали из памяти свое прошлое?

Тон задал все тот же отец-основатель нашего государства. С неукротимой энергией он боролся не только за гегемонию рабочего класса в сионистском движении и в органах зарождающегося государства, но и вел войну против языка идиш, против традиций, завезенных в Палестину из диаспоры. Идеологическая догма Бен Гуриона, согласно которой галут¹ — лишь рабство и унижение, а галутный еврей — существо жалкое, если не презренное, была принята нашим обществом за истину и сделалась частью нашего сознания.

Но не подумайте, что Бен-Гурионом руководил комплекс маленького человека из местечка, возомнившего себя библейским героем. Ничуть не бывало, комплексом неполноценности Бен-Гурион не страдал и всегда знал, чего хотел. А хотел наш еврейский Ленин создать нового человека: не торговца, но крестьянина, не талмудиста, но воина. Этот супермен, которого в дальнейшем нарекли «сабра», не должен был помнить об унижительном прошлом своего народа; он должен был знать одну родину — библейские холмы, один язык — библейский, в его душе должен был гореть один огонь, тот самый, который зажгли в борьбе с римлянами братья Маккавеи.

4. СЕНАТОР И ГУБЕРНАТОР

К памяти матушки, императрицы Екатерины, Павел относился со злобой, а потому из всех жалоб, читанных до обеда, обратил внимание на ту, где доносилось о противозаконных действиях шкловского помещика. Помещик

¹ Галут (*иврит*) — диаспора, рассеяние.

это обвинялся в том, что «оставался во мнении, будто он с евреями, на его землях живущими, в рассуждении суда и расправы, между его экономией и крестьянами случающихся, может употреблять власть помещичью над теми и другими...», что евреи для него «меньше, чем у хозяев слуги», что оставил он им «без платежа один только воздух». «Принуждая нас продавать крестьянам определенное количество водки, да еще и по дорогой цене, он взыскивает с нас деньги посредством экзекуции, независимо от того, продали мы такое количество или нет», писали шкловские евреи.

Павел злорадно ухмыльнулся: владельцем местечка Шклов был отставной генерал Зорич, фаворит Екатерины. Тут же продиктовал записку: «В сенат. Рассмотреть дело немедленно и не в очередь. С владельцем имения, коль окажется он виноватым, должно быть поступлено по всей строгости закона». Того же дня, 15 июня 1799 года, фельдъегерь вручил Гавриле Романовичу Державину рескрипт, в котором сенатору предписывалось немедленно отправиться в Шклов, разобрать жалобу и донести обо всем не только в Сенат, но и самому императору.

Миновав Смоленск, Державин принялся с любопытством рассматривать окрестности, отмечая про себя, как тускло и неуютно выглядят здешние места по сравнению с родными ему приволжскими. Ничто здесь не радовало его глаз, и уж тем более встречавшиеся на пути евреи, которых наконец-то довелось ему увидеть. Выглядели они несуразно, двигались суетливо, говорили непонятно, то и дело размахивали руками. Только добравшись до Шклова, сенатор пришел в себя, вдохнул в доме генерал-майора Зорича знакомого петербургского воздуха.

Генерал, между тем, оправдываться не стал, рассуждал масштабно, по-государственному. «Крестьянин ленив, время проводит в пьянстве и праздности, а жид — хитер: надуть и крестьянина, и барина для него свято. Как же быть дворянству, помещикам? За польским часом было

у помещика право держать и тех и других в ежовых рукавицах. А что теперь? Правительство в Петербурге хочет установить в крае новый порядок? Пусть так, но оно не должно лишать помещика власти, иначе он непременно будет разорен и обратит взор в сторону Варшавы. А в интересах ли это державы российской?»

Показания потерпевших, однако, сомнений не оставляли — шкловский помещик брал на себя вершить суд между крестьянами и евреями, но не по справедливости, а в свою пользу. За малейшую провинность, да и безо всякой вины порол и тех и других, разорял хозяйства, оставлял без пропитания целые семьи.

Понял Гаврила Романович, если хоть часть показаний потерпевших покажется императору правдивой, не сдобровать бывшему фавориту. В планы же государственного мужа вовсе не входило выставлять Зорича виновным. Конечно, отчасти он виноват, но все здешние помещики поступают, как и Зорич. А наказывать тех, кто призван составить оплот державы во вновь обретенном крае, было неразумно. Да и в пользу кого наказывать? В пользу крестьянина? Еще со времен пугачевских походов усвоил Гаврила Романович: чем меньше у мужика воли, тем спокойнее в государстве. И уж совсем кощунством казалось ему наказать помещика и генерала в пользу тех, кого Русь в прежние времена вовсе не терпела. Что за народ эти евреи? Крестьянин, хоть и туп, и ленив, но он все же землю пашет, помещик, хоть и случается, крут на расправу, но он — слуга отечеству. А эти? Один промысел у них — водку курить и крестьянина спаивать. Нет, нет, не должно быть им веры в глазах государевых. Вот только что сделать, чтоб не поверил им государь? Этого Гаврила Романович до поры не знал.

Случай подвернулся в следующем году. Благодаря дружбе с всесильным генерал-прокурором Сената добился Державин, чтобы ему поручили представить государю записку о мерах по устранению вреда, проистекающего

белорусским крестьянам от еврейских промыслов. На сей раз сенатор провел в Белоруссии целых четыре месяца, и результатом его пребывания в крае явилась обширная записка под названием «Мнение сенатора Державина об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев, о их преобразовании и прочем».

Ясно, всю вину за бедственное положение белорусского крестьянства Гаврила Романович возложил на «корыстные промыслы евреев» и «дурные привычки этого народа». Не пожалел черных красок сенатор-ревизор, описывая быт и характер евреев, и наложил бы эти краски еще гуще, если бы по ходу дела не пришла ему мысль создать особое ведомство по делам евреев и сделаться его главой. А посему в частном письме генерал-прокурору отметил Державин, что «...и жидов в полной мере обвинить не можно, что они для пропитания своего извлекают последний от крестьянина корм». Сказать слово в пользу евреев стало тем более важно, ибо дошел до сенатора слух, будто на должность еврейского прокуратора появился у него соперник, — другую записку в сенат о реформе еврейской жизни готовил литовский губернатор Фризель.

К предложению Сената представить соображения по части устройства еврейского народа в Российской Империи Иван Григорьевич Фризель отнесся со всей серьезностью. Европейски образованный, он был знаком с постановкой еврейского дела в Германии и в Австрии. Но и собственный его опыт был велик. За долгие годы военной и гражданской службы Фризель не раз сталкивался с евреями, то разбирая их тяжбы с магистратами, то выслушивая жалобы евреев на помещиков, а крестьян — на евреев. Случалось ему вмешиваться и в споры между самими евреями. Так что неустроенность этого народа, а равно и необходимость реформировать его жизнь сверху донизу представлялись Ивану Григорьевичу неперемненными. В

запросе Сената литовский губернатор увидел желание правительства в Петербурге наконец-то решить еврейскую проблему, решить в масштабе государственном, решить на века. Не мешкая, Фризель дал указание предводителям дворянства из всех уездов Литвы предоставить ему мнения по этому вопросу, а сам с головой ушел в изучение экономического положения евреев, устройства их общины, пытался постичь, в чем состоят расхождения между хасидами и раввинистами.

И чем глубже вникал Фризель в суть дела, тем тверже убеждался — урегулирование еврейского вопроса возможно в том лишь случае, если в расчет приниматься будут не только интересы помещиков, горожан и крестьян, но и нужды самих евреев. Источник еврейских бед Иван Григорьевич видел в угнетении их помещиками, в неурегулированности отношений с крестьянами, но прежде всего — в общем неравноправии евреев с христианами. А плюс к тому, и в замкнутости еврейской общины, внутри которой безраздельно властвовал кагал¹.

Чтобы одним ударом разрубить гордиев узел, Фризель предложил уравнивать евреев в правах с христианами. «Коль скоро евреи в качестве купцов, ремесленников и земледельцев будут уравнены в правах и обязанностях с соответствующими сословиями христиан, — писал он, — то и кагал утратит функции сборщика налогов и судебного учреждения. В результате, уничтожились бы кагалы, а с ними и тысячи несправедливостей».

Гражданское равенство вместе с обязательной общеобразовательной школой должны были, по замыслу губернатора Литвы, ослабить фанатизм и распри внутри еврейского сообщества. «Необходимо искоренить все секты, суеверие, запретить настрого вводить новости, которыми обманщики, обольщая чернь, погружают ее в

¹ Кагал — община. Форма еврейского самоуправления в Польше и России до 1844 г. Правление общины.

большее невежество. Нужно обязать евреев обучать своих детей в публичных школах, производить все дела на польском языке, носить одежду общего покроя, вступать в брак не ранее 20-летнего возраста». В апреле 1800 года Иван Григорьевич препроводил в Сенат мнения предводителей литовского дворянства, снабдив их собственной запиской. Дело оставалось за малым — провести реформы в жизнь.

Не так-то быстро реформы в России делаются, как записки о них пишутся!

5. РОДОСЛОВНАЯ АЛЬТРУИЗМА

Мы приехали в августе. Пока папа нашел подходящую школу, пока договорился с директором, занятия уже начались. В первый день мама велела мне надеть гольфы с застежками, белую рубашку, пиджачок и галстук. Сестра сделала пробор и чем-то его побрызгала — «Чтоб держался!» Папа вручил свой старый портфель: «Это на первое время, скоро купим другой». Договорено было, что папа отведет меня в школу и сдаст директору, который проводит меня в класс. Но директора почему-то не оказалось на месте, секретарша спросила, как меня зовут, повела пальцем по длинному списку: «Тебе в четвертый «бэт». Поднимешься на второй этаж, пятая дверь направо».

Я поднялся по лестнице, нашел дверь с табличкой «4-бэт». За дверью было шумно, я немного постоял, набрал воздуха и вошел. Три десятка голов разом повернулись в мою сторону. Наступила тишина. А потом раздался хохот. Да какой хохот! Разлохмаченные, встрепанные мальчики и девочки в пестрых рубашках, в шортах и сандаликах на босу ногу показывали на меня пальцами и валились от смеха. Я побрел вдоль парт, но, когда подходил к свободному месту, мне тут же кричали «Тафус» — Занято! Что же мне делать, если меня никто не пустит? Ноги подкашива-

лись, слезы накатывались на глаза, как вдруг кто-то твердо сказал: «Шев!» — Садись! Мальчик в клетчатой рубашке с пышной выющейся шевелюрой отодвинул свой ранец, освобождая мне место.

По матери Габи был саброй Бог знает в каком поколении, его отец — высокий, представительный литвак — был родом из Шавлей¹. Звали его Арье, но немногословная хозяйка дома, мать Габи, называла его «Лева». Между прочим, Арье был большим любителем преферанса; разминая колоду, он то и дело приговаривал: «Преферанс — игра русских аристократов».

Меня Арье невзлюбил. По всей видимости, боялся, что я собью Габи с пути истинного. Истинным же он считал тот, который ведет к профессии адвоката, врача, а еще лучше каблана — строительного подрядчика. Что до стихов и рукописных журналов, то презрения к подобным занятиям он не скрывал и всякий раз повторял: «Ты уже не в галуте, делом надо заняться, делом!» При всем том, дружбе сына-сабры с «местечковым сумасшедшим» он не мешал, а когда Габи заявил, что после армии пойдет учить электронику, Арье и вовсе успокоился.

Габи как будто не замечал, что Арье меня недолюбливает. Были мы с ним «не разлей водой», разлучались разве что на ночь, а по окончании школы решили поступать в одну гимназию. Тут уж мой отец возмутился: «Ты же собираешься стать гуманитарием, зачем тебе техническая гимназия? Нельзя же во имя дружбы...» Конечно, можно! А латынь и греческий я уж как-нибудь сам выучу.

Еще три года мы просидели за одной партой.

Впереди, однако, нас ждала армия, а значит, и разлука. Вероятность оказаться в одной части была ничтожной. Габи — рослый, здоровый сабра — мог рассчитывать даже на Хель Авир². Я же был маленького роста, носил очки, а

¹ Литвак — еврей-выходец из Литвы, Шавли — местечко в Литве. Ныне город Шауляй.

² Хель Авир — военно-воздушные силы Израиля.

галутное происхождение резко ограничивало мои возможности попасть в «приличные» части. Более того, мы знали, что меня первым делом попытаются взять в разведку. Не в ту разведку, которая действует в тылу врага, а в ту, где нужно с утра до ночи сидеть в кабинете с наушниками: русский я знал в совершенстве, а военная разведка в те годы очень нуждалась в людях, которые могли прослушивать русский эфир.

Как сделать, чтобы служить вместе? После долгих раздумий мы пришли к выводу, что я не буду писать в анкете про русский, — за десять лет мог и забыть, кто проверит! Габи же, со своей стороны, заявит как можно больше жалоб на здоровье. Жалобы не подтвердятся, но в его личном деле появится пометка «нун», что значит «нудник», — есть такое слово в иврите! — с которой ни в какие элитные части его не возьмут. Вот мы и сравниваемся!

Вначале мы и, правда, сравнялись: и он, и я получили по здоровью высшую отметку — 97 баллов. Однако предстояло еще одно испытание — собеседование с офицерами из разных подразделений. Мы приуныли, уверенные на этот раз, что служить вместе не придется.

Через неделю мы катались по полу и швыряли от радости друг в друга подушками — и его, и меня записали в танкисты! Тиранут¹ мы будем проходить вместе, а там, глядишь, распределят в одну часть.

Лагерь, в котором мы проходили тиранут, представлял из себя чуть ли не целый город; военное ремесло изучали мы в разных его концах, виделись редко. Да и послужить вместе не пришлось: хотя нас постоянно перебрасывали из одного конца страны в другой, за все годы службы пути наши так и не пересеклись.

Пересеклись они много позже.

¹ Тиранут — начальный курс подготовки солдат в израильской армии.

Для меня Шестидневная война¹ началась 5 июня в 8:00, когда наша часть, получив задание выйти на важный перекресток дорог, двинулась по мягким песчаным дюнам, что стелились между северной и центральной магистралями Синая. Египтяне считали подобную задачу невыполнимой, наши разведчики утверждали, что провести бронемашину и легкие танки по этим пескам все же можно. И хотя опыт у нас был немалый, уверенности в том, что какая-нибудь дюна «не подведет», ни у кого не было. Так что кто прав: египтяне или наша разведка, предстояло установить опытным путем.

Мы двигались медленно — приходилось расчищать песок, подкладывая под гусеницы танков специальные ленты. На особо опасных участках сцепляли танки тросами, так надежнее. Что касается грузовиков, то командир бригады Изя Шадми распорядился вести их своим ходом, а если застрянут, бросать: «Танки нам нужнее».

Мы работали — как всегда на войне — быстро, дружно, без перекура и отдыха. Поливали друг друга водой, угощали из фляжек, подбадривали разными прибаутками. В те часы мы еще не читали газет и не знали, что «египетские офицеры не умеют командовать, а солдаты — воевать». Мы, конечно, верили, что победим, и ни за что не хотели думать, что кому-то из нас суждено остаться в этих песках.

Через девять часов мы вышли к развилке Бир-Лахфан, где сходятся главные дороги Синая на приморский город Эль-Ариш — крупнейшую военную базу и главный аэродром египтян в Синае. Пятьдесят километров мы буквально ползли по зыбучим пескам, чуть ли не на руках тащили наши танки, бронемашину и цистерны с водой. Но

¹ Война между Израилем и арабскими странами в июне 1967 года, когда, в течение шести дней израильская армия захватила у Египта Синайский полуостров, у Иордании — Западный берег и у Сирии — Голанские высоты.

передохнуть и порадоваться — все же мы сотворили чудо! — не было времени: разведка сообщала, что со стороны Исмаилии на помощь Эль-Аришу вышли две египетские бригады. Теперь наша задача состояла в том, чтобы не пропустить их в Эль-Ариш. «А еще лучше уничтожить» — гласил приказ.

Египтяне появились во второй половине дня. Они, как видно, тоже не читали наших газет и не знали, что при первой же неудаче им положено бросать оружие и разбегаться по пустыне. Так что, хотя наша засада была для них полной неожиданностью, египтяне дрались отчаянно, атака следовала за атакой, а что было дальше, я не помню.

Когда очнулся, то первый, кого я увидел, был Габи. Представляете — Габи! Уж не снится ли мне? Я хотел тереть глаза, но рука почему-то не подчинилась.

— Не дергайся, — тихо сказал Габи.

— Откуда ты, почему не разбудил? — я попытался подняться.

— Не дергайся, лежи тихо.

Я огляделся и понял, что мы едем в каком-то фургоне, я лежу, а Габи сидит на скамейке и держит меня за руку. Начинаю ощущать дорожные толчки и сильную боль в голове и спине.

— Габи, что со мной?

— Ничего. Спикировал.

— Как спикировал, куда спикировал?

— Около тебя снаряд разорвался, тебя выбросило из башни, и ты пролетел метров десять-двенадцать. Но приземлился, как акробат в цирке, — даже косточки ни одной не сломал.

— А ты-то как там оказался?

— Мы обходили Эль-Ариш с юга, и вдруг сообщают — в Бир-Лахфан жарко, египтяне гонят вас обратно в пески. Часть нашей бригады развернули — и к вам на помощь. Через час египтяне поползли назад, я бросился тебя разыскивать: «Где?», — спрашиваю. Все молчат. Я орать: «Где, черт возьми?» «Снаряд», — отвечают. «Прямой?»

«Нет, рядом взорвался, танк перевернуло, водитель погиб, двое ранены». Пошли искать танк. Нашли. Лежит на боку, дымится. «Где тело?» «Пока не нашли, санитары придут, будут искать». Я снова в крик: «Вы что, очумели, пока не найдем, с места не сниматься». «У нас приказ, санитары найдут!». Связываюсь с Шадми. Он приказывает: «Четверых с джипом оставить, найти во что бы то ни стало!» Искали часа два — нет тебя. Тут кто-то присел по нужде и видит — холмик в песке. Давай разгрести, а там ты, словно фараон в усыпальнице. Тебя когда выбросило, ты пролетел и в песочек зарылся. Вот и все.

— Что теперь?

— Отвезу тебя в Беер-Шеву, сдам в госпиталь и помчусь своих догонять.

До госпиталя я не добрался, сбежал по дороге, нашел свою часть в Бир-Тмаде, пробивался с ними через перевал Митле, дошел до Суэцкого канала.

С Габи встретились у него дома. Арье за шесть дней поседел, но держался бодро. Достал карты: «Ну, а теперь распишем пулюку. Покажите, мальчики, что сабры не только войну умеют выигрывать».

Я стал саброй?

6. О ТОМ, КАК ПОССОРИЛИСЬ ЗАЛМАН БОРУХОВИЧ И АВИГДОР ХАЙМОВИЧ

Вернувшись из Белоруссии, сенатор Гаврила Романович Державин представил «Мнение о евреях» генерал-прокурору Петру Хрисанфовичу Оболянинову. Доклад был подан 26 октября 1800 года, а уже через четыре дня в Белоруссию пришел приказ арестовать «начальника каролинской секты, или хасидов» Залмана Боруховича, отправить его в Петербург и посадить в крепость.

Основанием для ареста вождя белорусских хасидов послужил донос бывшего раввина города Пинска Авигдора

Хаймовича, которого хасидское большинство общины лишило должности и, соответственно, доходов, из нее истекающих. Впрочем, поспешность, с которой совершен был арест рабби Залмана, свидетельствовала о том, что и сенатор-ревизор, относившийся к еврейским сектантам с неприязнью и подозрением вдвойне против самих евреев, приложил к сему руку.

Не вчера и не сегодня возник раскол в польском еврействе. Прошло уже более полувека с тех пор, как Бешт¹ — проповедник из местечка Меджибож на Подолии начал собирать вокруг себя учеников, призывая их отречься от рациональной, умозрительной веры во Всевышнего, от аскетизма и механического исполнения обрядов. Не строгое соблюдение буквы Закона, не абстрактные умствования, не самоистязание, но религиозный экстаз, радостное, восторженное состояние души помогают человеку слиться с Богом, учил Бешт. С тем самым Богом, который везде, во всем, в каждой вещи и в каждом человеке.

Не в пример раввинам-книжникам, высокомерным в своем благочестии, недоступным в своей учености, Бешт был снисходителен к простому и, естественно, грешному человеку. Он был отзывчив к его нуждам, он готов был простить, согреть сердце и помочь каждому. Он готов был найти во всяком, даже очень печальном, событии положительную сторону. И как страждущие в древней Палестине потянулись к Иисусу, так и сельские арендаторы, корчмари и коробейники, нищие и невежественные, бесконечно далекие от касты ученых-талмудистов, потянулись к «Божьему человеку» из Меджибожа.

Продолжатели дела Бешта внесли в его учение нечто новое: не каждому в полной мере открывается Божественная тайна. Тот, кому это дано, — цадик, истинный праведник! Ему, цадик, дано услышать небесный голос, ему, ца-

¹ Бешт — аббревиатура Баал Шем Тов (Господин Доброго Имени) — чудотворец.

дику, дан особый дар ясновидения, который возводит его в ранг библейского пророка, посредника между Богом и человеком. Тем же, кому не дано познать Божественную тайну, остается одно — благоговеть перед цади́ком, преданно служить ему и его «дому».

Отнюдь не случайно география хасидизма — «чувственного иудаизма» — совпала с кровавыми границами, очерченными хмельничной и погромами более позднего времени.

Ураган казачьего разгула унес в предыдущем — семнадцатом — столетии сотни тысяч еврейских жизней, оставил пожарища на месте еврейских городков и местечек. Великие толкователи Закона вместе со своими учениками, своими книгами и молитвенными домами сгорели в огне костров, были зарублены казачьей саблей, заколоты татарской пикой, русским кинжалом или польской шпагой. Когда же, наконец, ураган стих, уцелевшие общины остались опустошенными, физические и духовные силы народа пришли в упадок. А коль скоро эпицентр кровавого урагана пришелся на Подолию и Воынь, Черниговщину и Полтавщину, то и евреи здешних мест, не сумевшие за столетие оправиться от ужасов хмельничны, более других поддались мистическому гипнозу хасидизма.

В менее пострадавшую от войн и восстаний предыдущего века еврейскую Белоруссию хасидизм пришел позже и принял здесь иную форму — хабад (аббревиатура ивритских слов — мудрость, понимание, познание). Хабад — рациональный хасидизм — представлял собой синтез раввинской философии и веры, основанной на религиозном чувстве. Создателем ее, равно как и родоначальником дома Шнеерсонов — «царской фамилии» хасидов-хабадников, — был тот самый рабби Залман из Лиозны, который к моменту нашего рассказа, то есть к ноябрю 1800 года, все еще находился в заточении в петербургской крепости.

Менее всего пострадал от хмельничны литовский край; евреи в Литве быстро восстановили торговлю, про-

изводства и ремесла. Раньше, чем в других местах, окрепли здесь кагалы. Уцелели в крае и знаменитые школы, в живых остались великие учителя, из которых самым великим был Илья Гаон Виленский. Наверное, поэтому литовское еврейство сохранило верность традиционному раввинизму, а Вильно, которому еще только предстояло стать Литовским Иерусалимом — еврейской столицей края, превратился в оплот раввинистов в борьбе с хасидами.

Далек, очень далек от земных забот был Илья Гаон¹, но пройти мимо «ереси хасидской» не мог. Восторженный мистицизм Бешта представлялся ему откровенным богохульством, а слепой культ цадииков-чудотворцев — прямым вызовом основам веры, нарушением заповеди «не сотвори себе кумира». Так что, когда армия сторонников «безбожной секты» стала проникать в собственно литовские кагалы — в Пинск, Шклов, Минск и даже в Вильно, терпению Гаона пришел конец. Наложив на хасидов херем², он, Великий Гаон, призвал к открытой борьбе с еретиками.

Случилось это в год 1772-й. В то самое время, когда Австрия, Пруссия и Россия делили меж собой Польшу и по ходу дела рвали на части живой организм польского еврейства, одна часть народа пошла войной на другую.

В Тайной экспедиции, что вела расследование дела об «опасной и вредной деятельности секты каролинов, или хасидов», состоялся суд над «главой секты» Залманом Боруховичем. Обвинителем выступал Авигдор Хаймович. Все красноречие бывшего пастыря, весь пыл изгнанного главы общины обрушил раввин-доносчик на своего соперника. Увы, русские судьи не понимали еврейской речи. Суд распорядился, чтобы Авигдор Хаймович изложил свои

¹ Гаон — (гений) почетный эпитет, отличающий выдающегося знатока и толкователя Закона. Глава ешивы.

² Херем — анафема, обречение человека или вещи на уничтожение.

обвинения письменно, по пунктам. Таковых набралось девятнадцать. Обстоятельный ответ рабби Залмана, переведенный на русский язык, убедил судей, что обвинения хасидов в непризнании правительства, в безнравственности, в устройстве тайных собраний ложны. Залман Борухович был оправдан.

По справедливости разрешил русский суд еврейский спор, узаконив де-факто и раввинизм — религию для избранных, и хасидизм — религию для народа. «Дело между евреями Авигдором Хаймовичем и Залманом Боруховичем, касающееся до их религии и прочего», показало правительству — раскол между хасидами и раввинистами угрозы для государства не представляет: ни те ни другие не желают опасных нововведений.

И верно, ни раввинисты, ни хасиды не стремились изменить устоев патриархального быта с его ранними браками, многочадием, талмудическим образованием, с его многочисленными самоограничениями, ведущими к физическому вырождению. Правильно поняли суть дела русские судьи: хасиды и раввинисты борются лишь за верховодство в кагале, но они в равной мере готовы прийти на помощь правительству в изобличении настоящих смутьянов. К числу последних и раввинисты, и хасиды относили тех, кто говорил о необходимости заниматься производительным, в том числе, физическим, трудом, о важности готовить детей к практической жизни, расширять их кругозор и приобщать к светской культуре.

А пока еврейские массы в Российской Империи погружались в мутные воды хасидизма или продолжали цепляться за соломинку талмудической учености, в Германии задули ветры просвещения, а над Францией вставала заря эмансипации; между еврейством на Западе и Востоке Европы возникла трещина, которая грозила превратиться в пропасть.

7. НАСЛЕДСТВО, КОТОРОЕ МЫ НЕ ВЫБИРАЕМ

После тех шести дней в июне 67-го мы стали героями; нас поздравляли, нам улыбались, старались затащить в гости.

Позвонил профессор, попросил зайти. «Неприменно домой и непременно прежде, чем появишься в университете. Чувствую себя плохо, на кафедре не бываю, да и поговорить нужно с глазу на глаз».

И верно, профессор выглядел плохо, двигался с трудом, но после скромного угощения все же вышел со мной в сад.

— Послушай, — начал он, — мне уже семьдесят, я перенес шесть операций, сколько еще протяну, не знаю. Я решил, что вместо меня останешься ты.

— Я?

— Не перебивай. Я все обдумал. В этом году ты должен закончить докторат. Пока тебя не было, я перечитал все, что ты написал о Ходасевиче. Это хорошо, по-настоящему хорошо. Такую работу не стыдно защищать в Беркли или Иейле. Если ты защитишься в Америке, я пойду к ректору, я пойду к Шазару¹, я докажу, что моим преемником должен стать ты. Ты молод, ты сабра, ты наш выпускник.

— Но...

— Не перебивай. Я не хочу никого из «поляков», они в эвакуации покрутились год-другой в узбекистанах-казахстанах, кое-как выучили язык и думают, что стали большими знатоками русской словесности. Никто из них по-настоящему не знает русской литературы, не чувствует ее.

Профессор сел на скамейку, перевел дыхание.

— Да, да, наши молодые и раньше мало интересовалась русистикой, а сейчас слово «русский» произнести неприлично. Между прочим, на днях звонил ректор, говорит, да-

¹ Залман Шазар (Рубашов) — ученый-историк, президент Израиля (1963 — 1973).

вай переименуем кафедру, назовем вас «славянской филологией». Ну, почему никто не хочет понять, что теперешние советские к русской культуре отношения не имеют! Я так мечтал создать у нас школу русистики, настоящую, не провинциальную. Мне не удалось, но у тебя получится, поверь мне, по-лу-чит-ся! Теперешняя противорусская истерия уляжется, у молодых появится интерес к русской культуре. В конце концов, это и наше наследство.

Бог ты мой, этот особнячок, утопающий в зелени и тишине Рехавии¹, этот старенький профессор в курточке с бархатными лацканами и замшевых башмаках, этот разговор о русской литературе... Такой знакомый, но такой далекий мир! Неужели еще три месяца назад я жил тем, что спорил о Достоевском, защищал Гоголя, восхищался Платоновым, грезил Цветаевой? Нет, нет, это было в какой-то другой жизни, возврата в которую уже нет. После Шестидневной войны я мог говорить только о прошедших боях, думать только о будущем Иерусалима, Западного берега, Синая и, прежде всего, об ответственности, которую я теперь несу за судьбу страны. Но я любил своего профессора, я должен был объяснить ему, что произошло со мной, что произошло со всеми нами.

Когда бои закончились, когда я отмылся, отоспался и, часами рассматривая восточный берег Суэцкого канала, ожидал очереди на отправку домой, вдруг пришел страх. А ведь я мог погибнуть, лезло в голову, и Габи могли убить, и войну мы выиграли чудом, и арабы никуда не делись. В свободное от дежурств время я листал журналы с фотографиями ликующих толп на улицах Нью-Йорка, Амстердама, Парижа. «Иерусалим наш!», «Не отдадим освобожденные территории» — пестрели заголовки.

Ваш? Вы не отдадите? А воевать кому — нам с Габи? Я ни на минуту не сомневался, что арабы не смирятся с по-

¹ Рехавия — один из самых красивых и благоустроенных районов Иерусалима.

ражением. Я не понимал, почему так беззаботны все вокруг, почему мои товарищи позируют у разбитых египетских танков, не задумываясь, что в следующий раз то же самое будут делать египтяне, только уже у наших разбитых танков. Почему, почему они не хотят об этом думать? Быть может, потому, что они настоящие сабры и им не ведомы сомнения, а я так и остался в плену застрявшего где-то в спинном мозгу векового галутного страха? Или все наоборот, они — наивные дети Леванта, а за мной стоит тысячелетняя история, и только я один понимаю, что необходимо именно сейчас замирился с арабами?

Признаюсь, я гнал от себя эти мысли. Когда меня сменили на наблюдательном пункте, я шел в палатку, звонил друзьям и знакомым, шутил, рассказывал анекдоты, а на предложение в первый же день после демобилизации отправиться в Старый Иерусалим, отвечал: «Успеется, Иерусалим от нас не уйдет».

Странное дело, с одной стороны, я все больше вкручивался в эйфорию всеобщего ликования, с другой — все отчетливее осознавал необходимость противостоять этой самой эйфории. Нет, я еще не знал, что конкретно следует делать, и вовсе не был уверен, что взятые в боях территории нужно вернуть арабам. Но одно мне стало ясно — кто-то должен громко и авторитетно сказать: хватит ликовать, давайте думать, что делать дальше. И еще стало мне ясно, что сказать это должен я сам. В конце концов, мне не из газет известно, что такое война, меня должны слышать, мне должны поверить.

Я решил стать журналистом.

Ну, а русская литература? А кто отнимет у меня Лермонтова, Блока, Ахматову? Те, кого я люблю, всегда будут со мной. Так я и сказал своему профессору: ничего не поделаешь, мне выпало спасти страну, и теперь я — именно я — обязан позаботиться о ее будущем. Прошло много лет, прежде чем я понял, что это он, старый профессор, заболел о будущем.

И верно, статьи, в которых я доказывал, что войну мы выиграли чудом и лучше уж нам вернуть территории самим, чем дожидаться, пока их у нас отберут, ничего не добавили к разноголосице нашей прессы. Уверенность общества в непобедимости армии, а политиков — в том, что победителей не судят, оставалась непоколебима.

Победителей действительно не судят. Победители судят себя сами, сами назначают себе наказание, сами же и расплачиваются по счетам.

Расплата была еще впереди, а я пока что все реже писал о территориях, все чаще о советских евреях. Мое положение сразу же изменилось: вместо оскорбительных писем и постоянных выговоров от главного редактора я стал получать благодарственные послания, в редакции меня зауважали, величали не иначе, как «признанный специалист по советским делам». В душе я понимал, что успех мой призрачный, что он отдает предательством. Сверлила мысль: это не я нашел золотую жилу, а меня вытеснили на периферию. И то верно — проблема безопасности страны волновала всех, а Москва была далеко, бросать в нее камни представлялось чем-то вроде азартной игры: когда удавалось эффектно врезать Советам, мне аплодировали, словно форварду, забившему красивый гол.

Как бы там ни было, я попал в обойму: меня то и дело приглашали на радио и телевидение, я стал непременным участником конференций, посвященных советским евреям, моим мнением интересовались члены Кнессета, профсоюзные лидеры, известные политологи и даже американские конгрессмены. И все же, когда в субботу, 29 сентября 1973 года, меня пригласили в канцелярию премьер-министра, я растерялся. О чем пойдет речь, я, правда, знал. Утром того дня арабские террористы забрались в поезд, который вез советских евреев-эмигрантов в Вену, захватили пятерых человек, в том числе одного старика-

инвалида. Террористы угрожали убить заложников, требовали предоставить им самолет.

Инцидент был пренеприятнейший; стало ясно, что в арабских столицах сообразили, сколь важна для нас алия из СССР, и решили остановить ее с помощью излюбленного средства — терроризма. Мы чувствовали себя беспомощными. Австрийский канцлер Крайский, еврей, возглавлявший правительство страны с давними и прочными антисемитскими традициями, более всего опасался, что его заподозрят в симпатиях к Израилю. Впрочем, он даже и не скрывал, что готов уступить арабам и перекрыть «дорогу жизни», по которой евреи из Советского Союза добирались в Израиль.

Так что же я скажу Голде?

Совещание началось в шесть, говорили много, спорили до хрипоты, но все свелось к одному: нажать на Крайского — конечно же, через Вашингтон, ни в коем случае не допустить, чтобы он закрыл транзитный пункт в Вене.

Дошла очередь до меня.

— Вся эта затея — дело рук КГБ, но и чекисты в данном случае действуют не самостоятельно, а по указанию Старой площади.

— Почему ты так думаешь? — Голда посмотрела на меня с интересом.

— Арабы на территории Советов ничего не могут делать без согласия КГБ. Но вчерашний инцидент связан с большой политикой, так что Лубянка без согласия Старой площади на такое дело не пойдет. В Кремле же, по всей видимости, решили руками арабских террористов покончить с алией.

— Что ты предлагаешь?

— Главное, как можно быстрее освободить заложников. Любым способом. Пусть Крайский закрывает Шенау¹, потом можно будет найти другой путь, через Хельсин-

¹ Шенау — замок в Вене, где находился транзитный лагерь для евреев, следовавших из СССР в Израиль.

ки, например. Но, если среди советских евреев начнется паника, тогда уже ничем не поможешь.

Когда все поднялись, Голда подошла ко мне.

— Завтра я вылетаю в Страсбург и в Вену. Я хочу, чтобы ты был при мне. Нехемия все устроит.

Крупный, плотно сбитый человек сверлил меня ничего не выражающими глазами. Почему это я раньше его не замечал?

Через три дня я летел домой из Вены, обдумывая в самолете серию статей о Европейском Совете, о Крайском, о немецких овчарках у замка Шенау. Слава Богу, статьи эти никогда не увидели свет. Не успел я войти в дом, как зазвонил телефон, — меня срочно вызвали в милуим¹. Ближе к ночи я уже прилаживал форму в укрепленном пункте на северном участке линии Бар-Лева². А еще через три дня стало ясно — я ошибся. Кремль не имел отношения к захвату поезда с эмигрантами: это служба безопасности Дамаска придумала хитроумный отвлекающий маневр.

8. КОНСТИТУЦИЯ ПО АЛЕКСАНДРУ

Император Павел Петрович был убит в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Его старший сын Александр закрыл глаза на великий грех. Но не для того лишь, чтобы до времени взойти на престол. Воспитанный бабушкой, молодой император мечтал оправдать имя, которым не без умысла нарекла его императрица Екатерина. Возвеличить Россию, превратить ее в главную европейскую державу, реформировать сверху донизу и — уж совсем потаенное — освободить крепостных крестьян, вот в чем искал он себе оп-

¹ Милуим — краткосрочная военная служба для резервистов в израильской армии.

² Линия Бар-Лева — укрепленная оборонительная линия вдоль восточного берега Суэцкого канала, представляющая собой песчаную насыпь и систему укрепленных пунктов. Построена после войны 1967 г.

равдание. Впрочем, что таил в душе молодой царь, не ведал никто, но одно стало ясно — над Россией задули свежие ветры. Коснулись эти ветры и тех канцелярий, где чиновники, имевшие весьма смутное представление о еврейской жизни, занимались всесторонним ее преобразованием.

Вернувшись летом 1802 года из путешествия по империи, Александр не скрыл, сколь тяжкое впечатление произвели на него нищета и убогость еврейских подданных. Указом от 9 ноября император учредил «Комитет по благоустройству евреев», который должен был «представить виды для общего положения об евреях». Хотя Комитету было поручено «войти в ближайшее рассмотрение проекта Державина, касающегося белорусских евреев», и сам он назначен был членом Комитета, дело по преобразованию еврейской жизни перешло в руки молодых реформаторов.

Председателем Комитета Александр назначил ближайшего к себе человека, малоросса графа Виктора Кочубея, членами его стали польские магнаты, князь Адам Чарторыжский и граф Северин Потоцкий, вошел в Комитет и граф Валериан Зубов, который, правда, еврейскими делами занимался без увлечения. Секретарем был назначен Михаил Сперанский — восходящая звезда на тогдашнем политическом небосклоне. Получилось так, что на одного «почвенника» — Державина пришлось четыре «западника».

Между тем в Черте о новом раскладе в высоких петербургских канцеляриях не знали; тревогой разнеслась по местечкам и деревням весть, будто в Петербурге создан «Еврейский комитет». Переполошились хасиды — а вдруг государь запретит «вредную» секту! Заволновались раввинисты — что если реформы пойдут на пользу раскольникам-хасидам! Впали в панику кагалные заправилы — не дай Бог правительство отнимет у них власть над еврейской массой! Пришла в смятение и сама эта масса — ничего, кроме новых стеснений, не ждала она от сановника Державина. В ожидании очередного Судного дня чрезвы-

чайное собрание в Минске наложило на всех евреев империи трехдневный пост с молением в синагогах о предотвращении грядущего бедствия.

Молитвы эти в Петербурге были услышаны: Гаврила Романович Державин, ретроград и сторонник «мер исправления», предвидя несомненное свое поражение, попросил отставки. В то же время министр внутренних дел граф Кочубей распорядился привлечь к участию в работе Комитета представителей от всех губернских кагалов. Сверх того государь разрешил каждому из членов Комитета пригласить — по выбору — «одного из просвещеннейших и известных в честности» евреев.

Чтобы столичное начальство интересовалось мнением евреев, желая разрешить их же судьбу! О таком в Черте отродясь не слыхали. И опять начался переполох. Кого послать в Петербург, на какие средства, а главное — с каким наказом? Задача была новая, необычная и оказалась кагалам не по плечу. Во всяком случае, когда Комитет выработал общий план реформ и передал их на отзыв, единственное предложение кагалов состояло в том, чтобы отложить реформы на 20 лет.

Иначе вели себя «просвещенные и известные в честности» евреи. Самый влиятельный из них — богатый купец Нота Ноткин еще в 1800 году представил сенатору Державину проект переустройства еврейской жизни в России. Тогда он предложил создать на черноморском побережье колонии и направить туда часть евреев из перенаселенной черты оседлости. В колониях Ноткин предлагал развивать важные для государства ремесла: канатное, парусное, суконное. Оставшихся в Черте петербургский купец предложил поселить на землю, с тем, чтобы они выращивали виноград, разводили шелковичных червей, пасли овец. Привлечь евреев к труду — ремесленному и крестьянскому — Ноткин считал нужным не только для того, чтобы улучшить их экономическое положение; он мечтал изменить быт, поднять духовный и культурный уровень народа.

Проект Ноткина сулил блага и евреям, и государству, но для Державина был неприемлем; совсем иначе — в незыблемости основ — видел екатерининский вельможа благо для отечества и всеми силами незыблемость эту отстаивал.

Приглашенный в Комитет графом Кочубеем переводчик и литератор Лейба Невахович призывал к равноправию евреев со всеми подданными империи. Весной 1803 года вышла его книга, первое по времени произведение русско-еврейской литературы — «Вопль дочери иудейской». Рассказывая о страданиях евреев, Невахович пытался развеять ложные суждения о них и призывал христиан видеть в евреях — по крайней мере, в отдельных, избранных — «соотчиев», соотечественников.

Были среди просвещенных советников сторонники отказа от патриархального быта и традиционного воспитания. Были те, кто считал, что изменить еврейскую жизнь может лишь русская школа и производительный труд. Были и поборники берлинской Гаскалы¹, которые свято верили, что прусские и австрийские законы о евреях, перенесенные на русскую почву, решат проблемы российского еврейства. Беда состояла в том, что еврейской массе, чьи занятия и образ жизни не менялись столетиями, казалось, будто петербургские сородичи пытаются устроить жизнь вовсе не их, реально существующих людей, а какого-то другого народа, живущего в другое время и в другом месте.

«Положение об устройстве евреев» было высочайше утверждено 9 ноября 1804 года. Удивительный это был документ! Его первый параграф «О просвещении» гласил: «Все дети евреев могут быть принимаемы и обучаемы без всякого различия от других детей во всех российских учи-

¹ Гаскала — просвещение (*иврит*), эпоха культурного возрождения европейского еврейства и приобщения его к европейской культуре, начавшаяся в Берлине во второй половине XVIII века.

лищах, гимназиях и университетах». Заметим: еврейские дети получили доступ к образованию без каких-либо ограничений.

Первая еврейская конституция установила новый гражданский статус для еврейских подданных империи. Отныне они переходили под начало городских магистратов, подчинялись общему суду и полиции. В то же время сохранялись и кагалы, за которыми закреплялось право собирать казенные подати. Выборным раввинам закон предписывал «наблюдать за обрядами веры и судить все споры, относящиеся к религии», но запрещал прибегать к проклятию и отлучению. Правление кагала должно было отныне переизбираться каждые три года и утверждаться губернским начальством. Кроме того, евреям было предписано обзавестись фамилией и отчеством в соответствии с российским регламентом, а евреи — члены магистрата обязаны были носить общепринятую одежду.

В части экономической закон отказывал евреям в праве заниматься сельской арендой и питейным промыслом. Так там и было записано: «С 1-го января 1808 года никто из евреев ни в какой деревне или селе не может содержать никаких аренд, шинков, кабаков и постоянных дворов...и даже жить в них». С другой стороны, закон рекомендовал поощрять среди евреев земледелие, фабричное и ремесленное производство. Тем, кто желал заниматься земледелием, закон давал право покупать незаселенные земли в западных и южных губерниях, а также поселяться на казенной земле. Фабриканты же и ремесленники освобождались от двойной подати, а желающие учредить полезные отечеству производства могли рассчитывать на казенные ссуды. Купцам, фабрикантам и ремесленникам вдобавок к тому было дозволено временно посещать столицы и внутренние губернии.

Реформаторы остались довольны творением своих рук. Да и либеральная часть русского общества усмотрела в «По-

ложении» торжество здравого смысла над вековыми пред-
рассудками, либерализма — над тиранией. Казалось, по
части гуманности и государственной мудрости россий-
ские реформаторы оставили далеко позади творцов прус-
ского регламента и австрийского Толеранц-патента.

Но так только казалось.

Как и все русские реформы, Хартия 1804 года была уст-
ремлена в светлое будущее, но не предусматривала, что же
надо делать завтра и послезавтра, через год и через два.
Она была полна смелых идей и грандиозных замыслов,
но, как осуществить их на практике, об этом реформато-
ры умолчали. Хуже того, Положение 1804 года в одном
параграфе провозглашало пионерскую идею, в другом —
перечеркивало ее ссылками на... древние традиции госу-
дарства Российского.

Взять, к примеру, вопрос о языке. В местечках и горо-
дах Черты люди, говорящие на языке идиш, а таковых на-
считали чуть ли не миллион, составляли большинство.
Однако же предоставить этому языку статус государствен-
ного — наравне с польским и немецким — радетелям рав-
ноправия и в голову не пришло. Они отвели евреям на ос-
воение русской грамоты шесть лет, не давая себе труда
представить, как целый народ может перейти на новый
язык за столь короткий срок. В конце концов, реформато-
ры лишь создали дополнительные трудности для тех, чью
жизнь собирались устроить.

К вопросу о языке примыкала и проблема образования.
Открыв евреям доступ в русскую школу и университет, ре-
форматоры сделали не более чем красивый жест. Как могли
дети народа, говорящего на другом языке, тем более из ни-
шей и невежественной среды, взять да и отправиться в рус-
скую гимназию! Много ли детей русских мешан и купцов
посещали в те времена гимназию и университет?

Лишь запретительная часть Положения была конкрет-
ной, причем в экономической своей части всевозможные
запреты означали для евреев катастрофу.

Нет слов, питейный промысел и аренды — занятия малочетные, вызывающие злобу крестьян, зависть мешан, раздражение чиновников. И уж совсем плохо, когда этим промыслом кормится добрая половина народа. Так что предложение перейти к земледелию, ремесленному труду и фабричному производству звучало разумно. Но, спрашивается, как перейти? Если твой отец, дед и прадед курили вино, держали шинок или корчму, перебиваясь с хлеба на воду, то как, на какие средства, можешь ты купить землю, обзавестись хозяйством, заняться хлебопашеством? Как можешь стать ты портным, шорником, ювелиром? Как можешь открыть канатную фабрику, сахарный завод или реализовать другую блестящую идею Ноты Ноткина? Обо всем этом ничего в Положении сказано не было, а вот о том, что десятки тысяч людей с первого января 1808 года лишались права заниматься традиционными промыслами — и тем самым всякого пропитания, — записано было черным по белому.

И все же худшее заключалось в другом: еврейская конституция 1804 года узаконила черту оседлости — еврейские подданные империи более чем на столетие оказались запертыми за стенами большого средневекового гетто.

9. ТАМ ЛЕЖАТ МОИ НОГИ

В апреле 82-го драма с Яммитом подошла к концу¹. Я был разбит, измотан, не мог спать, работать, общаться с людьми. При этом травил меня каждый, кому не лень. Звонили в редакцию, домой, сослуживцам и родственникам: «Этот мерзавец случайно не у вас? Передайте ему...» Я отмахивался, отшучивался, пытался кому-то что-то до-

¹ Перед тем, как вернуть Египту Синайский полуостров, Израиль обязался снести город Яммит, построенный израильянами после 1967 года.

казывать, но, в конце концов, срывался чуть ли не до истерики. И все же по-настоящему мучило меня другое — я становился противен самому себе.

Да, я всегда говорил, что Синай нужно отдать, что удерживать его глупо и бесперспективно. Ко мне относились снисходительно — то ли всерьез не принимали, то ли не решались бросить в меня камень: все-таки я был защитником «Будапешта»! Но, когда эвакуация Яммита началась, когда каждый день люди видели на экранах, как отчаянные поселенцы приковывают себя цепями, а солдаты из военной полиции волокут их в грузовики, как саперы взрывают дома, а бульдозеры сравнивают с землей то, что еще недавно было городом-гордостью, страсти накалились до предела. И вот тут-то я вдруг почувствовал, что и мне ужасно не хочется отдавать Яммит, что я вот-вот все брошу и помчусь в Яммит, чтобы приковать себя рядом с Габи. Я уже видел, как нас вместе волокут в грузовик, а мы держимся за руки, улыбаемся друг другу и готовы вместе победить или погибнуть, как это уже случалось в нашей жизни. Через какое-то время я возвращался к реальности и убеждал себя: нужно во что бы то ни стало противостоять всеобщей истерике!

Легче, однако, не становилось, и я знал почему.

Утром 3 октября 1973 года я еще бродил по Вене, а уже поздним вечером обживался на укрепленном пункте в самой северной точке линии Бар-Лева. Через канал, километрах в десяти, мерцали огни Порт-Фуада, черное небо было усыпано яркими звездами, со стороны Средиземного моря доносился монотонный гул прибрежных волн. Этот сказочный вид и теплая южная ночь очень уж не вязались с названием нашего пункта — «Будапешт»! Впрочем, хорошо еще, что не Сталинград, подумал я, и тут же спохватился — с чего это на ум пришел Сталинград? Ах да, участником сталинградского сражения был тот самый старик-инвалид, которого арабские террористы умыкнули из поезда, идущего из СССР в Вену.

Я много читал о мировой войне, о защитниках Старой крепости в Бресте, о сражениях в Арденнах и ужасах, которые творили японцы на тихоокеанских островах. Но разве можно узнать из книг, что такое ад?

В субботу, шестого, был Йом-Кипур. Все молились. Тишина стояла такая, что слышен был шорох песка. Около двух часов дня страшный грохот раздался сразу со всех сторон. С неба, гремя и полыхая, посыпались гроздьи горящего металла, земля задрожала, песок струями поднимался вверх и горел, перемешиваясь с металлом. Справа и слева, спереди и сзади что-то свистело, ревело, рвалось. Небо исчезло: стена горящего песка, поднимаясь от самой земли, закрыла солнце.

Примерно через час гром начал стихать, небо — проясняться, песок оседал и догорал уже на земле. Мы — только что нас было восемнадцать — вылезали из своих щелей и пытались понять, что осталось от нас и от нашего укрепленного пункта. Затишье, однако, длилось несколько минут, а потом в небе снова появились самолеты. Но теперь они сбрасывали не бомбы; с неба сыпались парашютисты. Это были египетские командос. Они отрезали нас от танкового взвода, который стоял в тылу и в случае чего должен был прийти нам на помощь. А со стороны Порт-Фуада на нас ползли танки и бронемшины. Их было много, очень много. Но у нас был Моти, капитан Моти Ашкенази, человек, который стоил многих!

Через час египетская армада попятилась к Порт-Фуаду, оставляя за собой горящие факелы подбитых танков. Утихла канонада и на востоке, но ни один танк на помощь нам не пришел. А потом появились наши самолеты. Они летели низко, стреляли из пушек по позициям командос. Сквозь горящий песок, сквозь решето трассирующих пуль и снарядов мы видели, как загорались и падали «миражи» и «скайхоки». Один, два, три... Смотреть на это было страшно — ведь мы ни минуты не сомневались в превосходстве нашей авиации!

Как мы держались три дня, знает один Бог.

В среду, 9 октября, в небе снова появились наши самолеты и начали пикировать на позиции командос. И опять: один, два, три — самолеты загорались и падали на землю. И все же налеты продолжались весь день. К вечеру египтяне не выдержали и эвакуировались по морю. Наши танки заняли позицию уничтоженного танкового взвода, к нам пришло подкрепление, боеприпасы, продовольствие. Радость была преждевременной; ночью египтяне вновь высадились со стороны моря, окружили «Будапешт» и заминировали к нему все подходы.

После войны Судного дня мы все сильно изменились. Габи изменился больше других, он стал мрачным, замкнутым, злым. Да и я долго не мог прийти в себя. Правда, внешне у меня все было благополучно, я вернулся в редакцию, сделался замом главного, работал много и чувствовал себя независимо — попробовал бы кто-нибудь сказать мне слово! Но на душе было тошно, не хотелось никого видеть, ни о чем говорить и уж тем более — развлекаться.

Встреча с Авивой все изменила.

Худая, растрепанная, нелепо одетая, она влетела в мой кабинет, плюхнулась на стул и начала что-то лепетать. Я едва понимал, что именно. Скоро запас ивритских слов у нее иссяк; она начала жестикулировать, вырвала из календаря листок и стала на нем что-то рисовать. Я тупо смотрел на нее. Наконец, она в отчаянии хлопнула себя по коленям.

— Как же объяснить этому идиоту такую простую вещь!

— По-русски, — продолжая глядеть на нее в упор, тихо сказал я.

На минуту она замерла, втянула голову в плечи, затем распрямилась, словно пружина, схватила лежавшие на столе газеты и швырнула их мне в лицо.

После войны в рестораны я не ходил; Авиву пригласил домой. Позвонил Габи.

— Приходи. Будет одна русская. Забавная дамочка, она полгода в стране, но уже носится с проектом какого-то научного поселка. Придешь?

Он пришел.

— Это Габи, мой друг. Он электронщик. Попробуй привлечь его.

Габи уселся за стол, я начал разливать вино.

— А водка у тебя есть? — спросила Авива.

Слово «водка» Габи понял и поднял глаза.

— Водки нет. Я не знал, что ты пьешь водку.

После двух бокалов вина Авива захмелела и стала рассказывать о том, как ей удалось выехать из Риги после двух лет отказа, как стучала она кулаком по столу у какого-то министра и ходила на демонстрации. «И вообще, всякая власть мне — море по колено!»

Я начал было о деле — хотелось и Габи подключить к разговору.

— Объясни ему, что ты хочешь, я переведу.

— Да ну его, сразу видно — дурак.

— С чего ты решила, что он дурак?

— Мне много не нужно...

Габи молчал, исподтишка косил на Авиву, и лишь однажды спросил, доволен ли я своим новым «Фордом».

— Увидишь сам, вечером покатаемся.

После третьей чашки кофе мы поднялись.

— Куда поедем? — спросил я.

— Мы пошли, — отрезал Габи.

— Как пошли?! Мы же собирались кататься?

Они вышли, как ни в чем не бывало. Я решил было обидеться, как вдруг откуда-то изнутри начал подниматься легкий, щекочущий смех. Не помню, как долго я смеялся, но, когда смех прошел, на душе сделалось легко и приятно — жизнь-то продолжается!

Свадьбу они устроили без израильского размаха: Арье был недоволен, что Габи женился на русской, на меня смотрел волком. Впрочем, недовольство родителя к спешке со свадьбой отношения не имело: Габи решил переехать в Яммит.

Идеологический спор между нами был невозможен, я пытался апеллировать к здравому смыслу.

— Ты сидишь на золотой жиле, папа говорит, — мой отец был для Габи высшим авторитетом, — что компьютеры перевернут мир. Ну, что ты будешь делать в Яммите, стоило ли, черт возьми, всю жизнь учиться, чтобы выращивать помидоры?

— Авива решила открыть прачечную для армии. Я уже говорил с Леви. Помнишь Леви? Он теперь...

Интересное дело, за Габи кто-то решил!

Они продали все, что могли, и открыли прачечную в Яммите. К моему удивлению, дела у них пошли. Работали они день и ночь, бизнес расширялся, начал приносить доход. Позвонил Арье. Ни здравствуй, ни до свидания: «Авива уже подмяла всех конкурентов и стала главным подрядчиком армии!» Имя снохи старый литвак произносил с придыханием.

В Яммите я был у них несколько раз. Первый раз на брит-мила¹. Авива родила сына, родила почти на ходу. Даже когда он пищал во время обрезания, она в соседней комнате отдавала по телефону какие-то распоряжения. Еще через год они построили виллу. На новоселье у них было «как в лучших домах»: Авива блистала декольте, Габи — не поверите! — был в пиджаке, гости расхаживали чинно, справлялись о происхождении люстры, о цене на паркет.

Я слонялся из комнаты в комнату, надеясь затащить Габи в какой-нибудь угол и расспросить, как же ему живет на самом деле. Я был уверен, что вся эта мишура его

¹ Брит-мила — обряд обрезания.

тяготит и он только и ждет, чтобы излить мне душу. Разговора не получилось, Габи отделялся общими словами — «все, старик, хорошо», — светски улыбался и тут же переходил к другому гостю. Я разозлился, сел в машину и посреди ночи поехал в Тель-Авив: раз я тебе не нужен, навязываться не будем!

Когда Бегин и Садат подписали соглашение о Синае, первая мысль была о Габи. Что будет с ним, с семьей, с бизнесом — ведь они вложили в дело все, что имели! Куда они вернуться?

Я позвонил в Яммит.

— Живите у меня сколько хотите.

— Мы не собираемся никуда уезжать, — холодно отрезал Габи.

— Но ведь отдают...

— Это вы отдаете, а мы — нет!

Больше я с ним не говорил, но не сомневался, что увижу Габи в числе упрямцев, которые будут сопротивляться до конца.

Увидеть Габи мне не пришлось: смотреть кадры из Яммита или интервью на улицах было невыносимо. «Там лежат мои ноги, я не хочу, чтобы их отдали арабам», — кричал инвалид. Пожилая женщина падала в обморок: «У меня погибли муж и сын — во имя чего?» Казалось, души людей, а вместе с ними и душа всей страны рвется на части.

В апреле, когда все кончилось, я понял, что должен уехать. Хоть на неделю, но уехать. Иначе не выдержу. Одного понимания, однако, было недостаточно, нужно было придумать, куда ехать, заказать билет, гостиницу, нужно было шевелиться. Сил на это не было; днем я почти не выходил из кабинета, а после девяти, когда заканчивали работу корректоры, уезжал домой, ложился на диван и тупо глядел в потолок. Часам к одиннадцати с трудом поднимался, заставляя себя принять душ, почистить зубы и ложился в постель. Так продолжалось несколько недель; я чувствовал, что проваливаюсь в бездну.

10. «ПРЕЗРЕННЫЙ ЖИД, ПОЧТЕННЫЙ СОЛОМОН!»

Когда дело к войне, реформаторы уходят.

17 марта 1812 года после двухчасовой аудиенции у государя Михаил Михайлович Сперанский был отстранен от всех должностей и удален из столицы в Нижний Новгород.

Многочисленны враги Сперанского, тяжки обвинения клеветников и доносчиков. Приписывали ему и измену, и продажу государственных тайн, и желание вызвать ненависть к правительству путем увеличения налогов и преднамеренного расстройтва финансов. Оговоры противоречили один другому, тем не менее, чьей-то умелой рукой они сплетались в единую интригу, целью которой было скомпрометировать реформатора в глазах государя. Впрочем, Александр вникать в дело не стал, заявил Михаилу Михайловичу, что «ввиду приближения неприятеля» не имеет возможности проверить возведенные на него обвинения. Инициатору плана государственных преобразований, автору нового гражданского уложения — свода законов, человеку, сумевшему навести порядок в расстроженных финансах страны, было указано на дверь.

Когда дело к войне, патриоты в цене.

Девятого апреля государственным секретарем вместо Сперанского был назначен адмирал Александр Семенович Шишков. Не талант полководца, не государственный ум привлекли императора в этом человеке, но его неумный патриотизм, открытая франкофобия и... сочинительские способности. Обласканный в свое время императором Павлом Петровичем, Шишков написал хвалебную оду и на восшествие Александра, но очень скоро обнаружил, что человеку его взглядов нет места в окружении молодого государя. Озлобившись против реформаторов, «которые получили нерусское воспитание», Шишков отстранился от государственных дел и полностью отдался

занятиям словесностью. В 1811 году он выпустил трактат «Рассуждение о любви к отечеству», в котором утверждал, что «воспитание юношества ни в коем случае не должно быть чужеземным». Прочитав сей труд, государь, прежде Шишкова не жаловавший, решил, что сейчас этот человек ему пригодится.

Чем ближе к войне, тем яснее становилось государю — нет у него полководца, который мог бы противостоять Злодею. Чем ближе к войне, тем лучше понимал он военного министра Барклая де Толли, толковавшего, что одолеть Наполеона можно лишь с помощью хитрой, долгосрочной стратегии. Не армией победит Россия, внушал де Толли, а своими просторами, в коих затеряется супостат и растратит свои силы. Не пехотой, кавалерией или артиллерией, но всем миром — войском, ополчением, партизанами — будет бита армия Наполеона.

Мысль превратить соперничество с французским монархом в войну народную показалась Александру спасительной. Однако ж для этого нужно было возбудить в народе патриотическое настроение. Кто мог исполнить этот замысел? Конечно же, не Сперанский. Может быть, Шишков?

В отличие от прежнего статс-секретаря, имевшего множество обязанностей, Шишкову государь доверил одну — сочинять приказы, рескрипты и манифесты. Манифесты же, написанные самим Шишковым или по его заказу, были не чем иным, как переложением ветхозаветных псалмов, а то и прямым переводом библейских текстов. Библейские сюжеты стали популярны в обществе. На сцене императорского театра, где до того играли трагедию А. Шаховского «Дебора, или торжество веры», шла трагедия П. Корсакова «Маккавеи». Идеологическая обработка возымела тот результат, что новое, необычное для российского общества состояние гражданской ответственности за судьбу страны стало ассоциироваться в умах людей с борьбой древних иудеев за освобождение Израиля.

Удивительно, но эти ассоциации никак не сказались на отношении к потомкам тех самых древних иудеев. Правда, правительство приняло меры по привлечению еврейского населения в пользу нового отечества. Губернаторам западных губерний было указано разъяснять еврейским обществам, что наполеоновский Синедрион «погубит иудейскую веру», а в марте 1812 года государю был подан доклад, рекомендовавший остановить выселение евреев из деревень, как того требовало «Положение 1804 года». Не желая плодить врагов среди своих подданных, государь доклад утвердил, однако о какой-либо пользе от евреев в предстоящей войне не помышлял вовсе.

Вышло по-иному.

Главные сражения войны разгорелись в Литве и Белоруссии, и от симпатий местных жителей немало зависел ход военных действий. Польское население — добрая половина жителей края — симпатизировало Наполеону, не говоря уже о том, что 80 тысяч поляков сражались в Великой армии. Евреи же стояли на русской стороне — прятали русских курьеров, служили проводниками, снабжали русских командиров сведениями о расположении неприятеля, помогали русским отрядам продовольствием и фуражом. Неприятель знал, что евреи помогают русской армии; поляки грозили «всех их перерезать», французы издевались над ними как могли. Если еврейские лазутчики попадали в руки солдат Наполеона, их вешали или расстреливали безо всякого разбирательства.

Почему же русские евреи не поддержали французского императора, чья победа сулила им гражданское равноправие? Наверное, по той же причине, по которой русские крестьяне шли с вилами и пиками против солдат Наполеона, который, наверняка, отменил бы в России крепостное право. Невежество массы, корыстный расчет ее поводырей — вот тому причина.

И правда, что мог знать еврей-коробейник из белорусского местечка или корчмарь из украинской деревни о Ве-

ликой французской революции, о Декларации прав человека и гражданина? Что он мог знать о Grand Sanhedrin — Великом Синагоге, который французский император, любитель величественных жестов, созвал, чтобы привлечь на свою сторону евреев Европы? Что он мог знать о намерениях Наполеона, которого евреи в самой Франции считали одновременно и освободителем и поработителем?

Ничего толком не знали об этом и раввины, и кагальная верхушка, но одно им было ясно: победа Наполеона принесет в Россию смуту, брожение умов, разрушение того порядка, на котором зиждется власть кагала, цадика и раввина. История сохранила слова вождя белорусских хасидов Залмана Шнеерсона, он же Залман Борухович, по поводу войны Александра с Наполеоном. «Если победит Бонапарт, — пророчествовал рабби Залман, — богатство евреев увеличится и положение их поднимется, но зато отдалится их сердце от Отца небесного; если же победит Александр, сердца еврейские приблизятся к Отцу нашему, хотя и увеличится бедность Израиля и положение его унижится». Бесхитростные, право, были времена!

Государь знал об услугах, которые российские евреи оказывали его армии. Знал он и о подвигах людей, которые поплатились жизнью за преданность отечеству. В июне 1814-го в баденском городе Брухзале Александр торжественно выразил еврейским кагалам свое милостивейшее расположение и обещал дать определение «относительно улучшения положения евреев в империи».

Лукавил ли государь, находился ли он под впечатлением патриотического возбуждения среди евреев Литвы и Белоруссии или искренне склонен был облегчить их участь, мы не знаем. Знаем лишь, что обещание свое он не выполнил.

Отгремели сражения, отрекся от престола и отправился в изгнание Наполеон, Венский конгресс, установивший в

Европе новый порядок, расширил пределы Российской империи. Пришла пора вспомнить о судьбе теперь уже двух миллионов российских евреев, которые ютились на небольшой полосе земли вдоль западных границ России.

И о них вспомнили.

Какие только эксперименты ни ставило правительство над евреями! Одно время государь, находясь под влиянием министра духовных дел и религиозного мистика князя Александра Голицына, задумал было привлечь евреев к христианству и разом покончить с еврейской проблемой, то есть с многочисленными проблемами огромной массы людей.

Миссионерство окончилось ничем: желающих принять крещение сосчитали по пальцам. В то же время правительству открылась другая проблема: в центральных, исконно русских, губерниях обнаружилось многочисленное секты субботников, молокан и других иудействующих. По какой причине православные люди обращались в близкое к иудейству вероучение, правительство не знало, но виновными оказались... евреи. Репрессии не заставили себя ждать. Указом 1820 года евреям запрещено было брать в домашнее услужение христиан, арендовать помещичьи земли с крестьянскими душами, пользоваться трудом крестьян... при уборке сена. А когда верх при дворе взяла партия Аракчеева, правительство решило возобновить выселение евреев из деревень, остановленное накануне Отечественной войны. Указом от 11 апреля 1823 года государь вновь обрек десятки тысяч людей на изгнание с насиженных мест, разорение, скитания.

Нет, не искупил император Александр своего страшного греха — ни в ожидании грядущей битвы с Наполеоном, ни в годы войны, ни позже, в зените славы, не решился он дать свободу русскому крестьянину. Точно так же не решился он разрушить и крепостную стену, за которой заперты были его еврейские подданные.

Черта оседлости — государство в государстве — стала родиной российских евреев. Здесь суждено им было жить компактно, самобытно, автономно. Здесь они молились своему Богу, говорили на своем языке, рождались и умирали по своим обычаям. Русский мир был от них бесконечно далек, русский язык непонятен, русский человек в мундире жандарма или чиновника наводил на них страх.

И русскому обществу еврейская жизнь была совершенно чужда. О религии евреев русские люди ничего не знали, бытовые обычаи обитателей местечек казались им смешными, еврейская замкнутость их настораживала, возбужденность хасидских масс пугала. Общее же мнение сводилось к тому, что евреи — элемент чужеродный и для российской жизни никак не пригодный.

Впрочем, все это касалось «иудеев вообще», но, когда кому-то из русских людей доводилось столкнуться с тем или иным евреем, часто оказывалось, что это ничуть не страшный, нередко разумный, а то и — ну, это, конечно, исключение! — приятный человек. Это про него Поэт сказал: «Презренный жид, почтенный Соломон!»

11. ОСТРОВ ДЯДИ ОСИ

В мае 1982 года, когда Синай окончательно отошел египтянам, общественная истерика улеглась, каждый остался со своей болью и пытался справиться с ней, как мог. Оставили в покое и меня. Облегчения, однако, не наступило; я продолжал погружаться в пучину отчаяния и одиночества.

Спасение пришло неожиданно. Как-то, вернувшись поздним вечером домой, я вынул содержимое почтового ящика и начал выбрасывать рекламу. В глаза бросился конверт с иероглифами. Это еще что за реклама? Это была не реклама. На письме стоял штамп японского посольства в Лондоне.

По-правде, все началось еще в апреле, в разгар всеобщей истерии. Началось с визита генерального директора. Явился он в мой кабинет без всякого повода, начал издали.

— Плохо выглядишь, не съездить ли тебе в отпуск?

— Съезжу как-нибудь, теперь не могу — у меня двое в милуим, одна за границей. Работать некому.

— Понятно, понятно. Ну, а над чем трудимся?

— Одна сейчас тема...

Тут он перешел к делу.

— Послушай, я тебе вот что скажу. Не ты один, все мы понимаем, что отдать Синай необходимо. Но мы не должны превращаться в рупор... одной стороны. Мы — газета для всех. Дай высказаться другим, ты уже все сказал. Слышал анекдот? «Бегин решил уволить Шамира¹. Почему, спрашивается? А ему больше не нужен советник, он вечером читает «Маарив», а утром делает все так, как ты напишешь».

Этого анекдота я не слышал, но о чем идет речь, понял. Шеф принадлежал к верхушке Маараха, куда дует ветер, знал не понаслышке. А направление его, как видно, изменилось. Вначале Маарах активно поддерживал соглашение с Египтом, но, когда начались массовые протесты против возвращения Синая, когда бывшие соратники принялись демонстративно сжигать портреты Бегина, Перес, видимо, решил, что Ликуд зашатался.

О чем же мне писать, об острове Пасхи, что ли?

— Ты совсем забросил русских. У них, кажется, проблемы с «Островом свободы»?

— Что это за тема, кого сейчас интересует Куба?

— Нет неинтересных тем, есть неинтересные статьи...

Шеф ушел, слово «остров» осталось. Во всяком случае, просматривая на следующее утро телексы информационных агентств, я обратил внимание на сообщение Рейтер.

¹ Ицхак Шамир — министр иностранных дел в правительстве Бегина (1977—1983).

«Министр иностранных дел СССР А. Громыко, отвечая на требование Японии вернуть ей Курильские острова, заявил: “Чужой земли не хотим, но и своей не отдадим. На том стояли и стоять будем”». Забавно, советский министр заговорил языком русских царей допетровской эпохи! Но, если всерьез, почему Советы так упорствуют с Курилами, ведь возвращение пустынных скал в океане обернулось бы для них золотым дождем с Японских островов?

Я увлекся, перелопатил кучу материалов, выведал мнение американцев насчет военного значения Курил. В конце концов, пришел к выводу, что кремлевские геронтократы просто не хотят этим заниматься. Им — лишь бы никаких перемен! Изложил свои соображения, нашел удачные фотографии. Собой остался доволен — раз о Синае слушать не хотите, посмотрите, как делают глупости другие: может быть, вам это что-то напомнит?

Моя статья никому ничего не напомнила, наш читатель по аналогии мыслить не привык, так уж он воспитан: мир — одно, мы — другое! Через несколько дней, однако, телефоны в редакции стали обрывать из-за границы. Звонили японские журналисты и дипломаты из европейских столиц и из самой Японии. «Как понимать этот сигнал?», «Кто автор, с кем он связан в Москве?», «Он человек Андропова или Громыко?» Сотрудники заглядывали в мой кабинет с испуганными рожами: «Возьми же трубку, черт возьми!» Я трубки не брал, никому никаких объяснений не давал, про себя посмеивался.

Через неделю история забылась, но продолжение последовало: атташе по культуре японского посольства в Лондоне пригласил меня прочесть лекцию в летней школе журналистики, которую МИД его страны организовал для начинающих журналистов. Гонорар такой-то, гостиница такая-то, занятия начнутся первого июня и будут проходить в здании школы для солдатских дочерей в Хэмпстеде. Билет вам пришлют, а гонорар будет выплачен по прибытии в Лондон.

Дорогой мой, да это не ты мне, это я тебе гонорар за-
платить должен!

На следующий день я уже ни о чем не мог думать — пе-
ред глазами стоял Хэмпстед.

Дядя Ося старше мамы на 16 лет. В январе 1917-го он
окончил факультет права Петроградского университета, а
уже в апреле, когда царские законы отменили, записался в
Коллегию адвокатов и сразу же поступил помощником к
присяжному поверенному, специалисту по международному
праву, который поручил Осе заниматься делами Британско-
го посольства. Ося тут же обзавелся трубкой и тросточкой,
держаться стал степенно, смотреть — свысока, кланялся — с
достоинством. Однако после убийства немецкого посла гра-
фа Мирбаха в июле восемнадцатого он помрачнел, замкнул-
ся, стал чего-то опасаться. Да и дома ночевал все реже и реже,
а потом и совсем исчез. Месяц его разыскивали и уж начали
было оплакивать, как неожиданно получили от него письмо.
Писал Ося из Крыма, сообщал, что жив и здоров, а о даль-
нейших планах известит позже.

Следующее письмо пришло из... Лондона.

Что с ним тогда стряслось, как он оказался в Лондоне,
никто никогда не рассказывал. Помню лишь, как дедушка
любил повторять: «Ося — умница, вовремя сообразил — от
большевиков надо удирать». Бабушка при этом мрачнела и
с каким-то загадочным видом кивала головой.

До войны письма от Оси время от времени приходили.
Писал он, что женился на беженке из России, произвел на
свет дочь Анну, сдал экзамен на звание барристера и при-
нят в Британскую Коллегию адвокатов.

Дедушка очень этим гордился.

— Вы знаете, кто такой барристер? Это королевский
адвокат, высший чин в британской адвокатуре. Поду-
мать только, наш Ося выступает в суде в мантии и пари-
ке! Даже в старые времена я не слышал, чтобы иностранец
стал барристером.

Тут дедушка обычно пускался в длинные рассуждения о британской юридической системе, но бабушка его непременно прерывала:

— Ну, так не стал бы Ося барристером — большое дело! Главное, что он теперь британский подданный. Англичане такие милые люди, не представляю себе, чтобы англичанин был антисемитом!

После войны письма от Оси приходят перестали, имя его упоминалось раз-два в год, когда бабушка доставала из комода завернутые в газету старые фотографии.

— Это тетя Мира, она умерла от голода в блокаду, это дядя Наум, он был профессором восточных языков. Это дядя Ося, он адвокат. Это ваша мама, это дядя Альберт, это Гришенька, мой младший.

Профессор восточных языков? Интересно!

— А где сейчас дядя Наум?

Вместо ответа бабушка начала спешно собирать фотографии, а сестра Ная, которая была на четыре года старше, ни с того, ни с сего зашипела:

— Все тебе надо знать, иди лучше уроки делай.

Что я сказал плохого?

На моей памяти дядя Ося был в Израиле дважды. Первый раз — вскоре после нашего приезда. Вел он себя не как другие родственники, встречи с которыми сопровождались морем слез, разговорами до утра и нескончаемыми завтраками, обедами и ужинами. Остановился он в гостинице, позвонил, спросил, когда можно прийти. Ни слез, ни объятий, ни поцелуев. Высокий, медлительный, он говорил ровным, тихим голосом, а если и улыбался, то лишь своими большими выпуклыми глазами. Не выпуская изо рта трубку, он с интересом расспрашивал дедушку, как ему работалось, были ли у него неприятности по службе, удавалось ли выигрывать дела.

— Какие дела в ссылке! А когда вернулся, дали пенсию. Целых двадцать шесть рублей. Ну, а ты как прожил все эти годы?

— У меня все сложилось благополучно. Приехал в Лондон. Сразу же купил дом в Хэмпстеде. Через год Тамара родила дочь. После родов у нее началась болезнь сердца. Умерла она в 42-м. Больше я не женился. Аня окончила колледж, работает учительницей. Замужем не была и, наверное, уже не будет — ей ведь под сорок... Живем вместе, дом доставляет много хлопот. Работал? Все время адвокатом. Во время войны был на государственной службе, провел четыре года за границей. Потом вернулся к адвокатуре.

Ровно через час дядя Ося поднялся.

— Мне пора, надеюсь, у вас все сложится хорошо.

Второй визит дяди Оси запомнился мне больше: то ли он держал себя иначе, то ли я стал старше. Ося с удовольствием пил чай, хвалил мамино варенье, курил трубку и рассказывал разные истории из своей практики. Меня особенно удивил рассказ о том, как он выиграл дело о наследстве композитора Сергея Прокофьева.

— Ну, а что представляют из себя англичане, как ты с ними уживаешься? — спросил папа.

— Очень консервативны, очень. Забрел я однажды с Шагалом в галерею Тэйт, там была выставка абстрактного искусства. Стоим, обсуждаем картину Татлина. Неожиданно подходит коллега, лорд Йовит, один из лучших адвокатов Британии, образованнейший человек. И что бы вы думали? Он с гневом обрушивается на абстрактную живопись, а ее ценителей называет... кретинами. Мне стало стыдно перед Марком. Решительно консерваторов не принимаю. Всегда поддерживал лейбористов.

Тут дядя Ося рассказал, как однажды встретил в метро Belsize Park только что избранного премьер-министром Рамсея Мак-Дональда, который ехал в Палату общин представлять первое правительство лейбористов.

— Конечно, публика в Хэмпстеде консервативна, все вели себя сдержанно, но я подошел и демонстративно пожал ему руку.

Ого, вот так дядя Ося — работает с лордами, на выставку ходит с Шагалом, в метро ездит с премьер-министром!

На замечание мамы: «Куришь ты много» — Ося улыбнулся и сослался на Черчилля.

— Ему уже за восемьдесят, но он до сих пор выпивает полбутылки виски, а сигару не вынимает изо рта. И при этом никогда не болеет. А знаете, в чем секрет? Сэр Уинстон лишь два раза в жизни опоздал к обеду!

Не знаю, следовал ли Ося примеру Черчилля, но, когда через несколько лет я навестил его в Лондоне, он уже был привязан к инвалидному креслу — ноги ему отказали.

Первый раз в Лондон я попал со школьной экскурсией. Мне не было еще шестнадцати, и учительница, нас опекавшая, согласилась отпустить меня к родственникам при условии, что те сами заберут меня и сами же привезут обратно. Я позвонил Осе. Он промычал что-то неопределенное, но после длительной паузы попросил перезвонить через полчаса. Я перезвонил.

— Аня тебя заберет.

Стареющая полноватая дама в длинном платье, в шляпке с бантом и какой-то несуразной сумкой в руках появилась в нашем пансионе часа через два. Она удивительно походила на бабушку, разве что была выше и крупнее. Я смутился, повел ее к учительнице.

— Это моя кузина.

В метро мы ехали долго.

— Как чувствует себя дядя Ося? — спросил я по-английски, решив, что Ане не понравится, если я буду говорить по-русски.

Она неодобрительно покосилась на меня.

— Ты что, забыл по-русски?

— Нет, конечно, но в метро люди...

— Это дурно — подстроиться под кого-то. Папа презирует русских, которые пытаются делать себя как британцы. Мы с ним всегда говорим по-русски.

Да? Странно, почему же у тебя такой плохой русский?

Я чувствовал себя неловко, лихорадочно соображал, что бы ей такое сказать. Она безучастно смотрела в окно вагона.

Наконец мы приехали и выбрались на поверхность. Хэмпстед очаровал меня в первую же минуту. Старые дома утопали в зелени, каменные заборы, а частью и тротуары были покрыты мхом, от вековых елей шел запах лесной сырости. Было тихо и пустынно; на всем пути до Glenmore Street, где жил Ося, мы повстречали двух-трех джентльменов, которые вели на поводках своих собачек. Какой удивительный контраст с нашими жаркими, полными света, людей и звуков улицами!

Дом дяди Оси состоял из трех этажей. На первом — гостиная, кухня и кабинет. Вдоль лестницы на второй этаж тянулись маленькие рельсы. Бросилось в глаза: стены и в коридорах, и в комнатах увешаны старыми гравюрами.

Аня повела меня в гостиную:

— Посиди, я пойду посмотреть папа.

Я принялся разглядывать гравюры — небось, старинные английские! Но нет, мои близорукие глаза различили русские надписи: «Аничков дворец», «Казармы Павловского полка», «Гуляние на Невском». Стены были увешаны исключительно старыми русскими гравюрами с видами С.-Петербурга. Вот тебе на!

Наверху что-то заскрипело, жажужжало — со второго этажа по рельсам спускался в кресле дядя Ося. Он протянул мне руку:

— Вот, теперь прикован к этому дурацкому стулу. Ладно, ничего. Ну, рассказывай как дома?

Я начал рассказывать. Аня принесла чай и, слова не сказав, удалилась.

— Выпьем по чашке, вечером будут гости, Аня подаст пирог с яблоками. Ты любишь пирог с яблоками?

— Мне нужно будет уйти...

— Чего так? Оставайся, тебе будет интересно.

Гости вваливались шумно, трижды чмокались с Аней, пожимали руку Осе, который тут же представлял меня:

— Этот молодой человек из Израиля, он собирается изучать русскую литературу.

Гости произносили что-то вроде «О, да!», пожимали мне руку, представлялись.

— Меня зовут Наталья Семеновна Франк-Норман. Ваша семья, кажется, из Петербурга?

— Вырубов.

— Баронесса Будберг.

— Бенкендорф.

— Саломея Гальперина.

Высокая, в обтягивающем фигуру платье и в какой-то невероятной шляпке-чепчике, эта дама поразила меня своей красотой. Я почему-то подумал, что так должна была выглядеть библейская царица Эстер. Смутившись, я с трудом произнес «здрасьте».

Впрочем, обо мне быстро забыли, я пришел в себя, начал прислушиваться, о чем говорят. Следить за разговором было нелегко. Начав со Сталинае, которого все явно не любили, гости неожиданно перешли к Алексею Толстому, от него к Горькому и, наконец, дружно обрушились на «этих консерваторов, которые организовали травлю коммунистов». Когда же речь зашла об Эренбурге, поднялся шум и гам.

— Звонили Арагоны из Парижа, — покончив с чаем, сообщила красавица Саломея. — Они только что вернулись из Москвы, полны впечатлений. Юбилей Эренбурга прошел великолепно: бесконечные гости, бесконечные телеграммы и звонки. Море цветов. Прием в Союзе писателей, прием в Кремле, орден Ленина...

— Ну что ж, два Иосифа на шее у него уже есть, теперь будет Владимир в петлице.

— Просто непостижимо: автор «Молитвы о России» в роли Вергилия сталинской империи!

Саломея горячо возразила:

— А что, по-вашему, жалкая роль писателя-эмигранта лучше? В России писатель — кумир общества, его читают миллионы, его знают миллионы...

— А Анна Андреевна? А ваша любимая Марина?

— А ваш любимый Набоков? Вышел ли он хоть раз тиражом больше тысячи? Да кто вообще знает это имя?

И пошло, и поехало!

Я окончательно потерял нить разговора и решил, что мне пора. Заверив Осю, что хорошо запомнил дорогу, я вышел, не попрощавшись с гостями, и медленно побрел в сторону метро. Английская речь и вид здорового негра, дежурившего у входа в подземку, вернули меня из России в Лондон.

В студенческие годы и позже, став журналистом, я часто бывал в Лондоне, и всякий раз старался навестить Осю. Правда, дядя никогда не был особенно радушен, но я просто не мыслил себе Лондона без чашки чая в его запущенной гостиной. Набирая номер телефона в Хэмпстеде, я всякий раз чувствовал, что напрашиваюсь, но утешал себя мыслью, что делаю это ради мамы, которая непременно спросит: «Как там Ося?»

Шли годы, и в какой-то момент я понял, что тянуло меня в дом на Glenmore Street. В этом доме начинались, сходились — или, может быть, обрывались — таинственные связи между прошлым и настоящим, между моим миром и миром неведомых мне, но таких разных, таких непохожих друг на друга и разбросанных по разным странам родственников.

И правда, какая связь существует между тетей Мирой, которая отказалась эвакуироваться из блокадного Ленин-

града, не желая оставить без присмотра коллекции в Русском музее, и дядей Наумом, слывшим крупным ученым-востоковедом, непонятно за что угодившим в ГУЛАГ, откуда он уже не вернулся? Что общего между дядей Гришей, который в семнадцать лет вступил в Красную армию, сражался за советскую власть, воевал в Испании, стал командармом авиации, а потом бесследно исчез в том же ГУЛАГе, и его старшим братом Альбертом, уехавшим в молодые годы в Америку и оставившим там большое семейство и немалое состояние? Какие ниточки связывают мою маму, которая мечтала только о том, чтобы мы когда-нибудь добрались до Святой Земли, и ее братьями, не имевшими никакого отношения ни к избранному народу, ни к его исторической родине? Какая связь существует между мной и моими американскими кузенами, внуками дяди Альберта, знающими о своем прошлом разве то, что «дедушка Эл приехал в Штаты откуда-то из Старого Света»?

Помню, в те годы я упорно старался постичь тайны нашего семейства. И, прежде всего, мне хотелось понять, кто же такой мой загадочный английский дядя.

Внешне Ося походил на англичанина: он был подтянут, сдержан, носил бриджи, твидовый пиджак, курил трубку. Однажды он признался, что, когда в молодости ему предложили работать на британское посольство в «старом Петербурге», он был счастлив. Но это же явилось и причиной «несчастья» — вынужденного бегства из России. «После переворота в семнадцатом большевики затеяли террор против британского посольства: убили военного атташе, на очереди были другие сотрудники, пришлось скрываться, а потом бежать». Удивительно, но его «английскость» мгновенно улетучивалась, когда речь заходила о России. Тут он становился отчаянным спорщиком, не желал никого слушать, кричал и жестикулировал, словно депутат Кнессета.

Ося не любил Ленина, Сталина и «большевиков вообще». Но он с пеной у рта защищал Советский Союз от

«нападок британских тори и вашингтонских маккартистов». Ося избегал резких слов в адрес Израиля, но интонации, с которыми он произносил «я — не сионист», выдавали все, что он думал о нашей стране. Ося был совершенно нерелигиозен, уверял, что ни разу в жизни не был в синагоге, а евреев с Ист-Энда называл «существами экзотическими». Вместе с тем, самой большой трагедией своей жизни считал он... крещение дочери!

Когда Аня была ребенком, ей взяли английскую няню, потом отправили в дорогую престижную школу. Через какое-то время девочка почувствовала себя англичанкой и начала стесняться родителей с их русским акцентом и русскими привычками. Родители спохватились и принялись делать все возможное, чтобы привить дочери любовь к России, к русскому языку и русской культуре. Они водили ее в русские дома, отправляли на лето в лагерь для русских девочек, водили на русские спектакли. Это возымело результаты: появились русские друзья, возникли новые привязанности, из которых самой серьезной стала любовь к русской поэзии.

При всем том и в русской среде Аня не чувствовала себя своей. Стержнем русской жизни в зарубежье была церковь. От христианского мироощущения — с чем Ося готов был мириться — до формального крещения был один шаг: пылкая любовь и надежды на замужество привели Аню в церковь. Замужество по какой-то причине не состоялось, но для Оси, нерелигиозного, не желавшего иметь ничего общего с пейсатыми сородичами с Ист-Энда, равно как и с просионистами из высшего английского общества, крещение дочери было сильным ударом. Инвалидное кресло и мучительная тоска по счастливым петербургским временам — таков был удел его старости.

Я так никогда и не узнал, что это было за золотое петербургское время и существовало ли оно в действительности, но когда в мае 82-го я летел в Лондон, то уже хорошо понимал, что роднило меня с Осей. Одиночество. Одино-

чество человека, пытавшегося остаться верным самому себе, своим мало кому понятным идеалам.

12. СЕСТЬ, СУД ИДЕТ!

Драма в трех действиях с последствиями

Действующие лица

Председатель суда: Николай Павлович Романов, Император Всероссийский.

Главный обвинитель: Николай Николаевич Хованский, князь, генерал-губернатор смоленский, витебский и моголевский.

Обвинение: Иван Иванович Дибич, генерал-квартирмейстер, начальник Главного штаба Е.И.В., а также: Сенат, Государственный Совет, офицеры, священники, купцы, мещане, прочие.

Следственная комиссия:

Страхов, судебный чиновник, председатель Комиссии, Шкурин, полковник, флигель-адъютант, следователь по особо важным поручениям, а также: жандармы, следователи, полицейские, судебные чиновники.

Защита:

Виктор Никитич Панин, граф, исправляющий должность товарища министра юстиции; Николай Семенович Мордвинов, адмирал, председатель Комиссии Сената по гражданским и духовным делам.

Секретарь суда.

Доказницы:

Марья Терентьева, нищенка, распутная баба, Авдотья Максимова, солдатка, кормилица в еврейском доме,

Прасковья Козловская, шляхетка, прислуга в еврейском доме,

Еремеева, крестьянская девка, юродивая.

Свидетели обвинения:

Петрица, учитель,

Азадкевич, сапожник,

Тарашкевич, униатский священник,

Грудинский, бродяга, крещеный еврей,

Падзерский, ксендз,

Ответчики:

Гирша Цейтлин, 60 лет, ратман городского магистрата,

Ханна Цейтлина, 50 лет, жена Гирша Цейтлина, содержательница шинка,

Шмерка Берлин, 59 лет, купец,

Славка Берлина, 54 лет, жена Шмерки Берлина,

Иосель Гликман, 48 лет, занятия неизвестны,

Давка Гликман, 14 лет, сын Иоселя Гликмана,

42 еврея и еврейки города Велиж от 12 до 63 лет,

Евреи Гродно и Вильно, евреи Белоруссии, евреи Российской Империи.

Действие первое

Судебная палата. Все стоят. Входит император. Оглядывает присутствующих, усаживается в председательское кресло. Кивает секретарю.

Секретарь. Высокопочтиму суду предлагается сесть. (Смотрит на императора.) Император кивает.

Секретарь. Августейшей волей Его Императорского Величества судебное заседание открывается. (Смотрит на императора.)

Николай I. Читай.

Секретарь. Слушается дело об умерщвлении евреями солдатского сына Емельянова Федора с целью извлечения христианской крови для совершения иудейских обрядов (Смотрит на императора.)

Николай I. Читай дело.

Секретарь. В конце апреля 1823 года на придорожной кочке близ города Велиж был найден мертвым солдатский сын Федор Емельянов трех лет отроду. Тело его было чем-то в нескольких местах прорезанным. Мать Федора, Агафья, заявила следственной комиссии, что какая-то женщина, оказавшаяся Марьей Терентьевой, развратной нищенкой, предававшейся пьянству, погадав еще до нахождения ребенка, сказала ей, Агафье, что Федор находится в доме еврейки Мирки. Это подтвердила и больная девка Еремеева, которая много предугадывает. Тогда отец ребенка солдат Иван Емельянов заявил, что по всем замечаниям в пронзении сына видно, что загублен он евреями. Следствие незамедлительно учинило обыск в доме Мирки Аронсон, в коем, кроме Мирки, проживали ее дочь Славка со своим мужем Шмеркой Берлиным, их сын Гиршка с женой Шифрою, другая дочь Лайка со своим мужем Янкелем. Тела Федора найдено не было.

Тогда Терентьева показала, что видела, как содержательница шинка Ханна Цейтлина вела мальчика Федора за руку.

Показанию Терентьевой была придана полная вера, Цейтлины и Берлины были взяты на подозрение. Поскольку у места, где лежал труп, были обнаружены следы брички, подозрение пало еще и на прибывших в этот день в Велиж Иоселя Гликмана и его сына Давку.

15 декабря 1823 года полиция представила следственный материал городовому магистрату, который совместно с поветным судом расследовал дело и вынес резолюцию: «Коль скоро христианам к убийству его — ребенка — никаких поводов не было, тем падче, что сей мальчик денег при себе не имел, то полагать надо, что сделано такое из недоброжелательства к христианам евреев, и такое умерщвление мальчика необыкновенным образом отнесть следует на евреев; токмо кто именно причиною — не дойдено, а потому смерть его предать воле Божьей, умерщвление же оставить в сомнении на евреев. Дело передать в Витебский главный суд».

22 ноября 1824 года Витебский главный суд, пересмотрев дело, постановил оставить привлеченных евреев без всякого подозрения. Марью Терентьеву за блудное житье присудить к церковному покаянию. Дело закрыть.

Панин поднимает руку, смотрит на царя. Николай I кивает.

Панин. Ваше Величество, высокочтимый суд. Осмелюсь обратить внимание на то, что поветный суд не имел права возбуждать это дело, ибо еще 6 марта 1817 года Его Императорское Величество император Александр I высочайше повелел не возбуждать против евреев обвинений в убиении христиан с ритуальной целью, ибо обвинения сего свойства основаны на невежественных предрассудках и мифах древнейших времен.

Николай I. Ну, имел или не имел — дело прошлое. Я другого не понимаю: коль скоро дело закрыли, по какой же надобности мы тут собрались?

Хованский. По той, Ваше Величество, что дело сие отнюдь не закрылось, но, напротив, имело дальнейший оборот.

Николай I. Именно?

Хованский. Осенью 1825 года, когда Его Императорское Величество император Александр I проездом находился в городе Велиже, Терентьева, назвавшись солдаткой-вдовой, подала ему жалобу на то, что ее сын умерщвлен евреями, а ее просьбы не только не удовлетворены, но и сама она была в заключении. Император тогда и распорядился расследовать дело сызнова.

Николай I. Почему же светлой памяти брат мой Александр, вопреки собственному повелению, этак распорядился?

Хованский. О том всеподданейше увещевали его мы с их превосходительством генералом Дибичем, ибо в душе не сомневались, кто был виновником умерщвления мальчика.

Панин (с места). Я что-то не понял, чьим же сыном был убиенный: Емельяновых или Терентьевой?

Николай I. Вот и разберемся (Хованскому). Продолжай, князь.

Хованский. Исполняя волю государя, я незамедлительно создал следственную комиссию и поручил возглавить ее многоопытному судебному следователю господину Страхову. (Делает жест в сторону Страхова.) Доложи.

Страхов. Первым делом я распорядился арестовать Терентьеву...

Николай I (перебивает). Как арестовать, с какой целью?

Страхов. А с той, Ваше Величество, чтоб оградить ее от домогательств и подкупа со стороны евреев. Ну, и чтоб хмель из нее вышел.

Николай I. Правильно поступил. Дальше как было?

Страхов. 19 ноября Терентьева поступила в тюрьму, а уже 22 ноября созналась, что сама принимала участие в кровавом деле евреев совместно с солдаткой Авдотьей Максимовой, в течение девятнадцати лет служившей в доме Цейтлиных и вскормившей ихнюю дочь.

Николай I (Терентьевой). Признаешься в злодеянии?

Терентьева. Как не признаться, царь-батюшка.

Николай I. Покажи, как было.

Терентьева. Заманили мы, значит, Федора в дом Мирки, а они давай всей толпой совершать над ребенком разные мучительства: резали, кололи, источали, значит, из ребеночка кровь. А кровь христианская евреям нужна, чтоб натирать глаза новорожденным, которые у них рождаются слепыми. И чтоб с мукой смешивать, из которой они пекут пасхальный кулич. Источали, значит, они кровушку, источали, а когда полностью источили, мы с Авдотьей ему камень на шею повязали — и в колодец.

Панин (с места). Как в колодец, ребенок же был найден в лесу!

Николай I. Так в лес вы его снесли или в колодец бросили?

Терентьева (в растерянности). Запомняла я, царь-батюшка, запомняла. Слепая я.

Страхов (Терентьевой). Ты же при дознании показала, что вы с Максимовой и Козловской тело снесли в лес. Так было?

Терентьева. Так, так.

Николай I (Козловской). Можешь подтвердить, так было?

Козловская. Не виновата я, не виновата. Это все Марья да Авдотья.

Николай I (Максимовой). А ты?

Максимова. А так, значит, было. Заколотили мы его в бочку с гвоздями и давай катать да кровь выцеживать. А потом по ихнему научению повезли бочку с кровью в Витебск и Лезну, там разливали по бутылкам. Бутылки продавали местным евреям.

Николай I. Экое изуверство! Арестованы ли злодеи?

Страхов. Так точно, Ваше Величество, 8 апреля 1826 года были посажены в тюрьму Ханна Цейтлина и Славка Берлина. Всего под стражу взято сорок два еврея и еврейки.

Николай I. Сознались в злодеянии?

Страхов. Упорствуют, Ваше Величество, упорствуют. Однако ж на очных ставках с доказчицами впадают в припадок и разные движения, доказывающие их виновность, делают.

Хованский. Оно и понятно, ведь злодеяния сего рода им обыкновенны. Обвинение надо бы предъявить всем евреям...

Николай I (во гневе). Раз оное происшествие доказывает, что жида оказываемую им терпимость их веры употребляют во зло, то в страх и пример другим жидовские школы в Велиже запечатать впредь до повеления. Заседание закрываю. Суд отправляется в Витебск и Лезну для доследования на месте.

Действие второе

Судебная палата. Все стоят. Входит Император, оглядывает присутствующих, усаживается в кресло. Кивает Секретарю.

Секретарь. Высококочтимому суду предлагается сесть. (Смотрит на императора.) Император кивает.

Секретарь. Августейшей волей Его Императорского Величества судебное заседание открывается. (Смотрит на императора.)

Николай I (Шкуруину). Подтвердились ли, флигель-адъютант, показания доказчицы Максимовой о разлигии и продаже крови Федора в Витебске и Лезне?

Шкурин. Свидетелей разлигии крови по бутылкам и продаже оных ни в Витебске, ни в Лезне сыскать не удалось, Ваше Величество.

Николай I (Максимовой). Так ты лгала?

Максимова. Запаятовала я, царь-батюшка, запаятовала. Помню только, что они нас с Марьей в ихнюю веру обратили.

Николай I (с удивлением). Как это обратили?

Максимова. А так. Выкупали в Двине, а затем велели стать босыми на горячие сковородки.

Николай I (махнув рукой). Хорошо, расскажи лучше, как же с Федором было?

Максимова (приободрившись). Да что там Федор, мы ведь еще четырех деток умертвили. Для крови все, для крови...

Николай I (Шкуруину). Надо непременно узнать, кто были несчастные сии дети. Это должно быть легко, если (здесь Император помолчал) все это не гнусная ложь.

Хованский. Никак не ложь, Ваше Величество. Оно конечно, доказчицы — бабы невежественные, беспаятные, но есть и иные свидетели.

Николай I. Кто такие?

Хованский. Священник Тарашкевич, он вместе со следователями доказчиц увещевал.

Николай I. Вижу, как наувешевал! Кто еще?

Хованский. Сапожник Азадкевич, Ваше Величество, он доказниц в церковь сопровождал.

Панин (с места). Как можно? В деле записано, что Азадкевич за разные преступления был лишен чести и подвергся телесному наказанию. Не можно, Ваше Величество, верить этому человеку.

Николай I (Хованскому). Кто еще?

Хованский. Учитель Петрица, он книгу про употребление евреями христианской крови написал.

Николай I. Из жидов? Грамоту ихнюю знает?

Хованский. Униат он. По-ихнему не знает.

Николай I. Не годится. Кто еще?

Хованский. А еще явился в следственную комиссию мешанин Грудзинский, рожденный в еврействе, но принявший в зрелые лета крещение. Грудзинский сообщил, что нашел тайную еврейскую рукопись, которая предписывает евреям употреблять христианскую кровь. Там все что да как описано и даже инструменты для мучительства и отцеживания крови обрисованы. Пожалуйте взглянуть.

Николай I (листая книгу). Любопытно, любопытно. (Грудзинскому.) И ты подтверждаешь, что здесь предписано употреблять христианскую кровь?

Грудзинский (нечесаный, в рубище. Крестится). Истинный святой крест, Ваше Величество. Сам, будучи в ложной вере, с родней своей добывал кровь забитием младенцев.

Николай I (с недоверием смотрит на Грудзинского, затем обращается к Хованскому). А нет ли у тебя, князь, знатока этой грамоты из...

Хованский. Имеется, Ваше Величество. Ксендз Падзерский. Он тверд в том, что евреи кровь употребляют.

Николай I. Пусть переведет.

Вводят Падзерского. Падзерский читает про себя. Все ждут.

Николай I. Ну, что там сказано?

Падзерский. Здесь описываются правила забития скота по еврейской вере.

Николай I. Как скота, а нож? Тут же нарисован нож, приставленный к человеческому горлу? Написано-то тут что?

Падзерский. Написано, что нож этот — халав — должен быть отменно остер, чтоб резник не причинил животному лишних страданий. А коль будет он не остер или зазубрен, то к убою явится непригодным. Что до горла, сдастся мне, тут подрисовано.

Николай I (внимательно рассматривает рисунок, подзывает жандармского офицера). Посмотри, братец, не подрисовано ли?

Жандарм (вглядываясь в рисунок). Так точно, Ваше Величество, подрисовано.

Николай I (Грудзинскому). Уж не ты ли постарался?

Грудзинский (падает на колени). Пошадите, Ваше Величество. В пропитании нуждаюсь.

Николай I (в бешенстве). Сдать в солдаты. Тотчас, немедля!

Жандармы уводят Грудзинского.

Николай I (вытирает пот с лица). Продолжим. Что еще имеешь, князь?

Хованский (смущенно). Ваше Величество, Высокочтимый суд! Имею сообщить, что следствие, направив свои изыскания в глубь еврейской жизни, то есть захватив в большом количестве в синагогах и еврейских домах религиозные книги и подвергнув их внимательнейшей экспертизе, обнаружило многочисленные улики, свидетельствующие, что злодеяния сего рода евреям обыкновенны.

Николай I. И что ж за улики?

Николай I. Вот, Ваше Величество, «Обряды жидовские» — воистину обличительный документ!

Панин (с места). Как можно, книга сия исполнена была без дозволения цензурою. Главный цензурный Комитет признал ее подложной, распорядился изъять из продажи и начать расследование о ее происхождении. Не можно принять ее уликою.

Николай I (отодвигая книгу). Еще имеешь улики, князь? *Хованский*. Самым сильным подтверждением бесчеловечья, совершенного евреями в Велиже, считаю греческую книгу Неофита. Увы, Ваше Величество, сыскать ее не сумели.

Николай I (сердито). Как так не сумели? Сыскать непременно и безо всякого промедления!

Дибич. Уже исполнено, Ваше Величество. Отнято мной собственоручно при обыске у Пестеля. Вот, извольте.

Николай I. Молодец, Дибич. Однако ж много здесь писано. О крови что тут сказано?

Дибич. Сказано тут о кровавых каплях из воздуха и о болезнях, за поругания Отца нашего, Иисуса Христа, на евреев ниспосланных.

Николай I. А об употреблении христианской крови не сказано?

Дибич. Никак нет, Ваше Величество.

Николай I (Хованскому). Так что ты мне опять подсунул, князь?! (После продолжительной паузы обращается к Дибичу.) Удалимся-ка мы с тобой, генерал, в совещательную комнату.

Николай I и Дибич удаляются. Все встают.

Дибич возвращается один. Направляется к председательскому креслу, стоя зачитывает бумагу.

Дибич. Государь император, не видя, чтобы следствие, столь долго уже продолжающееся, приближалось к концу, и замечая, что следственная комиссия основывает свои заключения на догадках, на толковании припадков и отменных движений обвиняемых на допросах и очных ставках и на показаниях обвинителей, не получив ни одного признания от томящихся долговременно в неволе обвиняемых, опасается, что комиссия, увлеченная своим усердием и некоторым предубеждением противу евреев, действует несколько пристрастно и длит без пользы дело. Посему Его Величеству угодно, чтоб дело сие поступило на рассмотрение в Сенат. Пятого августа, сего, 1829 года.

Тишина. Звук падающего тела. Это падает замертво Страхов. Все тихо выходят.

Действие третье

Судебная палата. Все стоят. Входит Император, оглядывает присутствующих, усаживается в кресло. Кивает секретарю.

Секретарь. Высокопочтимому суду предлагается сесть. (Смотрит на Императора.)

Император кивает.

Секретарь. Августейшей волей Его Императорского Величества судебное заседание открывается. (Смотрит на императора.)

Николай I (генерал-прокурору Сената). Каков ход был дан делу?

Генерал-прокурор. Кроме следственного производства, Ваше Величество, в Сенат поступил исторический материал, в частности, выписки ксендза Падзерского из еврейских книг и прочей литературы, свидетельствующие о глубокой безнравственности еврейского народа и пролитии им христианской крови. Митрополит киевский Евгений прислал выписки из книги господина Пикульского, аттестовав ее как заключающую доказательства об умерщвлении евреями христианских детей. Князь Хованский, как имеющий прямое касательство к делу, представил обширную записку.

Николай I. Что ж порешили сенаторы?

Генерал-прокурор. Все сенаторы признали подсудимых заслуживающими суровой кары. Однако ж по поводу меры наказания возникло разногласие. А посему на статс-секретаря графа Панин, исправляющего обязанности товарища министра юстиции, была возложена обязанность пересмотреть дело, оставаясь всецело на юридической почве. Сосредоточив внимание на судебной стороне дела, граф Панин составил записку, доказывающую несостоятель-

ность обвинения, и читал сию записку в общем собрании Сената 15 сентября 1833 года. Из двадцати присутствующих 13 присоединились к записке, остальные остались при прежнем мнении и предложение графа Панина освободить обвиняемых отвергли. Ввиду сего разногласия дело было передано в Государственный Совет, где оно было представлено председателем Комиссии по гражданским и духовным делам адмиралом Мордвиновым.

Николай I (Мордвинову). Согласились ли вы, адмирал, с запискою графа Панина?

Мордвинов. Целиком, Ваше Величество, однако счел ее недостаточной.

Николай I. В чем же недостаточной?

Мордвинов. Ваше Величество, изучив дело, пришел я к твердому убеждению и намерен довести его до Вашего Высочайшего сведения. Дело сие обнаруживает один замысел: оговорить евреев. По какому-то сильному влиянию в него вовлечены и христианки, для вернейшего достижения своей цели принявшие на себя участие в убийстве. Изучив показания доказчиц, пришел я к выводу, что обвинение евреев в ужасных преступлениях имеет источником злобу и предубеждение и было ведено под каким-то сильным влиянием, во всех движениях дела обнаруживающимся. А так как дело в том виде, в каком оно было представлено Вашему Величеству и в Сенат, заключает в себе не частный вопрос происшествия в Велиже, но вековой вопрос об употреблении евреями христианской крови, то общее собрание Государственного Совета признало, что в основу сего мнения положено древнее против евреев предубеждение, решительно принимаемое следствием за достоверное. Посему Государственный Совет постановил евреев-подсудимых освободить, христианок-доказчиц отменно наказать, поручить министру внутренних дел подтвердить в губерниях с еврейским населением Высочайшее повеление от 1817 года.

Николай I. Что ж, высокочтимый суд, мы заседаем без малого девять лет. Пора и завершить дело. Читай, адмирал, резолюцию.

Мордвинов. Евреев, подсудимых по делу об умерщвлении солдатского сына Емельянова и по другим подобным делам, как положительно не уличенных, от суда и следствия освободить; доказчиц-христианок: крестьянку Терентьеву, солдатку Максимову и шляхтянку Козловскую, виновных в изветах, коих ничем не могли подтвердить, сослать в Сибирь на поселение; крестьянскую девку Еремееву за разглашение себя в простом народе предсказательницей отдать на священническое увещевание. Составлено в Санкт Петербурге 18 января 1835 года (Смотрит на царя).

Николай I (после долгого раздумья). Быть по сему. Однако же от себя считаю нужным прибавить, что, хотя по неясности в сем деле законных доводов другого решения последовать не может, внутреннего убеждения, чтобы убийство евреями произведено не было, не имею и иметь не могу.

Последствия

В конце января в Велиже получили указ: выпустить из тюрьмы оправданных евреев, распечатать закрытые в 1826 году синагоги и вернуть туда арестованные свитки Торы.

Шмерка Берлин, его зять Гирша, невестка Шифра и 14-тилетний Давка Гликман из тюрьмы выпущены не были, ибо задолго до того умерли от истязаний.

Марью Терентьеву отправили по этапу в Иркутскую губернию, а Авдотью Максимову с дочерью Глафирой — в Тобольскую.

Русское общество осталось при глубоком убеждении, что евреи христианскую кровь употребляют, хотя впрямую уличить их не удалось.

Особенно тверды сделались в этом убеждении царская семья и высшие государственные деятели. А чтобы придать этой твердости «фактическое» основание, министер-

ство внутренних дел издало ученый труд под названием «Розыскание об убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их». В «Розыскании», предназначенном исключительно для членов царской семьи и приближенных ко двору сановников, утверждалось, что нет того злодеяния, которое Талмуд не дозволил бы совершить еврею против христианина.

13. ЗВЕНЯТ МНОГОТРУБНЫЕ ДАЛИ

В Ленинград поезд шел четверо суток. Паровоз натужно пыхтел, отдувался, издавал невероятный рев по всякому поводу и засыпал пассажиров мелкой, въедающейся в глаза и уши угольной сажой. В купе было шумно и душно. Пассажиры давно перезнакомились, называли друг друга на ты, беспрерывно пили чай, закусывали, рассказывали разные истории, шутили и смеялись. Заводилой выступал сухой, жилистый дед, который то и дело прикладывался к бутылке, а приложившись, начинал задираť попутчиков: дородную тетку в чепчике, комсомолку, стриженную под мальчика, небритого угрюмого хмыря, всю дорогу не снимавшего телогрейки. Раззадорив кого-либо из соседей, дедок с довольным видом раскуривал самокрутку, выпускающая из беззубого рта клубы густого махорочного дыма. Дым этот, перемешиваясь с запахом квашеной капусты и вареных яиц, поднимался под потолок, где на верхней полке папа делал вид, будто ничего не видит и ничего не слышит.

Между тем дышать становилось все трудней, лицо покрылось испариной, рубашка сделалась мокрой, а от чемодана, что лежал вместо подушки, ломило голову и шею. «Чемодан держи под головой, а если встанешь, глаз с него не своди», — напутствовала бабушка. За чемодан папа не боялся, но спускаться ему не хотелось. Не хотелось знакомиться со случайными людьми, не хотелось вступать с

ними в пустые разговоры. Так он и пролежал до позднего вечера, ворочаясь с боку на бок и вздрагивая от каждого гудка паровоза.

К ночи пассажиры уgomонились, расползлись по своим полкам. Подвыпивший дед густо захрапел, комсомолочка, завернувшись с головой в одеяло, заснула как убитая, небритый хмырь дремал, сидя у окна. Папа осторожно слез с полки и, лавируя между мешками, ящиками и чемоданами, добрался до туалета. Вернувшись в купе, он забрался на свою полку, извлек из большого мешка пару котлет и, пожевав всухомятку, попытался заснуть.

Заснуть не удавалось, в голову лезли дурные мысли, воображение рисовало картины, от которых мурашки начинали бегать по коже. Вот он стоит у подъезда, звонит и звонит в звонок, но никто не открывает — Доры Михайловны нет дома! Или другое. Дверь открывает незнакомая дама, он протягивает ей письмо бабушки, но дама строго отвечает: «Не знаю никакого Абрама Борисовича» — и хлопает дверью перед его носом.

И то правда, с Дорой Михайловной бабушка был едва знаком. Однажды к нему на завод привезли из ближайшего лагеря группу заключенных — вырубать лес, расчищать территорию. Среди работяг, ловко управлявшихся с киркой и лопатой, обратил он внимание на высокого брюнета, нерасторопного, неумелого, к пиле и топору явно непривычного. Во время перерыва велел привести растяпу, усадил напротив, посмотрел на него внимательно.

— Ду бист агид?¹

Высокий брюнет оказался ленинградцем. Еще недавно он был нэпманом, известным всему городу богачом и кутилой. Но НЭП кончился, а вместе с ним окончилась и веселая жизнь. Мало того, стали его «трясти» — выколачивать золотишко. Он вроде бы все отдал, но кто-то посчитал — не все! Дали десятку.

¹ Ты еврей? (*идиш*)

— Чем тебе помочь? Не голодаешь?

— Спасибо, деньги у меня есть, но вот жена собирается приехать на свидание, нельзя ли ее устроить на пару дней?

Через какое-то время в дом явилась высокая эффектная дама.

— Я Дора Михайловна. Приехала к мужу на свидание.

А потом пошли из Ленинграда посылки — у дедушки появилась обязанность носить в лагерь передачи. Впрочем, обязанность эту ему приходилось исполнять все реже и реже, со временем о ленинградской даме почти забыли, а вспомнили, когда было решено, что папа поедет учиться в северную столицу. Дедушка, правда, считал, что никакие знакомства папе не понадобятся: «Приедет в институт, устроят его в общежитии — теперь так делается». Но бабушка настояла: «Мало ли что может случиться, а вдруг Борю не примут и ему придется возвращаться? Ничего страшного, если он пару дней переночует у Доры. Ну, что тебе стоит ее попросить, ты ведь для всех с утра до вечера бегаешь!» Дедушка спорить не стал, написал письмо, которое вместе с аттестатом зрелости, паспортом и направлением местного отделения Всероссийского союза работников просвещения заложили в мешочек, — папа должен был носить его на груди под рубашкой.

— Эй, паря, ты там живой? Вторые сутки звуку не подаешь. А мы тут уже помылись-побрились, чай вот гоняем. Давай слезай, гостем будешь, — беззубый дед, взобравшись на какой-то ящик, тряс папу длинной сухой ручишей.

Папа открыл глаза: за окном сквозь электрические столбы мелькало яркое небо, в купе дружно пили чай, в коридоре шла суетливая дневная жизнь. Папа вытащил из чемодана мыло и полотенце и стал осторожно сползать со своей полки.

— В туалет, паря, иди в передний вагон, а за кипятком опосля пойдешь в задний — в нашем-то оба заперты.

Умывшись и переодевшись, папа приткнулся на нижней полке, достал куриную ножку, свежий огурец, заказал стакан чая.

— Угощайтесь.

— Благодарствуем, мы уже. А вот если у тебя сахарок найдется, не откажемся.

Папа высыпал на стол кусочки сахара.

— А вы куда путь держите? — вежливо спросила дородная дама, не отрывая глаз от вязания.

— В Ленинград.

— Домой ворочаешься или кто у тебя в Питере есть? — поинтересовался дедок.

— Учиться еду.

— Учиться — это хорошо, теперь все учатся, неграмотные нынче ни к чаму.

— Вы поступать едете? — оживилась комсомолочка. — А куда?

— В Политехнический.

— И я поступать еду. Только я в Физкультурный. Слышали про такой, имени Лесгафта?

— Ну вот, теперь у тебя и подружка есть до самого Питера. А мы-то все вятские, к вечеру, с Божьей помощью, дома будем.

В Вятке поезд стоял полдня; одни пассажиры сходили, другие втаскивали свои узлы и чемоданы. Папа и комсомолочка устроился у окна.

— Ой, как это вы на физику? Это ведь так сложно, у меня по физике одни тройки были.

Папа с умным видом стал объяснять симпатичной попутчице, что «в физике все очень просто, потому, что там все логично. Физика — это не литература! В литературе кто во что горазд: учитель говорил, что лучший писатель — Толстой, а в учебнике написано — Горький. В физике такого не бывает. В физике все объясняется законами, и, если происходит что-то непонятное, значит, еще не открыт тот закон, который это объяснит».

Болтали они без умолку, а когда глаза начали слипаться, протиснулись на свои полки, чтобы утром начать сначала. Так и не заметили, как паровоз выпустил пары на Московском вокзале.

Комсомолку встретили какие-то парни и девушки, папа дружески пожал ей руку, пожелал удачи и побрел к трамвайной остановке.

На календаре был июль 1928 года.

Ленинград заморозил папу с первой минуты. Ему тут же захотелось взять в руки альбом и зарисовать и этот горбатый мостик, и ту причудливую арку, и размытый туманом купол далекого собора, и уходящие за горизонт многотрубные дали.

Еще до того, как в руки к нему попала книга Хвольсона «Физика наших дней», еще до того, как он собрал свой первый детекторный приемник, папа очень любил рисовать. Бродил ли он по городским закоулкам или по крутому берегу Камы, он всегда выискивал загадочные развалины, живописные уголки или романтические пейзажи. А потом в школьных тетрадях появлялись эти самые развалины и эти самые живописные уголки. Доставалось от учителей, да и от бабушки. Но бабушка решила проблему по-своему — купила альбом для рисования. Правда, когда папа подрос, страсть мастерить, ставить опыты по химии и физике, а потом и чертить чертежи «взаправдашных» машин овладела им полностью. Краски и альбомы для рисования пылились где-то на чердаке.

И вот, любуясь из окна трамвая городом на Неве, папа вдруг почувствовал какую-то боль: твердая вера в то, что физика — это его призвание, дала трещину.

Трамвай, между тем, пересек Фонтанку, папа вышел и направился искать дом номер 60. Через пять минут он уже стоял перед огромной, напоминающей ворота пожарной охраны парадной дверью. Широкая мраморная лестница привела его на третий этаж в квартиру номер пять. Но,

Бог ты мой! — на двери немыслимое количество звонков. Справа и слева, на косяках и на стенах, высоко и совсем низко. «Каляевым два звонка», «Никитичне звонить три раза», «Не работает, стучать в дверь». Папа вновь и вновь водил пальцем по нестройным рядам кнопок, имени Доры Михайловны нигде не было. Разве эта, «Д-1»? Папа позвонил.

Тяжелые шаги за дверю, шелчок, еще шелчок. В дверях с полотенцем через плечо стояла толстуха средних лет.

— Я к Доре Михайловне.

— К Хмельницкой, что ли? Вон звонок, коричневый. К ней один раз.

Папа позвонил.

Через несколько минут, поблескивая атласным халатом, появилась Дора Михайловна.

— Тут к тебе, — соседка развернулась, тяжелые шаги затихали в глубине коридора. Дора Михайловна смотрела на папу то ли с испугом, то ли с удивлением.

— Вы меня не узнаете? Я сын Абрама Борисовича. У меня к вам письмо.

Пальцы неловко расстегивали пуговицы рубашки.

— А, вот ты откуда! Ну, пойдём, потом достанешь.

Папа перешагнул порог. В первую минуту ему показалось, что он попал на... улицу. Какой-то малыш катался на велосипеде, две девочки прыгали через скакалку, молодая женщина возила взад и вперед детскую коляску. Дора Михайловна повела папу по лабиринту-переулку.

— Это моя дверь.

Огромная комната была перегорожена несколькими ширмами, из окна открывалась панорама города, а с потолка, который, казалось, уходил в небо, свисала огромная люстра в виде морского якоря. Впрочем, блеск и богатство как комнаты, так и ее хозяйки странным образом совмещались с бедностью и запущенностью. Обуглившись кочерыжками торчали в люстре перегоревшие лампы, тяжелые шелковые занавеси падали на потертый

половичок, роскошный халат свисал на хозяйке точно до того места, где из рваного шлепанца выступал большой палец.

Дора Михайловна не спеша прочла письмо, молча отодвинула ширму.

— Иди сюда, спать будешь с Вульфиком. Он почти твой ровесник, на будущий год тоже поступать собирается.

О существовании Вульфика папа не знал, тактично поинтересовался.

— В какой он собирается?

— На юрфак, вроде бы.

— На юрфак, — фыркнул папа, — с чего это?

— Да все отцовская история. Крутились тут всякие адвокаты, письма писали, разговоры вели. Добиться ничего не смогли, а вот парню голову заморочили. Кстати, у него с математикой слабовато. Поможешь?

Вульфик, чернявый и коренастый, оказался на редкость разговорчивым; показывая папе город, он болтал без умолку, по всякому поводу высказывал свое мнение, причем, как правило, не одно. Наконец, папе удалось вставить слово.

— Ты, правда, хочешь стать юристом?

— Да нет, это мама хочет.

— А ты?

— Я больше всего хочу стать миллионером.

— Капиталистом? — удивился папа.

— Не капиталистом, но чтобы было много денег. Знаешь, как хорошо, когда много денег? Сидишь в цирке в первом ряду и ешь одну шоколадку за другой. Или заходишь в ресторан, а к тебе официанты так и бегут навстречу.

За разговорами прошли выходные, папа успел погулять по Невскому и по Мойке, побродил по Дворцовой площади, посмотрел, как разводят мосты, а в понедельник с раннего утра отправился в Мраморный дворец.

В отделе Наркомпроса столпотворение: ребята и девушки, расталкивая друг друга, протискивались к окошку,

где принимали документы в ленинградские вузы. Выбора не оставалось — папа начал проталкиваться вместе со всеми.

Ему уже отдавили ноги, несколько раз он чуть было не расстался со своим чемоданом, но в конце концов пробился к окошку. Лысый человек, похожий на заводского бухгалтера, взглянув на папу, — а ему не исполнилось и семнадцати — с недовольным видом пробурчал: «Только по путевкам отделов просвещения, не стойте без путевок, сколько раз повторять!» Лысый уже обратился к следующему, но тут папа в отчаянии заголосил: «У меня же есть направление, вот оно, вместе с аттестатом».

Лысый с недовольным видом взял папины документы.

— В Политехнический? На физико-механический?

Сделав несколько пометок, он вдруг раздраженно выпалил:

— Лицам непролетарского происхождения стипендия не выплачивается.

О стипендии папа не думал, волновало его другое.

— А общежитие?

— Родственники в Ленинграде есть?

— Нет, нету.

Лысый достал синий клочок бумаги, похожий на хлебную карточку, шлепнул по нему печатью.

— Поезжай в Лесное, эту бумагу предъявишь в приемную комиссию, а эту — лысый показал на синий талон, — отдашь коменданту.

Не прошло и двух часов, как папа уже был в Лесном, где в конце улицы Сосновка расположился Политехнический институт.

Приемная комиссия заседала прямо в фойе. Вдоль стены за большим, накрытым зеленой скатертью столом сидели преподаватели; напротив одиноко торчал стул для испытуемого. Группа молодых людей, дожидаясь своей

очереди, держалась на почтительном расстоянии. Папа справился, кто последний, и стал разглядывать таких же, как он, кандидатов в будущие гении.

Несколько аккуратно причесанных девушек, нескладный толстячок в пиджаке и галстук, а в основном — красноармейские гимнастерки, толстовки, перетянутые то ремнем, а то и веревкой, потертые брюки, стоптанные ботинки.

Очередь приближалась, к горлу подступала сухость.

Проверка знаний продолжалась не более получаса. Никаких каверзных вопросов ему не задавали. Молодая женщина в круглых очках поинтересовалась, почему он выбрал именно физико-механический факультет, смуглый усатый мужчина спросил, как работает радио. Услышав, что папа сам собрал детекторный приемник, поинтересовался, какого типа антенну он использовал. Завязалась дискуссия, в ход пошли такие слова, как «помехи», «диполь», «диаграмма направленности». Наконец, усатый с довольным видом сказал:

— Что ж, достаточно. О результатах проверки узнаете через несколько дней.

Папа подхватил чемодан и уже через минуту зашагал по Мытнинской набережной в общежитие, которое на студенческом жаргоне называлось просто — «Мытня».

В пятницу в том же институтском фойе было вывешено постановление приемной комиссии, где против папиной фамилии крупным женским почерком было написано: «Принят на первый курс физико-механического факультета».

14. УМРИ РАБОМ И СИРОТОЙ

Размышляя о будущем, императрица Екатерина ничуть не сомневалась, что России суждено стать Третьим Римом. На троне кесаря виделся ей старший внук Александр. Зная, однако, о превратностях судеб царствующих особ, второго внука на всякий случай нарекла Константином.

Не оправдались чаяния великой императрицы: Александр до роли кесаря не дотянул, Константин, влюбившись в польскую графиню Грудзинскую, от престола отказался, Императором Всероссийским после кончины Александра стал ее третий внук, Николай.

Страсть к военному делу проснулась у Николая Павловича в ранние годы, чему способствовали и суровое воспитание, и окружающая великого князя обстановка. Готовя себя к военной карьере, он менее всего размышлял над тем, что такое государство. А когда задумался, тут же нашел ответ — да та же казарма! Только порядка в ней маловато.

Навести порядок — всюду и во всем — стало главной заботой императора Николая I.

Прежде всего приказал он государственное управление перестроить: преобразовать высшие правительственные места, законы собрать под единый «Свод», крестьян взять под попечительство, инородцев привлечь к православию, печатное слово поставить под цензурный устав, воспитание молодежи производить по единому правилу, за преподавателями установить надзор, поездки для научных занятий за границу прекратить. Зоркость царского ока молодой император приказал усилить образованием Третьего отделения в канцелярии Е.И.В.

Военной службе — само собой — особое внимание. Действующую армию увеличить в полтора раза, срок службы установить в 25 лет, пехоту и кавалерию преобразовать, флот расширить, открыть новые военно-учебные заведения.

Царствование свое Николай I начал войной с Персией, потом пошел на Турцию, продолжил воевать Кавказ и Среднюю Азию, свирепо подавил восставших поляков и венгров, поддержал турецкого султана против мятежных египтян, австрийского императора — против итальянцев.

Николай I заслужил всеобщую нелюбовь европейцев, имя его вселяло страх в души соотечественников. Все это, однако, не мешало ему энергично выстраивать здание го-

сударственной казармы, всякого и каждого расставлять по своим местам. Тем же, кто указанное место занять не желал или от исполнения регламента уклонялся, он объявил войну. И застонала Россия и покорно, помня о декабре 25-го, побрела в казарму.

Был, однако, в стране народ, который к государственной казарме отношения не имел. Николай I узнав об этом, решил дело исправить. В первый же год своего правления он объявил войну «внутреннему врагу» — двум миллионам еврейских подданных, решив исправить их путем суровой военной дисциплины.

Хотя евреи в Российской империи, равно как и русские купцы, воинской повинности не отбывали, кое-кто давно вынашивал мысль брать их в солдаты. «Кое-кто» — отнюдь не военные. Еще в 1820 году министр финансов Гурьев предложил брать с евреев по рекруту за каждую тысячу рублей недоимки. Его преемник, граф Канкрин, дабы приостановить рост еврейского населения, предложил привлечь евреев к натуральной воинской повинности на особо тяжелых условиях. «...Надобно сначала и почаще одну половину мальчиков от 13 до 15 лет отдавать на фабрики, другую обратить в солдаты. Взрослого рекрута оценивать в тысячу рублей, малолетнего — в пятьсот», с немецкой пунктуальностью калькулировал сей финансовый гений, прославившийся тем, что запретил открывать в России банки, строить железные дороги, выделять кредиты промышленности.

Однако ж сей проект оставался без движения до той поры, пока не попал на глаза Николаю I в виде записки Третьего отделения. «Записка об обращении евреев к пользе Империи через привлечение их к исповеданию православной веры и т.д.» гласила, что лучший способ сделать из евреев «полезных граждан» — брать с них рекрутов вдвое против христиан, сдавать евреев в солдаты в как можно более раннем возрасте, дабы легче было обра-

тить их в христианство. Держать же еврейских солдат надлежало в такой обстановке, чтобы они не могли исполнять законы своей веры.

Замысел Третьего отделения пришелся царю по душе; тут же распорядился он составить проект устава о воинской повинности для евреев с отступлением от Общего устава. Проект был незамедлительно составлен, но принятие его затягивалось: администраторы Западного края опасались волнений в подведомственных губерниях, в петербургских же канцеляриях полагали разумным включить царский проект в общую реформу еврейской жизни, работа над которой требовала времени. Император же горел нетерпением; в обход сановников он приказал министрам заготовить указ и 26 августа 1827 года поставил под ним высочайшую подпись.

Исключительность еврейской рекрутчины, и без того тягостной, бросалась в глаза. «Евреи, представляемые обществами при рекрутских наборах, должны быть в возрасте от 12 до 25 лет... Евреи малолетние, то есть до 18-ти лет, обращаются в заведения, учрежденные для приготовления к военной службе», — гласили пункты устава.

Конечно, институт кантонистов был создан отнюдь не специально для еврейских малолеток: дети солдат, находящихся на действительной службе, считались собственностью военного ведомства и с 10 лет отправлялись в кантонистские школы для подготовки в солдаты. Однако, согласно Общему уставу о воинской службе, в солдаты забирали мужчин с восемнадцатилетнего возраста. Для детей вдов и единственных сыновей в семье были сделаны отступления. Малолетних же евреев указано было брать из всех семей без разбора, причем годы подготовки в срок действительной службы не зачитывались — служить евреям-кантонистам предстояло 31 год!

Да ладно бы служить; солдаты-евреи менее всего были предназначены для усиления армии, и без того насчитывавшей миллион штыков и сабель. Главное было в

другом — переломить, перевоспитать, вынудить принять крещение. Пытками, битьем, голодом.

Исключительность еврейской рекрутчины подчеркивал и тот пункт Указа, согласно которому солдаты-евреи должны служить непременно в восточных губерниях, предпочтительно — в Сибири. Ясно, в чужих, далеких от дома краях «исправить» еврея-солдата, то есть принудить к крещению, было несравненно проще. Конечно, тот, кто шел служить в 18 лет и старше, был уже укоренен в вере, предан традициям, часто состоял отцом семейства. Такой мог и выстоять. Ну, а если от семьи отрывали ребенка, не прошедшего даже бар-мицву?¹ Многие из них гибли, устилая своими трупами дороги в далекие края. Но и те, кому удавалось добраться до мест назначения, были обречены медленно угасать в казармах, превращенных в камеры пыток. Недаром родные и близкие, прощаясь с малолетними рекрутами, оплакивали их, словно мертвых.

Сколько крови еврейских младенцев пролил император Николай I никто не подсчитывал, но свидетельства его злодеяний сохранились.

«Кого и куда вы ведете?»

— И не спрашивайте, индо сердце надрывается; ну, да про то знают першие, наше дело исполнять приказания, не мы в ответе; а по-человеческому некрасиво.

— Да в чем дело-то?

— Видите, набрали ораву проклятых жиденят с восьми-девятилетнего возраста. Во флот, что ли, набирают — не знаю. Сначала было велели гнать в Пермь, да вышла перемена, гоним в Казань. Я их принял верст за сто; офицер, что сдавал, говорил: «Беда, да и только, треть оста-

¹ Бар-мицва — Сын завета (*иврит*). Совершеннолетие, которое в соответствии с Галахой наступает у мальчиков в 13 лет, когда они после необходимой процедуры становятся полноценными членами общины и обязаны соблюдать все предписания религии.

лась на дороге», — и офицер показал пальцем в землю. — Половина не дойдет до назначения, — прибавил он.

— Повальные болезни, что ли? — спросил я, потрясенный до внутренности.

— Нет, не то, чтоб повальные, а так, мрут как мухи; жиденок, знаете, эдакой чахлый, тщедушный, словно кошка ободранная, не привык часов десять месить грязь да есть сухари — опять, чужие люди, ни отца, ни матери, ни баблоства; ну, покашляет, покашляет да и в Могилев. И скажите, сделайте милость, что это им далось, что можно с ребятишками делать?

Я молчал.

— Вы когда выступаете?

— Да пора бы давно, дождь был больно силен... Эй ты, служба, вели-ка мелюзгу собирать!

Привели малюток и построили в правильный фронт; это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видел, — бедные, бедные дети! Мальчики двенадцати, тринадцати лет еще как-то держались, но малютки восьми, десяти лет... Ни одна черная кисть не возьмет такого ужа-са на холст.

Бледные, изнуренные, с испуганным видом, стояли они в неловких толстых солдатских шинелях с стоячим воротником, обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо ровнявших их; белые губы, синие круги под глазами показывали лихорадку или озноб. И эти больные дети без ухода, без ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с Ледовитого моря, шли в могилу.

И при том, заметьте, их вел добряк-офицер, которому явно было жаль детей. Ну, а если бы попался военно-политический эконом?

Я взял офицера за руку и, сказав: «поберегите их», бросился в коляску; мне хотелось рыдать, я чувствовал, что не удержусь...»

Этот эпизод, описанный Александром Ивановичем Герценом в романе «Былое и думы», случился в 1835 году в безымянной деревушке, что в сутках езды от города Пермь.

Стремясь с помощью казармы перевоспитать еврейских подданных, Николай I верил (и, как показала Крымская кампания, не ошибся), что еврейские солдаты будут представлять собой боевую силу. Правительство же в Петербурге смотрело на еврейскую рекрутчину с точки зрения интересов казны. Давно и остро стоял перед ним вопрос: как выкачать из евреев государственные подати? Нищета еврейской массы, запертой в черте оседлости и стесненной бесконечными ограничениями, непрерывно росла. Росли и недоимки. Еврейские общества не могли расплатиться даже за долги, оставшиеся еще с польских времен!

Рекрутская повинность оказалась удобной не только правительству. Еще недавно внушавшая ужас еврейским обществам, она — рекрутчина — оказалась сильным оружием в руках кагальной верхушки в борьбе с нежелательными для нее элементами. Указ о воинской повинности для евреев освобождал от призыва гильдейских купцов, раввинов, цеховых мастеров, земледельцев и лиц с высшим образованием. Страх перед рекрутчиной заставил записываться в купцы тех, кто на такое звание вовсе не тянул. Недоедая и недопивая, люди старались во что бы то ни стало приобрести гильдейское свидетельство. Но тем самым сужался круг лиц, которые должны были поставлять рекрутов. А ведь рекрутов и без того не хватало: кто-то оказывался инвалидом, кто-то давал кагальным взятку, кто-то пускался в бег. Ну, а поскольку Устав предоставлял обществам право «по своему приговору отдавать в рекруты всякого еврея во всякое время за неисправность в податях, за бродяжничество и другие беспорядки», правление кагала устраивало настоящую охоту на людей. Уполномоченные кагала — «ловчики» — пускались за беглецами в пого-

ню, устраивали облавы, похищали людей, заманивали их обманом. Если недоставало взрослых рекрутов, хватали детей, причем восьми-десятилетних выдавали в воинском присутствии за двенадцатилетних.

Стон пошел по Черте, и в стоне этом трудно было понять, в чей адрес сыпалось больше проклятий: в адрес ли русских солдат, конвоировавших новобранцев к месту службы, или в адрес кагалных ловчих — хаперов, готовых силой вырывать дитя из материнских объятий.

И все же поражает не свирепость еврейской рекрутчины; время было такое — тупое, жестокое, беспорядочное, точь-в-точь подстать своему императору. Поражает другое: военная служба — само собой — должна была стать шагом в сторону равноправия. Во многих странах введение воинской повинности сопутствовало эмансипации евреев, вело к смягчению ограничительных законов. Иначе в России: жестокая рекрутчина сопровождалась здесь усилением еврейского бесправия.

Однако ж не успели просохнуть слезы у отцов и матерей, первыми отдавших детей в солдаты, как в петербургских канцеляриях завершили работу над новым «Положением о евреях», заменившим «Положение 1804 года». В апреле 1835 года Николай I высочайше утвердил «Свод еврейских законов», смысл которого был прост: евреям запрещено все, кроме того, что оговорено особыми предписаниями. Следующее «Положение о евреях» от 1844 года, также разработанное под надзором императора, дополнило предыдущее: упразднился кагал, вводились школьная реформа и поощрительные меры для евреев-земледельцев.

Но и после этого Николай I неустанно трудился на ниве еврейского законодательства. Он потребовал «разобрать» евреев на категории, отделив «полезных» от «бесполезных», настоял на учреждении института «ученых евреев при губернаторах», потребовал взимать налог за ношение традиционной одежды. При этом ермолка подлежала особому налогу, размер которого император определил соб-

ственоручно: «...по 5 руб. сер. за каждую, не более и не менее!» Всего из общего числа законодательных актов о евреех в России в период с 1640 по 1881 год половина — числом шестьсот — была составлена под руководством и при деятельном участии императора Николая I.

15. В ПОГОНЕ ЗА КОСМИЧЕСКОЙ ЧАСТИЦЕЙ

Студенческая жизнь закружила папу вихрем; с лекции он бежал на семинары, с семинаров — в лабораторию, из лаборатории мчался в чертежный зал, из чертежного зала — в библиотеку. Поздно вечером он возвращался в общежитие и, отвоевав угол за общим столом, садился за конспект. Случалось, просиживал целую ночь, а то и много ночей подряд. По воскресениям он вместе с товарищами по общежитию отправлялся на заработки. Ребята ломали старые бараки, разгружали вагоны, пилили и кололи дрова. Время от времени звонила Дора Михайловна, просила позаниматься с Вульффиком математикой или физикой. Это была удача, ведь после занятий Дора Михайловна кормила настоящим обедом!

К концу первого семестра папа уже втянулся в водоворот студенческой жизни, почувствовал себя в Лесном, как дома, но главное — поверил, что может учиться в Ленинградском политехе. По правде говоря, он был даже немного разочарован. Хотя учебные классы и лаборатории были прекрасно оборудованы, а на занятиях царил деловой дух, сами по себе предметы показались ему скучными, требовали одной лишь зубрежки. Закрадывалось сомнение — а не преувеличена ли слава Ленинградского политеха?

Сомнения эти мгновенно улетучились, как только начался курс общей физики. Читал его академик Абрам Федорович Иоффе, тот самый Иоффе, ученик Рентгена и чародей физики, слава о котором гремела по всей стране.

Гремела и притягивала в Лесное молодых людей, зачарованных великими открытиями века и мечтавших сказать свое слово в самой модной науке того времени.

И вот настал день. В большой аудитории, где задолго до начала лекции собрались студенты первого курса, появился человек, которого невозможно было ни с кем спутать. Крупный, представительный мужчина с высоким лбом и густыми усами на тщательно выбритом лице не спеша закрыл за собой дверь и поднялся на кафедру. Иоффе молчал. Говорили его глаза. Никто не мог с уверенностью сказать, чего в них было больше: мудрости или наивности, серьезности или игривости, открытости или замкнутости. Но взгляд этого человека выдавал личность незаурядную, внушавшую уважение и доверие.

Иоффе начал читать физику... с конца. Прежде всего он рассказал о последних открытиях в области атомного ядра и квантовой механики, о парадоксах, вытекающих из теории относительности. При этом Иоффе говорил о физике как о науке незавершенной, полной белых пятен, загадок и головоломок. Ну, а кому предстоит разгадать ее тайны? «Конечно же, вам, тем, кто сегодня сидит на этих студенческих скамьях!»

Абрам Федорович был великолепным лектором. Он умел увлечь студентов, заставить напряженно работать их нетренированные мозги, но в то же время хорошо знал, когда нужно остановиться, снять напряжение. Написав громоздкую формулу, Иоффе вдруг обратился к аудитории с вопросом: «Кто знает, о чем думает француженка, наряжаясь на бал?» В зале шушукание, смешки: «Какие надеть бриллианты», «О шляпке», «О прическе»... «Ничего подобного, мои дорогие, — с мальчишеской улыбкой произносит Абрам Федорович, — она думает о том, что бы еще снять. Вот и мы будем думать, без чего можно обойтись в этой формуле».

Лекции лекциями, но прежде всего Иоффе был ученым-исследователем. Познакомившись с новичками,

Иоффе начинал отбирать тех, у кого была склонность к научной работе. При этом Абрам Федорович более всего ценил в будущих сотрудниках умение самостоятельно мыслить, генерировать идеи и работать руками.

Папа убедился в этом, когда началась экзаменационная пора.

Убедившись, что задача решена правильно, и выслушав ответы на устные вопросы, Абрам Федорович отложил экзаменационный билет и... приступил к главному.

— Что вы прочли за последний месяц?

— Все сборники «Новые идеи в физике».

— И что там нашли интересного?

— Ничего интересного, одни идеи уже устарели, другие — просто фантазия, не для физиков, а для авторов занимательных романов.

— Так уж совсем ничего?

— Ничего. Одна статья, к примеру, описывает, как с помощью магнита можно находить внутренние дефекты в металлах. Так ведь это давно делается! Таким способом ищут дефекты в паровозных колесах. Намагнитят колесо, потом посыплют его металлической стружкой, и, если где-то образуется «бородка», там и трещина. Я сам проверял: пилишь металл напильником, а к напильнику в каком-то месте стружка пристаёт. Присмотришься — в этом месте трещина!

Папа вовсе не думал, что этот разговор имеет отношение к экзамену или, тем паче, к физике. Иоффе, между тем, оживился, стал расспрашивать, умеет ли папа перематывать сгоревшие трансформаторы, менять нити в гальванометрах, заряжать аккумуляторы. Пришлось признаться, что здесь, в институте, заниматься радиолюбительством нет никакой возможности, остается читать журнал «Радио». «Правда, — папа заверил Иоффе, — журнал находится на самом высоком уровне». Иоффе тут же предложил папе делать на семинарах обзоры интересных статей из этого журнала.

Папа отнесся к поручению серьезно (да можно ли было отнестись к поручению Иоффе несерьезно!), регулярно делал обзоры любимого журнала. Тем не менее, он был очень удивлен, когда Абрам Федорович предложил ему работу внештатного лаборанта в Физико-техническом институте.

— Зайдите ко мне в понедельник, в семь вечера, тогда и решим, куда вас определить.

Папа был счастлив — его заметил сам Иоффе! К тому же лаборанту полагалась зарплата, можно было отказаться от тяжелых работ по выходным.

Здание Физтеха — небольшой двухэтажный дом — находилось прямо напротив Политехнического института. Папа поднялся на второй этаж и сразу же оказался перед открытой дверью. Кабинет директора был обставлен старомодными шкапами, какие можно увидеть в аптеках, в углу стояли большие напольные часы, у двери — вешалка. В кресле за большим письменным столом сидел Абрам Федорович, сбоку, дымя папиросой, пристроился молодой человек с энергичным, выразительным лицом.

— Вот вам новый лаборант, Игорь Васильевич. Он в курсе всех радиотехнических новинок и может собрать сложную схему. Куда вы его, к Скобельцину?

— Да, да, к Скобельцину. Только вот со схемами придется подождать. Дмитрий Владимирович сейчас по горло занят измерениями снега. Вы на каком курсе, молодой человек?

— На втором.

— Значит, лекции у вас до четырех. Хорошо, будете делать замеры до занятий, а по вечерам займетесь обработкой результатов. Согласны? — Начальник ядерного отдела протянул папе руку.

Папа стал сотрудником Лаборатории естественной радиации и космических лучей, которую возглавлял Дмитрий Владимирович Скобельцин. Впрочем, поработать под руководством Скобельцина ему не пришлось. Целый ме-

сяц он занимался тем, что собирал в чашечку снег, помещал ее в ионизационную камеру и делал замеры на радиоактивность. Потом бежал на лекции, а после занятий снова мчался в лабораторию, обрабатывал результаты измерений. К весне, когда снег прекратился, Скобельцин отбыл в заграничную командировку в Париж, в лабораторию Марии Склодовской-Кюри.

Но и после отъезда шефа работы в лаборатории не убавилось. Папа мастерил счетчики космических частиц и различные к ним усилители — пытался увеличить чувствительность измерений. Вначале все шло хорошо, щелчки от прохождения частиц становились все громче и отчетливей, но дальнейшее увеличение чувствительности привело к появлению странного шума, возникающего после прохождения частицы. Папа менял конструкцию счетчика, пропускал частицы под разным углом — странные явления не исчезали. Пришла мысль: дело не в измерениях, а в самой частице. Быть может, у космической частицы есть какой-то «хвостик», который и вызывает шумы после прохождения основного ее тела? Папа долго не решался говорить о своем предположении, но в конце концов собрался с духом и пошел к Иоффе.

Абрам Федорович слушал с интересом, подробно обо всем расспросил.

— Вот что, молодой человек, все это хорошо, но строить физические модели — дело теоретиков. В ближайшие дни я переговорю с Френкелем, а вы зайдите в теоротдел, побеседуйте с этими крючкотворами.

В небольшой комнате, где сидели теоретики, было тихо — «крючкотворы», как им и положено, скрипели перьями. Заведующего отделом Якова Ильича Френкеля папа в лицо не знал.

— Я к Френкелю. Меня Абрам Федорович направил.

— А, вы из лаборатории радиации? — полный, круглолицый мужчина, близоруко щурясь, взглянул на папу и тут же обратился куда-то в угол.

— Георгий Антонович, это к вам по поводу космических частиц.

Из-за шкафа, поправляя галстук, вышел элегантный молодой человек, от которого... пахло одеколоном.

— Так это вы открыли хвост у космической частицы? А бантик на хвосте был?

— Георгий Антонович! — Френкель укоризненно покачал головой.

— Ладно, берите стул, садитесь.

Гамов, только что вернувшийся из заграничной командировки сотрудник теоротдела, оставил насмешливый тон и задал несколько вопросов.

— А теперь смотрите...

За каких-нибудь полчаса Гамов с карандашом и бумагой в руках объяснил, что произошло на самом деле. Как все просто, почему он сам не додумался! В смущении папа пробормотал слова благодарности.

— Не огорчайтесь, ваш брат-экспериментатор и не такое может намерить.

Попробуй не огорчаться! Папа ходил расстроенный целую неделю, но неожиданно пришел к выводу — а ведь это у них, у теоретиков, делается настоящая физика! Теоретики на все смотрят сквозь призму фундаментальных законов, и, если тот или иной экспериментальный факт противоречит этим законам, тем хуже для факта. Вот где надо работать, в теории! Но как? Перейти в теоротдел невозможно, Курчатов — «генерал» — ни за что не отпустит. Попробовать походить на семинары к теоретикам вольным слушателем?

Прошел целый семестр, пока папа, наконец, отважился обратиться к Френкелю.

— Вы меня помните, я из ядерного отдела, могу ли я посещать ваши семинары?

— А в чем дело, молодой человек? Если вы думаете, что ядерная физика — наука, слишком далекая от жизни, то и от нас, теоретиков, не очень-то много пользы производству.

— Нет, нет, я вовсе так не думаю, дело в том, что я начал работать у Дмитрия Владимировича Скобельцина, а он уехал на два года во Францию. Мне уже нужно подыскивать тему для дипломной работы, вот я и думаю...

— Ну, что ж, приходите, послушайте, может быть, найдете что-то для себя интересное.

Семинары теоретиков проходили бурно. Спорили здесь, не считаясь с чинами. «Сапожник ты, а не физик», «Чушь несешь», «Такое может сказать только первокурсник», — сыпалось на голову оппонента. Более других усердствовал Ландау. Он задирал всех подряд. Казалось, для него не существует ничего — и никого — святого. Отличался от всех Гамов. Хотя насмешливая улыбка не сходила с его губ, он, тем не менее, обидных слов не употреблял, а оскорбительных замечаний в свой адрес словно не замечал. Отыгрывался тем, что рисовал на коллег едкие карикатуры, которые снабжал изречениями на немецком.

Поначалу семинары теоретиков показались папе сборищем инопланетян, которые на непонятном языке спорили о каких-то неведомых вещах. Понемногу, однако, он научился следить за ходом дискуссии и, главное, схватывать ее суть. Стал задавать вопросы, а однажды подошел к Гамову — его он боялся меньше других.

— Если принять ваш вывод, то получается, что атом водорода...

Гамов не дал закончить фразу.

— Атомы меня не интересуют. Атомы, как и извозчики, были интересны в прошлом веке, меня интересуют ядра.

Через некоторое время — папа был немало удивлен — Гамов подошел к нему сам.

— Тут вот из оптического отдела прислали на отзыв очередное «открытие». Не хотите ли ознакомиться и ответить на эту муру?

Прошла неделя, папа сидел за столом Гамова.

— Обнаружил неточность в эксперименте и ошибку в вычислении. Эксперимент надо повторить и заново все пересчитать. Так и ответить?

— Не городите огород, молодой человек, напишите им просто: результат противоречит уравнениям Максвелла; пучок либо расширяется, либо они изобрели перпетуум мобиле.

Папа вновь почувствовал себя посрамленным, но в то же время ему показалось, что Георгий Антонович уже считает его «своим». И верно, когда папа пропускал семинар, все спрашивали: «Что случилось с Борей? Он здоров?» Что до науки, то папа всерьез увлекся проблемой ядерных взаимодействий, все смелее вступал в споры, а затем подготовил собственный доклад.

Доклад его выслушали, обозвали «ослом», «химиком» и кем-то еще. Казалось, камня на камне от его работы не оставили. В заключение, однако, Френкель сказал:

— А что, было любопытно, надо продолжить.

Гамов во время обсуждения молчал, но после семинара подошел к папе.

— Пожалуй, ваша формула будет работать, но только для стационарного случая, который, конечно же, невозможен. Взаимодействие зависит от скорости нейтрона. Давайте введем составляющую скорости и посмотрим, что произойдет при разных скоростях.

И посмотрели. И получилась работа, которую — вопреки традиции — приняли на ура. К концу обсуждения пришел Иоффе.

— Пишите статью в *Zeitschrift für Physik*, я сам отправлю.

Папа торжествовал: наконец-то он занимается настоящей физикой! И уже статья в самом авторитетном физическом журнале. Да еще с Гамовым. И она же тема дипломной работы. И она же — почти готовая работа.

Именно почти, ибо в «детском садике папы Иоффе» — в его научной школе — к защите дипломной работы подходили очень серьезно.

— Вы что думаете, если ваша фамилия появилась в *Zeitschrift für Physik*, вас не станут клевать на защите? Не надейтесь. Еще раз продумайте характер взаимодействий

для пограничных ситуаций. И расчеты проверьте, найдут ошибку — не сдобровать.

Само собой: руководитель его дипломной работы — Гамов.

По ходу доработки возникали новые идеи, папа выступал на семинарах, его снова и снова разносили в пух и прах, но, в конце концов, все кончилось новой работой.

— Что ж, из этого можно сделать статью. Пишите. Лучше по-французски.

Почему по-французски? Непонятно. Но раз шеф говорит...

Как только статья была готова, папа тут же побежал к Гамову. Гамов взглянул на первую страничку и спросил с недоумением:

— Я здесь при чем? Нет уж, это ваша работа, меня из авторов, пожалуйста, вычеркните. Больше, чем на благодарность, я не наработал. А статью я посмотрю и через неделю верну.

— К сожалению, Георгий Антонович, меня посылают на месяц в Армению измерять космическое излучение в горах.

— Вот как, вы едете на Кавказ! Что ж, это даже кстати.

Помолчав, Гамов вдруг спросил:

— У вас есть время, не хотите пройтись по парку?

Они вышли в сад.

— Вы, наверное, слышали, что когда Иоффе работал в Мюнхене, сам Рентген предлагал ему место профессора в университете. Как вы думаете, почему он вернулся в Россию?

Папа растерялся.

— Не знаю, может быть, потому, что в Германии национализм и фашизм.

— Да какой там фашизм в девятьсот шестом году! Тогда там все было пристойно; у Рентгена работали Зоммерфельд, Дебай, Кох... светила! А условия для работы? Оборудование от Сименса. Техники, лаборанты. То-то все свои главные работы Иоффе сделал в Мюнхене.

Гамов помолчал.

— Национализм, говорите. А что ждало Иоффе в России? Процентная норма. Вы знаете, он ведь принял лютеранство. Курам на смех: папа Иоффе — лютеранин! Но без этого ему и шагу не давали ступить! И какая физика была тогда в России? Никакой, пустота! Он ведь защитил диплом с высшим отличием — *Summa cum laude*, но его докторскую степень вообще не признали, заставили сдавать экзамены на магистра. И на работу приняли лишь внештатным лаборантом! Не пойму, честное слово, не пойму, что привело его в Россию.

— Я, конечно, не знаю, почему Иоффе тогда вернулся, — решил сумничить папа, — но в результате все мы от этого выиграли.

— Выиграли, говорите? Мы — возможно. Но он сам? Он ведь только и делает, что бегает по организационным делам, строит, перестраивает, организует. Наукой он не занимается, о физике только говорит, но физики-то не делает!

Гамов продолжал говорить сам с собой, пока, наконец, не вспомнил о папе.

— Знаете, я тоже уезжаю. Во Францию, а потом, возможно, в Англию. Вашу статью посмотрю в дороге, а в Париже отдам в *Journal de Physic*.

— Когда же вы вернетесь, Георгий Антонович?

— Не знаю, как получится.

Папа опешил. Выходит, он остается без руководителя диплома!

В Армению папа уезжал с тяжелой душой. Ну почему ему так не везет? Не успел прийти в атомный отдел, как уехал Скобельцин, не успел обосноваться у теоретиков, уезжает Гамов. Да и как теперь без руководителя, не пойдет ли все прахом?

На Кавказе настроение исправилось: сказочные виды, открывающиеся с вершины горы Алагез, ночная мгла и утренние рассветы, долгие беседы с армянскими коллегам-

ми и случайные встречи с пастухами — все это занимало воображение, давало пищу для размышлений о жизни, о вечности, о многообразии мира. Да и нелегкий труд, когда ты и носильщик, и наблюдатель, и инженер, не оставлял времени для переживаний. В конце концов, работа ведь сделана!

С этой мыслью — загоревший и отдохнувший — папа вернулся в Лесное. Не успел он, однако, переступить порог лаборатории, как все головы повернулись в его сторону.

— Вас срочно просит Абрам Федорович.

Иоффе был бледен, смотрел в пространство.

— Как прошла поездка?

— Замечательно, намеров столько, что придется полгода с ними разбираться.

— А как с дипломом, у вас ведь защита на носу?

— Прямо сегодня начинаю писать.

— Как называется ваша работа?

— Я думаю назвать ее так же, как и статью в *Zeitschrift für Physik*: «Взаимодействие ядер с нейтронами разных скоростей». Кстати, Георгий Антонович взял другую мою статью, тоже по взаимодействиям, обещал устроить в *Journal de Physic*.

— Молодой человек, вы ведь работаете в отделе атомной физики и космических излучений. Вы — штатный сотрудник этого отдела, инженер второй категории. Верно?

— Ну, да...

— Так вот, идите и работайте в своем — вы поняли! — в своем отделе. И сегодня же представьте список работ, которые вы сделали в вашем, — Иоффе снова сделал ударение на слове «вашем», — отделе за весь год. Что же касается дипломной работы, то она должна быть связана с космическими частицами. Вашим руководителем будет Иваненко.

Папа опешил. Что произошло, при чем тут космические частицы и какое отношение к нему имеет Иваненко? Он впервые видел Абрама Федоровича таким

жестким, впервые слышал, чтобы Иоффе говорил приказным тоном.

— Но ведь я уже сделал диплом, вы же знаете нашу статью с Гамовым, это и есть...

— Повторяю, вы должны сделать диплом по космическим частицам. Вашим руководителем будет Иваненко.

— Абрам Федорович, — взмолился папа, — я ведь просто не успею сделать новую работу.

— Я вам не о содержании толкую, но в названии обязательно должны быть слова «космические частицы». Вам ясно?

Ясно было одно — возражать бесполезно. Но что произошло, почему его отлучают от теоротдела, от Гамова? Мелькнула мысль: а не сам ли Гамов сказал Иоффе, что из «этого экспериментатора» теоретик все равно не получится?

С тяжелым чувством папа вернулся в лабораторию, принялся писать отчет. Но что он, собственно, сделал в своем отделе за последний год? Выручили коллеги, каждый что-то подсказывал.

— В январе, Боря, вы для меня делали узкополосый фильтр, — сказал один.

— А для меня — установку для замеров на крыше. Это было...

Папа ничего не понимал, обратил лишь внимание, что все относятся к нему, словно к больному ребенку.

Составив отчет, он побрел в кабинет Иоффе, а на обратном пути решил заглянуть в теоротдел — не убьют же его в конце концов!

Дверь в комнату теоретиков была приоткрыта, еще издали он услышал обрывки фраз. «Продался за доллары...», «Лодырь, работать никогда не любил...», «Что и говорить — самоликвидировался...», «Впал в ничтожество...» Зайти папа не решился, хотя его сильно заинтересовало, кто же это продан за доллары и самоликвидировался?

В коридорах, меж тем, люди собирались кучками и о чем-то шептались с загадочным видом. Сомнений не оставалось — в институте ЧП. Через день, сложив обрывки случайно подслушанных фраз, умножив их на поведение сотрудников и прибавив разговор с Иоффе, папа вычислил — за границей остался Гамов.

Институт трясло чуть ли не месяц — никто не знал, каковы будут последствия. Иоффе отвел беду. Авторитет его был огромен, им он и заслонил сотрудников, доказал, «где надо», что Гамов-де был ученым-одиночкой, ни с кем из коллег не дружил, за рубежом остался по мотивам сугубо личным.

И то верно, в том, 1933-м, моды на побег за границу среди физиков не было.

16. ОДИН ДЕНЬ НАТАНА ВУЛЬФОВИЧА

Бархатным прозрачным утром, какие в сентябре бывают только на Подолье, ребе¹ встал с петухами. Но не потому, что утро выдалось каким-то особенным, — каждое утро бывает особенным, а потому, что так завещал Учитель. «Хорошо молиться с утра в лесу или в поле, стояли в ушах слова Его, ибо деревья и травки тоже молятся вместе с нами и подкрепляют нашу молитву». Ребе надел халат и вышел во двор.

Помолившись, он присел на пенек, и послушал шелест травы, и вернулся в дом, чтобы еще немного поспать.

Проснулся он от криков во дворе.

— Тише, тише, добрые евреи, Святой учитель утомился с дороги, дайте ему отдохнуть, — стоя на крыльце, указывал толпу габай-прислужник.

— Что там? — спросил ребе, поднимаясь с постели.

¹ Ребе — здесь хасидский цадик.

— Евреи узнали о вашем приезде, евреи хотят вас слушать.

— Нет, не сегодня, — откашлявшись, сказал ребе, — сегодня голос мой идет не из глубины души.

Чмокнув святую руку, габай снова выскочил на крыльцо.

— Слышите, добрые евреи, сегодня Святой учитель нездоров, приходите завтра.

Толпа начала расходиться, но кое-кто остался и принялся шушукаться с габаем. Пошептавшись с одним, с другим, с третьим, габай нырнул в дом.

— Святой учитель, там евреи и еврейки с малолетними рекрутами. Хотят получить благословение.

— Кто хочет получить благословение, тот получит благословение, — ребе многозначительно покосился в сторону комода.

— Понял, все понял, Святой учитель, — габай засеменил к комоду, отпер стоявшую на нем шкатулку. — Все как всегда?

Ребе кивнул, надел шелковый халат, обшитую золотом ермолку, взял в руку длинный янтарный чубук.

— Есть ли в этом доме мягкое кресло?

Габай с виноватым видом покачал головой, потом положил подушки на стул, придвинул его ребе. Ребе сел на стул с неудовольствием.

— Пусть входят.

Первой, волоча мальчонку лет десяти, вошла тощая рыжая еврейка. Мальчонка крепко держался за ее руку, солдатская шинель свисала на нем до земли, в глазах стояли страх и отчаяние.

— Подойди, — показывая пальцем на мальчика, сказал ребе.

— Шолом-алеихем, — выдавил из себя игрушечный солдатик.

— Алейхем-шолом, дружок. Э-э, да я вижу, ты будешь лихой солдат.

— О горе, я не перенесу этого горя, — заголосила тощая еврейка, — у нас столько горя, а вот теперь его забирают в солдаты. Нет конца нашему горю!

— За грехи, дети Израиля, за грехи тяжкие да за ропот Господь посылает на нас напасти и хворобы. Но не сокрушаться — радоваться должны мы: Он испытывает нашу твердость в вере праотцов.

— Нет сил, благочестивый, нет больше сил, — продолжала причитать еврейка.

— Надо казниться, каяться, и Он возмилуется. А пока выйди-ка отсюда.

Оставшись с мальчиком-солдатом, ребе начал наставление.

— Добрый сын Израиля! Ты теперь воин и будешь служить царю. Тебя ушлют туда, где ты не увидишь ни одного еврея, не услышишь слова Божьего. Ты окажешься среди людей, которые будут потешаться над твоей верой, над твоей речью и над твоей физиономией. Как верный сын Израиля, ты должен переносить это с покорностью. Нам, детям Израиля, предписано семь гонений. Наши предки претерпели шесть, а на нашу долю оставили одно — последнее. Если мы перенесем его смиренно, настанет иная, счастливая пора: придет Мессия, возвестит нам свободу, и тот, кто останется в своей вере, получит в наследство землю обетованную. Так не поддавайся же, добрый сын Израиля, никаким обещаниям и никаким искушениям. Усердно молись, чаще вспоминай наших прародителей: Авраама, Исаака и Якова — и блажен будешь! Иначе душа твоя пойдет прямо в ад и будет там гореть веки вечные. Впрочем, — добавил ребе, — ты еще слишком молод, чтобы обороняться от врагов. Я дам тебе талисман, который предохраняет сынов Израиля от всех бед на земле.

Не поворачивая головы, ребе протянул руку. Габай услужливо сунул в нее медную медальку с каким-то знаком посередине.

— Надень, дитя Израиля, этот талисман; пока не снимешь его, будешь достоин земли обетованной. Снимешь,

отдашь, потеряешь — все козни человеческие обрушатся на тебя, и ад, кромешный ад, станет твоим уделом! Иди, дитя Израиля.

Мальчик стоял как вкопанный, глаза, полные надежды, не могли оторваться от благочестивого.

— Иди, иди, дружок.

Мальчик медленно попятился к двери, стараясь хоть на мгновение продлить минуту блаженства.

— И? — ребе вопросительно взглянул на габая.

— Как всегда, Святой учитель, наставление — два рубля, наставление и талисман — пять.

— Хорошо, зови следующего.

Приняв последнего посетителя, ребе утомился и прилег. Разбудил его крик ребецн¹.

— Идут, они идут. О горе, о горе!

— Что, они уже идут? — застегивая кафтан, спрашивает ребе.

— Уже пришли, — габай опускает голову, — они пришли, и наши пришли.

— О стыд, о позор! Господи, владыка мира, кровопролитие нестерпимо Тебе! Голос ребе заглушает шум. Стучат в дверь, чьи-то руки распахивают ее, чьи-то снова закрывают. Кто-то ударяет по окну и разбивает его. Камень влетает в комнату. Неистово вопит ребецн.

Ребе бросается к двери. Улица полна народа: толпа такая густая, словно идет похоронная процессия. Все бранятся, размахивают руками, хватают друг друга за бороды. Кто-то заносит палку над чьей-то головой, кто-то сыплет удары направо и налево. «Нахманчики, брацлавские собаки, убирайтесь, пока целы»², — кричат одни. «Шполянские свиньи, бегите к своему старцу, пока он еще не подох»³, — отвечают другие.

¹ Ребецн — жена ребе.

² Брацлавские хасиды — сторонники легендарного Брацлавского цадика ребе Нахмана.

³ Шполянские хасиды — сторонники Шполянского цадика.

— Несчастные, — пытается перекричать толпу ребе, — евреи, зачем вам эта драка, зачем вы подражаете гоям?

Толпа стихает.

— Вы хотите, чтобы мы уехали? Чтобы мы уехали в канун святой субботы?

— Убирайтесь, чтобы холера вас повалила!

— Хорошо, мы уедем, только пусть настанет мир.

Ребе возвращается в комнату, подходит к шкафу, в котором лежит Тора.

— Тому, кто рек — и стал мир, ведомо и открыто, что не по своей воле отказываюсь я от обязанности, которую взялся блюсти свято, хотя бы с опасностью для жизни. Делаю это ради мира. Амейн!

— Собираемся, — бросает он габаю.

Ребецн утирает слезы передником.

Толпа не расходится, евреи молча наблюдают, как два шарабана выезжают со двора. В первом, обложенный подушками, сидит ребе. Возле него габай и сыновья. В хвосте, между узлами и сундуками, устроилась ребецн с дочерьми. Во втором шарабанае, прижавшись друг к другу, едут ученики ребе Натана.

— Куда? — спрашивает кучер на ближайшей развилке.

— Куда? — на ухо спрашивает габай у ребе и, на ухо же получив ответ, показывает кучеру рукой. — Туда!

Ближе к вечеру шарабаны въезжают во двор большой аустерии¹, что примостилась на опушке леса возле быстрой извилистой речушки.

Гершель дер Крумер — здоровенный мужик, глаза которого смотрят в разные стороны и оттого видят то, чего не видят другие, не верит своему счастью: Святой учитель со своим двором пожаловал к нему в гости! Два раза в год, по дороге в Умань, и по дороге из Умани, ребе Натан оставливается в его аустерии, и каждый раз Гершель дер Кру-

¹ Аустерия — заезжий дом.

мер счастлив. Правда, сегодня шабес, а Святой учитель припозднился, так что Гершель должен торопиться, Гершель должен успеть до восхода первой звезды. И Гершель носится по дому и подгоняет старую Хаю-Эстер, которую вовсе не нужно подгонять. А подгонять нужно Баську. Но где эта дрянь Баська? С тех пор, как Гершель стал время от времени навещать ее на чердак, она совсем изленилась. А где Шлойме-мишуга? А где...

Живей, живей, поворачивайтесь, у нас в доме Святой учитель!

Пока все вокруг суетятся, ребе Натан усаживается во главе длинного дубового стола. Его ученики — их ровно двенадцать — рассаживаются на лавках справа и слева от учителя. Ребе Натан достает книгу и, едва шевеля губами, читает молитву. И ученики, раскачиваясь взад и вперед, читают молитву. Но шум и суета мешают молитве. Учитель закрывает книгу.

— Почему суетятся эти хорошие евреи? — обращается ребе к своим ученикам. — Потому, что они хотят поспеть к восходу первой звезды. Но разве в том заключается благочестие, чтобы слепо следовать предписаниям? Как говорил Учитель, истинное благочестие — в служении Господу молитвой. Такой молитвой, в которой изливается душа. Когда вы станете учителями и понесете Учение по свету, вы должны учить добрых евреев молитве, в которой душа изливается в радости и восторге. Но, если добрый еврей окажется слаб, если не в силах он будет восторгаться и радоваться в молитве, значит, должен он прилепиться к цадику, отбросить всякие мудрствования и жить умом цадика. В том и состоит благочестие, ибо цадик — это душа, человек — тело, а тело не может существовать без души. Даже дороги изнемогают от желания ощутить поступь человека, идущего к своему цадику. И как только человек останавливается — дороги облачаются в траур.

— Святой учитель, но, если тело не может существовать без души, значит ли это, что и душа не может суще-

ствовать без тела? Значит ли это, что если человеку нужен цадик, то и цадику нужен человек? — спрашивает Лейба из Трок, самый младший, самый дерзкий из учеников.

— Не задавайся мудреными вопросами, сын Израиля, не уподобляйся ученым мудрецам, ибо от учения ослабевает вера. Лучше будь верующим глупцом, чем во всем сомневающимся мудрецом.

Между тем на столе уже дышит теплом субботняя хала, вино плещется в глиняных кружках, на деревянном подносе поблескивают жареной корочкой куриные ножки.

— Борух ото Адойной, элохейну мейлах ха-ойлом... — ребе поднимает серебряный бокал и затягивает благословение вину.

Затем он отламывает кусок халы и благословляет плоды земли. И велит своим ученикам есть. И велит им пить. Ибо вино снимает тяжесть с души и помогает радоваться, и помогает восторгаться, и помогает слиться с Духом Господним и услышать истину из уст Его.

И они едят. И они пьют. И еще пьют. И становятся веселы и радостны, и встают из-за стола, и начинают танцевать, взявшись за руки. И петь, и рассказывать о чудесах, которые сотворил ребе. А потом снова пьют и танцуют каждый сам по себе. А потом им становится тесно, и они выходят на поляну. И танцуют на поляне, и срывают с себя одежды, и становятся голы, и идут плескаться при свете луны.

И только Лейба из Трок не танцует, не радуется и не веселится. Он бежит по лесу, бежит прочь. Ветер развеивает его черные кудри и рыжие пейсы, кусты цепляют полы его кафтана, котомка натирает плечи, а он все бежит и бежит, а в висках все стучит и стучит: если человеку нужен цадик, то нужен ли цадику человек?

И ребе выпивает бокал вина. И еще бокал вина. И становится ему хорошо. И видит он возле себя ангела. И ангел, как две капли воды похожий на габая, играет ему, Натану бен Вульфю из Крыжополя, на арфе и поет.

С веселым шипеньем, звеня и сверкая,
Лучится и пенится влага хмельная,
И вот он, веселья невольник и друг,
Библейского деда достойнейший внук!
Он кубок со влагой хмельной поднимает
И целое стадо в себе воплощает:
Вначале он кроток, что агнец; потом
В отваге готов он поспорить со львом...

Габай и Гершель осторожно поднимают ребе, относят его наверх и укладывают на солому.

Полная луна сквозь крохотное оконце освещает бледный лик.

17. САМОСОЗНАНИЕ НАЧАЛЬСТВА

Страсти по поводу бегства Гамова улеглись. Папа с отличием защитил дипломную работу, получил «красные корочки» и право поступать в аспирантуру. Но не право остаться в Физтехе — здесь все решал директор.

«Сходите к Абраму Федоровичу, что вы теряете?» — советовали ему. Папа, однако, не забыл разговор, который состоялся у него с Иоффе после возвращения из Армении; заставить себя подняться в директорский кабинет было выше его сил. В конце концов, решил так: либо Абрам Федорович сам о нем вспомнит, либо...

Иоффе вспомнил.

— Присаживайтесь, Борис Абрамович. Поздравляю, наслышан о вашей защите. Сам прийти, к сожалению, не мог. Ну-с, так каковы же наши планы?

— Еще не определились, Абрам Федорович. Сначала хочу навестить родителей, а когда вернусь, попробую устроиться учителем физики на рабфаке. Работа там вечерняя, днем можно заниматься. Буду читать корифеев, займусь математическими методами в теорфизике — у меня ведь столько пробелов!

— Ах, Боря, Боря, ну, что ж это вы так вцепились в теорию. Вы же от Бога экспериментатор. О вас слава ходит, будто вы из утюга умеете радиоприемник сделать. Теория — это прекрасно, но, поверьте, мой друг, физикой движет эксперимент.

Абрам Федорович откашлялся и перешел к делу.

— Я вам предлагаю заняться физической радиотехникой. Это прямо для вас. Прямо! Сам я давно увлечен идеей радиоэха. Представьте себе, какой-то источник посылает электромагнитный импульс, который, встречая на своем пути отражающий объект, эхом возвращается назад и принимается специальным индикатором. А уж потом при помощи особых приборов можно вычислить местонахождение этого объекта. Американцы называют это радиолокацией, но у них другой принцип. Я сделал предварительные расчеты, в общем и целом концы сходятся, но я не радиотехник, в тонкостях не разбираюсь. Короче, мы создаем лабораторию радиолокации. Возглавит ее Дмитрий Аполлинарьевич Рожанский. Вам я предлагаю место научного аспиранта. Поверьте, вы там будете как рыба в воде. И поучиться есть у кого, Рожанского я знаю еще по Германии — прекрасный физик!

Предложение Иоффе папа, разумеется, принял, в работу ушел с головой, и хотя под руководством Рожанского долго поработать ему не пришлось — Дмитрий Аполлинариевич вскоре скончался, — идею радиоэха сумел проверить экспериментально. Через пять лет он уже защищал докторскую диссертацию.

Защищал, защитил, но работой своей остался не доволен.

— Понимаете, Абрам Федорович, точность измерения зависит от стабильности генератора. Можно было бы добиться потрясающих результатов, но ведь лампы-то мы делаем вручную, разбросы от экземпляра к экземпляру огромные.

Иоффе, напротив, был очень доволен.

— Все понимаю, друг мой, но не забывайте — вы добились главного: доказали возможность создания импульсного радиолокатора. А что касается ламп и всего прочего — эта наша вечная проблема. Надо бы купить импортные. Впрочем, наверняка денег не дадут... Вот что, — Иоффе на минуту задумался, — пошлю-ка я вас за границу. А когда вернетесь, пойдём к «ним» и скажем: за рубежом усиленно занимаются радиолокацией, а у нас отставание. Это срабатывает, в таких случаях деньги дают.

Через месяц, папа случайно встретил Иоффе в коридоре. Абрам Федорович широко улыбнулся:

— На ловца и зверь бежит. Только что получил ответ из Эйндховена. В лаборатории Филипса вас готовы принять на год. Зарплата двести пятьдесят гульденов. Это немного, но прожить можно. Готовьте бумаги.

Еще через месяц Иоффе пригласил папу к себе. Встретил, тепло пожал руку, усадил в кресло и плотно закрыл дверь. Начал издалека.

— Вы знаете, я всегда старался пропустить через заграничные храмы науки как можно больше своих учеников и всегда это было трудно. Вначале не было денег, да и визы советским ученым никто давать не хотел. Если бы вы знали, скольких трудов стоило отправить Капицу в Англию! Потом удалось выхлопотать визу для Френкеля, потом добыл денег для Ландау и Обреимова. Двадцать наших сотрудников побывали за границей!

Иоффе замолчал, опустил голову.

— Первым подвел Синельников. Вернулся, знаете ли, из Кембриджа с женой-англичанкой. Тогда исследователи решили, что посылать можно только женатых. Ну, вы понимаете, — хитро подмигнул Иоффе, — чтобы не обижать наших невест. Но это были только цветочки.

Иоффе задумался и, понизив голос, словно кто-то подслушивал, спросил:

— Вы кому-то рассказывали о той статье из *Zeitschrift für Physik*?

— Кажется, нет, но точно не помню. Вообще-то самого журнала я даже не видел, в нашей библиотеке этого номера нет.

— Знаю, знаю, я забыл этот номер у себя, — Иоффе показал пальцем в сторону шкафа, — но кто-то все-таки видел. Или слышал.

Папа понял, в чем дело, и, по всей видимости, так сник, что Иоффе поспешил его успокоить:

— Нет, нет, вы не должны огорчаться. Заграница от вас не уйдет. Я, собственно, другое хотел вам сказать. Вы уже совсем оперились, а в области импульсной радиолокации стали главным авторитетом. Так что пора вам, Борис Абрамович, выходить на самостоятельную стезю.

К чему это шеф клонит?

— Когда мы организовали Физтех в Харькове, то возглавлять его послали Обреимова, Синельникова и Вальтера. Кафедру теоретической физики занял Ландау, хотя было-то ему всего двадцать пять! А уральский Физтех? Я предложил туда директором Мишу Михеева. Он был простым аспирантом. В Наркомате, помню, запростестовали — молод еще, неопытен. Но я настоял. И ведь справился! Вам я предлагаю Томск. Там уже сложилась школа радиофизики, они мечтают открыть лабораторию радиолокации и заполучить вас. Между прочим, дают отдельную квартиру. Это немаловажно, поверьте мне, молодой человек.

Иоффе сделал так, что огорчаться по поводу несостоявшейся командировки за границу не пришлось; предложение возглавить лабораторию интриговало, будоражило воображение. Конечно, не хотелось расставаться с Физтехом, страшно было утратить чувство уверенности и защищенности, которое создавало само присутствие Иоффе, но была и еще одна причина, по которой папа не хотел уезжать из Ленинграда. Он уже давно был знаком с моей мамой, настойчиво предлагал ей руку и сердце, она же без согласия родителей решиться не могла.

Родители ее были далеко, далеко...

Угроза разлуки, однако, сделала свое дело — мама сда-лась. На скорую руку расписавшись в загсе, молодожены отбыли в Томск, а уже ранним февральским утром 1939 года тряслись в пролетке по заснеженным мостовым го-рода. Подъехав к «высотному» — пять этажей! — дому, они расплатились с извозчиком, поднялись на третий этаж и отперли дверь. Их потрясенному взору предстали три боль-шие комнаты с паровым отоплением и — ванна!

Начать папе пришлось с нуля. Целыми днями он бегал по заводам, воинским частям, по всевозможным складам и конторам. Каждый день в его лаборатории появлялись новые приборы, инструменты, материалы. По вечерам он читал журналы, писал письма, обсуждал планы с коллегам-ми и беседовал со студентами местного университета. А когда все расходились, приступал к главному — к расче-там принципиально нового излучателя электромагнит-ных волн.

В конце декабря 40-го года он доложил на ученом сове-те о результатах теоретической разработки и обязался не позже, чем через год, продемонстрировать работу сверх-мощного генератора нового типа. Сомневающихся на-шлось немало, вопросами его засыпали со всех сторон, но Иоффе оказался прав: папа уже был зрелым ученым, запут-ать себя не дал, в результате получил «добро» и обещание всяческого содействия.

Свое слово папа сдержал — осенью 40-го он уже демон-стрировал коллегам модель сверхмощного генератора ра-диоимпульсов. Расчеты оказались правильными — путь к созданию радиолокатора, способного обнаруживать са-молеты на расстоянии в сотни километров, был открыт. Папа написал статью и вместе с обстоятельным письмом отправил ее Иоффе. В письме он писал, что идея радиоэха скоро воплотиться в сверхмощный радиолокатор, статью же просил пристроить в солидный журнал. Сам, между тем, с головой ушел в работу: к концу следующего, 1941

года, прототип радиолокатора дальнего обнаружения должен быть готов!

Закончить работу папе не удалось, в июле 41-го его призвали в армию.

Призвали в одночасье. Вызвали в военкомат, пропустили через медкомиссию, на сборы дали три часа. Одна, с трехмесячной дочерью на руках, осталась мама в чужом для нее городе. Она не могла даже плакать, ей казалось, что все это сон, что папа вот-вот вернется. Папа не возвращался, от него не было даже весточки. Мама впала в отчаяние, у нее пропало молоко, ночами она бродила по пустой квартире и тихо плакала.

Впрочем, пустой квартира оставалась недолго. Сначала маме подселили семью эвакуированных из Москвы, а затем еще одного жильца с Украины. Квартира наполнилась шумом, детскими криками, копотью керосинок, незнакомыми, режущими нос запахами. Ванная комната в мгновение ока превратилась в дровяной склад, коридор оказался забит разными вещами, и лишь на кухне маме остался маленький закуток, где она кипятила воду и варила каши — крохотное существо постоянно чего-то требовало, и его требования возвращали маму к жизни.

Между тем наступила зима, морозы перевалили за сорок. Мама уже выменяла на хлеб и молоко все свои кольца и сережки; в ход пошли платья, туфли, на очереди было последнее — шуба. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы однажды утром на пороге не появился человек в огромном тулупе, валенках, с сосульками в бороде. Мама не сразу поняла, что перед ней свекр Абрам Борисович. Она смутилась, провела его в комнату, помогла стащить тулуп и валенки.

— Что же это вы нам на письма не отвечаете? Мы ведь не чужие. А Боре почему не пишете, он просто с ума сходит!

Мама разрыдалась. Да так, что только с помощью нашатыря удалось привести ее в чувство.

— Все, кончились твои, — дедушка перешел на «ты», — муки. Сейчас отогреюсь и пойду хлопотать билет. У нас тебе будет хорошо. Фира, Борина сестра, тоже осталась с девочкой — муж ее на фронте с первого дня. Вот и будете по очереди за детьми смотреть. И мы с бабушкой Миной поможем. Работать пойдешь.

Мама впервые видела свекра. За три года после скоропалительной женитьбы папа так и не нашел времени съездить к родителям и познакомить их с невесткой. Сначала старики сильно обижались, но после рождения сестренки оттаяли. Бабушка прислала внучке пеленки и распашонки, сшитые собственными руками, а дедушку особенно тронуло, что девочку назвали Ная — в честь его покойной матери.

К началу войны дедушке Абраму уже перевалило за шестьдесят, но он все еще был бодр, легок на подъем и по-прежнему умел находить ко всем дорогу. Так что в том, жгучем от мороза январе сорок второго он каким-то чудом умудрился достать места в воинском эшелоне и уже через неделю вез к себе сноху и внучку.

Один Бог знает, почему в те первые месяцы войны к маме не приходили письма, которые папа писал часто и отправлял полевой почтой. А писал он, что из военкомата его отвезли в огромный военный лагерь, где учили стрелять, колоть штыком, наматывать портянки — готовили к отправке на фронт. Однако за день до отъезда в казарме появился связной офицер, усадил папу в коляску своего мотоцикла и отвез в политотдел округа. Там ему выдали литер на поезд, сухой паек и отправили в Новосибирск. В Новосибирске папа без труда нашел внушительное учреждение, указанное в командировочном листе, и обнаружил там группу таких же, как он, не очень молодых людей в военной форме. От них папа узнал, что все они включены в список ученых, которых вместо фронта будут направлять на военные заводы.

На какие именно — решала комиссия.

Представ перед высокими чинами, папа рассказал о себе, объяснил, что работает над созданием радиолокатора, способного обнаруживать самолеты на большом расстоянии. Пожилой генерал с серым от усталости лицом долго листал какой-то список.

— У меня на радиолокацию заявок нет, если хотите, пишите в Наркомат боеприпасов. А пока что я пошлю вас в Куйбышев, там нужен специалист по морской локации.

В Куйбышеве папа поседел. Но не потому, что работал сверх меры, решая сложнейшую проблему защиты кораблей от мин и подводных лодок. Чуть ли не каждый день звонили ему местные и столичные начальники, требовали «немедленных результатов». Или «объяснений в письменной форме». По всякому поводу грозили «оторвать голову».

Работа, между тем, сдвинулась с места, прототип гидролокатора, который сотрудники окрестили «адмирал Нахимов», успешно прошел лабораторные испытания. Чтобы проверить его в реальных условиях, папа со своей группой отправился на черноморскую военную базу. И вот здесь-то и начались настоящие трудности. Вначале гидролокатор просто «не видел» мину. Папа понял — металлические части деревянного катера, на котором был установлен гидролокатор, создают помехи. Такую неприятность он предвидел, но, чтобы устранить ее на месте, да еще за день-два, нужно было сотворить чудо. Чудо удалось, но возникли другие, совсем уж загадочные проблемы: на берегу локатор «видел» мину прекрасно, точно указывал расстояние до нее, но, как только катер выходил в море — сбивался, зашкаливал, показывал черт знает что. К вечеру у папы сел голос, утром он себя не узнал — голова стала белой.

Конечно, если бы поблизости находился крупный металлический предмет, все было бы понятно, но ничего металлического вокруг не было. Папа потребовал проверить дно. Пригнали водолазный бот, водолаз целый час возился во взбаламученной воде и обнаружил засыпанную песком баржу. Испытания перенесли в другое место. Резуль-

таты их оказались столь успешными, что даже военные моряки, народ сдержанный, начали кидать в воздух фуражки и кричать «ура!» Из Москвы прилетел заместитель наркома, по случаю «выдающегося успеха советской науки» устроил прием, папе объявил личную благодарность наркома, наградил его кожаным пальто-реглан, денежной премией в три тысячи рублей и десятью пачками легкого табака.

— А теперь, товарищи, возвращайтесь на завод, ударными темпами налаживайте производство — флоту позарез нужны сотни и тысячи таких гидролокаторов.

Возвращаться в Куйбышев не хотелось, папа подошел к большому начальнику.

— Я, знаете ли, не производственник, а ученый-изобретатель. Меня целесообразнее использовать для решения новых проблем, а производство наладят и без меня.

— Ну что ж, — порешил на радостях замнаркома, — наверное, вы правы. Проблем у нас хоть отбавляй. Вот, к примеру, ни с того ни с сего стали разрываться в стволах корабельные снаряды. Чудо какое-то — завод в Перми выпускал эти снаряды десятки лет! Вначале думали — диверсия, все перетрясли. Нет, не диверсия, какая-то техническая причина. Срочно нужно разобраться, а то на кораблях уже паника, моряки боятся стрелять. Если решите эту проблему, Сталинскую премию вам гарантирую. Возьметесь?

— Возьмусь. Только у меня просьба. Родители и жена с маленьким ребенком живут недалеко от Перми, нельзя ли на день к ним заехать?

— Даже на час нельзя. Разберетесь со снарядами, дам неделю отпуска.

Папа разобрался и с разрешения наркома провел три счастливых дня в родительском доме. А потом снова бесконечные поезда, бесчисленные заводы Урала, Поволжья, Сибири. Снова сложнейшие проблемы, которые решать надо было немедленно, подручными средствами, а если что не так, голова с плеч.

В начале 45-го папу демобилизовали. Худой, измотанный и издерганный, он, однако, дома засиживаться не стал. Не успев прийти в себя, тут же отправился в Томск, чтобы продолжить работу над радиолокатором. Наверстывать упущенное.

Первый, кого он встретил у входа в свою лабораторию, был... часовой.

— Пропуск!

— Я здесь работал до войны, можно мне пройти, поговорить с сотрудниками?

— Без пропуска не положено.

Папа пошел в дирекцию — все лица были новые. Секретарша с недовольным видом спросила: «по какому вопросу?» и, услышав «по личному», отрезала:

— По личным директор принимает по средам с девяти до одиннадцати.

— Я не могу ждать, я приехал издалека, мне и остановиться негде.

— Ничего не знаю, директор занят.

Тут папа рассвирепел.

— Да как это вы со мной разговариваете! Я сотрудник института, заведовал лабораторией, вернулся после демобилизации.

Секретаршу перекосило.

— Ждите, доложу. Только что-то не похоже, что вы из армии.

Директор, имя которого папе ни о чем не говорило, старался быть любезным, вставлял в разговор умные слова.

— Насколько я знаю, лабораторию радиолокации забрали из института еще в сорок втором, перевели не то в Свердловск, не то в Новосибирск. Да, да с вами будет проблема. Как демобилизованного мы обязаны вас принять, но ставок-то нет. Кстати, жилье у вас есть?

— Была трехкомнатная квартира на Пушкинской в большом доме. Жена выехала к моим родителям в январе сорок второго.

— А площадь забронировала?

— Нет, не думаю.

— Просто не знаю, что с вами делать. Договоримся так — я подумаю, посоветуюсь и решу, а вы заходите через пару дней.

Через «пару дней» директор умных слов не подыскивал.

— Ну, нету у меня ставок, нету! Не лаборантом же вас брать, черт возьми. А насчет жилья даже не заикайтесь. Тут люди забронированное жилье не могут вернуть! А ваша жена комнату бросила.

Домой папа вернулся мрачнее тучи, целыми днями сидел возле печки, ни с кем не разговаривал. Домашние ходили на цыпочках, только дедушка, похоже, был доволен. Чувствовал он себя к этому времени плохо — жить ему оставалось чуть больше года, — но тут вдруг приободрился, стал каждый день куда-то исчезать. Бабушка сердилась — где ты целый день пропадаешь, пивяки опять не поставил! Дед хитро улыбался — знаем, мол, зачем бегаем!

В один прекрасный день он буквально ворвался в дом и, не успев снять шубу, направился к печке.

— Боря, ты Бокарева помнишь?

— Это еще кто такой?

— Ну, работал у меня на заводе литейщик, здоровый такой дядька. Когда ты был маленький, я тебя с мамой и Наей у него прятал. Не помнишь? Но сыновей его помнишь? У него трое было; кажется, с одним из них ты в школе учился. Младшие погибли, а старший во время войны сильно выдвинулся. Недавно его в обком начальником отдела промышленности взяли. Сходи, может, он тебя вспомнит.

Поначалу папа и слушать не хотел. Потом передумал, решил — а почему бы не сходить? За годы войны часто приходилось ему обращаться к обкомовским работникам, и они — настоящая власть на местах — часто помогали.

Трижды проверив паспорт, милиционер провел папу в приемную.

— Я бы хотел побеседовать с товарищем Бокаревым.

— Так прямо с самим Бокаревым?

— Да, да, мы с ним знакомы, в школе вместе учились.

— Это к делу не относится, — отрезал сотрудник приемной, — изложите просьбу, я доложу товарищу Бокареву. Понадобится — вызовут.

Долго ждать не пришлось: через неделю на ухабы возле дедушкиного дома въехала большая черная «Эмка». Востовой вынул из планшета бумагу, дважды запнувшись, пробубнил фамилию.

— Собирайтесь.

Бокарев встретил папу как старого приятеля, велел принести коньяку и какой-то неведомой рыбы. Вспомнил, как бабушка Мина учила его читать, когда с детьми пряталась у них на Черной речке, припомнил кое-кого из учителей, рассказал, как бросало его в годы войны.

— Я, Борька, кончил войну начальником политотдела. И, знаешь, никак не хотели отпускать из армии — нет, и все тут! Но я добился, отпустили. А здесь сразу на промышленность бросили — как-никак, я ведь потомственный сталевар! А тебя мне сам Бог послал. Чуешь, что сейчас на повестке дня? Не чуешь, так я тебе растолкую. За войну к нам сюда такие заводы эвакуировали, такие институты, дух захватывает! И театры, между прочим, у нас столичные, и консерватория. А ученых сколько классных — из Москвы, из Ленинграда, отовсюду. Но вот беда — кадры разбегаются, все хотят в Москву, дьявол их побери! Ну ладно, актеры всякие и певцы пусть едут, без них проживем, но инженерные кадры мы обязаны удержать. Обязаны, понимаешь! Я пробил через правительство постановление, чтобы без разрешения обкома никто из руководящего звена уехать не мог. Но открою тебе секрет — это постановление только на год. Скажи честно, ты в Москву не собираешься?

— Да нет, о Москве не думал.

— Ну, и отлично! Такие, как ты, мне позарез нужны. Ты наш парень, в Ленинграде учился, доктором стал. А за войну-то чего наработал, — Бокарев потряс папкой, — тут и благодарности наркома, и представление на Сталинскую премию. Не пойму, почему тебе ее не дали. Да ладно, не огорчайся, у нас такие горизонты, что еще не одну премию получишь! Вот что я думаю конкретно: сделаю я тебя главным инженером на Девятом заводе. Из Подмосковья, из Подлипков эвакуирован. Там такие дела намечаются — голова кругом идет! Целый город строить будем, Минфин дал открытый бюджет, Лаврентий Павлович разрешил брать из лагерей столько людей, сколько понадобится. Впрочем, — Бокарев почесал в затылке, — сразу главным сделать тебя не могу. Если бы ты был в партии — тогда другое дело, а беспартийного обком не пропустит. Мы по-хитрому сделаем. Я тебя назначу исполняющим обязанности, а когда в партию вступишь, когда в обкоме к тебе попривыкнут... В общем, давай, заполняй бумаги, а я распоряжусь, чтоб по-быстрому, без проволочек.

Прошел месяц, из обкома ни слуху ни духу. Папа было решил, что Бокарев наболтал пустого, как к дому подкатила та же обкомовская «Эмка».

Бокарев был строг, курил одну папиросу за другой, всем видом показывал, что разговор будет неприятным.

— Не получается с тобой, Борис. Органы возражают. К тебе лично у них претензий нет, но тещь-то у тебя кто? Западник, спецпереселенец! Ты же пойми, Девятый завод — это святая святых, оттуда муха вылететь не смей. В общем, допуска тебе они не дали. Я против органов идти не могу. Такие вот дела. Куда сейчас без допуска? Никуда! Разве в шарашку какую тебя сунуть? Так ведь с твоим-то багажом! Я тебе вот что предложить могу: помнишь дом на Лысой горке, двухэтажный такой, кирпичный? А знаешь, что там? Палата мер и весов — вот как хитро называется. Дело, конечно, чепуховое — они там стандарты разные хранят, по-

верки по заводам делают. В общем, контора замшелая. И директором там был какой-то дремучий старик, чуть ли не с дореволюционных времен остался. Недавно помер. Хочешь, я тебя туда заведующим направлю?

Предложение Бокарева папа принял. То ли нужда заставила — к этому времени я на свет появился, — то ли понимал, что стандартизация — дело вовсе не чепуховое.

18. ВЕРЕТЕНО ДИАЛЕКТИКИ

Первое марта 1881 года. Санкт-Петербург. Ясно, ветрено, прохладно.

12 часов 30 минут. Государь взглянул в окно, тяжело вздохнул, взял в руки перо и поставил свою подпись.

— Одобряю, граф, это и будет наша конституция, — государь помедлил, — ваша конституция, граф.

Лорис-Меликов молча поклонился.

— Повелеваю, однако, задержать напечатание до четвертого марта, когда я желаю быть выслушан в Совете министров. Прощайте, сударь.

Лорис-Меликов молча поклонился.

Царская карета медленно выехала из ворот Михайловского дворца и направилась в сторону Зимнего.

В 2 часа 35 минут пополудни, проезжая по набережной Екатерининского канала, император был смертельно ранен брошенной в него бомбой. В 3 часа 15 минут он скончался.

Хорошо, когда страна проигрывает войну! Ибо проигранная война, что роды, ведет к оздоровлению и обновлению, к появлению на свет нового, того, чему суждено остаться «после нас!» И уж тем более хорошо, когда это новое придумано не сейчас, перед родами, а зачато давно, вынашивалось долго и мучительно.

В августе 1855 года пал Севастополь, а вместе с городом-крепостью развалилось и государство-казарма, которое император Николай I, не щадя живота ничьего, выстраивал тридцать лет. Правда, рабы-герои проявили незаурядное мужество, защищая Малахов курган; правда, после смерти старого императора в феврале 1855 года его наследник еще пытался предотвратить военное поражение. Но тщетно: Крымскую кампанию Россия проиграла. Режим гнета и обскурантизма трещал по швам, спасти его молодой монарх не мог. Да и не хотел.

Перечисляя в Манифесте о мире уступки, на которые пришлось пойти России, Александр II сказал своим подданным слова, до сих пор ими не слыханные. «Сии уступки не важны в сравнении с тягостями продолжительной войны и с выгодами, которые обещает успокоение Державе, от Бога нам вверенной. Да будут сии выгоды вполне достигнуты совокупными стараниями нашими и всех верных наших подданных. При помощи небесного промысла, всегда благодетельного России, да утверждается и совершенствуется ее внутреннее благоустройство; правда и милость да царствуют в судах ее; да развивается повсюду и с новой силою стремление к просвещению и всякой полезной деятельности, и каждый под сенью законов, для всех равно справедливых, всем равно покровительствующих, да наслаждается в мире плодами трудов невинных».

Слова эти — что живительная влага: в миг все пришло в движение, бросилось писать и говорить, строить и перестраивать, учиться и переучиваться. Как грибы после дождя появлялись новые газеты и банки, торговые дома и фабрики, учебные заведения и железнодорожные станции. Но и государь, и значительная часть общества знали: торроз всему — крепостное право.

К счастью, о необходимости освободить крестьян думали давно, в неизбежности сего шага не сомневались даже ярые крепостники. Спор шел о том, как, не нанеся ущерба помещикам, дать выжить свободному крестьяни-

ну. Вопросов было много, мнений — более того, и государь решил отказаться от указов, а затеял сложную и кропотливую работу. Отдавая крестьянской реформе максимум сил и времени, он призывал всех, прежде всего самих помещиков, принять в ней участие. Впрочем, общественность в призывах не нуждалась — по крестьянскому вопросу спорили в столицах и в провинции, о нем писали «Колокол» Герцена и «Русский Вестник» Каткова, императора засыпали «адресами» дворянские собрания консерваторов-олигархов и либералов-реформаторов. Так что когда 5 марта 1861 года, после четырех лет споров, борьбы и упорной работы, Александр II объявил «волю», общество восприняло этот шаг как само собой разумеющийся.

После объявления «воли» реформаторская энергия императора заметно ослабла. Реформы тем не менее продолжались.

Земская реформа положила начало общественному самоуправлению в стране, знавшей в веках одно лишь самодержавие. Судебная — сделала Россию правовым государством. Военная — заменила прежнюю рекрутчину всеобщей воинской повинностью и установила семилетнюю (вместо 25 лет) службу для мужчин, достигших 21 года. Реформа в области финансов способствовала укреплению рубля, подъему торговли и промышленности. Перемены в области просвещения узаконили воскресные школы и женские гимназии. Университетский устав провозгласил автономию университетов, Цензурный — заметно ослабил оковы предварительной цензуры. Все эти многочисленные преобразования и составили эпоху Великих Реформ, целью которой было коренное изменение государственного устройства и радикальное обновление общественной жизни.

Удались ли коренное изменение и радикальное обновление? Не удались!

И государь, и правительство, и та часть общества, что энергично пыталась открыть новую страницу в истории отечества, начисто забыли: отечество-то у них многопле-

менное, в неволе живут не только крепостные крестьяне, но и многочисленные нерусские и неправославные народы. Будь Россия страной русской, православной, реформы, без сомнения, сделали бы свое дело. Но как дамоклов меч висел над ней «проклятый национальный вопрос»: если не штыком, то чем удержать разношерстную, разбросанную на десятки тысяч верст империю?

Простого ответа здесь не было. В то время, когда еще продолжались завоевание Кавказа, покорение Средней Азии и присоединение китайских земель на Дальнем Востоке, западные колонии — Финляндия, Балтия, Польша — настойчиво требовали большей самостоятельности.

Шумнее других бунтовали поляки.

Увы, неумелые действия русской администрации в Варшаве и нерешительность государя в польском вопросе привели к тому, что национальное движение приобрело здесь антирусский характер. Петербург воспринял брожение в Польше как досадный эпизод, о предоставлении полякам большей автономии никто не думал. В результате в январе 1863 года Польша восстала. И хотя к маю следующего года восставшие были разгромлены, не Польша оказалась проигравшей стороной. Нескончаемые вереницы виселиц, которыми усеял Западный край граф М.Н. Муравьев, стали вехами на пути независимости польского государства. Поражение же потерпела Россия. Та Россия, которая чуть было не стала самым либеральным и влиятельным государством на европейском континенте. Поражение потерпели государь-реформатор и та часть русского общества, которая не жалела сил во имя обновления отечества. Под колокольный звон патриотического возбуждения, захлестнувшего общество, сторонники старых порядков решительно потеснили умеренных реформаторов. Призыв Александра Герцена: «За нашу и вашу свободу» общество отвергло, а журнал «Колокол», до того ходивший в России в тысячах экземпляров, потерял былую привлекательность «из-за связи с врагом».

Разгромом Польши дело не ограничилось.

Нет слов, реформы существенно облегчили жизнь российских евреев. В 1856 году был упразднен институт кантонистов; «избиение еврейских младенцев» прекратилось. Тогда же особым именованным указом Сената евреи были уравнены с прочим населением относительно приема на военную службу. Отныне запрещалось взимать рекрут в виде штрафа за податные недоимки, отменялось право еврейских обществ ловить и сдавать в рекруты беспаспортных единоверцев.

Новые судебные уставы уравниали евреев перед лицом судебной власти, открыли им доступ к адвокатуре и, по крайней мере формально, — к должности судей. Положение о земских учреждениях от 1864 года не сделало никаких изъятий для евреев, а Городовое положение 1870 года несколько расширило их участие в городском самоуправлении.

В 1856 году группа «почетных еврейских купцов» — плутократы-наторы, разбогатевшие на акцизах, сахарозаводческом деле и железнодорожном строительстве, — обратилась к Александру II с ходатайством: «...чтобы Милосердный Монарх пожаловал нас и, отличая пшеницу от плевел, благоволил в виде поощрения к добру и похвальной деятельности предоставить некоторые, умеренные, впрочем, льготы достойнейшим, образованнейшим из нас».

Дарование терпимости по имущественному цензу не заставило себя ждать: евреям-купцам, состоящим в первой гильдии, и лицам, закончившим университет, дозволено было селиться в столицах и других городах России. Вообще же в эпоху великих реформ было сделано немало уступок «избранным», но основная масса российского еврейства — два с половиною миллиона человек — по-прежнему была лишена всяких прав и наглухо заперта в Черте.

Но ведь именно Черта и была первопричиной всех зол, средоточием обширного ограничительного законодатель-

ства. Уничтожить ее означало разрубить гордиев узел еврейского вопроса. Однако государь, опасаясь, что «позволение евреям жить повсеместно в империи угрожает государственным видам и интересам христианского населения», оставался тверд в требовании сохранить крепостное право для евреев.

Конечно, отмена черты оседлости могла породить — на первых порах, наверное, — проблемы и для правительства, и для населения тех мест, где евреев никогда не видели, да и для самих евреев. Но проблемы эти не шли в сравнение с теми, что были вызваны раскрепощением крестьян. Для решения еврейского вопроса — так же, как и крестьянского, — необходимы были широкие дебаты в обществе, напряженная работа правительственных учреждений, желание государя дать волю «крепостным Черты».

Увы, те же самые общественные круги, что горячо ратовали за освобождение русских крепостных, сделали вид, будто еврейских крепостных вовсе не существует. Никаких споров, никаких столкновений по этому вопросу не было, решался он в тиши правительственных кабинетов. И пока кабинеты эти занимали сторонники реформ, какие-то надежды еще оставались. Но когда реформаторов сменили сторонники охранительной политики и полицейских мер, надеждам этим пришел конец.

4 апреля 1866 года на жизнь государя-императора было совершено покушение. Воспользовавшись поводом, ретрограды и обскурантисты перешли в наступление. Последовали репрессии, начался период безгласности и торжества охранительно-полицейской линии во всех сферах жизни.

Увы, полицейский террор успокоения не принес. Напротив, революционеры в ответ все чаще прибегали к контртеррору. Веретено раскручивалось, покушения на императора следовали одно за другим. После взрыва в Зимнем дворце 4 февраля 1880 года Александр II объявил о введении военно-полицейской диктатуры. Страной от-

ныне должна была править Верховная распорядительная комиссия; ее главе, генералу Лорис-Меликову, император предоставил права диктатора.

К удивлению многих, граф Лорис-Меликов не ограничился беспощадной войной с революционерами. Он считал необходимым вернуть правительству доверие общественности. А посему удалил в отставку наиболее консервативных министров, поставил под жесткий контроль политическую полицию, снял ограничения с земства, ослабил цензуру печатных изданий. Общество, однако, сочло это недостаточным, ходатайства об учреждении всеобщего представительного органа — парламента поступали из разных земств. Конституционное устройство западно-европейского типа Лорис-Меликов отверг, как отверг он и славянофильскую идею земского собора. «Бархатный диктатор» составил свой собственный проект, который обещал стать предтечей будущей конституции. Проект был представлен на подпись царю первого марта 1881 года.

Первое марта 1881 года. Санкт-Петербург. Ясно, ветрено, прохладно.

12 часов 30 минут. Геся взглянула в окно, озноб побежал по телу, холод ударил в ноги. Она улеглась на кровать, обмотала ноги халатом. Не помогло. Холод медленно расползлся по животу, по спине, по рукам. Геся натянула на себя все, что могла, забилась под перину. Не помогло. В 2 часа 35 минут озноб охватил все тело, в 3 часа 15 минут началась лихорадка.

Конечно, ей было бы легче, много легче, если бы она сейчас находилась на Екатерининской набережной. Она была бы спокойна, и рука ее ничуть бы не дрогнула. Но ведь они не захотели ее. И почему не захотели!

Верно, товарищи много раз говорили: «Геся, ты плохо ненавидишь царя. Его надо ненавидеть как своего личного врага. Ненавидеть всей, ты понимаешь, Гесенька, всей

душой!» Если честно, они были правы. Когда речь шла о крестьянах, о женщинах, о всех угнетенных, она искренне, до боли в сердце желала им свободы, равенства и счастья. Конечно, она не хуже товарищей понимала, что виновником всех бед является царь, она верила, что его надо убить, но вера шла от головы, а не от сердца. Скрыть это она не умела и на товарищей не обижалась.

Но теперь все иначе. Ее отвергли не потому, что в ее душе не хватало ненависти, ее отвергли потому, что она... еврейка. Так и сказали на исполкоме: «Тебе нельзя, Геся, ты — еврейка». Вынести это было выше ее сил. Двадцать из своих 36 лет она отдала борьбе за право и свободу, двадцать лет она провела среди революционеров, прошла по «процессу 50-ти», отбыла два года в «Литовском замке», была в ссылке, бежала, перешла на нелегальную работу. И вот теперь — «ты еврейка!»

А в самом деле, разве я еврейка? Или, может быть, я когда-то была еврейкой? Откуда-то из глубин памяти всплывают картинки далекого детства.

Ей семь лет, вечер, ее укладывают в постель, но тут раздается стук в окно. Это габе¹ из синагоги. С ним какой-то высокий тощий человек, в истрепанном кафтане с посохом в руках и котомкой за плечами. Густая черная борода скрывает лицо, рыжие пейсы спускаются до плеч, ключья волос на голове торчат в разные стороны. Человек был так страшен, что Геся заплакала. Но человек посмотрел ей прямо в глаза, и она перестала плакать. Она вдруг увидела, что это... прекрасный принц.

— Реб Меер-Залман, — сказал габе отцу, — этот бахур² прибыл издалека, чтобы учить Тору в нашем клаузе³. Ему нужна крыша и кусок хлеба.

¹ Габе (габбай)— должностное лицо в общине, ведающее организационными и денежными делами.

² Бахур — парень (*иврит*).

³ Клауз (клойз) — школа (или институция) при синагоге, где молодые люди изучали Тору и Талмуд или просто проводили время, получая воспомоществование от общины.

Дальнейших слов не требовалось. Меер-Залман Гелфман был человеком состоятельным, в его доме постоянно жили те, кто учил Закон.

Лейба из Трок оказался не похожим на тех, кто прежде кормился у Меера-Залмана. Никто не видел, чтобы он читал книгу; он либо молился, либо размышлял, либо спорил. Молился, уединившись на природе, размышлял «про себя», а когда начинал спорить, лицо его становилось бело, глаза загорались, а руки он непременно возносил вверх, словно призывал Господа в свидетели. Лейба говорил так горячо и убедительно, что не соглашаться с ним было невозможно.

Но так было вначале. Постепенно же в словах его различили гордыню, не приличную для клойзника. Старый раввин сделал ему внушение.

— В тебе, сын Израиля, говорит злой дух. Ты должен меньше думать. Зачем думать, ведь изменить то, что создано Богом, нельзя!

— Вы говорите, что человек не должен думать, потому что созданное Богом не подлежит изменению. Но если Бог вложил в меня злой дух, как же я могу вырвать его с корнем? Нет, нет, мы сами должны обуздать сидящие в нас злые силы. Мы можем изменить себя сами, как удалось человеку изменить животных, чтобы они не причиняли ему вреда. Человек — хозяин природы, он все может...

— Безумец, ты должен молиться, ты должен учить Тору.

— Человек — выше Торы...

— Вон отсюда! Я запрещаю тебе переступить порог Дома Господня. Иди и кайся!

Лейба и не думал каяться. Он стал ходить из дома в дом и говорил о человеке и Боге, о добре и зле, о больном и здоровом духе. Его слова пугали людей, его называли «апикойрес»¹, перестали кормить, гнали прочь. И он исчез, и никто не знал, где он и что с ним. И только маленькая Ге-

¹ Апикойрес — нигилист, безбожник.

селе, которая всегда ходила за Лейбой по пятам, знала, что живет он в овраге на опушке леса. Она воровала из дома лепешки и вечерами, когда темнело, бежала в лес. Лейба усаживал ее на колени и говорил с ней о Боге и человеке, о добре и зле, а Геся слушала его и не могла оторвать взгляда от своего возлюбленного принца.

А потом случилось это.

Стояли тяжелые осенние сумерки. В субботу между вечерними молитвами Минха и Маарив синагога выглядела как корабль перед крушением. Уходил праздник, но всем хотелось хоть немного продлить его покой и святость. Мрак, между тем, надвигался, тени становились длиннее и гуще, приближались будни. Скоро уже можно будет зажечь свечи, но пока все в последний раз плачут, жалуются на судьбу, каются, стучат по амвону, чтобы отогнать дурных духов.

И вдруг на амвоне, среди загадочных теней выросла фигура человека в черном. Словно крыльями, взмахнул он полами своего кафтана, лицо его стало бело, глаза загорелись зеленым светом.

— Несчастные, что вы плачете, в чем каетесь, за что просите прощения? За грехи? Но ведь из всех тварей на земле только человеку дано право грешить. Только человек может выбирать между добром и злом. Разве первый человек — Адам не согрешил, вкусив от запретного плода? Человек — вершина мироздания. Это тираны не хотят, чтобы вы знали, кто вы такие. Это тираны запрещают вам думать. Это они придумали Бога. Но Бога нет, есть человек!

Черный пророк умолк, наступила гробовая тишина. Затем по толпе прошел легкий гул, потом гул перерос в крики и вопли. Толпа узнала человека в черном и набросилась на него. Лейбу били палками и ногами, били по голове и по ребрам, по спине и по животу. Били до тех пор, пока не прекратились конвульсии бездыханного тела. Потом его завернули в грязные тряпки, отнесли на опушку леса, бросили в овраг и засыпали камнями. И никто не

знал, что случилось с Лейбой из Трок на закате субботы. Только маленькая Геселе знала.

Она стояла на краю оврага и оплакивала своего принца. Она плакала, а ее слезы падали на камни, и камни от того начинали шипеть и превращаться в пар. Наконец все камни испарились, на дне оврага показалось бездыханное тело Лейбы. Геселе заплакала еще сильнее, ее слезы полились прямо на лицо и одежду возлюбленного. Вдруг тело его зашевелилось, Лейба приподнялся сначала на одно колено, потом на другое, затем встал во весь рост, взмахнул лапами черного кафтана и оказался рядом с Геселе.

— Не плачь, моя девочка. Ты — чистая душа. Сейчас я поцелую тебя и дам тебе невиданную силу. Я вдохну в тебя дух Свободы, Любви и Ненависти. И помни, я не умер и никогда не умру. Отныне я буду витать над городами и местечками и искать такие же чистые души, как ты. Я буду вдыхать в них дух Свободы, Любви и Ненависти. И те, в кого я вдохну эту невиданную силу, перевернут мир, изгонят тиранов и посеют среди людей дух Свободы, Любви и Ненависти. Прощай, душа моя.

Не успел Лейба поцеловать Гесю, как откуда-то снизу появились языки белого пламени. Лейба взмахнул лапами кафтана и стал медленно возноситься ввысь. Он становился все меньше и меньше, пока не превратился в маленькую светящуюся точку.

Его уже не было видно, а с небес, словно раскаты грома, неслись слова: «Человек велик!», «Смерть тиранам!», «Бога нет!»

Геселе упала на краю оврага.

Проснулась она от криков: «Геселе, майн кинд, где ты? Геселе, майн кинд...» Горячие руки матери подхватили озябшее тело. Геся попыталась вырваться.

Цепкие руки жандармов крепко держали холодное дергающееся тело. Черная карета взяла курс на Петропавловскую крепость.

19. ЛИТОВСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

Слово «стандарты» означало для папы нечто большее, чем хранящиеся в особых шкафах эталоны — гирьки и линейки. К работе в «замшелой конторе» — Палате мер и весов — он отнесся серьезно, задумал внедрить стандартизацию в радиологию, в оптику, в радиотехнику. С его приходом особнячок на Лысой горке преобразился — одна за другой открывались новые лаборатории, в коридорах то и дело появлялись новые лица.

Изменилась и наша жизнь.

Со старых еще времен повелось, что директор жил в здании Палаты. Его просторная квартира находилась на верхнем этаже, куда мы перебрались из тесного и сырого дедушкиного дома. Правда, долго мы в ней не задержались. Палата — теперь уже Институт метрологии — задыхалась от нехватки места, а во дворе, между тем, находился большой флигель, где доживал свой век старичок-привратник. Когда он его дожил, папа решил перенести директорскую квартиру во флигель, освободить место для новой лаборатории. Вот в этом-то флигеле в глубине сада на Лысой горке и началось мое детство.

Не успели мы обосноваться в новой квартире, как умер дедушка Абрам. Бабушка Мина осталась одна, но переезжать к нам наотрез отказалась: «Здесь умер Абраша, здесь и я хочу умереть». Меньше чем через год ее не стало. На похоронах я сильно плакал, а сестренка Ная стала меня утешать: «У нас еще есть дедушка и бабушка».

Есть? Но где?

Однажды зимней ночью я проснулся от завывания ветра. Прислушался и вдруг понял, что это вовсе не ветер — кто-то рыдал в прихожей. Я выбежал в коридор и увидел плачущую маму, обнимавшую двух грязных, оборванных стариков.

— Ты что выскочил, а ну быстро в постель, — рявкнул отец.

Дедушка Макс и бабушка Рая остались у нас, но я их почти не видел, — они целыми днями сидели у себя в комнате, выходили лишь поздно вечером. Исчезли они так же внезапно, как и появились.

Наступила весна. Помню — это было посреди дня — в доме раздался звонок. Я открыл дверь... на пороге стоял дедушка Макс! В первый момент я его не узнал: гладко выбритый, в длинном светлом пальто и шляпе, он совсем не походил на того бородатого человека в телогрейке, каким я его впервые увидел полгода назад. Дедушка улыбнулся и пропустил вперед извозчика, который тащил коробки и чемоданы.

Поселились они у нас насовсем и насовсем же изменили нашу жизнь.

Строго стала соблюдаться суббота, да и другие праздники справлялись отныне не как придется, а по всем правилам. Первым стал Пурим. Нае смастерили платье из марли и склеили корону — нарядили царицей Эстер. Меня сделали принцем, папу — Артаксерксом. Наряжать кого-то злодеем-Аманом¹ дедушка не разрешил: «Человек не должен быть Аманом». Эту роль отвели потрепанной кукле по прозвищу Козя. Козе завязали один глаз, приклеили вымазанный красной краской бумажный кинжал. Когда все напрыгались и навеселились, бабушка подала гоменташен². Таких гоменташен, которые делала бабушка Рая, я больше никогда не ел!

Но главным праздником стал, конечно же, Песах — Пасха. Готовились к нему загодя, точнее, загодя начинали запасать муку, которую тогда «давали» по килограмму на человека три раза в год — на октябрьские праздники, майские и на Новый год. В эти дни дедушка с бабушкой раз-

¹ Царица Эстер, Аман, Артаксеркс — персонажи библейской Книги Эстер, в которой повествуется о том, как благодаря еврейской жене персидского царя Артаксеркса евреи Персии избежали истребления.

² Гоменташен (уши Амана). Треугольные пирожки с маком, которые по традиции готовят в праздник Пурим.

рывались на части: становились в очередь в каком-нибудь магазине, записывали на руке номер и тут же неслись в другой магазин, чтобы занять еще одну очередь. Главное было не перепутать, к какой очереди относится тот или другой номер.

Ближе к Пасхе начиналось главное таинство — мы пекли мацу! Впрочем, все начиналось с генеральной уборки, когда мама и бабушка мыли и чистили квартиру, меняли белье, занавески и скатерти, когда прекращался поток гостей, а папа ходил хмурый и недовольный. Когда уборка заканчивалась, дедушка доставал огромную коробку с пасхальной посудой, и все принимались за дело. Бабушка замешивала тесто в большом эмалированном тазу, дедушка топил русскую печь, мы с сестрой стояли наготове у стола со скалками и внимательно следили, как продвигаются дела у бабушки.

Когда тесто становилось крутым, бабушка нарезала его маленькими кусочками. Наше дело — кусочки эти раскатать, превратить в тонкую лепешку. Потом вилкой наколоть в лепешке дырочки и уложить ее на простыни — тесто должно было подсохнуть, прежде чем дедушка отправлял лепешку в глубину печи.

На пасхальный седер¹ у нас собиралось человек двадцать. Вел его дедушка. Но как вел!

Аггаду² он лишь перелистывал, главным же образом произносил речи. Речи обвинителя и беспристрастного судьи. Он говорил об исходе из Египта, об избавлении от рабства, о презрении к «фараонам». Он призывал нас, сидящих за столом, проникнуться мыслью, что это именно мы и именно теперь выходим из Египта.

Я заворуженно смотрел дедушке в рот и искренне верил, что вместе со всеми пересекаю Красное море, а за нами на колесницах гонятся лучники фараона.

¹ Седер — буквально — порядок (*иврит*). Здесь — праздничная трапеза в вечер наступления праздника Песах.

² Аггада — история, рассказ (*иврит*). Библейская история исхода евреев из Египта.

Увы, праздники кончались, и тот же дедушка, который только что ратовал за свободу, начинал мучить нас с сестрой, словно фараон своих рабов-евреев. Он заставлял меня, а мне не было и пяти лет, зубрить «алэф-бэт» — алфавит, часами требовал повторять, как обозначаются гласные звуки и как они произносятся.

Когда я выучил буквы и освоил азы грамматики, дедушка извлек откуда-то истрепанную книгу под названием «Учебник древнееврейского языка и Библии», и мы начали изучать Таннах¹. Заниматься стало интереснее. Мне нравились библейские рассказы, я то и дело сбивался на разные вопросы, но дедушка не любил отвлекаться: как только он видел, что я понял текст, он тут же закрывал учебник, открывал Сидур — молитвенник и заставлял меня заучивать очередную браху². С каким же облегчением спускался я после этих мучений в гостиную, где собирались папины сотрудники!

С первых дней жизни во флигеле папа превратил нашу гостиную в место для семинарских занятий. Здесь обсуждались статьи и диссертации, читались доклады, велись разговоры о том, о сем. Но какое бы действие здесь ни проходило, на столе непременно дымилась картошка, и лоснились жирными спинами крупные селедки. По ходу дела картошка и селедка исчезали, а на смену им появлялся самовар; по комнате расползался запах душистого крепкого чая.

Вход в гостиную был для меня открыт, но при условии: я не должен раскрывать рта и ничего выпрашивать со стола. И я, словно комнатная собачонка, слонялся от одного стула к другому, забирался то на диван, то на подоконник, но запретов не нарушал. Кажется, я только один раз нарушил обет молчания. Вышло это случайно. В ту пору меня

¹ Таннах — Ветхий Завет.

² Браха — благословение.

очень интересовали русские буквы. Я выискивал их, пытался понять, как они произносятся, спрашивал у дедушки. Ответ был коротким: «Успеется с русским, его ты выучишь в школе. Пока я жив, учи еврейский».

Все же я каким-то образом улавливал, как эти буквы произносятся, научился складывать их в слоги. Однажды, маясь от безделья в гостиной, я обратил внимание на журнал, который кто-то оставил на диване. Обложка его была лаково-белой, сверху крупно и жирно напечатаны три слова. Я стал разбирать буквы: «у», «с», «п», потом неожиданно для самого себя громко произнес: «Успехи физических наук». Произнес и тут же испугался — мне же запрещено говорить вслух!

Все разом повернулись ко мне.

— Я больше не буду, — я был уверен, что меня сейчас же прогонят.

— Ты это сам придумал?

— Тут написано...

Гости дружно зааплодировали.

— Филолог у вас растет, Борис Абрамович, честное слово — филолог!

Кто именно меня сглазил, не помню.

Быть может, это был сухой, постоянно кашляющий человек, который всегда ходил в черном костюме и черном же галстуке. Фамилия его была Елистратов, он был одинок, часто оставался у нас ночевать. Елистратова папа очень уважал. Тот был старше отца, много лет провел в зарубежных университетах. Я точно знал, когда заговорит Елистратов, папа обязательно скажет: «Тише, друзья, давайте послушаем».

А может быть, это был Пашилов, скуластый краснощекий человек, который очень интересно рассказывал, как во время войны попал в плен, а потом бежал оттуда.

Это точно был не Родич, югослав, который каким-то образом попал в наш город, считался папиным аспирантом, очень удачно работал, но ужасно смущался своего акцента и старался не произнести лишнего слова.

Это вряд ли мог быть Каштеленис. Молодой, но совершенно лысый, он говорил только по делу и всегда начинал со слов: «Простите, но...»

Правда, это могла быть маленькая, пухленькая Гутина, которая почему-то всегда охала: «Ох, уж увольте, Борис Абрамович!»

Да, чуть не забыл — это же мог быть Вульфик Хмельницкий, сын Доры Михайловны из Ленинграда. Оказался он у нас чудом — столкнулся случайно с папой на улице, недалеко от института. Папа его не узнал, но Вульфик сам к нему бросился, обнял, расцеловал. Папа тут же притащил его домой, стал угощать и расспрашивать. Оказалось, Вульфик провел на фронте три года, был ранен, скитался по госпиталям и, наконец, осел в нашем городе, где-то работал и учился на заочном отделении юридического института. У нас он стал бывать каждый вечер. Придет, разделенся в передней и сидит себе тихонько, слушает ученые разговоры. Мама по этому поводу всегда сокрушалась: «До чего же Вульфiku одиноко, если он целыми вечерами готов слушать вашу дребедень!»

Нередко в доме появлялись именитые гости.

Более других запомнились мне братья Кикоины. С младшим, Исааком, папа был дружен со времен ленинградского Физтеха. Старший, Абрам, хоть и слыл хорошим альпинистом, в физике преуспел меньше брата. Кикоины всегда приходили вместе, и разговор начинался с рассказа Исаака о том, что происходит в столицах. Говорил Кикоин живо, любил подшучивать над всеми, в том числе и над собой. Стоило, однако, ему задеть Абрама Федоровича Иоффе, как папа сразу начинал возмущаться.

— Не повторяй чепухи, Исачок. Это Дау распускает слух, будто Иоффе не ученый, а организатор. А сам Дау кто? Для чего он собирает вокруг себя учеников? Чтобы они ему в рот смотрели? Что за ерунду придумал — теорминимум! Ну, хорошо, зубрят они, зубрят, тратят годы, сдают этот теорминимум, а дальше что? Где наука, когда

они науку делать будут? Папа Иоффе давал нам идеи и требовал конкретных результатов. Он — ученый, а Дау — Любавический ребе: создал «ешиву имени Ландау» и попытается, будто ему сам Эйнштейн сват и брат!

— Ну что ты петушишься, Борюня, Дау — гений, он может себе позволить...

— Да, да, он строит из себя гения, а физика где?

— Ты и скажешь! А сверхтекучесть гелия — это, по-твоему, не гениально? За что ты его не любишь?

Не мне судить, кто был прав в этом споре, но за что папа не любил Ландау, знаю точно: не мог простить ему осуждение Гамова. Слов «продался за доллары и самоликвидировался» папа никогда не забывал. Как и много лет спустя, не простил он своему кумиру, Абраму Иоффе. Частые визиты бывшего шефа в Германию, коллекционирование почетных степеней немецких университетов, из которых совсем недавно изгоняли еврейских профессоров и студентов, казались папе делом недостойным. Но все это было много позже, а пока что имя Иоффе произносилось с придыханием, письма его читались вслух и горячо обсуждались.

В какой-то момент все изменилось; имя Абрама Федоровича старались не произносить, разве что шепотом. «Нет, Исачок, это невозможно, его и заменить-то некем».

— «Уже решено». — «Ты шутишь!» — «"Борода"¹ шутить не станет».

Отца советской физики, академика Иоффе сняли с должности директора ленинградского Физтеха и вышвырнули из квартиры, которая, как и наша, была в здании института, в декабре 1950 года.

До папы очередь дошла через два года. В его кабинете произвели обыск, в кармане пальто «обнаружили» нож,

¹ «Борода» — так друзья называли академика Курчатова, руководителя советского атомного проекта.

которым он якобы угрожал рабочему. Но то ли чекисты не сумели найти того рабочего, которому папа угрожал, то ли кому-то бросилась в глаза нелепость обвинения, но уволили его с формулировкой «за грубые нарушения кадровой политики». Одновременно в местной газете появилась статья под названием «Осиное гнездо на Лысой горке». «...При попустительстве директора в Институте метрологии нашли пристанище бывший троцкист, бывший пленный, бывший сотрудник Тито, сын литовского буржуазного националиста и дочь врага народа. Но органы госбезопасности обнаружили вражеское гнездо космополитов, стоящий вне партии директор отстранен от должности. Расследование продолжается». Нетрудно догадаться, чем бы завершилось «расследование», если бы через два месяца не произошло важное событие.

Как сейчас помню, папа вбегает в дом — мы уже ютились в каком-то подвале — и, не сняв пальто, бросается к дедушке Максиму. Улыбаясь, он что-то говорит ему на ухо. Дедушка всплескивает руками.

— Гепейгерт, ди холере им ди бейнер!¹

Увидев мои широко открытые глаза, оба замолкают.

Да говорите вы, говорите, меня вовсе не интересует, кто умер, я изумился папиной улыбке, я ведь думал, что он совсем разучился улыбаться!

Самое страшное осталось позади. Тем не менее, мы продолжали ютиться в подвале, жили на учительскую зарплату мамы. На работу папа устроиться не мог. Кругом были «почтовые ящики» — военные заводы, куда вход ему был заказан. В университете и Политехническом институте тон задавали те самые люди, которые получили свои места в разгар борьбы с космополитами.

Как-то случайно папа встретил Вульфика — после появления «разоблачительной» статьи он у нас больше не бывал. Вульфик стоял на трамвайной остановке, выгля-

¹ Слох, холера ему в бок! (*идиши*)

дел бодрым, подтянутым, но, увидев папу, смутился, стал говорить какие-то слова в свое оправдание.

— Да что ты, — папа поспешил его успокоить, — никто на тебя не обижается, просто мы не знали, что с тобой, очень переживали. Ну, а теперь зайдешь?

— Теперь уж нет, — еще более смущаясь, сказал Вульффик. — В Москву уезжаю. У меня там жена и сынишка. Между прочем, тоже Боря.

Итак, на работу папу не брали, положение становилось отчаянным, как вдруг все изменилось. Неожиданно вернулся дедушка Макс. Сразу после смерти Сталина он куда-то уехал, обещал вскоре вернуться, но это «вскоре» затянулось на два месяца. Радостный и возбужденный он прямо с порога закричал:

— Разрешили, ура, нам всем разрешили!

Что именно нам разрешили, я не понял. В доме, между тем, с утра до вечера шли споры и разговоры.

— Пойми, Боря, ты здесь ничего не высидишь. Ты большой ученый, но куда ты пойдешь — инженером на завод? Так ты и там устроишься инженером. Зато там культурно, чисто, люди как люди, не то что здесь: пьянь да рвань — детей на улицу выпустить страшно.

— Да там атмосфера ужасная, литовцы всю войну с фашистами якшались, да и сейчас в лесах бандиты бродят.

— Как ты, умный человек, можешь повторять такие глупости? Кто-то с фашистами сотрудничал, это правда. Но когда мы вернулись после ссылки, пани Данутя нас встретила как родных, целый месяц кормила и поила, отдала нам все вещи, которые, заметь, не продала в голодные годы. Не ее вина, что нас тогда не прописали в Вильнюсе. Теперь я, наконец, получил разрешение, а ты упираешься...

Сколько времени папа упирался, не помню, помню лишь, как долго мотались мы по поездкам, пока, наконец, грязные и усталые, не выгрузились на вильнюсском вокзале. Дедушка усадил нас на извозчика и повез в предме-

тье Йодшиляй. Там он устроил нас в просторном загородном доме, велел отдыхать и приходить в себя. Сам же отправился в Вильнюс добиваться возвращения дома на Антоколе¹.

Дом дедушке не вернули, но хлопоты возымели результат: нам дали квартиру в Вильнюсе. Находилась она чуть ли не в самом мрачном районе города — Ужупе, удобств в ней было мало, но все-таки это была наша квартира!

А потом начались поиски работы. Мама нашла ее первой. Правда, школа ее была на другом конце города, правда, вечерами она плакала от усталости, но правда и то, что у нас уже появился свой кусок хлеба.

С папой дела обстояли хуже — на него всюду смотрели с подозрением, причем каждый подозревал свое. Если начальником был русский, он удивлялся, почему такая важная птица — доктор наук — таскается в поисках работы по отделам кадров. Если начальник был литовцем, он терялся в догадках: вроде бы не из тех, кого присылают «укреплять местные кадры», но, с другой стороны, ни слова политовски, не поймешь, что у него за душой.

В конце концов, папу взяли механиком на птицефабрику, которая находилась далеко за городом. Директор, толстый краснощекий литовец с маленькими хитрыми глазками, взял папу из каких-то своих соображений, вовсе не рассчитывая, что «доктор» будет исправно ходить на работу и, уж тем более, что от него будет прок.

Толстяк ошибся. Папа вставал затемно, два часа добирался до места, но никогда не опаздывал. Более того, он-то и решил главную проблему фабрики. Состояла она в том, что за несколько месяцев птица успевала загадить клетки настолько, что для нее самой уже не оставалось места. Чтобы очистить клетки от помета, птицу периодически забивали, нанимали ораву работниц, которые неде-

¹ Антоколь или Антакольнис (*литовский*) — один из старых и благоустроенных районов Вильнюса.

лю скребли, чистили, мыли. Папа предложил время от времени перегонять птицу с одной половины фермы в другую, свободные клетки промывать струей горячей воды, а сточную воду пропускать через бочки с решетчатым дном — собирать дефицитное удобрение.

После этого директор папу зауважал: регулярно выдавал ему «премиальные» — яйца, копченую птицу, колбасу, а при встрече непременно снимал шляпу. Думаю, папу он уважал искренне. Во всяком случае, когда мы уезжали из Вильнюса, он неожиданно появился на перроне и долго махал вслед уходящему поезду.

А пока что жизнь налаживалась, я уже перезнакомился со сверстниками, облазил всю округу и с трепетом ждал наступления первого сентября, когда мне предстояло пойти первый раз в первый класс.

Мою учительницу звали Сталина Октябриновна. Это была красивая и очень энергичная девушка. Улыбка у нее была очаровательная, глаза — необыкновенно живыми, голос звонким, а от запаха ее духов можно было сойти с ума. Я отчаянно в нее влюбился. И, по-моему, не безответно. В классе я был самый маленький и не выговаривал букву «р». Меня все дразнили, показывали фигу или язык. Сталина Октябриновна старалась держать меня возле себя, строго обрывала всякие шутки в мой адрес и часто оставалась со мной после уроков — учила правильно выговаривать русские слова, выписывать прописные буквы.

Как я старался заслужить ее одобрительный взгляд! Часами повторял упражнения на букву «р», выводил скрипучим пером буквы и плакал, если в тетрадке получалась клякса. Не знаю, в самом ли деле я преуспел, но Сталина Октябриновна часто меня хвалила, время от времени ставила в пример другим. Когда такое случалось, я терял голову, не подозревая, что самый счастливый день еще впереди.

В середине мая занятия закончились, и по этому поводу было созвано классное собрание вместе с родителями. Учительница сказала несколько слов о нашей вели-

кой родине, которой мы обязаны счастливым детством, а потом стала вызывать учеников и каждому вручать табель. Я оказался последним по списку и первым по успеваемости. Я был круглым отличником! Сталина Октябриновна подняла мой табель.

— Похлопаем, ребята.

Когда родители начали расходиться, учительница попросила маму задержаться. Они о чем-то долго разговаривали, а потом... Потом Сталина Октябриновна подошла ко мне, присела на корточки и поцеловала меня в щеку!

Итак, в школе наступили каникулы, однако дедушка ни о каких каникулах слышать не хотел и заставлял меня учить новые главы из Библии. Мы уже кончили книгу Шемот и приступили к Ваикра, но читать о чистом и нечистом было невероятно скучно. Я придумывал любой предлог, чтобы выйти «на пять минут», которые обычно затягивались часа на два-три. Во время этого «перерыва» я вместе с другими мальчишками успевал облазить соседние дворы и палисадники. За лето я выучил много польских и литовских слов, мешал их с русскими и говорил на том же языке, что и все обитатели улицы Ужупе. Язык этот назывался «тутейший».

К концу августа беготня по дворам стала надоедать — потянуло в школу. То и дело заглядывая в шкаф, где висел новый пиджачок и гольфы, я мечтал о том дне, когда снова увижу Сталину Октябриновну.

Удар пришелся в самое сердце — в классе появилась другая учительница!

Все перемены я шнырял по этажам в надежде встретить Сталину Октябриновну. Я так долго искал этой встречи, что когда, наконец, столкнулся со своей бывшей учительницей, то растерялся и не мог произнести ни слова.

— Здравствуй, дружок. Ну, как ты?

— Вы меня признали, Сталина Октябриновна?

— Конечно, узнала. Только называй меня теперь Светлана Викторовна. А скажи, как к тебе относится новая учительница?

— Добже, но з вами было лучше.

— О, да я вижу за лето у тебя все языки перемешались. Хочешь, я с тобой позанимаюсь?

Улучшить свой русский мне тогда не довелось, бороться пришлось за чистоту... польского.

По всей видимости, я был так сильно погружен в свои переживания, что не заметил, как накалилась атмосфера в нашем доме. Взрослые нервничали, часто засиживались за полночь, то и дело повышали друг на друга голос. Иногда я заставлял их за составлением каких-то бумаг.

— Этого не пиши, ни в коем случае не пиши! — кричал дедушка.

— Но я же во всех анкетах...

Завидя меня, все мгновенно замолкали, бумаги куда-то исчезали.

— Хочешь есть? — спрашивала мама как ни в чем не бывало.

Очень нужны мне ваши секреты, обижался я про себя, устраивался на диване и начинал размышлять над тем, где бы завтра подкараулить Сталину Октябриновну.

Однажды мама объявила, что пойдет в школу вместе со мной.

— Тебя учительница вызвала?

— Нет, нет, мне нужно взять у директора справку.

— Справку? Зачем?

— Скоро мы уезжаем в другой город, тебе придется пойти в новую школу.

В какой город, в какую школу?

20. КАМЕНЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ

До чего же хороша Одесса в конце марта! Она уже оправилась от зимних ненастий; все здесь выпрямилось, разгладилось, все радуется встрече с солнцем. Акации протягива-

ют ему ветви с готовыми вот-вот раскрыться почками, мостовые подставляют ему свои спины, окна домов на Лонжероновской и Ришельевской ловят его нежгучие еще лучи и игриво перемигиваются друг с другом зайчиками всех цветов радуги. Правда, море еще шипит, пенится негладкой волной, но это шипение умирающего змея — совсем скоро он опустится в невидимую пучину, море задышит легко и свободно. И все же самое прекрасное в эту пору — воздух. Он уже просох, но еще не отяжелел, не насытился пылью, не пропах рыбой и солью. Он легок, искрист, полон света и свежести. А небо? Оно нежно улыбается морю и благосклонно разрешает ветру сгонять с себя задиристые тучки. Сгонять куда-то к горизонту, где они набухают и стягиваются в тугой красный рулон — предвестник грядущей бури.

В просторной квартире публичного нотариуса, писателя и редактора Осипа Рабиновича приближения бури не чувствуется. Настроение здесь радостно-возбужденное — хозяин ждет гостей, предвкушая интересные разговоры, за которыми, он не сомневается, последуют важные дела. Часы в гостиной бьют шесть; в такт им на двери звенит колокольчик. Рабинович на ходу приглаживает пышные усы, переходящие в бакенбарды, поправляет жилет и направляется встречать первого гостя.

Это, конечно же, рабби Швабахер; уроженец Обердорфа и выпускник Тюбингенского университета просто не умеет опаздывать!

— Guten Abend, Rabbi Schwabacher, — приветствует раввина Рабинович. — Ich freue mich, Sie gesund zu sehen. Kommen Sie doch ins Wohnzimmer, heirher, setzen Sie sich doch in Sessel¹. Не желаете ли рюмочку пейсаховки?

Швабахер кивает, Рабинович достает пасхальные рюмки, но не успевает их наполнить, как вновь звенит колокольчик.

¹ Добрый вечер, рабби Швабахер, я очень, очень рад. Проходите, пожалуйста, в гостиную. Сюда, будьте добры, в кресло (нем.).

— А вот и наш доктор, милости просим. И саквояж при нем! Не от пациента ли?

— Да нет, — доктор Пинскер, полный невысокий мужчина с густой стриженной бородой, стягивает с себя тяжелое пальто. — Привычка, знаете ли, не могу выйти из дома без этого саквояжа. Чувствую себя без него, словно без рук.

— Проходите, дорогой Лев Семенович, проходите. Реб Швабахер уже в гостиной, сейчас мы втроем по рюмочке...

Пинскер пожимает руку Швабахеру, все трое усаживаются в кресла, Рабинович разливает пейсаховку.

— А гут ентев!¹ — хозяин поднимает рюмку.

— А гут ентев! Ваше здоровье, — Пинскер кивает сначала Швабахеру, потом Рабиновичу и, не чокаясь — на западный манер, опрокидывает наперсток пасхальной водки.

Опять звонит колокольчик, хозяин бодро вскакивает и направляется в прихожую.

— Григорий Исаакович, приветствую вас, проходите, будьте любезны.

Григорий Богров, моложавый брюнет хорошего роста с бритым лицом и густыми бакенбардами крепко жмет руку хозяину, ловким движением скидывает плащ-накидку, не спеша проходит в гостиную, раскланивается с гостями.

— И вам, Григорий Исаакович, рюмочку, — хозяин протягивает Богрову пасхальный напиток. — Мы втроем уже пригубили, теперь ваша очередь. Сейчас подойдет Смоленскин, тогда и за стол. А вот и он.

Потирая от смущения руки, стройный молодой человек в шегольских усах проходит в гостиную и останавливается у двери. Рабинович берет гостя под руку, подводит к рабби Швабахеру.

— Наш юный талант Перец Моисеевич Смоленскин. Литератор и горячий поборник национальной идеи. Прошу любить и жаловать. Ну, что ж, господа, Общество наше в сборе, отужинаем и начнем, пожалуй. Прошу в столовую.

¹ С праздником! (*идиш*)

Через час, когда все положенные брахот произнесены, все блюда испробованы, а бокалы осушены, Рабинович поднимается и, обращаясь к Швабахеру, открывает собрание.

— Так вот, рабби Швабахер, за исключением доктора Соловейчика, который нынче в отъезде, вы видите перед собой учредителей нашего Одесского Общества просвещения, ваше присоединение к которому все мы сочли бы за честь. В свое время и мы откликнулись на призыв наших петербургских братьев и, прежде всего, уважаемого барона Горация Осиповича Гинцбурга, к распространению просвещения между евреями в России.

Швабахер встал, оглядел присутствующих, поклонился.

— С радостью присоединяюсь к богоугодному делу, ибо заповеди Торы, которую дал нам Господь, отнюдь не противоречат идеалам Просвещения. Тора не требует от нас веры в догматы — это догматы христианства противоречат разуму и поэтому требуют веры. Тора же обращается к нашей совести и призывает нас сделать ее заповеди законом жизни нашей. Тора не запрещает ничего, что ведет человека к вершинам Разума. Туда же ведут и пути Просвещения.

Швабахер поклонился, придвинул стул, сел. Хозяин снова взял слово.

— Конечно, господа, своей целью мы поставили приобщение наших братьев к российской жизни через усвоение русского языка, который, как мы понимаем, должен сделаться национальным языком русских евреев. Но добиться успеха без того, чтобы искоренить в нашем народе фанатизм, обособленность, отчуждение от всего русского, невозможно. Возьмем, к примеру, наши собственные имена. Согласитесь, разве может русский человек принять за равных все этих Сруликов, Зеликов, Саввиков. До чего же нелепа манера наших соплеменников коверкать свои имена до уродливости! Откуда только берутся эти неблагозвучные клички, непристойные для разумного существа!

— Откуда? — ухмыльнулся Богров. — Из польских времен, когда еврей должен был унизиться перед паном всем своим существом. В том числе и именем.

— Вы совершенно правы, Григорий Исаакович, эти клички из повести прошлых оскорблений. Тем важнее нам, русским евреям, закрыть польскую страницу нашей истории и использовать наши библейские имена так, как они переведены на русский язык. Ну, скажите на милость, разве не лучше называться Осипом, нежели Йоськой?

Все дружно закивали, лишь доктор Пинскер покачал головой.

— Лучше-то оно лучше, только не приведет ли это, в конце концов, к отступничеству? Сначала от традиции, а потом и вовсе от веры?

— Не отступничество должны мы видеть в этом, любезный Лев Семенович, а ничуть не зазорный шаг навстречу нашему российскому отечеству. Почему мы должны коверкать наши имена и носить нелепые одежды только потому, что когда-то так повелел король Сигизмунд-Август?

— Ах, господа, — воскликнул Богров, — о чем вы говорите! Зло не в одежде и даже не в языке. Оно в самой синагоге. Синагога давно превращена у нас в неприличное торжище, в вертеп неопрятности, где каждый уголок отдает копотью и табачным дымом, где нельзя присесть, чтобы не выпачкаться. А эти невежественные хазоним¹, которые на мотив какой-нибудь плясовой исполняют высокие гимны, смысла которых не понимают! Даже само отправление молитвы в наших синагогах происходит без системы, сопровождается криками, рукоплесканием, то и дело прерывается громогласным «ша!» и стучанием по столам.

— Верно, верно, — подхватил хозяин, — наша синагога ничуть не похожа на место, где должно прославлять могущество Всевышнего и возносить молитвы о долголетьи

¹ Хазоним (или хазаним) — певцы в синагоге, исполнители религиозного песнопения.

нашего обожаемого монарха, императора Александра Николаевича.

— С Божьей помощью, — включился в разговор рабби Швабахер, — в нашей Бродской синагоге мы ввели иной порядок. Молитва у нас сопровождается мелодическим пением, во время богослужения царит глубокое молчание, прихожане непременно одеты во все лучшее. Это ли не пример для подражания?

— Пример? Для кого? — решился вставить слово молодой Смоленскин. — Бродская синагога для избранных, для тех, кто во фраках. А ведь наша народная масса бедна и невежественна. Наши люди готовы пасть ниц перед дедовским кафтаном, но разорвут в клочья каждого, кто сбреет бороду или наденет костюм европейского покроя.

— И еще, — добавил Богров, — позвольте заметить, что и в Бродской синагоге служба идет с теми же бесчисленными обрядами, по правилам и указаниям, внесенным в разное время разными «авторитетами». И ваши прихожане обязаны соблюдать бесконечные посты и запреты.

— Нет, нет, господа, не в том суть, — вскочив со стула, Рабинович начал расхаживать по комнате. — Конечно, следует отбросить мелочную обрядность, но главное — перейти на русский язык. Мы должны перевести Библию и молитвенники на русский язык, в реформированной синагоге мы должны говорить по-русски.

— Если мне позволено вмешаться в этот горячий спор, — рабби Швабахер легко поднялся со стула, — то хочу напомнить вам, что некогда, до изгнания из Испании, мы шли впереди других народов, показывая им путь к Храму разума. А теперь? Бесчисленные предписания и запреты сковали наш разум, мы замкнулись в самих себе и прошли мимо умственного движения других народов. Мы должны наверстать упущенное.

— Господа, вы словно слепые, — Пинскер стукнул по столу кулаками. — Вы не хотите замечать, что картина нашей жизни меняется, что давняя борьба света с тьмой при-

носит свои плоды. Посмотрите, с какой скоростью гимназии и университеты наполняются еврейскими юношами. А питомцы раввинских училищ? Они сегодня совсем не те, что в прошлом; они одинаково владеют нашим древним языком и русской речью, они сведущи в Писании и светской литературе. Или наша печать. Разве еще недавно были у нас журналы, готовые бороться против собственного невежества и одновременно отстаивать интересы народа перед лицом русского общества? Взять хотя бы ваш «Рассвет», Осип Ааронович. Это же чудо — еврейский журнал на русском языке! Не удивлюсь, если ваше детище принесет больше пользы, чем усилия нашего Общества. Вы не согласны?

Все повернулись в сторону Смоленскина, который нервно ерзал на стуле, давая понять, что хочет вставить слово.

— Весь мой опыт, господа, — робко начал молодой человек, — с того самого времени, когда я ел дни в ешиботе¹ Шклова, все мои многочисленные скитания по местечкам и домам цадиков убеждают меня в необходимости борьбы с фанатизмом, невежеством и, прежде всего, с каббалой, этой родоначальницей всех наших суеверий. Мы неустанно должны призывать к свободе мысли и слова. Но в то же время я убежден, что проповедь религиозной реформы, исходящая из образованных кругов, к религии равнодушных, до народной массы не дойдет.

— Позвольте, мой друг, а разве не в образованных кругах Берлина зародилась Гаскала, проникшая ныне в толщу немецкого еврейства? — с искренним удивлением спросил Швабахер.

— По-вашему, получается, — Рабинович подошел вплотную к Смоленскину, — что наши усилия напрасны, что народной массе суждено вечно прозябать в невежестве и суеверии?

¹ «Ел дни в ешиботе» — учился в ешиботе, находясь на иждивении общины.

— Я только хотел сказать, что эволюция религиозного быта не может быть достигнута усилиями со стороны. Она может явиться лишь продуктом изменяющегося сознания религиозной массы. Религиозные реформы по немецкому образцу для русского еврейства губительны. Выхолащивая из религии все национальное, они посягают на наш язык и на мессианский идеал возрождения. Давайте отречемся от ошибочного представления, будто еврейство сохранилось благодаря религии — она сама продукт национального самосохранения.

— О чем это вы, молодой человек? — оборвал Смоленскина Богров. — О каких мифических идеалах возрождения должны мы думать, когда наша главная цель — просвещение народа, сближение его с народом русским, включение его в семью...

— Я убежден, — твердо продолжил Смоленскин, — что мы не должны идти по пути берлинского лжепросвещения. Ваш кумир Мойзес Мендельсон смотрит на еврейство как на религию дела. Но мы религия веры, и следует делать различие между национальным духом и религиозной обрядностью. Можно сколь угодно реформировать обрядовую сторону, но если мы начнем выхолащивать из нашей религии национальный дух, мы рискуем тем, что трупы просвещения будут столь же многочисленны, что и жертвы невежества.

— Нет уж, молодой человек, извольте ответить, что именно вы имеете в виду под словом «возрождение»?

— Духовно-политическое возрождение народа на его древней родине.

— Ах, вот вы о чем! Подумайте, господа, даже лучшие наши сыны поражены химерическими идеями палестинофильства. Как можно принимать к действию ветхозаветные призывы, писанные по какому-то поводу две тысячи лет назад? Да окиньте взглядом наши города и местечки! Только в Российской империи вы насчитаете четыре миллиона человек, что едва способны прокормиться в наших

сытых краях. А еще тысячи и тысячи соплеменников живут на германских и французских землях. А еще тысячи евреев Востока. И всех их вы хотите перенести на негодный для проживания, а оттого и необитаемый клочок земли, которого и на карте-то различить невозможно? Право, надо быть маньяком, чтоб думать об этом всерьез.

— Ну, а по вашему мнению, Григорий Исаакович, к чему должны привести реформы? Какими вы видите плоды просвещения?

— Мы должны привести народ к эмансипированному космополитизму.

— Который обнаруживает явный наклон к обрусению? — съязвил Смоленский.

— Не стоит иронизировать, молодой человек, возможно, в этом и состоит божественный замысел. Во всяком случае, если предназначение наше слиться с русским народом, то и быть по сему. Чем следовать вашим безумным советам, лучше уж переправиться на другой берег, где нам улыбаются другие симпатии и идеалы. Должен честно признаться, господа, лишь безвинные страдания соплеменников удерживают меня от этого шага.

— Да Бог с вами, уж не о крещении ли вы говорите?

Все замолчали. Наступила долгая пауза.

— Только не это, — с дрожью в голосе начал рабби Швабахер. — Вы можете думать, что религия сохранила нацию или что нация сохранила религию, но, как бы там ни было, они вместе вдохнули в вас жизнь, дали вам язык, мораль, культуру. Крещение — это обрыв жизненных корней, это потеря личности...

Последние слова рабби Швабахера потонули в оглушительном грохоте. Сила его была такова, словно разверзлись кущи небесные или треснула твердь земная. Через минуту грохот начал слабеть, слышался лишь звон осыпающегося стекла.

Первым пришел в себя доктор Пинскер.

— Это в гостиной, не потолок ли обвалился?

Бледные, перепуганные гости устремились в гостиную. Битое стекло, обломки оконной рамы, недопитая бутылка пейзаховки, рюмки, подсвечники, картины со стен грудой лежали на полу, а посреди этого устрашающего пейзажа торчал здоровенный камень. Под покровом темно-красных облаков, затянувших небо, по улицам Одессы шел пасхальный погром.

POST SCRIPTUM

Осип Рабинович, споткнувшись о камень просвещения, — детище его, первый русско-еврейский журнал «Рассвет», вынужден был закрыться, — опустил руки и усомнился, хороша ли была поставленная им прежде цель. В последнем своем рассказе «История о том, как реб Хаим-Шулем Фейгис путешествовал из Кишенева в Одессу» Рабинович, ярый противник старого быта, с любовью пишет о маленьких и смешных обитателях ненавистных ему прежде местечек. Всеми забытый, он преждевременно умер на чужбине, но его герой Хаим-Шулем Фейгис под именем Менахем-Мендел перекочевал на страницы рассказов и повестей другого Рабиновича — Шолома, и сделал литературный псевдоним последнего — «Шолом-Алейхем» — известным далеко за пределами еврейского мира.

Пасхальный погром в Одессе в марте 1871 года произвел на доктора Пинскера впечатление ошеломляющее. Поворот властей и общественности в сторону от либеральных реформ убедил его в том, что евреи не получают гражданского равноправия в России независимо от успехов просвещения. Евреи, пришел к выводу Пинскер, должны эмансипировать себя сами и сделать все, чтобы не зависеть от милости других народов. Результатом его размышлений явилась вышедшая в 1882 году в Берлине брошюра «Автоэмансипация». Спустя четырнадцать лет на свет появилась брошюра Теодора Герцля «Еврейское государство». И хотя ее автор в основном повторил мысли

Пинскера, именно Герцль, венский журналист, далекий от еврейской жизни и не знавший ни одного еврейского языка, вошел в историю как основоположник политического сионизма.

Рабби Швабахер — красноречивый оратор и неутомимый общественный деятель — занял в одесской общине выдающееся положение. Однако нововведения, которые он пытался внедрить в синагогальную службу, встречались рядовыми прихожанами с отчужденностью. Реформированная синагога — консервативная и реформистская — в Одессе не прижилась. Как не прижилась она нигде в Российской империи.

Неудачи сторонников просвещения лишь укрепили палестинофильские настроения Переца Смоленскина. Порвав с российскими просветителями, он отправился за границу и начал издавать там журнал «Гашахар». Его перо строго карало как святош, готовых искоренить всякое знание из дома Якова, так и реформаторов-прогрессистов, готовых отречься от наследия отцов. Все более и более сближаясь с палестинофилами, он тем не менее возлагал больше надежд не на политическое, а на духовное возрождение народа. Популярность Смоленскина росла год от года, но не ему, а его наследнику Ашеру Гинцбергу удалось завершить строительство цельной и убедительной доктрины духовного сионизма и под именем «Ахад-Гаам» войти в историю в качестве ее творца.

Григория Богрова поворот российского общественно-го мнения в сторону от реформ ничуть не смутил. В своих повестях и рассказах он, не жалея черных красок, рисовал жизнь и нравы традиционного еврейского местечка. Но и прогрессистов Богров не щадил, показывал их предвзято, карикатурно, изливал на них всю свою желчь еврея-самоненавистника. Наверное, имя Богрова так и осталось бы неизвестным, если бы его биографическая повесть «Записки еврея» не попала на глаза Некрасову. Будучи переписанной рукой Салтыкова-Щедрина — русский язык местечко-

вого самоучки оставлял желать лучшего, — повесть эта была опубликована в «Отечественных записках» и обратила на себя внимание русского читателя. За два месяца до смерти в глухой белорусской деревушке Богров принял крещение и обвенчался с русской женщиной, с которой долгие годы жил вне брака. Имя Богрова быстро забыли. Вспомнили о нем в 1911 году, когда его внук Дмитрий, будучи агентом Охранного отделения, по его же заданию стрелял в председателя кабинета министров Петра Столыпина.

21. ПО НЕДОСМОТРУ СУДЬБЫ

Переезд был долгим и мучительным.

До Бреста мы добрались без приключений, но там выяснилось, что поезд на Варшаву будет через трое суток. Папа пошел искать пристанище. Через час он вернулся, и мы, перевязанные платками и шальями, — на дворе стояли крещенские морозы — потащились по ледяным колдобинам в какую-то избу. Три ночи мы спали на полу под невероятный храп хозяйки, а потом снова отправились в путь. Из дорожных приключений больше всего я запомнил пограничника, вернее, его собаку.

Как только поезд на Варшаву тронулся, проводник запер нас в купе, сказал, что откроет, «кеды бензи можно». Когда стало «можно», он действительно отпер дверь, принес чаю, разрешил пользоваться туалетом. Я тут же выскользнул и направился в конец вагона. Не успел я открыть дверь тамбура, как меня обожгла струя холодного воздуха и... ледяной взгляд овчарки, которая была со мной одного роста. Я оцепенел. Как долго продолжалось это состояние, не помню. Вывел меня из него пограничник.

— Где идешь, хлопче?

— До толаты.

— То идзь.

Остаться в Варшаве нам не разрешили. Мы поехали в Лодзь, но и оттуда нас выпроводили — «у вас предписание во Вроцлавское воеводство, знать ничего не знаем!»

Мы снова сели в поезд, добрались до Вроцлава, но найти пригодную для жилья квартиру в самом городе было невозможно. В конце концов, мы обосновались в городишке Бжег. Это был сонное местечко, где силуэты людей и повозок сливались с заснеженным, ничем не примечательным пейзажем.

Сонное-то оно было сонное, но в деревянном двухэтажном доме, где находилась начальная школа, шум стоял невероятный. Директриса, высокая жилистая дама, не вынимавшая изо рта папиросы, долго расспрашивала бабушку, кто я такой и откуда взялся. Главное, она не могла понять, на каком языке я говорю.

— В яким ендзыку муви онае хлопец, по-белорусску?

Бабушка долго объясняла, что я учился во втором классе русской школы, показывала справку. Директриса махнула рукой.

— То идзь до класы, цо бенже, то бенже!

У меня нет желания вспоминать, что было.

Дома тоже было не весело. Квартира, в которой мы разместились, когда-то принадлежала немецкой семье, потом в ней стояли польские офицеры, потом ее отдали под какой-то склад. Когда мы въехали, стекол в окнах не было, двери не закрывались, всюду валялись консервные банки, коробки, обломки мебели. Мама плакала, папа забивая окна фанерой, чинил печки и разыскивал все, что могло гореть. Дедушка с мрачным видом причитал: «Только бы дозвониться до Варшавы, только бы дозвониться». Целые дни он проводил на почте и чаще всего брал с собой бабушку — она, уроженка довоенного Вильнюса, единственная из всех нас хорошо знала польский. Собственно, и выпустили-то нас в Польшу благодаря ее «польскому происхождению». Дозвониться до Варшавы дедушка не сумел, но на почте он встретил... еврея! И тут же потащил его домой.

Человек, одетый в пальто и шляпу, — и это в жуткий мороз! — походил на бродячего актера. Был он, однако, разъездным фотографом. Согревшись и почувствовав жадное к себе внимание, актер-фотограф вошел в роль.

— И зачем вам этот джойнт-шмойнт? Мне не нужен никакой Джойнт¹, я не хочу ни в какую Америку. Здесь я делаю портреты. Здесь у всех кого-то убили, а от убитых остались маленькие карточки. А я из маленьких делаю большие. А от больших карточек получают большие пинензы. Я, я! вам говорю: не нужен вам Джойнт, — я беру вас в компаньоны!

В конце концов, он взял письмо, которое дедушка написал на трех языках, и обещал передать «кому надо» в Варшаве.

Встреча со «своим человеком» дала надежду — теперь о нас хотя бы узнают! Мама взялась за дело — скребла квартиру, папа раздобыл где-то кровати, шкафы, полки. Заброшенный сарай начинал походить на человеческое жилище.

Между тем, время шло, надежда «установить контакт» таяла.

— Обманул, безусловно обманул. У этой публики только гешефт на уме. Наверное, выбросил мое письмо, — горевал дедушка.

Оказалось, не выбросил.

Соседи — если случалось — стучали в дверь. Стучали сильно, кулаком.

Легкий, ритмичный стук в окно раздался в сумерках. Мы всполошились, сгрудились в кухне. Папа набросил тулуп, зажег свечку, пошел открывать. На пороге стоял смуглый человек невысокого роста. Он медлил, переминался с ноги на ногу.

— Идиш? — гость вопросительно оглядел наше семейство.

¹ Джойнт — американская еврейская благотворительная организация.

Мы готовы были его обнимать и целовать, но он был сдержан, нетороплив.

— Давно прибыли?

— Около трех месяцев. Да вы раздевайтесь, присаживайтесь, — вперед вышел дедушка.

Гость сел, снять пальто отказался.

— Из Вильны? Где там жили? На Ужупе? А до войны как она называлась? Правильно, Заречна. А кого там знали, где работали?

Расспрос затянулся за полночь. Наконец, гость поднялся.

— Куда вы, на ночь глядя! Оставайтесь, переночуйте. Здесь ночью всякое может случиться. Потом мы бы хотели с вами поговорить.

— Не беспокойтесь, я не из пугливых. А поговорить мы еще успеем.

Гость вышел, я бросился к окну. К моему удивлению, у дверей его встретил другой человек, они закурили и разговорились в ночной мгле.

Через неделю они пришли вместе. Держались свободнее, представились.

— Цви. Яков. Насколько мы понимаем, вы хотите ехать. Так вот, первым делом вы должны получить польские паспорта, потом начнете хлопотать визу. Уйдет год, а то и два.

— Так много, это ужасно! В этой дыре нет даже миньяна¹. И где работать? Мой зять — крупный ученый, ему нужен университет.

— Ученый? — перспросил Цви и переглянулся с товарищем. — Доктор? Профессор? В какой области?

— Да, да, доктор физико-математических наук.

— Имеет диплом?

Цви долго и внимательно рассматривал папин диплом.

— Хорошо, я сообщу, а пока я всех вас запишу. Имя, имя отца, имя матери...

¹ Миньян — десять мужчин, присутствие которых необходимо для коллективной молитвы.

Писал он справа налево¹.

Еще через неделю в окно снова постучали. На сей раз явилась целая делегация. Цви и Яков представили старшего.

— Это Аба. Он хочет побеседовать с вашим зятем.

Аба поздоровался по-русски, протянул всем — в том числе и мне — руку.

— Так вы — доктор физики. Прекрасно, а где вы работали, кого из ученых знаете?

Аба так хорошо говорил по-русски, словно только вчера был из России.

— Ландау, Иоффе! Слышал, конечно. Нет, нет, я не физик, но кто не знает этих имен! Скажите, а из западных ученых вас кто-нибудь знает?

— До войны я работал под руководством Георгия Гамова, у нас с ним две общих статьи опубликованы в *Zeitschrift für Physik*. Слышал, что он сейчас в Америке, но где именно, не знаю.

Аба сделал в блокноте пометки. Он тоже писал справа налево.

— Прекрасно, прекрасно, господин профессор. Между прочим, не встречались ли вы случайно с Трофимом Денисовичем Лысенко?

— Слава Богу, не доводилось, но имя этого мичуринца мне знакомо.

Аба сделал удивленное лицо.

— Вы что-то имеете против Лысенко? Мичуринец — это, по-вашему, плохо?

— Я не биолог и не генетик, но хорошо знаю, что Лысенко — проходимец, который подтасовывает научные факты. Я был дружен с крупным генетиком Тимофеевым-Ресовским, он рассказал мне историю Лысенко. Этот парень много лет крутился возле академика Вавилова, кото-

¹ Имеется в виду, что по-еврейски (на идиш и на иврите) пишется справа налево.

рый пытался сделать из него ученого. В конце концов, Лысенко написал на своего учителя донос, Вавилова арестовали. Лысенко при Вавилове — то же самое, что Комар при Иоффе.

— Как вы можете произносить такие слова! — лицо Абы налилось кровью, светская сдержанность мгновенно улетучилась. — Крупнейший ученый-почвовед — проходимец? А Тимофеев-Ресовский, видите ли, — крупный генетик. Чудовишно, непостижимо! А знаете ли вы, что Тимофеев-Ресовский работал на Гитлера? Его достижение в науке — генетическое обоснование расовой теории. Даже если вы плохой еврей, даже если вы вообще не еврей, как вы могли подать руку этому негодяю?!

Наконец, Аба выговорился, чуть успокоился.

— Не знаю, что вы за ученый. Не знаю. Насчет отъезда? Ждите очереди, здесь застряли тысячи людей, все ждут, и вы ждите.

Дедушка раньше других пришел в себя.

— Моя дочь — педагог, она преподает английский и французский.

— Хорошо, хорошо, это не горит; с английским наши дети подождут.

Гости вышли. Теперь уже возмутился дедушка.

— Мишуга!¹ Тебе есть дело до Лысенко, тебе непременно нужно было обозлить человека, от которого зависит, сколько мы просидим в этой дыре!

Зависело не от этого человека; в местечке Бжег мы задержались недолго.

Их было четверо. Первым влетел Аба.

— Едем. Собирайтесь. Только быстро. По чемодану на человека.

Едем? Куда, зачем? И что значит быстро — месяц, неделю?

— Неделю? Вы с ума сошли — машина ждет!

¹ Мишуга — сумасшедший (*идиш*).

Начался переполох.

— Это невозможно, у нас дети, нужно собрать вещи.

— Вы что, в самом деле ненормальные? Я такого не видел — за ними прислали машину, а они — неделю! К вечеру должны быть готовы, выезжаем в одиннадцать.

Кузов небольшого грузовичка был застелен самодельными матрацами. Яков поднял меня, Цви принял, уложил возле кабины. Ту же операцию проделали с сестрой, потом в кузов взобрались взрослые. Ехали всю ночь. К утру — было еще темно — нас привезли в какой-то дом. Мы разделись, поели, легли спать. Следующую ночь мы снова ехали, но уже в легковой машине. Я сидел у папы на коленях, пытался хоть что-то разглядеть в окно. Увы, в ночной темноте мелькали лишь силуэты деревьев.

К утру нас завезли в какой-то сарай на опушке леса. Цви остался с нами, остальные уехали. Сколько дней мы провели в этом убежище, не помню, помню лишь, что однажды среди ночи меня разбудили, укутали и усадили в открытую зеленую машину. Машина тронулась, долго петляла по лесной дороге, потом неожиданно въехала на широкое бетонное поле и подкатила к огромной птице — самолету. Цви передал меня высоченному дядьке в кожаной куртке. Тот взял меня одной рукой, сестренку — другой и понес, словно пушинки, в огромную машину. Там он усадил нас на мягкие подушки возле ящиков и мешков.

Полусонный, я ничего не соображал; сестренка пустилась в слезы.

— Do you OK? What's matter with you, my dear!¹ — высокий дядька улыбнулся во весь рот, потрепал сестренку по щеке и протянул ей конфетку.

Показалась мама, за ней ползла бабушка. Сестренка успокоилась.

¹ Ты в порядке? Что с тобой? (англ.).

Пока нас рассаживали и привязывали, дверь захлопнулась. Откуда-то возник шум, который быстро перешел в страшный рев, — казалось, уши вот-вот лопнут. Потом стало трясти — мы куда-то поехали.

Самолет бросало из стороны в сторону, я то наваливался на сестренку, сидевшую слева, то ударялся лотком о железную стену справа. Огромный мешок, который был подвешен к потолку напротив меня, раскачивался вместе со мной. Он то приближался, то убегал и ударялся о противоположную стенку. Вначале мне было страшно, потом стало забавно — я даже разбрал слова US GOVERNMENT MAIL¹, смысл которых, конечно, не понял. От скуки я попытался было запомнить номер, который значился под этими словами, но незаметно для себя заснул.

Проснулся от сильного удра в шею. Через минуту удар повторился. Я собрался было закричать, как вдруг почувствовал тряску. Потом рев начал стихать, самолет остановился, стало совсем тихо. Высокий дядька нас отвязал, вынес из самолета, сказал «Good Luck» и исчез.

На свежем воздухе я пришел в себя и огляделся. Мы сидели на чемоданах возле самолета, недалеко папа беседовал с каким-то господином в черном костюме. До меня доносились обрывки фраз.

— Doctor Gamov from Colorado University asked me...²

— Thanks, thanks a lot... I'm sorry, but I don't know... My family³.

Подъехал большой красивый автомобиль, шофер открыл дверцы.

Улицы показались мне знакомыми.

— Это Вильнюс?

— Нет, это Вена.

¹ Правительственная почта США (англ.).

² Доктор Гамов из университета Колорадо просил меня... (англ.).

³ Спасибо большое... но я еще не знаю... Моя семья... (англ.).

В Вене я снова влюбился.

Везли нас долго, устроили в квартире, где я даже не мог сосчитать всех комнат. К вечеру мы отмылись и отоспались. Потом поужинали; здесь я впервые увидел холодильник, он был набит продуктами. Мне казалось, что все прекрасно, но взрослые почему-то нервничали. Папа, скрестив руки на груди и опустив голову, расхаживал взад и вперед, мама беспрерывно повторяла: «Делай, как тебе лучше, но мы всю жизнь мечтали...» Дедушка закрылся в одной из комнат и просил его не беспокоить — он молится. Бабушка лежала на диване с мокрым платком на лице.

Неожиданно раздался звонок.

— Ни в коем случае не открывай, — взмолилась мама.

— Да что ты, это ведь Вена, — папа направился в прихожую.

Вернулся он с гостем.

— Рад вас приветствовать. Меня зовут Авраам, Цви мне о вас все рассказал. Как добрались, чем могу вам помочь?

Высокий, хорошо одетый господин держался спокойно, говорил медленно, и только его бесцветные глаза постоянно скользили с предмета на предмет, словно что-то искали и оценивали.

— Устроились мы по-королевски. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы вот обсуждаем...

— Благодарю, но мы с женой хотим пригласить вас в кафе. Если вы в состоянии, поедем, поговорим за чашкой кофе. Это лучше, чем здесь.

Авраам показал пальцем на потолок. Его жеста никто не понял.

— С удовольствием, но у нас дети.

— Детей возьмем с собой, они, наверное, любят мороженое?

В кафе было необычайно красиво, шумно и весело. Помню, какими большими сделались глаза моей сестры, когда ей принесли вазочку с цветными шариками мороженого, в одном из которых красовался маленький флажок.

Вообще все здесь было интересно, но все разом перестало для меня существовать, когда я увидел Циппору.

Родители сидели в центре, нас с сестрой устроили за отдельным столиком. Минут через пять мама подошла к нам вместе с какой-то женщиной.

— Это Циппора, жена Авраама. Она говорит по-еврейски.

Циппора наклонилась к сестре.

— Is ice-cream good? Do you like it?¹

— Тода раба. Глида — това меод!² — тут же выпендрилась сестрица.

— О, ат мэдаберэт иврит, иоффи!³

Циппора открыла сумочку, достала красивый платочек, протянула его сестре.

— Это тебе маленький подарок.

Боже, как я хотел, чтобы она взглянула на меня!

Циппора потрепала сестру по голове, выпрямилась.

— Ани... гам ани мэдабэр иврит⁴, — в отчаянии вырвалось у меня.

Циппора повернулась ко мне, широко улыбнулась.

— Ты тоже говоришь на иврите! Как тебя зовут?

Циппора на удивление походила на Сталину Октябрьновну, только была выше ее и крупней. И еще у нее были волосы. Чудо, а не волосы! Густые, бордово-рыжие, они свисали на плечи, закрывали лицо. Изящным жестом она откидывала их назад, а наклоняясь, придерживала длинными, тонкими пальцами.

В Вене мы прожили целый месяц. Это был счастливый месяц. Авраам и Циппора постоянно возили нас по театрам, концертам, выставкам. Мы так часто бывали в театрах, что даже уехали... из театра.

¹ Хорошее мороженое? Тебе нравится? /английский/.

² Большое спасибо. Мороженое очень хорошее! /иврит/.

³ О, ты говоришь на иврите, прекрасно! /иврит/.

⁴ Я... Я тоже говорю на иврите (иврит).

Было это так. В антракте мама взяла нас за руки, повела в фойе.

- Купишь водички с сиропом?
- В другой раз, сейчас нам надо ехать.
- Как ехать, спектакль еще не кончился?
- Потом все объясню.

Мы вышли, мама помахала таксисту, мы сели и поехали в сторону дома. Неожиданно она попросила шофера остановиться.

Почему? До дома ведь еще далеко. Но не успел я открыть рот, как возле нас затормозила машина. За рулем сидела Циппора. Она повезла нас в аэропорт.

Телефон зазвенел в самое неподходящее время.

— Ты меня, конечно, не узнаешь. Меня зовут Цви, — сообщил сухой голос явно немолодого человека, — мы встречались в Польше. Так вот, я хочу, чтобы ты написал мне справку, что встречал меня в Польше. Это для пенсии. Мне не хотят засчитывать работу в Польше, нужны свидетели.

Какой Цви, какая Польша?

- Вы меня с кем-то путаете, я никогда не был в Польше.
- Ты просто забыл, ты был мальчиком, когда я вывозил твою семью.

Словно вспышка молнии осветила на мгновение то далекое, затерявшееся в тумане лет прошлое.

— Приезжайте, объясните, что вам нужно.

Сутулый старик с выпирающими скулами, с густой, но совершенно седой шевелюрой долго ругал пкидим из Битуах Леуми¹.

— Пять лет я работал в Польше, а они не хотят засчитывать в стаж — нет, видите ли, записи в трудовой книжке! Можно подумать, что, отправляя человека на неле-

¹ Пкидим из Битуах Леуми — чиновники из Управления социального страхования.

гальную работу, ему делали запись в трудовую книжку! Теперь собирай свидетелей, подавай в суд. Только не забудь заверить свое письмо у нотариуса.

— Напишу, не беспокойтесь. Между прочим, папа рассказывал, что вы не хотели нас вывозить и все гадал — почему?

— Это Аба не хотел. Но я его заставил. Он почему-то говорил, что твой отец — самозванец. Вообще, Аба был доктором почвоведения. Его прислали из кибуца отбирать ценных специалистов, но о дисциплине он и понятия не имел. Он о твоём отце даже не сообщил в Мисрад¹. Но я у него ночью блокнот вытащил, все переписал и сообщил. И тут же пришел приказ от самого Авигура «переправить немедленно, использовать все средства».

— Если мы так нужны были Авигуру, почему нас целый месяц мурыжили в Вене? Заметали следы от КГБ?

— КГБ, КГБ! Читаем твои статьи. Тебе везде снится КГБ. Но при чем тут КГБ? КГБ вас прохлопал в Союзе, а в Вене вас пасли цэрэушники. Они помогли вывезти вас из Польши и хотели во что бы то ни стало переправить твоего отца в Америку. Глаз с вас не сводили. Но Авраам их перехитрил. Ценный был работник! Всю войну просидел в Париже, крутил гестапо, как хотел. Погиб. Так глупо погиб!

— А его жена, такая красивая женщина?

— Была красивая. Сейчас живет в Хайфе, больная, одинокая.

— У нее нет родных?

— Может быть, и есть, только где? Они с Авраамом познакомились в Париже во время войны. Авраам был наш человек, а она из французской разведки. После войны поженились, Циппора прошла гиюр — она ведь француженка, из аристократов. Семья от нее отвернулась. Тоже ценный работник была.

¹ Мисрад — здесь: управление, центр.

Из аэропорта Лод нас привезли в Реховот, в уютно обставленную квартиру. Вид из нее был дивным: до горизонта тянулись апельсиновые роши, а внизу, совсем рядом, белели аккуратные домики института Вейцмана. Хорошо папе, до работы пять минут ходьбы. А мне — тащись по жаре в школу!

В конце концов, получилось так, что папа ездил на работу дальше всех нас.

Увозили его на машине ранехонько, еще до шести. Привозили поздно вечером. Потом он стал возвращаться с работы только на субботу. О своих делах ничего не рассказывал, дома ничем не занимался и лишь изредка говорил с сотрудниками по телефону. Всегда почему-то по-французски. Я не выдержал.

— Ты в институте Вейцмана работаешь или где-то еще?

— В Вейцмана. Заруби себе на носу и всем говори: папа работает в Вейцмана.

Хорошо, хорошо, пусть будет в Вейцмана.

В сущности, я очень мало знал о первых годах жизни отца в нашей стране. Знал, правда, что лет десять выезжать за границу он не имел права. Так что, когда летом шестьдесят шестого он неожиданно объявил, что летит в Париж, началась суматоха. Мама переполошилась — как отца снарядить, во что одеть, дать ли с собой лекарства? Перед отлетом он и сам нервничал. Но вернулся в прекрасном настроении, без конца рассказывал о Париже, о встречах, неожиданных и приятных. Более других впечатлило его знакомством с профессором Абрахамом.

— После лекции в Сорбонне подходит ко мне какой-то человек и представляется по-русски: «Меня зовут Анатолий Абрахам, но лучше называйте меня Анатолий Исаакович. Знаю, вы ученик Иоффе, ваши работы читал. Очень серьезно». И прочее, и прочее. Поташил меня к себе, мы с ним проговорили всю ночь. Он из семьи русских евреев, Россией очень интересуется, а Израиль, по-моему, любит больше, чем Францию. И физик он очень крупный, рань-

ше работал в Комиссариате по атомной энергии, а теперь профессорствует в Коллеж де Франс.

Знакомство в Сорбонне переросло в теплую дружбу столь разных и столь похожих друг на друга людей.

В Израиле Абрахам бывал часто, каждый раз вроде бы по делам, но я подозревал, что он просто хотел повидать папу, посидеть на диване в нашей гостиной, поспорить о физике и биологии, о евреях и русских, о Достоевском и Бяликe, обо всем на свете. И все это по-русски!

Во время одного из визитов Абрахам вел себе необычно: нервничал, нес какую-то чепуху, но, в конце концов, не выдержал.

— У нас получал диплом почетного доктора Абрам Иоффе. Я с ним встретился.

Папа побледнел.

— Ну и...?

— Извини, Боря, но я сказал, что ты здесь. Случайно получилось. Я притащил его к себе, говорили о том о сем, вспоминали общих знакомых. Я возьми и скажи.

— Что он?

— Сильно разволновался, даже пот на лбу выступил. Я налил ему коньяку. Он выпил, успокоился. «Я-то думал, Боря... в лагере. Ах, вот оно что! Вы знаете, он с Исааком Кикоиным еще в студенческие годы в синагогу бегал. Мне тогда доложили, но я замял дело — написал объяснение: ребята, мол, из озорства, на самом деле стопроцентные атеисты. Но вообще, я, знаете ли, не разделяю. Сионизм, это... Нет, нет не разделяю. Национализма не признаю, для меня все нации равны».

Еще через десять лет папа и в самом деле перешел в институт Вейцмана. Министр науки Ювал Нееман поручил ему руководить программой, связанной с измерением дрейфа континентов. Поначалу папа увлекся, но как только построили обсерваторию и наладили измерения, он снова пошел к Нееману.

— Все, Ювал, дело сделано.

Нееман удивился.

— Ну и работай дальше, Барух, это же перспективно.

— Какая там перспектива, там рутина. Энергетикой надо заниматься, Ювал, энергетикой. Эта наша ахиллесова пята. Сотни миллионов тратим на нефть и уголь, а у нас под боком даровая энергия. Сбросовую станцию строить надо — между Мертвым и Средиземным морями как-никак четыреста метров!

— Оставь и думать, ничего не выйдет.

— Я это, — обиделся папа, — не раз слышал.

— Ах, Барух, Барух. Я знаю, ты у нас гений. Но пойми, в Димоне ты работал на безопасность, а когда речь идет о безопасности страны, у нас все возможно. Но сейчас ты хочешь, чтобы мы сэкономили. Это абсурд. Кто может заработать на экономии? Никто! Зарабатывают на закупках, на импорте. У нас никогда не будет сбросовой станции, у нас никогда не найдут нефть, есть она в этой земле или нет.

Неемана отец очень уважал. И послушал, сбросовой станцией заниматься не стал. А стал исчезать — мотался по границам. И домотался — нашел в Канаде миллиардера, который дал деньги на строительство института солнечной энергии.

Это мой-то отец, который не знал, сколько стоит банка кофе, раздобыл миллионы долларов!

Доллары сразу же заработали: на территории институтского парка потянулись вверх этажи небоскреба. За небоскреб «посреди оазиса чистой науки» папу ругали все, кому не лень. Он не реагировал. Вообще он стал сильно сдавать, слабел день ото дня. Мама взбунтовалась.

— Все. Хватит. Если так пойдет дальше, институт будет — тебя не будет. Ты уже не мальчик — без пяти минут семьдесят! Либо ты начинаешь жить и отдыхать по-человечески, либо...

«Либо»? Анализ крови сомнений не оставлял — до семидесяти папе не дотянуть.

Последние недели Абрахам от папы не отходил.

— Ну почему, Толя, так получается — за какое бы дело я ни брался, никогда не удавалось довести его до конца? Я ведь в сущности ничего не сделал в науке — то одно мешало, то другое. Ты, вот, столько оставил...

— Брось, Боря. Кому нужно то, что я сделал? Никто никогда не вспомнит, кто такой Абрахам. Ты — другое дело. Благодаря тебе эту страну невозможно уничтожить. Теперь уже неважно, что их сто миллионов, а нас только три. Да и что моя жизнь по сравнению с твоей? Ну, школа, ну, университет, ну, профессура. А у тебя? Одиссея, в чистом виде Одиссея! И какой ты везучий — вероятность дожить до сегодняшнего дня была у тебя близка к нулю. Ты хоть сам понимаешь, каким образом уцелел во всех перипетиях?

— По недосмотру, Толя, по недосмотру судьбы!

22. ИЗ ЛЕТОПИСЕЙ

В лето тысяча восемьсот восемьдесят первое от Рождества Христова, апреля месяца, числа 26, в древнем Киеве, матери городов русских, случился погром.

Было так. В воскресенье с утра приказчики, кучера, мастеровые, лакеи, служители трактиров, мальчишки и солдаты нестроевой службы стали собираться на Подоле. В полдень, как только зазвонили колокола, они толпою с криками и визгом отправились громить еврейские дома, лавки и синагоги. Поначалу выламывали двери и окна, а после крушили все подряд, добро выбрасывали на улицу, евреев били — случалось, до смерти, — а над еврейками совершали насилие. В синагогах запоры выламывали топорами, свитки Торы и молитвенные книги порывали в ключья, топтали в грязь и палили огнем. Город в тот день представлял собой вид необычайный: в воздухе носились пух и перья, улицы были завалены изломанной мебелью, битой посудой и всяким тряпьем.

В предместье Демиевке люди, напившись водкою, поджигали еврейские дома, евреев изрядно били, а после бросали в огонь.

Христиане, чтоб не попасть под погром, на воротах своих домов рисовали кресты, а в окнах выставляли иконы. Сахарозаводчики Бродские, банкиры Гальперины и врач Мандельштам, предупрежденные полицией, выехали из города загодя. У дома банкира Ионы Зайцева, больного и немощного, выставлена была охрана о восемнадцати штыках с унтер-офицером.

На другой день погрома, 27 числа, в городе появились войска — конные и пешие — и казаки. Барабанщики барабанили, казаки били нагайками, а солдаты — прикладами. К концу дня толпу рассеяли, евреев убитых и тяжело пораненных сосчитали числом 42, обесчещенных евреек посчитать затруднились. Убытка евреям причинено на 3 миллиона 630 тысяч рублей. Из погромщиков трое затоптано было казаками, 1400 задержано.

Между тем, из Киева погром перекинулся на окрестные деревни, дошел до городов Бердичев, Конотоп и Елисаветград, а потом имел место в Одессе, где накануне разные люди — приезжие и местные — носили по городу слух, будто евреи убили старого царя, а новый велел их нещадно бить.

«Жидотрепание» продолжалось до зимы и возобновилось на другой год в Балте. Убито и тяжело ранено здесь было 40 евреев, по миру пушено — 15 000, разграблено 1250 домов и лавок. 24 человека из христиан были задержаны полицией.

Все это случилось в правление генерал-губернатора киевского, подольского и волынского Александра Романовича Дрентельна. Дрентельн был очень почтенный человек, хотя и не был боевым генералом. Оставшись в малолетстве без родителей, воспитывался он в Александровском сиротском кадетском корпусе, служил в лейб-гвардии Финлян-

дском полку, с коим принял участие в Венгерском походе. С повстанцами проявил себя отважно, а потому хорошо продвигался по службе. В 1863 году во время польского восстания он уже командовал войсками в Виленской губернии. С поляками проявил себя отважно, за что и заслужил доверие императора Александра II. По личному указанию государя Дрентельн принял пост начальника Третьего отделения и шефа жандармов, с которого был снят «диктатором сердца» графом Лорис-Меликовым. Волей императора, однако, был посажен губернатором в Киев.

Александр Дрентельн, родом из эстляндских дворян, был в православной вере тверд, а врагов ее ненавидел люто. Пуще всего ненавидел он жидов, отрицающих своей верой сближение с христианами. «Умственному превосходству евреев требую противопоставить штык и нагайку», — писал он в Перербург, но одобрения правительства не получил. Министр внутренних дел граф Игнатьев имел то мнение, что евреев следует из империи выселить. На всякие жалобы отвечал он единообразно: «Западная граница для евреев открыта».

Что до погрома в Киеве, то император Александр III, узнав, что войскам пришлось выступить в защиту евреев, сильно огорчился: «Это-то и грустно во всех еврейских беспорядках», — были его слова. Виновниками беспорядков государь видел самих евреев, а потому велел наказывать их наряду с христианами.

По донесениям полицейских осведомителей, в Харькове и в самом деле имел место еврейский поджог. Двадцать евреев — врачей, учителей и студентов — собрались на площади и на виду у всего народа пожгли свои дипломы. При том они говорили, что собираются ехать в Палестину, чтобы работать там на земле, и агитировали других к ним присоединиться. По тем же донесениям, желающих уехать в Палестину набралось числом пятьсот, а вот в Америку поднялись многие тысячи.

Генерал-губернатор Дрентельн борьбу с врагами православной веры продолжал до тех пор, пока не случилось с ним несчастье. Выехал однажды Александр Романович на погром — он всегда самолично выезжал на погромы — и давай гарцевать на лошади. Между тем, был он маленького роста, очень толст и совсем без шеи. Так вот, гарцевал он, гарцевал и свалился с лошади. Адъютант Дрентельна ротмистр Трепов отвез его домой, где он на руках Трепова и скончался. Впрочем, прежде чем помереть, взял он с Трепова клятву, что тот всю свою жизнь положит на борьбу с врагами Христовой веры.

В лето тысяча восемьсот девяносто первое от Рождества Христова в первопрестольной столице, городе Москве, случился погром.

Было так. В пасхальную ночь с 28 на 29 марта большой отряд городских, пожарных и дворников под командованием обер-полицмейстера Власовского окружил Зарядье, где ютились бесправожительственные евреи. Врываясь в дома, полицейские поднимали насмерть перепуганных людей и гнали их в полицейский участок. Оттуда одних отправляли по этапу вместе с ворами и разбойниками, с других брали обязательство немедленно выехать из города. Некоторые евреи от облавы убежали, попрятались на кладбищах, в пригородах или в дешевых гостиницах. Тогда-то обер-полицмейстер объявил награду: за поимку одного еврея обещал уплатить столько же, сколько за двух грабителей.

Очистив Москву от бесправожительственных евреев, начальство стало выселять ремесленников и мастеровых, которые жили в Москве по праву. Этим евреям давали срок для ликвидации дел, но если по истечении ононого они задерживались хоть на день, их заключали в пересыльную тюрьму и в кандалах отправляли по этапу. В крещенские морозы 1892 года город представлял собой вид необычайный: толпы евреев с женами, детьми и стариками, закутан-

ные кто во что, брели на Брестский вокзал. Кто-то по дороге отморозил руки, кто-то — ноги, а кто и вовсе замерз.

Потом наступила очередь отставных нижних чинов и их семейств, которые имели в Москве правонажительственный лист. Потом — купцов, фельдшеров и других. Всего изгнано было из старой столицы более 20 тысяч евреев, которые здесь либо родились, либо прожили по 20, 30 или 40 лет и нигде, кроме Москвы, дома не имели.

Все это случилось в правление Московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Великий князь был человеком честным, мужественным и прямым. Молодой же император Николай Александрович, будучи слаб умом и характером, во всем полагался на дядьев, кузенов и племянников, стадо которых в его правление сильно приумножилось. Особым его расположением пользовался дядя Сергей, который после неожиданного восшествия на престол племянника уверовал, что и царская резиденция скоро переедет в Москву, и все государство Российское вернется к старым, допетровским порядкам. Главную задачу своего управления видел Сергей Александрович в том, чтобы к этому великому дню очистить первопрестольную от врагов Христовой веры. Каждой порою своей души ненавидел он жидов и, памятуя завет императрицы Елизаветы, не желал иметь от них никакой пользы. Беда состояла в том, что слуги, которым он доверил святое дело, довести его до конца не умели.

Летом 1896 года великому князю доложили, что в старой столице все еще остается восемь тысяч евреев. Князь Сергей рассвирепел, выгнал старых слуг и набрал новых. Обер-полицмейстером взял он генерала Трепова. Трепов, человек честный и прямой, по образованию был конногвардейцем, по званию — генералом свиты, по воспитанию — вахмистром. Вид имел бравый, глаза — страшущие, речь же всегда начинал со слов: «Руки по швам!»

С легкою душой начал было Трепов громить жидов и разгромил бы, наверное, их вовсе, если бы не участились

забастовки фабричных рабочих, беспорядки в университетах, если бы не оживилась подпольная печать и революционная пропаганда. Так что в первую голову пришлось Трепову громить рабочих, избивать студентов, вешать революционеров. Но тут оказалось, что рабочие, студенты и революционеры еще и сопротивляются. И чем больше Трепов их громил, тем сильнее они сопротивлялись. Наконец, в октябре 1905-го устроили они настоящую революцию. Тогда Трепов отдал войскам приказ: «Патронов не жалеть», а сам бежал в Петербург. Государь его принял и сделал петербургским генерал-губернатором.

Великий же князь Сергей Александрович, занятый войной с рабочими, студентами и франкмасонами, о жидях тоже не забывал, морил их нещадно и успеха добился немалого — за год после московского погрома из империи уехали 100 тысяч евреев. Наверное, он и вовсе искоренил бы жидовское племя, да случилось несчастье: 4 февраля девятьсот пятого года он был убит эсером Иваном Каляевым.

В лето тысяча девятьсот третьье от Рождества Христова, апреля месяца, шестого числа в столице Бессарабии, городе Кишиневе, случился погром.

Было так. В пасхальное воскресенье, с утра, в центре города начали собираться приказчики, дворники, мастеровые и разные другие люди, вооруженные дубинами, ножами и топорами. В полдень, как только зазвонили колокола, колонны с криками «Бей жидов!» двинулись в разные кварталы города и принялись громить еврейские дома, лавки и синагоги. Евреев убивали ножами и топорами. Вырезали целые семьи. Многих не добивали, а оставляли мучиться в конвульсиях. Некоторым вбивали в голову гвозди или выкалывали глаза. Малых детей сбрасывали с верхних этажей на мостовую, а евреек насиловали и отрезали им груди. Имущество евреев грабили и увозили на подводах. В синагогах крушили все подряд, а свитки Торы, молитвенники и другие книги палили огнем.

К вечеру второго дня войска, до того безучастные, начали стрелять в воздух и разгонять толпу. Люди остались недовольны: в газете «Бессарабец» было сказано, что царь разрешил бить жидов целых три дня.

Однако и за два убито было 45 евреев, 86 ранено тяжело, 500 — легко. 700 еврейских домов и 600 лавок были разбиты и разграблены. Двое христиан стали жертвами шальных пуль, 400 человек полиция арестовала.

Все это случилось в бытность министром внутренних дел и шефом жандармов Вячеслава Константиновича Плеве, человека умного и образованного. Происходил Плеве из поляков, но еще в молодости сменил веру, фамилию и стал таким набожным, что, сделавшись министром, отправился в Москву на поклонение в Троице-Сергиеву лавру. В Москве он вошел в доверие к великому князю Сергею и через него укрепился во мнении, что государь, государыня, великие князья, княгини и княжны более всего ненавидят жидов, считают их врагами престола и главными виновниками российской смуты. В уме Плеве родился план отвлечь народное недовольство от правительства в сторону жидов и одновременно скомпрометировать революционное движение как дело, чуждое истинно русским людям. Осуществлению этого плана способствовало то обстоятельство, что часть еврейской молодежи, обезумевшая от погромов улицы и террора правительства, ринулась в революционное движение.

Отвлекал Плеве народное недовольство, отвлекал, но в начале 1903 года все же понял, что русское революционное движение вот-вот прорвет полицейскую плотину. Тогда у него созрел другой план — утопить русскую революцию в еврейской крови. Для этого нужно было открыть другие плотины. Выбор пал на город Кишинев, где у Плеве были верные люди. Самым верным был обрусевший акцизный чиновник Крушеван, который на субсидии правительства издавал газету «Бессарабец». Эта газета вела пропаганду против евреев, обвиняя их в капиталистичес-

кой эксплуатации и в социализме, в ритуальных убийствах и подготовке безбожной революции. Пропаганда эта имела тем большие последствия, что другие газеты в Кишиневе были запрещены.

Кишиневский погром произвел должное впечатление — меньше чем за год из России уехало 125 тысяч евреев. При дворе, однако, остались недовольны: еврейской крови явно не хватало, чтобы утопить в ней русскую революцию. Конечно, не вина Плеве, что погромы не отвлекли рабочих, не увлекли студентов, не убавили пыла у революционеров. И не вина Плеве, что многие в стране погромное дело не поддержали. Отлученный от церкви, Лев Толстой пустил по рукам список, где кишиневский погром назвал преступлением, а его виновником — правительство. И не вина Плеве, что лондонская «Times» опубликовала копию его секретного письма кишиневскому генерал-губернатору, в котором Плеве, за две недели до погрома предписывал губернатору не прибегать к оружию в случае еврейских беспорядков.

Как бы там ни было, Плеве рук не опустил, в голове его уже родился новый план... Но тут случилось несчастье: 15 июля 1904-го он был убит эсером Егором Созоновым.

В лето тысяча девятьсот одиннадцатое от Рождества Христова, в апреле месяце, в древнем Киеве, матери городов русских, случился погром.

Было так. 20 марта на окраине города, близ завода, принадлежащего еврею Зайцеву, был найден мертвым 12-летний мальчик Андрюша Юшинский. Тело его было в нескольких местах чем-то порезано. 12 июля главный прокурор Киевской губернии распорядился заключить в тюрьму Менахема-Менделя Бейлиса, служащего при заводе, по обвинению в совершении им убийства с целью извлечения крови для ритуальных надобностей. По прошествии двух лет, 25 сентября 1913 года, как раз в те дни, когда Нильс Бор открыл строение атома, а Игорь Сикор-

ский поднял в воздух многомоторный самолет, когда с конвейера Генри Форда сошел стотысячный автомобиль, а по радио начали передавать точные сигналы времени, в городе Киеве начался ритуальный процесс.

Случилось это в бытность министром юстиции Ивана Григорьевича Щегловитого, человека в высшей степени принципиального. Получив материалы уголовной полиции, из которых следовало, что Андрияша Юшинский стал жертвой соперничества воровских шаек, он из принципиальных соображений распорядился сии материалы изъять, разыскать какого-нибудь еврея с тем, чтобы обвинить его в убийстве мальчика. И непременно из ритуальных соображений. А еще Щегловитов был опытным прокурором. Ритуальный процесс устроил он мастерски: велел подобрать нужных свидетелей, отыскал эксперта по ритуальным убийствам, председателя суда Болдырева научил под видом сторожа для услуг ввести в комнату присяжных переодетого жандарма. Так что не его вина, что свидетели на суде забыли, чему их учили полицейские агенты, запутались и несли правду. И не его вина, что присяжные заседатели — мужики, темные, необразованные, — вынесли вердикт: «Не виновен!» И уж тем более не его вина, что адвокаты — евреи и подкупленные евреями — устроили на процессе настоящий спектакль, что либеральные газеты подняли шум, а самые авторитетные теологи Европы и Америки опубликовали декларацию против кровавого навета.

Впрочем, Иван Щегловитов рук не опустил, взялся было готовить новый ритуальный процесс, да случилось несчастье — Февральская революция. Щегловитов немедленно был отдан под суд, а в апреле 1917-го расстрелян.

PS

На этом летописи, хранящиеся в запасниках библиотеки Г-кого университета, обрываются. Продолжение их

попало в архивы ВЧК, и один Бог знает, увидят ли они когда-нибудь свет.

23. ЕЩЕ Я ПОМНЮ...

Полы шинели намокли, обледенели и больно били по ногам. Сосульки налипли на брови и мешали смотреть. В бедре ломило, шагать становилось трудней и трудней. Аврумка чувствовал, что силы покидают его. Ну и хорошо, что покидают, только бы добежать до правого берега Иртыша, туда, где бабы стирают белье! Только бы добраться до проруби, нырнуть и уйти. Уйти навсегда. Уйти от поручика Тарасенкова, от унтера Федора Ивановича, от сотского Василия и его жены Степаниды, уйти от соседей по казарме. Еще чуть-чуть, еще немного — и его уже никогда не будут бить кулаками и сечь розгами, колоть иголками и мазать собачьим дерьмом. Еще немного — и его уже никогда не станут кормить из кошачьих плошек и поить из помойного ведра. Еще немного... Вдруг левая нога перестала слушаться, Аврумка попытался сделать шаг, но упал. Тогда он пополз и полз до тех пор, пока ему не стало хорошо.

Да, да, ему всегда было хорошо, когда он забирался под кухонный стол, где было его убежище, где он спал, где плакал, вспоминал маму, ее лицо, кружева на ее груди, теплый живот и грязный фартук.

Фейга-Лея будила его засветло, будила пинком. Было больно и обидно. Аврумеле вскакивал, бежал выносить помойное ведро, заносил из сарая дрова, растапливал печи, кормил кур, подметал в снях. Но главное — следить за печкой: угли вынуть крупными, жирными. Ведь хозяин, Янкель-Бер, вернувшись из синагоги после утренней молитвы, первым делом заглянет в таз, и, если угли окажутся мелкими, перегоревшими, или, наоборот, недогоревшими, со следами дерева, он сделает Аврумеле «гоголь-моголь».

— Ду идиет? Вифиль кен их дир лернен!¹

Янкель-Бер как-то по-особому выкручивал Аврумеле ухо, приговаривая: «Хочешь гоголь-моголь? Получишь гоголь-моголь!» Слезы брызгали из глаз вместе, ухо становилось большим, красным, болело до вечера.

К обеду из хедера возвращался хозяйский сын Велвел. Фейга-Лея усаживала всех за стол. С тоской смотрел Аврумеле в тарелку ровесника, посреди которой возвышался большой кусок мяса, а вокруг плавали клецки. В его тарелке сиротливо устроились две куриные лапки.

После обеда работали вместе. Аврумеле растирал уголь, Велвел перебирал изюм, Янкель-Бер проверял работу подручных. Если в тазу с изюмом он находил кусочки мусора, Велвелу доставался подзатыльник, если уголь оказывался плохо растертым, Аврумеле получал «гоголь-моголь».

Впрочем, все это было давно, целых два года назад, когда кагал передал его, сироту, на воспитание виноделу Янкелю-Беру. Аврумеле уже привык вставать, не дожидаясь пинков Фейги-Леи, научился чувствовать спиной, когда нужно вытаскивать угли, да и с другими делами справлялся быстро, проворно. А оттого появилось у него время смотреть книги, которые Велвел приносил из хедера. Аврумеле читал все подряд и так хорошо выучился письму и счету, что Янкель-Бер теперь уже поручал ему писать расписки и подсчитывать выручку.

С некоторых пор хозяин и вовсе перестал ругать воспитанника, таскать его за ухо, давать подзатыльники. А однажды — Велвел куда-то исчез, и Аврумеле сбился с ног, работая за двоих, — Янкель-Бер пожалел сироту.

— Занимайся только по дому, во дворе мы с Фейгой-Леей сами управимся.

Целых четыре дня Аврумеле не выходил из дома, а утром пятого дня неожиданно услышал в сенях толкотню и незнакомые голоса. Говорили громко, по-русски. «Как

¹ Ты идиот? Сколько я могу учить тебя! (*идиш*)

же, как же, ваше благородие, шестнадцать, целых шестнадцать...» Не успел Аврумеле сообразить, что происходит, как дверь распахнулась, в кухню ввалились пятеро мужчин. Двое из них были в военных мундирах.

— Вот он, — показал на Аврумеле Янкель-Бер.

— Аврум, сын Янкеля-Бера? Тебе сколько, шестнадцать? — с сомнением в голосе спросил офицер.

Да мне еще и пятнадцати нет, хотел ответить Аврумеле, но и рта раскрыть не успел, как военного подхватили под руки и увели в комнату.

— Не сомневайтесь, ваше благородие, точно шестнадцать. А силенок — на все восемнадцать.

Аврумеле услышал звук раскупориваемой бутылки, а еще через минуту из комнаты раздался громкий окрик:

— Эй, служба, веди его, чего стоишь как истукан!

Служивый вывел Аврумеле на улицу и повел к дому, вокруг которого собралась толпа женщин. Солдат растолкал плакальщиц и впихнул Аврумеле в просторную избу, где уже было полно бледных, перепуганных мальчиков, парней постарше и совсем взрослых мужчин.

После обеда в избу проследовали важные господа — военные и штатские. Они расселись вокруг стола, велели рекрутам раздеться и по очереди подходить к доктору. Аврумеле видел, как доктор вертел долговязого парня лет двадцати, видел, как отодвинул его чуть в сторону, открыл ему рот, вынул оттуда несколько золотых монет, сунул их в карман. Затем он вздохнул и обратился к сидящим за столом:

— Плох, куда как плох!

— Затылок, — крикнул кто-то.

— Затылок, — подхватили другие.

Долговязый схватил одежду и бросился к двери.

Настала очередь Аврумеле. Доктор брезгливо ткнул его пальцем в живот, повернул сначала в одну сторону, потом в другую, поковырял во рту и громко сказал:

— Отличный.

— Лоб, — крикнул кто-то из военных.

— Лоб, — подхватили другие.

Тут же к Аврумеле подскочил военный приемщик, отвел в комнату, где сидел солдат-цирюльник. Цирюльник быстро сделал свое дело, Аврумеле провел рукой по стриженной голове и заплакал.

— Прекратить! Ты теперь не жид пархатый, а русский солдат, стало быть, нюни не распускай, держи голову выше. В казарму — марш!

Во временной казарме забритых мальчиков продержали до утра, а чуть свет подогнули к воротам подводы. Хитрость не удалась — несколько евреек, дежуривших у казармы всю ночь, с воплями бросилась к своим сыновьям. Солдаты кулаками и прикладами разгоняли «проклятых жидовок».

К вечеру новобранцев доставили в большое село, где в гарнизонной казарме их ждали такие же бритоголовые мальчики из других местечек. Каждому приставили дядьку из солдат, выдали казенное имущество, изготовили документ. Когда же все было готово, две сотни стриженных мальцов выстроили в шеренгу. Командир, подпоручик Тарасенков, обошел строй, проверил, цело ли казенное имущество.

— Завтра в поход. У кого деньги припрятаны, сейчас принести ко мне: я спрячу и буду выдавать в дороге по мере надобности. Кто не исполнит — запорю. И помните — розог не пожалею!

На рассвете колонна тронулась. Толпа местных и приезжих евреев провожала ее с погребальными причитаниями.

Пока шли по местечкам, местные еврейки кормили несчастных, стирали им белье, совали деньги. Деньги, впрочем, отнимали дядьки.

— Эй вы, жидовское отродье, хотите шабаш справить, гоните по гривне. А нет — до ночи будите маршировать.

В одном из местечек не досчитались одного новобранца. Тарасенков выстроил команду на площади, велел по-

роть каждого десятого. Собравшиеся евреи, пораженные экзекуцией, собрали Тарасенкову сто рублей и вернули беглеца, которого тут же иссекли. Да так, что у желающих удариться в бега, улетучилась сама мысль о побеге. Тарасенкову, меж тем, дело понравилось — безо всякого повода он выстраивал команду на площади какого-нибудь городка и порол мальчишек до тех пор, пока местные евреи не подносили ему мзду.

Когда перешли в русские губернии, стало совсем худо: крестьяне требовали плату за постой, не давали съестного, не разрешали есть и пить из чашек и кружек — «чтобы посуду не опоганили, хриstopродавцы!» Тарасенков же сделался как зверь: деньги выдавать перестал, молиться запретил; если у кого-то находил тфилин, цицес или сидур¹, рвал, сжигал, колотил хозяина. Только одного мальчика лет девяти по имени Иоська приблизил к себе, кормил отдельно, да и денег давал на лакомства. От себя, правда, не отпускал ни на шаг. За что такое везенье, недоумевали остальные?

В Нижнем прояснилось за что.

После короткого отдыха Тарасенков велел новобранцам привести себя «в лучший вид», а затем выстроил команду для смотра. Седовласый генерал обошел фронт, встал посредине. Из толпы к нему вышла барыня, ведя под руку того самого Иоську.

— Ваше благородие, этот мальчик пожелал креститься, — обратилась барыня к генералу.

— Это похвально, это богоугодно. Я сам буду ему крестным отцом.

Взяв малыша за руку, генерал обратился к фронту.

— Неволить креститься я вас не стану — это грех, но запомните: вернуться к своей вере вы уже не сможете, а человек без веры хуже пса. Вас же, господин подпоручик, благодарю за службу. Велю написать о повышении.

¹Тфилин, цицес и сидур — молитвенные принадлежности и молитвенник.

После Нижнего Тарасенков и вовсе стал лютовать: морил голодом, драл нещадно по поводу и без повода. А тут еще пошли дожди, потом грянули холода — чуть не на каждой стоянке кого-то хоронили.

Через пять месяцев изрядно поредевшая рота добралась до места назначения, в город Томск. Едва живых новобранцев разместили в огромной пустой комнате, которая после курных деревенских изб показалась им настоящими хоромами. Ребятишек-доходяг кормили обедом, ужином, поили чаем и даже давали по рюмке водки — «для подкрепления сил». Когда же новобранцы пришли в себя, Тарасенков приказал облачиться в полную форму, выстроиться.

Обходить фронт полковник не стал, окинул новобранцев строгим взглядом, скомандовал кратко.

— Желающие креститься, два шага вперед!

Охотников набралось человек двадцать, их куда-то увели, остальных рассортировали по росту, определили в батальон кантонистов. Самых же маленьких отправили в деревни, расставили по квартирам и поручили надзору унтеров.

Аврумку поставили на квартиру к сотскому Василию, который дальше сеней «анафему» не пускал. Жена же его, Степанида, выбрасывая остатки хозяйской пищи в собачью плошку, пальцем подзывала Аврумку — «Ешь, дьявольское отродье». Пить разрешала только из корыта, в котором стирала белье.

Унтер Федор Иванович наезжал трижды в день, учил фронту. Учил тем же манером, что и взрослых солдат, за исключением того, что шомпола заменял розгами. А еще, несмотря на трескучий мороз, гонял Аврумку с разными поручениями за пятнадцать-двадцать верст, а то и на другой берег Иртыша. Но более всего любил Федор Иванович обращать «нехрестя» в истинную веру. Подвыпьет, бывало, велит встать во фронт и начинает:

— Желаете креститься?

— Позвольте, ваше благородие, в своей вере остаться. Сильный щелчок немедленно обрушивался на лоб.

— Пойми же ты, жидовская морда, что я говорю; крестишься — унтером станешь.

— Помилуйте...

Следующий щелчок был еще сильнее, от третьего темнело в глазах, а унтер Федор Иванович продолжал развлекаться.

А однажды выпало Аврумке быть вестовым при Тарасенкове. Вытянувшись в струнку, стоял он в дверях, ожидая поручения. Тарасенков, меж тем, беседовал с деревенским старостой, с коим вел выгодную дружбу.

— Што я тебя, барин, спрошу, правду ли баит народ, што жиды об ихнюю пасху пекут мацу не на воде, а на хрестьянской крови, ловят для того хрестьянских робятишек, закалывают их, якобы телят, и эфтой ихней кровью растворяют мацу. Неушто правда?

— Само собой — правда. Ведь продал же Иуда Скаротский нашего Христа за тридцать сребреников. Чего и ждять от проклятых Богом его сородичей!

— Слышишь, жиденок, — обратился к Аврумке староста, — а ты што скажешь?

— Не знаю я много, но что про кровь их благородие говорить изволили — это... это неправда.

Тарасенков побагровел, с ревом «молчать!» бросился к вестовому и что было сил ударил его по уху. Аврумка упал, дважды перевернулся, ударился бедром о ларь, головой — об угол стола. Кровь разом хлынула из ушей, изо рта и из носа.

«Убирайся, пархатый, чтобы глаза мои тебя не видели», — доносились сквозь шум в ушах проклятия Тарасенкова.

Аврумке делалось все лучше и лучше, тепло расплзлось по телу, он уже видел лицо мамы: она склонилась над ним, улыбается ему, гладит его по щекам. Вдруг не-

жные движения сменились шлепками. Почему ты бьешь меня? — хотел спросить Аврумка, но сил хватило только на то, чтобы открыть глаза. Лицо матери было где-то далеко, в тумане, он несколько раз моргнул, лицо стало приближаться. Вот он уже различает ее глаза, ее нос. Но разве это мама?

— Вос ис мит дир, иделе, вос ис гишен, вер хот дир балейдикт?¹

Женщина тормозит его, пытается поднять.

— Кто ты? — с трудом спрашивает Аврумка.

— Глафира я. Белье стирала, вижу, солдат бежит. Бежит, бежит, а потом бух — и упал, и не бежит. Подхожу, ты лежишь и едва дышишь.

— Какая Глафира, ты ведь по-еврейски говоришь?

— Ну да, по-еврейски, мы с мамкой раньше в еврейском доме жили в Велиже, а потом нас сюда сослали. Мамка все больше пьет, а я людям белье стираю.

Десять верст тащила Глафира Аврумку на себе. Дотащила до города, сдала в лазарет. И потом что ни день навещала больного, приносила ему молоко, ватрушки, а то и просто тихо сидела у его постели. Все кругом диву давались: молоденькая русская девчушка целыми днями торчит у постели жиденка-кантониста и лопочет с ним на непонятном языке!

Через три месяца Аврумку из госпиталя выпустили. Но к фронту он был уже не пригоден — одна нога сделалась короче другой, левое ухо перестало слышать. Конечно, можно было определить его на подсобные работы, но начальство боялось как бы он, «упорный в жидовстве», не совратил выкрестов в старую веру. В конце концов, решили отправить его в мастерскую команду в Петербург.

С радостью покидал Аврумка казарму, благодарил в душе Тарасенкова. Одно было тяжко — расставание с Глафирой.

¹ Что с тобой, еврейчик, что случилось, кто тебя так обидел? (*идиш*)

В дороге Аврумка немного окреп, но в Петербурге это ему не помогло. Вольные люди, что каждый день являлись в казарму отбирать мальчиков-кантонистов, проходя мимо Аврумки, лишь хмыкали и пожимали плечами — кому нужен хромой и глуховатый заморыш! Аврумка совсем было загрустил, как вдруг им заинтересовался высокий черноволосый господин в длиннополом сюртуке. Осмотрев Аврумку со всех сторон, господин велел ему вытянуть руки, повернуть их ладонями вверх, растопырить пальцы. Осмотрев, сказал «карошо» и исчез. Через три дня солдат привел Аврумку к часовых дел мастеру Августу Ивановичу Кругу — воинское начальство сдало его в учение сроком на шесть лет.

Август Иванович слыл лучшим в столице часовщиком. Ремонтировал часы, каретные и карманные, гирьевые и медальонные, каминные и палубные. Клиентами его были господа в цилиндрах и дамы в пышных нарядах, морские офицеры и именитые купцы, придворные сановники и иноземные дипломаты. В доме Августа Ивановича Аврумка — теперь уже Авраам — познал не только тайны часового ремесла. Упорство в деле было здесь законом, нарушить которое считалось святотатством. Равно почиталось здесь и слово: сказал — сделал!

От Августа Ивановича выучился Авраам немецкому, в доме его узнал, что такое домашний уют, порядок и чистота. Петербург же открыл Аврааму, выдавшему до того лишь убогое еврейское местечко и нищую русскую деревню, блеск и красоту мира. И хотя выбираться ему в город доводилось не часто, выходы туда казались ему путешествиями в сказочной мир.

Прошло несколько лет, и от прежнего Аврумки не осталось и следа: держался он прямо, хромал солидно, кланялся с достоинством. Однако самого важного Авраам не забывал — в пятницу молился, к свинине не прикасался, в Пасху хлеба не ел. В Иом Кипур, отпросившись у Августа Ивановича, отправлялся на целые сутки в молельный дом.

И еще не забывал Авраам писать письма Глафире. Писал регулярно, хотя ответы от нее получал редко. Грамоте Глафира обучена не была, письма из Петербурга просила кого-то прочесть, а за написание ответа должна была еще и платить. Меж тем, мать свою она похоронила, мыкалась по людям, и единственной отрадой ее были письма от хроменького, прилепившегося к сердцу солдатика. Письма эти всегда начинались словами «Любезная Глафира Петровна», кончались же низким поклоном «слуги Вашего Авраама Борисовича».

К концу шестого года Авраам получил от Августа Ивановича свидетельство о о производстве его в «мастера часовых дел». Распрощавшись с учителем, Авраам отбыл в Томск, в распоряжение начальника мастерской роты.

Положение его снова сделалось горьким и унижительным, но с годами, благодаря мастерству и умению держаться твердо и с достоинством, обрел он уважение начальства и сослуживцев. Позволены ему были разные льготы, в том числе право принимать в ремонт часы от городских начальников, местных дворян, купцов и чиновников. Главное же — разрешили ему проживать не в казарме, а на квартире по своему выбору. Этого-то права он более всего добивался, ибо тут же поселился с Глафирой Петровной, которая по прошествии положенного времени родила ему сына Берку, то бишь Бориса Абрамовича.

Выйдя в отставку, Авраам Борисович остался в Томске, приобрел собственный дом, который служил жильем и часовой мастерской. Вместе с солдатами-евреями полицейской, инвалидной и пожарной команд основал солдатскую синагогу и еврейское кладбище, на котором и был похоронен в 1881 году. В края, откуда был родом, выбрался лишь однажды — привез жену своему сыну.

Девочку-сироту звали Ная.

Редких отказников-активистов, которым удавалось вырваться в Израиль в начале семидесятых, первым де-

лом отправляли в заграничное турне. Герои борьбы за алию выступали на митингах, клеймили Советы, призывали мировую общественность «встать на защиту». Первое время люди из-за железного занавеса вызывали большой интерес; у них брали интервью, о них писали влиятельные газеты и иллюстрированные журналы. Понятно, что и наша газета в лице ее «главного специалиста по советским делам» старалась от других не отставать. Со временем, однако, встречи с активистами превратились в рутину, сами борцы за еврейское дело изрядно измельчали, выступления их стали похожи одно на другое. Я злился, искал повод, чтобы «закрыть рубрику».

Случай подвернулся в сентябре 1977-го. Некий «герой» с научной степенью, посланный на казенный счет в Бостон, по ходу дела нашел место в тамошнем университете и возвращаться в Израиль отказался. При этом он даже не счел нужным явиться на встречу активисток местной еврейской организации, которые его пригласили в Бостон. Чтобы как-то спасти положение, устроительница встречи Мирна Эльбаум упросила меня сделать доклад о положении дел с еврейской эмиграцией. Чертыхаясь про себя, я согласился, вышел на трибуну, что-то там наговорил и, не дожидаясь вопросов, направился к выходу.

Мирна, меж тем, меня догнала и предложила провести вечер у нее дома.

— К сожалению, не могу, мне еще в Нью-Йорк добираться.

— Зачем вам ехать в Нью-Йорк на ночь глядя? Переночуете у нас, а утром поедете. Мы живем недалеко, в Peabody, от нас на хайвэй очень удобный выезд.

Пэбоди? Откуда мне знакомо это название? Нет, там я никогда не был, из бостонских пригородов знаю Кэمبرидж, Ньютон, Бруклайн. Но Пэбоди?

Как субботняя браха, как таблица умножения, выскочили откуда-то из закоулков памяти слова: «Натан Паверман, Линкольн драйв 5, Пэбоди, Массачусетс». Да это же с детства зазубренный адрес!

«Что бы с нами ни случилось, со мной, с папой, с мамой и бабушкой, — вдруг останешься один, — никогда не забывай адреса тети Фиры в Америке. А ну, повтори еще раз», — учил дедушка Абрам.

Здесь, в холле бостонской гостиницы Sheraton, перед глазами вдруг возник дедушкин дом на Второй Загородной, я услышал скрип перекошенной калитки, увидел папу с бабушкой, вносящих на палке огромную картонную коробку. Я знал — это посылка от тети Фиры из Америки, знал, что в коробке будет сладкое коричневое масло и тюбики с леденцами.

Прошло много лет. Америку я изъездил вдоль и поперек, но заглянуть в Пэбоди так и не собрался. Сначала было неудобно — кто я внукам и правнукам Фиры! Потом и вовсе забыл о призрачных родственниках. И вот теперь его величество случай о них напомнил.

Я согласился поехать к Мирне и по дороге рассказал ей, что в Пэбоди когда-то жила сестра моего деда, эмигрировавшая с мужем в 1905 году.

— Возможно, и сейчас там живут мои дальние родственники.

Мирна живо заинтересовалась.

— Вы знаете их имя и адрес?

— Наизусть помню, дедушка в детстве заставил меня вызубрить их адрес на случай, если взрослых арестуют, а мы с сестрой останемся одни.

Я отчеканил заученную фразу, Мирна подпрыгнула так, что чуть не пробила головой крышу машины.

— Паверманы! Да это самая известная семья в Пэбоди, Натан Паверман — это же легенда, его знал весь Бостон, он четверть века был первой скрипкой в нашем симфоническом оркестре. Все его дети и внуки тоже скрипачи. Старший сын Иоэль уже на пенсии, но еще вполне бодр.

Не успели мы войти в дом, как Мирна бросилась к телефону и тут же радостно сообщила, что Паверманы ждут нас в семь вечера.

С виду дом Иоэля ничем не отличался от других домов в уважаемых пригородах американских городов. Разве что множество столиков, шкафчиков, дорогих безделушек, развешанных всюду скрипок и со вкусом подобранных картин указывали на присутствие здесь старушки Европы. Хозяин дома, высокий человек в вельветовых брюках и вязаной кофте на пуговицах, тоже ничем не отличался от обычного американского пенсионера. Лет ему можно было дать и 50, и 70. Иоэль вяло пожал мою руку, предложил сесть. Наверху кто-то разучивал скрипичные пассажи.

— Нора сейчас спустится, она немного занята с внучкой, и будем пить чай с вареньем. Вы любите чай с вареньем? Хотя что я спрашиваю, в России ведь пьют чай, это у нас в Америке пьют кофе. Давно вы из России?

— Я не из России, я из Израиля.

— О! Вы поехали в Израиль. А кто у вас там?

Я начал было рассказывать, но тут сверху спустилась тщательно причесанная пожилая дама. Мило улыбаясь, она протянула мне руку.

— Так вы приехали в Америку? Сейчас многие приезжает в Америку. Наверное, это правильно, я думаю, что в Америке больше опартюнитис, чем в России.

Я несколько опешил — Нора говорила со мной на... идиш.

— А чем вы занимаетесь?

— Я журналист.

— Вот как? Но тогда вам придется хорошо выучить английский. Ах, извините, — Нора вдруг проворно вскочила, подбежала к лестнице.

— Эся, Эся! Ты хоть слышишь, что играешь? Пожалуйста, все сначала. И внимательней, внимательней, моя дорогая.

Нора то убегала вверх к внучке, то возвращалась. Мы с Иоэлем перебирали имена родных и пытались установить, кто кем кому приходится. При этом Иоэль мгновен-

но все забывал, и вычисления приходилось начинать сначала. Я решил, что им обоим за 70, и понял, что ничего интересного здесь не услышу. Надо было найти повод, чтобы подняться и уйти.

Мирна почувствовала мое настроение и неожиданно обратилась к Норе:

— Быть может, у вас сохранилось какие-нибудь фотографии?

— Конечно, сохранились. Свекровь держала все это в комод. Мы и сами тысячу лет их не смотрели.

Открывая один ящик за другим, Нора, наконец, отыскала бумажный сверток, очень похожий на тот, что изредка доставала из комода моя бабушка.

— Это Натан и Фира. Совсем молодые. Когда? А вот — 1903 год. Еще в России. А это уже в Америке.

— А это что? — в глаза бросился маленький, совсем выцветший пакетик.

— О, это — шифс-карты, по которым папа и мама въехали в Америку.

Я осторожно развернул рассыпающуюся в руках газету. Передо мной лежали три документа, один из которых, по всей видимости, и был знаменитой «шифс-картой» — именным пароходным билетом, который и открывал людям дорогу в Америку. Два других документа к Америке отношения не имели.

Ветхая серо-розовая бумажка оказалась российской почтовой открыткой начала века. Машинописный текст местами можно было разобрать. «Мещанину Т...ой губернии Паверману Натану-Ио... На ваш запрос отвечаем, что лица иудейского вероисповедания в консерваторию Его Императ....го Величества не принимаются. С.-П....рсбург, 1905».

Второй документ лежал в розовом, тисненном золотом конверте. Я осторожно открыл его. Прекрасно сохранившаяся карточка, также тисненная золотом, приглашала на свадьбу. «Авраам Борисович и Глафира Петровна в день

бракосочетания своего сына Бориса Авраамовича с девицею Наей Израилевной покорнейше просят Вас пожаловать на венчание и вечерний стол сего 23 марта 1880 года. Венчание имеет быть в Молитвенном доме, что на Могистройской улице, ровно в 6 часов вечера; вечерний стол в ресторане Савой, д. Тараканова».

Как? Разве история с предком-кантонистом не легенда?

24. ГАЛЕРЕЯ ЗЕРКАЛ

По завершении трапезы Николай Александрович сказал молитву, потом подошел к Алексею, поднял мальчика на руки, отнес в спальню и уложил на кровать. Алексей просил отца остаться, но Николай Александрович не мог — Александра Федоровна желала пройтись по саду. Она встретила мужа у окна в коридорчике и, не выпуская из рук «Лейки», крепко ухватилась за его локоть. Вместе они осторожно спустились по «черному ходу» — узкой крутой лестнице, которая вела прямо в сад.

В действительности никакого сада не было. Был большой — с полдесятины — двор при толстостенном приземистом особнячке с узкими длинными окнами, в который их поместили сразу же по прибытии в Екатеринбург. От главной улицы двор отгораживал высокий забор и ветвистые тополя, от переулка — каретник, конюшня и кусты акации. На задах, которые уходили вниз и кончались обрывом, тянулись заросли малины. Около ворот стояли две караульные будки, посреди двора — простенькая деревянная беседка, окруженная березками и липами.

Николай Александрович распахнул дверь; свежий воздух ударил в ноздри, яркий дневной свет — в глаза. Николай Александрович и Александра Федоровна зажмурились, с наслаждением вдохнули теплый июльский воздух и медленно направились к беседке, не забывая поглядывать по сторонам. Долгие месяцы мытарств и заточения

научили: если начинается какая-либо перестановка постов или замена караульных, жди перемен. После того, как десять дней назад сменился комендант и появились новые стрелки — не то латыши, не то австро-венгерцы, — они уже не сомневались: что-то происходит.

Во дворе, однако, все выглядело по-старому. То же безоблачное небо, те же башенки соседнего особняка, та же прогонистая колокольня Воскресенской церкви. И все-таки Николай Александрович не мог отделаться от ощущения: чего-то не хватает. Только подойдя к беседке, он вдруг понял, чего именно, — во дворе не было солдат!

Это стало ритуалом. Выходя на послеобеденную прогулку, Николай Александрович непременно встречал солдат, свободных от караула. Он кивал им, бросал несколько слов. Они отвечали сухо, официально, как и полагалось охране отвечать узнику. Происходило это мимоходом, длилось не более минуты, но была в том своя игра. В глазах солдат бывший император видел большой к себе интерес и вскоре обнаружил, что и сам, своим взглядом, своими жестами, даже движениями своего тела может добавлять этим людям сначала любопытства, потом сочувствия, потом... Игру эту Николай Александрович вел не ради удовольствия. Если все-таки случится, если, наконец, придет освобождение, — спрашивал он себя, — кто из них станет стрелять? Этот? Пожалуй, нет. А вот тот?

Удивительно, но более всего поддался комендант. Говорить с ним Николаю Александровичу разрешалось в любое время. И он говорил. Сначала по делу, потом о войне и хлебе, о женах и детях. Комендант оказался человеком простым и к горю отзывчивым. Во всяком случае, когда Николай Александрович выносил на прогулку своего немощного сына, комендант смотрел на него не как на тирана и кровопийцу, а как на несчастного отца.

Нет, говорил внутренний голос, комендант стрелять не станет.

Четвертого июля старый комендант неожиданно исчез. Вместо него появился новый — энергичный смуглый крепыш, который, казалось, интересовался всем чем угодно, только не своими узниками. Сменилось и большинство охранников.

Итак, солдат во дворе не было. Электрический ток пробежал по телу и передался Александре Федоровне. Не сговариваясь, они разом повернулись в сторону ворот, приближаться к которым им было запрещено. Латыши, строгие, подтянутые, выстроились шеренгой. Романовы едва успели переглянуться, как охрана бросилась открывать ворота. Два автомобиля въехали во двор. Из первого вышел комендант и его помощник, из второго — комиссары. Главный — высокий широкоскулый блондин, тот, что привез их в этот дом прямо с поезда в последний день апреля, — одернул длинное кожаное пальто и в сопровождении свиты направился осматривать дом. Он то и дело обращался к коменданту, а тот, энергично жестикулируя, давал пояснения. Потом все подошли к едва заметной боковой двери, которой, похоже, никто не пользовался. Комендант достал ключ, с трудом отпер ее — и вся компания провалилась куда-то вовнутрь.

Николай Александрович и Александра Федоровна лихорадочно соображали, как теперь быть. Возвратиться в дом? В этом было что-то от постыдного бегства. Остаться? Но не приведет ли это к дурным последствиям?

Любопытство взяло вверх — Романовы чуть передвинулись к середине двора, остановились и сделали вид, будто о чем-то беседуют друг с другом. Александра Федоровна взяла в руки «Лейку», вытянула гармошку объектива.

Между тем комиссары начали по одному выходить из боковой двери. Они сгрудились у входа, достали папиросы, принялись закуривать. Последним появился главный начальник. Он тоже расстегнул пальто, вынул портсигар и наклонился, чтобы прикурить, но в этот момент заметил нацеленный на него объектив. Не разгибая спины, глав-

ный чертыхнулся, бросил папиросу, растоптал ее носком сапога и медленно выпрямился. Немного помешкав, видимо, соображая, как быть дальше, он повернулся к Романовым спиной и направился к машине. Остальные побросали папиросы и двинулись за ним.

Николай Александрович и Александра Федоровна остались одни, словно победители на поле боя. Закрывая объектив своей «Лейки», Александра Федоровна испытывала особое удовольствие — ей удалось заснять главного большевика!

— Nikki, do you get the feeling that ther top bolshevik doesnt look Jewish? To me he looks so Russian!

— My dear, Irm not sure as I have never set eyes on any Jew but given that hers a Bolshevik can there be any doubt? And if were you, Alex, you would be more careful. One canrt rule out that the Bolsheviks may know what a camera is used for.¹

Александр Георгиевич Белобородов, бывший электромонтер и партийный агитатор, а ныне председатель исполкома Уральского Совета, в доме инженера Ипатьева бывал не раз. После Февраля семнадцатого здесь заседал Комитет общественной безопасности, в котором он представлял партию большевиков. Дом этот Белобородов запомнил и сам же предложил поместить сюда Романовых. Однако доподлинно внутреннего расположения комнат не знал и не был уверен, можно ли там провести операцию, о которой говорилось в особо секретной телеграмме из Москвы. Ясно, надо все осмотреть, а там уж решать — выполнять задание на месте или отвезти Романовых, куда было задумано.

Готовиться к этому дню начали сразу после того, как

¹ — Никки, не кажется ли вам, что их главный большевик не похож на еврея? Лицо у него совсем как у русского!

— Не знаю, моя дорогая, я никогда не видел еврея в лицо, но раз уж большевик, то какие могут быть сомнения? А вообще-то, Аликс, прошу вас быть осторожнее. Не исключено, что большевики знают, что такое фотографический аппарат (*англ.*).

Уральский отряд привез Романовых в Екатеринбург. В исполкоме посоветовались и решили поручить ликвидацию царя бывшему каторжанину Петру Ермакову. Белобородов вызвал его, пожал руку: «На твою долю, товарищ Ермаков, выпало счастье расстрелять и схоронить Николая Кровавого. Так схоронить, чтоб никто и никогда трупа его не отыскал». Ермаков был родом с верх-исетского завода и для проведения операции выбрал знакомые места. Доложил в Исполком: «Все готово, не беспокойтесь, товарищи». Белобородов и не беспокоился.

Теперь все изменилось: Красная армия отступала, белочехи захватили Киштым, до Екатеринбурга им оставалась сотня верст. Да и в городе контра подняла голову; нельзя исключить, что кто-то уже следит за домом и при случае попытается освободить Романовых.

Так что перевозить царскую семью Белобородов побаивался и опасениями своими поделился с членами Совета. Комендант, «товарищ Юровский», согласился: «Опасно, по дороге всякое может случиться». Предложил провести операцию на месте: спускать Романовых поодиночке в подвал и там приводить приговор в исполнение. Войков и Толмачев возражали, считали, что Романовых все же следует вывезти в Верх-Исетск, расстрелять и на месте захоронить.

Осмотр дома продолжался недолго. Белобородов обошел его снаружи, спустился в подвальное помещение, отметил про себя, что места хоть и немного, но вполне достанет для всех Романовых. Предложение выводить их поодиночке казалось ему неправильным. Понравилось Белобородову и то, что из подвала вели две лестницы: одна на второй этаж, где жили Романовы, другая — во двор через боковой выход. Так, подумал Белобородов, спустить их можно прямо сверху, а вынести через другой выход во двор и неспешно, без шума и суеты, уложить в грузовик. Правда, подметил он, подвал неглубок, слуховое окно выходит наружу, выстрелы могут услышать с улицы.

Что ж, сейчас перекурим и все порешим, размышлял он, поднимаясь по ступенькам.

Белобородов вышел, отряхнул пальто, достал портсигар, но только потянулся к огоньку, как заметил наведенный на него объектив фотоаппарата. Невдалеке как ни в чем не бывало стояли Романовы. Он как-то глупо улыбался, она шелкала «Лейкой». В первую минуту Белобородов растерялся. Крикнуть охрану, отнять аппарат, выгнать Романовых со двора? Впрочем, решил он, теперь это уже не имеет смысла; развернулся и пошел в сторону машины.

Как только отъехали, Белобородов велел шоферу остановиться. Остановилась и вторая машина. Белобородов был краток.

— Я думаю, исполнять надо на месте. Только вот что, товарищ... Юровский, поставьте машину перед домом. Когда будете исполнять, заведите мотор, пусть работает, пока все не кончится. Потом везите на верх-исетский завод. Сжечь — и в шахту. Возвращайтесь и немедленно приступайте к делу.

Вторая машина развернулась и с ревом тащилась в гору.

— Чай — это замечательно! — Потирая от удовольствия руки, Владимир Ильич опустился на диван и придвинул к себе большую фарфоровую чашку. Запах свежего чая, да еще с берлинским печеньем, всегда приводил его в хорошее расположение духа. — Ты знаешь, Наденька, в который раз убеждаюсь: наш Яков Свердлов — замечательный работник. Какая память, какая способность все понимать с полуслова, решения принимать быстро и правильно! И при этом никакого высокомерия, никакого чванства. Неоценимый работник!

— Знаю, Володенька, знаю. Только ты не спеши, пожалуйста, кипяток ведь.

— Так вот, — Ленину не терпелось поделиться с Надеждой Константиновной, — собрались мы сегодня с Яковом Михайловичем и Феликсом Эдмундовичем решать воп-

рос о Романове. Ты ведь знаешь, я всю жизнь мечтал устроить всенародный суд над этим тираном. Для того, собственно, мы так долго с ним и возились. А вот теперь обстановка вынуждает кончить с Романовым как можно быстрее — Колчак уже в ста верстах от Екатеринбурга. Белочехи вот-вот возьмут город. Если же бывший царь попадет в руки контрреволюции — беда!

Ленин отхлебнул горячего чая и принялся за печенье, одновременно перебирая в памяти подробности сегодняшнего разговора.

Да, по существу вопроса сошлись быстро — расстрелять!, а вот по части исполнения возникли разногласия. Дзержинский потребовал, чтобы ликвидацию Романовых поручили ВЧК. Пришлось отстаивать тот тезис, что покончить с Николаем Кровавым должны сами рабочие. Непременно рабочие и только рабочие. Это вопрос архипринципальный. Свердлов поддержал — уверил, что уральские рабочие с задачей справятся.

Дзержинский свое: «У меня другие сведения. Охранники из рабочих даже стрелять толком не умеют, дисциплины никакой, пьют, прогуливают. Комендант — человек слабохарактерный, провокационному поведению Романовой и выпадам бывшего царя против советской власти надлежащего отпора не дает. Настаиваю на проведении операции силами ВЧК».

Свердлов задумался и спросил: «А что, Феликс Эдмундович, товарищу Уншлихту вы бы доверили эту операцию?» — «Безусловно». — «Так, вот, — отвечает Свердлов, — есть в Екатеринбурге товарищ Яков Юровский. Массы его знают как старого партийца, депутата Совета Уральской области. А у товарища Уншлихта в эмиграции был псевдоним «Юровский». Что, если мы товарища Уншлихта немного подгримируем, наклеим ему усы, волосы покрасим и отправим в Екатеринбург? С уральскими товарищами берусь все устроить». — «Он кто, этот уральский Юровский, рабочий?» — «Рабочий».

Что ж, придумано неплохо, втроем и согласились.

Живо пересказав Крупской утренний разговор, Ленин снова принялся за чай.

— Вот, Наденька, как надо решать вопросы!

— А скажи, Володенька, куда теперь семейство?

— То есть как — куда? — от неожиданности Ленин отодвинул чашку. — Ты что, не понимаешь, ликвидировать нужно Ро-ма-но-вых. Всех Романовых.

— Как — и детей?

Ленин откинулся на диване, на лице появилась брезгливая гримаса.

— Наденька, это же обывательский подход. Мы обязаны руководствоваться логикой революции. Подумай сама, если мы ликвидируем Николая Романова, но оставим его наследников, то тем самым окажем услугу контрреволюции. Неоценимую услугу. Ведь бывший царь в самом-то деле никому не нужен. Даже ярым монархистам. Они только и мечтают: мы Николая расстреляем, а они объявят его святым мучеником, знаменем контрреволюции. Царем же станет больной наследник, правителем при котором назначат того же Колчака! Нет, Наденька, мы должны, мы обязаны вырвать этот змеиный род с корнем, чтобы никогда больше в России не возникла угроза реставрации.

Ленин не стал допивать чай, тяжело поднялся с дивана.

— Куда же ты, Володенька, отдохни хоть полчаса, чай допей.

— Не могу, Наденька, с минуты на минуту появится Лев Давидович, надо что-то срочно предпринять на Восточном фронте.

Вытаскивать тела убитых комендант не стал. Не потому, что чурался черной работы, — был страшно зол. Много раз предупреждал: стрелять после того, как он огласит решение Исполкома. Объяснил: «Мы не убийцы, мы исполняем волю уральских рабочих, вершим революционное правосу-

дие. Всем понятно?» Дружно ответили: «Понятно». А когда дошло до дела, этот тип Ермаков, партизан с наглой рожей, выхватил маузер и давай палить еще до того, как он, комендант, кончил читать. Сволочь. Опозорил.

Когда тела вынесли и уложили в грузовик, комендант вернулся в дом, чтобы в последний раз проверить, не забыли ли чего. Он внимательно осмотрел подвал, потом поднялся наверх, проверил спальни, угловую комнату, гостиную и вышел в коридор. Все было в порядке, он уже направлялся к выходу, как неожиданно увидел в зеркале кривой крест — свастику. Повернулся. Крест был нарисован химическим карандашом на глянцевом косяке оконного проема. Комендант еще раз взглянул в зеркало: крестов появилось бесчисленное множество: они уменьшались в размере и тянулись цепочкой куда-то в бесконечность.

«Что бы это могло значить?» — подумал комендант, но тут же забыл о свастике. Задавался рассвет, нужно было срочно выезжать в Верх-Исетск.

25. ГОЛУБАЯ ТЕНЬ

На свет Абраша появился слабым — весу в нем было меньше двух кило. Ная Израилевна молила Бога, чтоб выжил. Ее первый ребенок родился мертвым, двое других не дожили до года. Потом родилась девочка. Пухленькая, крепкая. Назвали по бабушке Глафире, Фирою. Следующий ребенок снова умер, она долго не рожала, и уже совсем было перестала надеяться, как неожиданно забеременела и разрешилась мальчиком. Случилось это 21 декабря 1881 года, ровно через месяц после смерти свекра, Авраама Борисовича. Молилась за сына Ная Израилевна усердно, мальчик выжил и был назван в честь деда. Правда, записали его на русский манер, Абрамом.

Рос Абраша капризным и непоседливым, хлопот Нае Израилевне доставлял не в пример Фире. Когда же под-

рос, отдали его учиться сначала меламеду, потом в русскую школу. Ученье давалось Абраше легко, но учился он плохо; по-началу увлекался, успевал, потом начинал лениться, заданий не выполнял, частенько сбегал с уроков.

Неуспехи сына в учебе Бориса Абрамовича не особенно огорчали, за пропуски занятий он его не ругал: «Раз не пошел в школу, пойдем в мастерскую». Этого-то Абраша и добивался — очень уж ему хотелось попасть в царство чудес, где напольные часы свысока поглядывали на каминные, а вычурные фигурки на каминных легкомысленно подмигивали строгим каретным. А потом все они начинали звонить! Сначала басили напольные, потом баритоном включались каминные, и уже в конце начинали тоненько дребезжать каретные.

Отец внимательно слушал перезвон, затем подводил стрелки — на одних часах вперед, на других назад — и усаживался за верстак. Затаив дыхание, Абраша смотрел, как отец надевает лупу, подхватывает пинцетом какую-то деталь, внимательно ее рассматривает и что-то бормочет себе под нос. Абраша знал, чем кончится это колдовство: в какой-то момент спина отца распрямится, губы вытянутся в улыбку.

— Акс! Ну конечно, акс¹. Уронили и ось сломали. Видишь, как баланс ходит?

Абраша кивал, будто все понял.

Через какое-то время он и в самом деле стал понимать, что мастерит отец, а потом и сам научился ставить на место стрелки, чистить волосок, выпрямлять спусковое колесо.

Незаметно подошло совершеннолетие; бар-мицву устроили в синагоге. Здесь Абраша осрамился: заученный текст произнести толком не сумел²; запинаясь, пропустил целый кусок. Ребе просто кипел от негодования. Но отец не рассердился; по дороге домой сказал добродушно: «Уче-

¹ Акс — ось.

² Согласно традиции, во время обряда Бар-мицвы мальчик должен прочесть главу из Библии.

ный из тебя не получится — это ясно. С завтрашнего дня сядешь со мной делу учиться. Будешь стараться — станешь подмастерьем, а придет время — займешь мое место, как я когда-то сел на место светлой памяти отца моего и твоего деда».

Часовых дел мастером Абраша не стал.

Когда он освоил ремесло и сел работать подмастерьем, ему стало скучно. Ладно еще, если в ремонт приносили какие-то замысловатые часы — каминные или настенные. Тогда он возился с удовольствием. Но, когда приходилось изо дня в день выполнять одни и те же операции — разбирать и промывать, он начинал хандрить, жаловался, увиливал от работы под любым предлогом. Отец возмущался, обильно угощал сына подзатыльниками. Не помогало.

После очередной выволочки Борис Авраамович сдался.

— Ну, хорошо, не хочешь быть часовщиком, скажи, кем хочешь?

— Железнодорожником.

Абраше было 14 лет, когда в город провели «железку» — соединили его железнодорожной веткой с Великой Сибирской магистралью. На всю жизнь запомнил он, как вместе с толпой бежал за огромным черным чудищем, которое медленно ползло в сторону порта. Горячий пар со свистом вырывался из-под колес, из пузатой трубы летели искры. Паровоз ташил за собой вагончик с дровами и тамбур, в котором сгрудились важные господа в мундирах.

У каждого времени свои герои. Тогда героями были путейцы: начальник станции в строгом мундире, кондуктор со свистком и разноцветными флажками, контролер с толстой сумкой через плечо. Но главным героем был, конечно же, машинист. Какой мальчишка не мечтал увидеть себя в кабине машиниста!

Мечтал об этом и коренастый крепыш Абраша. Он все чаще удирал в город и часами поджидал прибытия паровоза. Кончилось тем, что Абраша сбежал из дома. Тайком забрался на отходящий паровоз и упросил взять его по-

мощником кочегара. Его приняли, положили в обязанность колоть дрова, таскать воду, делать все, что прикажет кочегар или машинист.

С непривычки было трудно: на руках вздулись мозоли, глаза распухли от дыма, в голове непрерывно гудело. Но он старался изо всех сил и скоро начал привыкать и к тяжелой работе, и к кочевой жизни. И уж совсем было привык, да случилось непредвиденное. Как-то паровоз встал на ремонт в Нижнеудинске. Абраша сделал все дела и отпросился у кочегара погулять по городу. Купив горячих бубликов, он расхаживал по улицам, наслаждаясь свежим воздухом и возможностью немного побездельничать. Неожиданно сзади кто-то крепко схватил его за руку.

— Ты кто такой? Откуда здесь взялся? — городской в длиннополой шинели и с шашкой на боку пристально всматривался в лицо Абраши.

— Со станции я. С паровоза. Помощник кочегара.

— Какой еще помощник кочегара? Бумаги у тебя есть? Давай-ка, жидок, в участок, там разберемся.

Тут все и выяснилось.

— Мещанин, значит? Иудейского вероисповедания? А знаешь ли ты, что тебе здесь находиться совсем не положено? Ты что, про новые правила не слышал?

Абраша и понятия не имел, что по новым правилам жить ему в Сибири можно, но не повсеместно, а только там, где приписан его отец. Беглеца под конвоем вернули домой и обязали отца уплатить штраф.

После такого невезенья пришлось снова сесть за часовой верстак. Но через полгода Абраша нанялся в пожарную команду. Потом работал в цирке, потом — в порту. Дома появлялся редко, на все уговоры «заняться делом» огрызался или отшучивался. Так он и проболтался до двадцати, когда забрали его в солдаты.

Служба давалась Абраше нелегко, за вредный характер да за свое еврейство натерпелся он немало. Особенно свирепствовал ротный, иначе, как «иудами» или «пейсаты-

ми» еврейских солдат не называл. Да и другие солдаты измывались над еврейскими товарищами, как только умели. Правда, Абраша часто и сам единоверцев стыдился: присланные в Сибирский полк из далеких украинских местечек, они и по-русски говорили едва-едва, и слабосильны были, и все время на что-то жаловались. А уж отлынивать от дела — первые были мастера. Но и единоверцы Абрашу за своего не принимали: молитва вместе, остальное врозь.

В общем, мучился Абраша в одиночку, мучениям своим не видел конца, но тут началась Японская война.

Первым делом полк выстроили на плацу. Генерал был краток:

— Япошки объявили нам войну, и теперь мы должны задать им примерную порку. Сбросить их в море, потом высадиться в Японии и снова задать порку.

Порка поркой, а пока что началась неразбериха: сначала полк послали в Порт-Артур, но с дороги повернули, приказали сдать вооружение и отправили на Байкал — грузить воинские эшелоны на суда-паромы. Потом сняли с погрузки и приказали снова принять вооружение и аммуницию. В начале мая полк включили в состав I-го Сибирского корпуса и бросили на выручку Порт-Артура.

В одном из боев Абраша был ранен. Одна пуля попала в живот, другая — в ногу. Санитары вынесли его, полуживого, наскоро перебинтовали и уложили на повозку, которая, к счастью, поспела к санитарному поезду. Первое, что Абраша увидел, придя в себя после операции, была молоденькая сестра милосердия. Лица ее он толком разглядеть не мог — в глазах все плыло, — но голос услышал явственно. А голос у этой хрупкой девушки был строг и повелителен.

На склоне лет дедушка Абрам всерьез уверял, что влюбился в бабушку «по голосу».

Мина — так звали молоденькую сестру милосердия — была дочерью дантиста из Порт-Артура. За полгода до того, как Абраша пошел в бой, чтобы сохранить этот город для

России, наместник царя на Дальнем Востоке адмирал Алексеев распорядился выселить из Порт-Артура всех евреев, «так как они тайно помогают японцам, родственным им по расе». Родители Мины добрались до Харбина, где их застала война. Пока отец Мины бегал по городу в поисках заработка, юное создание, воспитанное на романах Тургенева и Толстого, отправилось в военный госпиталь и настояло, чтобы ее взяли вольноопределяющейся сестрой милосердия.

Встреча с Миной перевернула дедушкину жизнь — из гуляки и шалопая он превратился в серьезного молодого человека. Когда его выписали из госпиталя и демобилизовали, он вернулся домой, поступил на службу на паровозоремонтный завод, снял квартиру на окраине города и отправил в Харбин депешу...

Свадьба Абраши была скромной и грустной. Ная Израилевна то и дело вытирала слезы — за месяц до женитьбы сына, в сентябре 1905-го, уехала в Америку ее дочь Фира.

На брата Фиры ничуть не походила. В детстве была она словно ангелочек: беленькая, стройная, кудрявая. Да и характер у нее был добрый и покладистый. Все ее любили и баловали, а как подросла, свататься к ней стали самые завидные женихи. «Погубил» же ее заезжий музыкант. Правда, Натан — так звали музыканта — был видным парнем с копной рыжих волос, правда, родом он был из самого Вильно, правда, отец его был крупным коммерсантом, по делам которого он и попал в Сибирь. Однако дела отца Натан вскоре забросил, снял комнату и стал целыми днями играть на скрипке. На жизнь зарабатывал уроками музыки, и в качестве учителя попал в дом Наи Израилевны.

Не прошло и нескольких месяцев, как учитель музыки, краснея и смущаясь, попросил разрешения поговорить с хозяином дома. Ничего не подозревавший Борис Авраамович с удивлением выслушал слова рыжего парня о том, как он горячо любит Фиру, как страстно желает на ней жениться. Выслушал, растерялся и, не зная, что отве-

тить, позвал Наю Израилевну. Та, не раздумывая, отказала: «Дочь наша еще слишком молода, замуж ей рано».

На том дело, однако, не кончилось, — покладистая Фира на сей раз решительно заявила, что любит Натана, и, если ей не разрешат за него выйти, она вообще никогда не пойдет замуж. Начались девичьи слезы, материнские истерики, жизни в доме не стало. Наконец, Борис Авраамович сдался: «Пусть выходит. Наверное, время сейчас такое — по любви выходить!»

Натан перебрался в дом к тестю и, если не бегал по урокам, то целыми днями играл на скрипке. Фире то и дело приходилось выслушивать родительские упреки.

— Когда же твой пиликать перестанет, когда за дело возьмется?

— А он и занимается делом. Он вовсе не пиликает, а готовится в консерваторию. У него ведь талант. Ему сам Ауэр сказал: «У вас, Паверман, большой талант».

— Талант, талант! А детей чем кормить будете?

— А я? Разве я не могу работать? Вот поступит Натан в консерваторию, переедем в Петербург, я и пойду работать. Не губить же талант!

С Петербургом не вышло. Натана не то, чтобы в консерваторию не приняли, — документы взять отказались. От расстройства он играть перестал, из комнаты своей сутками не выходил, весь черным сделался. Даже руки на себя наложить хотел. И наложил бы, наверное, если бы не Фира. Она то и дело ходила к разным людям, а потом долго о чем-то шушукалась с мужем. В какой-то день молодые заявили родителям, что уезжают в Америку.

— Так сразу в Америку? — схватился за больное сердце Борис Авраамович. — Куда же спешить, в этом году не приняли, примут в следующем. Все может измениться. Да и кто вас ждет в Америке?

— Умные люди говорят, что здесь евреям никогда хода не будет, а в Америке таланты ценятся.

Ная Израилевна возражать не стала, поняла — бесполезно.

После свадьбы Абраша устроился отдельно от отца, но хозяином в доме не стал. Правда, раз в месяц он торжественно вручал жене получку, а по субботам и праздникам с важным видом усаживался во главе стола, но решала все в доме маленькая Мина. Она купила рояль, выписала толстые журналы, взяла моду созывать гостей, которые до хрипоты спорили, кто все-таки прав — Лев Николаевич или Софья Андреевна. Абраша в этой компании чувствовал себя неуютно, предпочитал допоздна засиживаться на заводе, который и стал его настоящим домом.

И то сказать — поступил он туда учеником слесаря, потом выучился на плавильщика, потом — на электромонтера. Прошел все рабочие должности, стал браковщиком, после — мастером. Но и на этом не успокоился — все время что-то изобретал и усовершенствовал. Выписанный хозяевами из Петербурга инженер Генрих Иванович Крюгер не мог поверить, что такой знающий механик никогда нигде не учился. Присмотревшись, назначил его старшим мастером, вторым после себя человеком.

Завод, между тем, непрерывно расширялся, здесь уже не только проводили ремонт, но и отливали паровозные колеса, клепали цистерны, монтировали платформы. Летом 1913-го пришел заказ оборудовать бронепоезд. Генрих Иванович вызвал Абрашу.

— Заказ, Абрам Борисович, очень сложный, придется многому учиться, многое делать по-новому.

Учиться не пришлось — началась германская война.

В армию Абрашу не взяли — дали бронь, но и на заводе не оставили. Инженер Крюгер получил назначение на казенный артиллерийский завод Мотовилиха, что в четырех верстах от Перми, и потребовал, чтобы вместе с ним отправили туда и старшего мастера.

Мотовилиха — старый чугунопущечный завод, заложенный еще во времена Екатерины Великой, поразил Абрашу своими размерами, удивил техническими новинками и организацией дела. Сталь здесь варили в газовых печах от Сименса, металл плавил электрическим способом и электрическим же способом уплотняли отливки орудийных болванок. Вообще электричество здесь использовалось повсюду. Выработывала его огромная динамо-машина, энергии которой хватало не только для производства, но и для освещения цехов и заводской территории.

Занять должность старшего мастера Абраша отказался, пошел смотреть и учиться. Сначала в плавильный цех, потом в кузнечный, потом в механический. И правильно сделал: не только производство, но и люди на Мотовилихе сильно отличались от тех, которых он хорошо узнал на Томском паровозоремонтном. Мастерами здесь служили мужики солидные, авторитетные, а главное — свои, потомственные. Мальчишками приходили они в цеха, от отцов узнавали тайны ремесла, с годами становились литейщиками, сталеварами, кузнецами. Потом — мастерами. Чужаков же здесь принимали в штыки. А если чужак еще и не русский? Ну ладно, — инженер из немцев. Но чтобы мастером был еврей, такого на Мотовилихе не слышали. Понятно, хлебнул бы Борис Абрамович, если бы сразу да и в начальники. Ему и в цехах, когда он дело изучал, пытались разные «шутки» подстроить. Но он не обижался, понимал — проверку делают. Вскоре заводские убедились, что маленький еврейчик и в деле соображает, и руки запачкать не боится, и начальника из себя не строит. Стали привыкать. К тому же война все на свой лад перекраивала. А главное — такой раздор между людьми посеяла, будто они не с германцами войну ведут, а друг с другом.

Конечно, на Мотовилихе еще в пятом году рабочие сильно бунтовали. Потом стихло — начальство жалование прибавило, часы работы сократило. Теперь все началось сначала: каждый день партийные митинги, всюду

произносят речи, везде лозунги. «Свобода», «Равенство», «8-часовой рабочий день». А то и просто: «Долой царя!» Потом конная полиция врывается — крики, вопли, дым коромыслом. Какая уж там работа.

Но не только рабочий класс взбунтовался, инженеры туда же. Генрих Иванович на рабочем митинге выступил. Царская бюрократия, заявил, перевести промышленность на военные рельсы не сумела, а отсюда и поражение на фронте. Только сами предприниматели, объединившись с технической интеллигенцией и кадровыми рабочими, могут решить эту задачу и, тем самым, спасти армию от разгрома. В конце призвал рабочих провести выборы в военно-промышленный комитет, который возьмет дело вооружения армии в свои руки.

Стал Генрих Иванович и к Абраше приставать: «Вам, Абрам Борисович, сам Бог велел в наши ряды».

С главным инженером Абраша во всем был согласен, да только неуютно он себя чувствовал на митингах. Речей говорить не умел, слушать ораторов-краснобаев не любил. Кончилось компромиссом: в комитет Абраша не записался, но по просьбе Генриха Ивановича составил проект конвейерного производства орудийных стволов. Проект отослали в Петроград, и, говорят, «на самом верху» одобрили. Однако дальше разговоров дело не пошло.

Вспомнили об этом проекте после февраля 17-го, когда власть перешла к Временному правительству. Генриха Ивановича — видного кадета — назначили директором Пермских заводов. Обнял он Абрашу, поздравил.

— Ну вот, Абрам Борисович, взошла, наконец, над Россией заря свободы. Теперь все предрассудки прочь — нет у нас больше эллина и иудея, все мы нынче — граждане. Однако время тревожное, все решится на германском фронте, а армия задыхается от нехватки вооружения и боеприпасов. Впрочем, что я вас агитирую, давайте к делу. Конвейерное производство — ваша идея? Вот и осуществляйте ее.

— Как это, осуществлять? — растерялся Абраша.

— А так и осуществлять. Я назначаю вас старшим технологом. Приступайте.

С этого дня Абраша на заводе дневал и ночевал. Дело, однако, двигалось с трудом. Мешали нескончаемые митинги и бесчисленные комитеты, от которых шла одна неразбериха. И все же к лету конвейер заработал: времени на изготовление орудийного ствола уходило теперь меньше, чем прежде.

События, меж тем, развивались стремительно. В ноябре в Петрограде сменилась власть. Потом германцы перешли в наступление, разбили армию, захватили всю Украину. Только с Германией договорились, началась гражданская война. Уральский Исполком потребовал от завода отправить пушки и снаряды Красной гвардии. Генрих Иванович заупрямился. Его в ВЧК. Вернулся бледный, руки тряслись, и синяки под глазами выступили.

— Отгружайте, выхода нет.

Еще через год, в декабре 18-го, в город ворвалась конница белого генерала Гайды. Началась охота на большевиков. Комиссары, понятно, удрали с Красной армией; белые злились, цеплялись к людям по всякому поводу.

Вызвали в военную контрразведку и Генриха Ивановича: «Это вы распорядились орудия и снаряды Красной армии поставлять?» Что там Генрих Иванович ответил, никто не знал, только из контрразведки он вернулся лишь через неделю. Лица на нем не было. Между тем завод — «красную цитадель» — наводнили шпики и офицеры, вынюхивали и выспрашивали. Заводские ходили мрачнее тучи, многие и вовсе на заводе перестали показываться.

Абраша не на шутку испугался. Не за себя, за печи. Если печи в сталеплавильном цехе останоят, кричи караул — восстановить их будет невозможно. Каждое утро начинал с визитов к сталеварам, проверял, все ли на месте. Однажды утром столкнулся нос к носу с мастером Бокаревым, старым своим знакомым.

— Ты че, Борисыч, все еще здесь, не боишься?

— Чего мне бояться, я в политику не мешаюсь.

— Так-то оно так, да только всякое люди говорят. Может, тебе на время сховаться?

— Как же я завод оставлю, такого наделают!

— Как знаешь, Борисыч. Надумаешь — приезжай. А то бабу с ребятишками привози.

Насчет «бабы с ребятишками» Абраша надумал. Позвал Мину — собирайся! Мина заупрямилась.

— Это от большевиков прятаться надо, а адмирал Колчак — человек образованный, он не допустит...

Тут Абраша вспомнил, кто в доме хозяин, сказал пару нелитературных слов в адрес Колчака и белых вообще, повернулся к двери.

— Иду за подводой, детей одевай.

Заросшие травой пустыри сменялись неглубокими оврагами, черные лужи перемежались серыми валунами, дорога петляла, изворачивалась, но через час привела в поселок под названием Черная речка. Дома здесь походили на инвалидов — один покосился, другой врос в землю, третий отсвечивал дырявой крышей. Кругом заросли дикой малины вперемежку с крапивой, всюду пыльно, заброшено, неподвижно.

Мина впервые увидела заводчан вблизи, впервые переступила порог рабочего дома. И поразилась. Имена Кортёва, Фокина, Бокарева Абраша произносил с придыханием. «Великие мастера», «кудесники», «чудодеи». А вот теперь оказывается, что эти «чудодеи» живут под одной крышей с козами и курами, живут скудно, убого, зло. Чуть не каждый получку пропивает, в дом ни копейки не дает, зато жену и детей отлупить норовит и в пьяном виде и в трезвом. Жены при том побои сносят, хозяйство ведут и детей кормят. Тоже чудодейки.

Бокарев считался непьющим. Не потому, что не пил, а потому, что, выпив, не буянил, не дрался и не скверносло-

вил. Жена его, тощая морщинистая татарка, каждый вечер ставила на стол бутылку. Бокарев — поначалу злой и неразговорчивый — выпивал первый стакан, закусывал огурцом, потом пропускал второй и начинал оттаивать. Бывало, и улыбнется, и частушку промурлычет, а потом исчезнет за занавеской, чтобы утром, чуть свет, снова отправиться на завод.

Два месяца провела «инженерша» у Бокаревых, сама стирала и готовила, сама детей купала, кормила и учила. Учила своих и бокаревских.

Абраша на Черной речке не показывался — только давал знать, что жив-здоров. Появился он в начале июля, когда красные вернулись в Пермь. Мине очень хотелось домой, извелась она без Абраши, устала, но на всякий случай спросила:

— Может быть, подождать, вдруг белые вернутся?

— Не вернутся, — твердо сказал Абраша, — нынче красные совсем не те, что год назад. Теперь они — сила! А белые... — Абраша махнул рукой.

Новая власть о заводе не забывала. Только теперь вместо офицеров из контрразведки здесь появились люди в кожаных куртках. Вопрос задавали один: кто распорядился снаряды и пушки Белой армии поставлять? Расспрашивали, разнюхивали, кое-кого в ЧК уводили. Некоторых выпустили, а насчет Генриха Ивановича и еще шести инженеров слух пошел — расстреливать будут. Тут Абрашу словно подменили: «Поеду в ЧК», — сказал сухо и твердо. Собрался и поехал.

Народу в «Большом доме» толкалось видимо-невидимо, но слово «Мотовилиха» открывало Абраше одну дверь за другой. Из кабинета в кабинет, от одного начальника к другому, дошел он до главного.

Председатель УралЧК Федор Лукоянов одет был в пиджак и косоворотку, выглядел мирно, но разговор начал жестко.

— Значит, пришли за контрреволюционеров ходатайствовать?

— Заверю вас, никакого отношения к Белой армии...

— О Белой армии говорить не будем, теперь главные враги советской власти — кадетско-эсеровская банда. Они пытаются взять нас измором. Саботаж, диверсии, вредительство — половина заводов Урала стоит. А ведь война продолжается. Вы что, не понимаете, за кого хлопчете?

Сначала Абраша растерялся, потом испугался, потом ему вдруг стало легко и спокойно. Откуда-то взялись нужные слова.

— Заводы, говорите, стоят? И будут стоять. И Мотовилиха встанет. Из механического цеха вы семерых забрали: начальника, обоих сменных мастеров и контролера. Теперь инженеры и мастера на заводе не показываются, вас боятся. А без инженеров завод — не завод.

Разошелся Абраша и давай цифрами бить. По механическому подсчет показал, и по инструментальному, и по электроцеху. Теперь уже председатель оторопел — бить он привык словами, перед цифрами пасовал.

— Хорошо, хорошо. Я понимаю. Но и вы поймите, время сейчас такое — война! Сюсюкаться с врагами мы права не имеем. Но разобраться — разберемся. На ком вины нет — пусть идет и работает. — Лукоянов сделал паузу и совсем уже другим тоном спросил: — Скажи-ка, товарищ технолог, ты когда Мотовилиху в строй вернешь?

— Я? — Абраша поперхнулся.

— Ты, а кто же.

— Месяца через два, минимум.

— Значит так, через две недели начинай отгружать снаряды. Отвечаешь головой.

Лукоянов замолчал, давая понять, что разговор окончен. Абраша встал, вытер пот со лба, направился к двери.

— Вот еще что, пришли мне список, кто тебе из этих контриков нужен, — бросил вслед Лукоянов.

Всех заводских из ЧК отпустили. И Генрих Иванович вернулся. Только на заводе больше не показывался — исчез куда-то. Так что до конца 19-го Абраша на заводе за главного оставался, долг отработывал.

Отгремела гражданская война, жизнь хоть и со скрипом, но все же возвращалась в нормальное русло. Быстрее других возвращалась она на Мотовилихе — оборонке советская власть уделяла особое внимание. Так что и сырье, и оборудование поступали сюда в первую очередь. И пайками заводчан не обижали — все вокруг лапу сосут, а мотовилихским каждую неделю хлеб, картофель, горох. Бери, радуйся!

Всем Абраше был доволен, только вот приставать стали — вступи в партию и вступи, главным инженером сделаем. Абраша уклонялся: не дорос, мол, еще. От партии отговорился, но делу был предан, работал с полной выкладкой.

А дела пошли серьезные. Из наркомата что ни день — новые планы, проекты, приказы. «Дальнобойность увеличить, угол стрельбы расширить, приступить к разработке новых образцов...» И пошло, и поехало. Сначала научились стволы удлинять, потом затворы-полуавтоматы освоили, потом — снаряды новой конструкции. Запустили в производство противотанковую пушку. Потом — зенитную. Одновременно бились над гаубицей, а когда стало получаться, взялись за мортиру.

Не хватало людей и металла, инструмента и оборудования, знаний и опыта. Но работали и учились, делали и переделывали, сами дерзали и внимательно подсматривали, что за рубежом делается. Абраша отдавал работе все время и силы: изобретал, разрабатывал, предлагал. И о нем не забывали — назначили главным технологом, а уж орденами и грамотами просто завалили.

Дома тоже было чему радоваться. Сын Боря учился хорошо, увлекался техникой, а как школу окончил, взяли

его в Ленинградский политехнический. Дочь Фаня играла на рояле, готовилась поступать в консерваторию. В общем, жили нелегко, но интересно. И главное, верили — будет лучше.

Вера сломалась в тридцать седьмом.

Первым пропал директор. Был он из рабочих, в гражданку командовал полком, потом учился в промакадемии, стажировался в Германии. Директорствовал он толково и вельможи из себя не строил. Однако неожиданно выяснилось, что был он тайным троцкистом.

Когда всех по служебной лестнице передвинули, Абраша стал главным конструктором. Не прошло и полугода, и новый директор — бывший главный инженер — тоже исчез. По слухам, английским шпионом оказался. Опять лестницу передвинули, Абрашу главным инженером сделали. Эта должность была ему не по плечу — тут и с обкомом надо было иметь дело, и с наркоматом, и в Кремль вызвать могли. Не на шутку растерялся Абраша, да выхода не нашел. Лишь через полгода, когда пересадили его в кабинет директора, кое-что придумал.

Однажды среди белого дня из директорского кабинета раздался женский крик. Все, кто в приемной находились, туда бросились. А там — срам сказать! — растрепанная секретарша кофточку на себе застегивает. Абрам Борисович в смущении тоже на себе кое-что поправляет. Скандал замять не удалось — в приемной «случайно» оказался корреспондент местной газеты.

Выгнали Абрашу «за аморалку», он тут же из города исчез. Куда — не знал никто, кроме Мины. Как только Абраша на новом месте обосновался, она к нему с детьми и перебралась. Прошное свое Абраша скрыл, сделался маленьким человеком — снабженцем на фабрике детских игрушек. О Мотовилихе никогда не вспоминал, только по праздникам посылал бывшей своей секретарше поздравительную открытку. Без обратного адреса.

26. НЕИСТОВЫЙ РОЛАНД

Ленин вернулся в кабинет и застал там Троцкого. Какая пунктуальность: живет в бронепоезде, мотается по фронтам, а опоздать на несколько минут себе не позволяет! Немного смущаясь — он-то чаевничал с Надеждой Константиновной, — Ленин дружески улыбнулся и протянул Троцкому руку.

Троцкий поднялся навстречу, ответил теплым рукопожатием.

— Да сидите, голубчик, сидите. Мы тут совещались насчет царя. Решили как можно быстрее ликвидировать. Всех. Всех до одного. Уж монархию-то мы им восстановить не позволим! Вот вам! — Ленин энергично выбросил руку, показал в пространство смачную фигу.

Троцкий не реагировал; бывший царь его не интересовал, он приехал, чтобы поговорить о главном. Ленин же инстинктивно тянул время; он понимал: положение безнадежно, единственное, что мог сказать ему Троцкий, — сколько времени удастся продержаться.

— Ну, так, слушаю вас, Лев Давидович.

Троцкий спокойно и деловито начал говорить, как он собирается строить... Красную армию.

— Прежде всего, партия должна отвергнуть принцип управления армией с помощью солдатских комитетов. Мы введем жесткое единоначалие, даже если придется подавить сопротивление партизанствующих анархистов.

— Логично, но как мы объясним это красногвардейцам, латышским стрелкам, всем, кто делал с нами революцию?

— Партия должна заявить: подлинная демократия вовсе не означает, что массы руководят армией; они должны контролировать руководство, которое представляет их интересы. Для этого к каждому командиру, на всех уровнях начиная с роты мы приставим политических комиссаров. Реальное положение дел таково, что обойтись без царских офицеров невозможно.

— И вы считаете, что эти люди будут честно служить делу революции? Вы не боитесь саботажа?

— Не думаю, что опасность измены столь уж велика. Я ведь предлагаю создать офицерский корпус за счет младших офицеров. Думаю, что если прапорщику поручить командование дивизией, он будет служить не за страх, а за совесть. И, наконец, у каждого офицера есть семья. Мы возьмем офицерские семьи... на учет.

Ленин слушал невнимательно, он думал о... следующей революции; перед его глазами стоял Париж.

Сколько продержалась Парижская коммуна? 72 дня. Но какой мощный толчок дала она делу освобождения мирового пролетариата! А мы? Сколько продержимся мы? Еще три, четыре месяца? Впрочем, неважно; мы тоже оставим неизгладимый след в сознании пролетариата. В конце концов, у нас хватило фантазии, чтобы захватить власть. У нас хватило сил, чтобы продержаться чуть ли не год. Мы с корнем ликвидируем царскую семью и отрежем путь к восстановлению монархии. Мы должны решить как можно больше проблем перехода от капитализма к социализму, чтобы облегчить задачу пролетариата на следующем, победоносном этапе революции. Хорошо, что Троцкий фантазирует насчет армии, тоже пригодится.

— Так сколько мы еще продержимся, Лев Давидович?

У Троцкого дернулось веко; он понял, что Ленин его не слушал.

— То есть как сколько? До победного конца.

— До победного, говорите? — Ленин покачал головой. — Немцы, Антанта, японцы, чехи. Белая гвардия. Колчак, Деникин, Юденич. Нет Украины, Сибири и Крыма. Нет Владивостока и Мурманска. Скоро не будет Казани...

Ленин не упрекал Троцкого. Сейчас, как никогда в прошлом, он испытывал к нему симпатию, чувствовал, что именно они — он и Троцкий — разделят ответственность перед мировым пролетариатом. Конечно, Троцкий виноват больше. Ведь настаивал же он, Ленин, на мире с

германцами любой ценой, но Троцкий торговался, тянул — надеялся, что немецкие рабочие вот-вот восстанут. Немецкие рабочие не восстали, а немецкие генералы перешли в наступление, остановить которое теперь уже невозможно.

Впрочем, так ли уж виноват Троцкий? Видимо, в поражении революции есть историческая закономерность. В мозгу Ленина уже выкристаллизовывались контуры новой теории: пролетарская революция должна совершаться в два или три — еще подумаем — этапа.

То, что не сумели сделать большевики, сделали за них американцы. Массированная американская помощь Антанте привела Германию к поражению и тем самым спасла республику Советов. Теперь в Кремле могли сосредоточиться на разгорающейся гражданской войне. И, словно неистовый Роланд, Лев Троцкий, наркомвоенмор и председатель Реввоенсовета, метался в своем знаменитом бронепоезде — главном штабе гражданской войны — с фронта на фронт, проявляя неукротимую волю противостоять «трусливому историческому фатализму».

Его первым успехом стало сражение за Казань.

7 августа 18-го года он выехал в Свияжск, лежащий напротив Казани, и застал там неразбериху, массовое дезертирство солдат, растерянность командиров и комиссаров. Тогда, прямо под огнем вражеских орудий, он обратился к красноармейцам с пламенной речью, и сам повел их на линию огня. В результате белые были отброшены, Москва — спасена.

Разгромив Колчака, Троцкий тотчас же направился на Южный фронт и... потерпел здесь поражение. Но не на поле боя. Сталин, другой член Политбюро, ответственный за южное направление, ничего не мог противопоставить наступавшим армиям генерала Деникина, однако успешно справился с Троцким. С помощью интриг он добился, чтобы председателя Реввоенсовета отозвали обратно в Москву.

Однако, когда другой белый генерал, Юденич, начал стремительное наступление на Петроград и республика Советов оказалась в смертельной опасности, в дело снова вступил Троцкий. На заседании Политбюро он отверг план Ленина сдать Питер и прямо из Кремля отправился в северную столицу.

Положение здесь отчаянное: войска Юденича уже в Красном Селе, красноармейцы бегут, Зиновьев, вождь петербургских большевиков, лежит на диване и умирает от страха. Троцкий тут же берет дело в свои руки: неспособных отстраняет, дезертиров расстреливает, восстанавливает связь и снабжение. Его неумная энергия, паразитическое самообладание и умение мгновенно принять решение равносильны прибытию многих свежих подкреплений. Красная армия переходит в контрнаступление, Белая гвардия в панике отступает. Троцкий звонит Ленину: «Юденич бежит».

Выслушав Троцкого, Ленин положил трубку и от удовольствия потер руки.

— Ну вот, Алексей Максимович, — Горький сидел в кресле напротив, — мы и спасены, «железный» и «непобедимый» Юденич разбит. Но каков все-таки наш Троцкий! Вы мне назовите еще одного человека, который сумел бы в течение одного года организовать почти образцовую армию и к тому же завоевать уважение военных специалистов. Нет, не назовете, батенька. Но скажите откуда что берется — ведь Троцкий человек сугубо штатский.

Горький поднялся с кресла, развел руками.

— Откуда, откуда? От Бога, стало быть.

К восьми вечера Лейба из Трок уже облетел Бессарабию, окропил духом Свободы, Любви и Ненависти двенадцать чистых душ и окончательно выбился из сил. Но возвращаться на небеса до полуночи не хотел, знал: духи наверняка придумают какую-нибудь другую работу.

За что, за что мне такая доля? — спрашивал он себя, обливаясь слезами.

Вот уже 20 лет, как духи забрали его на небеса и пода-рили ему бессмертие. Они сказали, что сначала сделают его посыльным, а потом — духом. Духом Идеи. Но дух Ненависти — незаконный сын польского аристократа, высокомерный и самовлюбленный, — был антисемитом. Дух Любви — неряшливая толстуха, которая только и делала, что пила чай и курила папиросы, — была к нему совершенно равнодушна. И только дух Свободы относился к Лейбе с сочувствием. Но он, тщедушный и худосочный, умел лишь рассуждать о высоком. Уже трое посыльных-гоев, попавших на небеса позже его, стали духами, а он, Лейба из Трок, все еще был на побегушках. Он так устал и измучился, что мечтал только о смерти. Увы, этого ему не было дано. Правда, от других посыльных он слышал, что если угадать в самый момент рождения чистой души, когда Бог еще не успел туда ничего вдохнуть, то можно самому влезть в эту душу и жить в ней столько, сколько ей отпущено. Немного по сравнению с вечностью, но все-таки передышка!

Из последних сил Лейба парил над редкими селениями Херсонщины, надеясь, что работы больше не будет. Вдруг он различил едва слышный писк нарождающейся души. Бешено забилося сердце — вдруг повезет? В одно мгновение он определил, откуда звук, молнией метнулся в сторону одинокого поместья Яновка и примостился на трубе хозяйского дома.

На календаре было 26 октября 1879 года.

Давид Бронштейн называл себя помещиком, хотя был всего лишь арендатором. Однако мечта сделаться хозяином поместья его никогда не оставляла.

Мечта мечтой, а пока что он ждал прибавления семейства. У жены уже начинались родовые схватки, он грел воду, чтобы обмыть новорожденного. Крики из спальни

усиливались. «Началось», подумал Давид и открыл печную дверцу, чтобы помешать дрова. Неожиданно из печи вырвался столб огня и дыма. Он отскочил и тут же захлопнул дверцу. «Будь ты неладна!» — Давид понял, что дымоход чем-то забило и придется его чистить. Пока что он распахнул окно, проветрил кухню и вновь приоткрыл печную дверцу. Труба, видимо, прочистилась сама собой, дым больше не валил, лишь поверх дров догорали какие-то тряпки.

Что за черт, подумал Давид, но тут в кухню с криком «Мальчик, мальчик!» вбежала повивальная бабка. «Воды, воды. Быстрее, быстрее».

Давид налил в кастрюлю горячую воду и заплакал от радости. Мальчик, как хорошо, что мальчик, — еще один работник в доме! Утерев рукавом слезы, Давид направился в спальню. Бледная, изможденная жена неподвижно лежала на подушке. Шевелились лишь ее губы. Давид наклонился и расслышал слова: «Лейбеню, майн либе кинд Лейбеню». Странно, и ему только что пришла в голову мысль назвать сына Лейбом.

В доме Бронштейнов работа была возведена в культ. Работали все: отец, мать, дети и, само собой, наемные работники. Когда малолетнего Левушку спрашивали: «Кого ты любишь больше: маму или папу?», он ни минуты не колебался: «Конечно, папу, папа работает больше мамы».

Действительно, работал Давид Бронштейн не покладая рук, но вот расчеты производил в уме — он был безграмотен. Вскоре, однако, в доме появился счетовод. Им стал маленький Левушка. Лева записывал цены, составлял баланс, подсчитывал, сколько причитается работникам. Им причиталось мало. Лева искренне возмущался несоответствию колонок «работа» и «оплата».

Работа работой, но любимым занятием Левушки стало чтение книг. Чтение уводило его от бесцветной крестьянской жизни в бескрайние просторы литературного вымысла. По мере того, как он поглощал одну книгу за дру-

гой, его сознание все больше раздваивалось между повседневной реальностью и этим самым вымыслом. Впрочем, сознание его отца, деда, прадеда, сознание многих поколений его предков тоже было раздвоенным. Когда они читали пасхальную Аггаду, они видели себя племенем древних героев, бежавших из египетского рабства, когда зажигали ханнукальные свечи — становились воинами Маккавеев. Но потом они возвращались к действительности, нищей, бесправной, беспросветной.

Левушка, однако, был натурой цельной, он не хотел раздваиваться. Но так как в мире книг он чувствовал себя более уверенно, то навсегда решил, что настоящая жизнь — это та, которая сконструирована в воображении. А если действительность ей не соответствует, тем хуже для... действительности.

В десять с половиной лет Леву отвезли в Одессу и отдали в реальное училище. Здесь он стал читать все подряд, читать запоем. И от этого беспорядочного чтения, и от этих бесконечных споров в сознании навсегда укоренилась идея превосходства общего над частным, закона — над отдельными случаями, теории — над жизненным опытом. Так что, когда семнадцатилетний Лев Бронштейн попал в Николаев и окунулся в атмосферу жарких споров, которые вели сверстники-революционеры, — а кто тогда не был революционером? — он почувствовал себя как рыба в воде. Правда, прирожденный полемист, он сначала выступал и против марксизма, и против народничества. В конце же концов склонился к народничеству — марксизм показался ему недостаточно романтичным.

Назвался народником — принимайся за дело. И он принялся. Спорить, агитировать, распространять народнический журнал «Новое слово». Однако найти «истинных представителей народа» было нелегко, романтика улетучивалась, абстрактный марксизм становился более привлекательным. Переходу в новую веру способствовали и женские чары. Александра Соколовская, будучи старше

Левушки лет на десять, сумела очаровать его и как женщина, и как марксистка. В конце концов, Лева уверовал в марксизм, как в Священное Писание.

Назвался марксистом — принимайся за дело. Левушка тут же организовал «Рабочий союз». Правда, рабочих там не было, союз состоял из еврейских мальчиков и девочек, но Левушку это не смущало — он ведь служил Идее! Наконец, один рабочий нашелся. Беда была в том, что по совместительству этот «рабочий» был осведомителем полиции. Все кончилось тем, чем и должно было кончиться: еврейских юнцов арестовали и отправили в одесскую тюрьму.

Приговор: четыре года ссылки в Сибирь. Такой же срок получила и Александра Соколовская. Где-то на этапе Лева сделал ей предложение, а московский раввин прямо в пересылочной тюрьме узаконил их брак.

И вот уже чета молодых революционеров плывет на арестантской барже в низовье Лены, в крохотный поселок ссыльных Усть-Кут. Что было делать в этом медвежьем углу: опуститься, запить, заняться рыбной ловлей? Нет, Лев Бронштейн был не из тех, кого могут сломить обстоятельства. Александра рождает детей, Лев пишет статьи в иркутскую газету «Восточный вестник». Статьи его — на самые разные темы — имеют успех. И все же, когда вихри нарождающейся революции доносятся до низовий Лены, революционер Бронштейн берет вверх над журналистом Бронштейном: оставив жену с двумя детьми, Лева бежит из ссылки.

В Самару Лев Бронштейн прибыл с паспортом на имя Троцкого.

Почему Троцкого? Вовсе не потому, что Лев Бронштейн хотел замаскировать свое еврейское происхождение. С тех дней, как он себя помнил, слово «Троки» всегда приводило его в возбуждение, кружило голову, шемило сердце. Но если бы его спросили, почему, он бы не знал, что ответить. Сделавшись Троцким, Лева почувствовал такое облегчение, словно, наконец, стал самим собой.

В Самаре Троцкий включился в практическую работу революционера-подпольщика. Скоро ему стало скучно, он совсем было затосковал, но неожиданно получил приглашение от Ленина — эмигрировать на Запад и писать для «Искры».

Бежать за границу труда не составляло; друзья-революционеры раздобыли документы, деньги, адреса. И вот уже Вена, потом Цюрих, потом Лондон и широко раскрытые глаза ни свет ни заря вскочившей с постели Крупской: «Боже, это же Перо!»¹ Началась яркая и по существу беспечная жизнь революционера-эмигранта.

Прежде всего, Ленин решил использовать Троцкого в качестве лектора. И вот здесь-то у Льва Давидовича обнаружился великий дар — дар слова. Годы спустя ораторское искусство проложило Троцкому дорогу к славе, но тогда, в первый год эмиграции, он лишь оттачивал свое мастерство и добросовестно выполнял поручения Ленина. Ленин же направил его, верного искровца, в турне по европейским столицам. Первой остановкой стал Париж. Дебют прошел успешно: Троцкий завоевал сердца многих слушателей и... одной слушательницы — Натальи Седовой, которой суждено было остаться с ним до конца жизни.

В октябре 1903 года Ленин делает Троцкого делегатом третьего съезда РСДРП. Главный вопрос съезда — отношение к еврейскому Бунду. Бунд — единственная в то время массовая и организованная рабочая партия в России. Это и не устраивает Ленина. Будущий вождь мирового пролетариата провозглашает Бунд партией националистов-оппортунистов. Делегаты-евреи поддерживают Ленина. Яростнее всех нападает на Бунд Троцкий. Он ратует за полное исчезновение евреев: победа пролетариата, провозглашает Троцкий с трибуны съезда, приведет к поголовной интернационализации общества, различия между евреями и христианами исчезнут. Правда, в Кишиневе только что

¹ Перо — партийный псевдоним Троцкого.

случился еврейский погром, но ведь это реальность, а какое дело Троцкому до реальности!

И все же еврейский вопрос волнует его всерьез. Развенчать программу Бунда — это одно, но российские евреи живы не только социализмом, но и сионизмом. Прямо со 2-го съезда РСДРП Троцкий отправляется в Базель на шестой сионистский конгресс. Здесь он видит знакомую картину: если марксисты раскололись на большевиков и меньшевиков, то сионисты — на «территориалистов» — сторонников создания еврейского государства на любой территории — и твердых приверженцев Палестины.

С необычайной страстью Троцкий набросился на тех и других. Теодора Герцля, предложившего создать еврейское государство в Уганде, он клеймит как «бесстыдного авантюриста», его оппонентов называет «плаксивыми романтиками Сиона».

Итак, Троцкий поддержал Ленина в том, что касалось разгрома Бунда, но в конце концов разошелся с вождем. Повод — теоретические разногласия. Причина? Троцкий почувствовал, что Ленин во всем выше его, что ему, Троцкому, навсегда уготована роль подчиненного. В свои 24 года он не мог с этим смириться.

Изгнанный из «Искры» и из обеих партийных фракций, одинокий марксистский волк оказался в Мюнхене. Здесь он сблизился с другим столь же ярким марксистом-одиночкой Александром Парвусом. У них много общего: оба — люди живого, бесстрашного ума, оба талантливые публицисты и пламенные революционеры. Прежде всего — революционеры. О революции они говорят без конца, говорят до тех пор, пока не начинают видеть ее воочию. Видеть, как из буржуазной она переливается в пролетарскую, а потом лавиной несется из одной страны в другую, до основания разрушая старый мир. В результате два человека — Израиль Гельфонд из Березино и Лейба Бронштейн из Яновки — создают теорию перманентной рево-

люции, теорию, которой и в самом деле суждено было перевернуть мир.

Назвался революционером — принимайся за дело. В апреле 1905-го Троцкий очертя голову бросается в Россию, а в октябре уже шагает по Петербургу во главе шумной толпы, чтобы выступить с балкона Технологического института. Выступления следуют одно за другим, Троцкий становится знаменитым, его выбирают председателем Петербургского совета рабочих депутатов.

Но вот первая русская революция разгромлена, ее главный герой арестован. И снова ссылка, и снова побег за границу с тем, чтобы вернуться в Россию в мае 1917-го и свершить новую, на этот раз победную, революцию. Именно он, Троцкий, возглавил в сентябре 17-го Петроградский совет, организовал большевистское восстание и провозгласил создание советского правительства. Именно он, Троцкий, сыграл главную роль. Режиссером спектакля, однако, был Ленин. Ленин же назначил его на главную роль в гражданской войне, по окончании которой пьеса под названием «Революция» завершилась. Ее режиссер умирал, следующий спектакль на сцене русской истории готовил совсем другой человек.

Пока Троцкий в ожидании смерти Ленина тешил себя мыслью, что партия попросит его занять место вождя, Сталин прибирал к рукам партийный аппарат, повсюду расставлял лично преданных ему людей. Как только Ленин скончался, Сталин начал без стеснения отстранять Троцкого от руководства партией и государством. Потом он изгнал Троцкого из партии, потом — из страны. Партийные принцы — ленинская гвардия, — хорошо знали, кто был главным героем революции, они опасались Троцкого и помогли Сталину убрать его с пути.

Начались метания по миру. Из Турции Троцкий бежит во Францию, из Франции в Норвегию, из Норвегии в Мексику.

Революция Троцкого началась с бунта юного Левушки Бронштейна против «отвратительного обывателя, охваченного жадной первичного накопления», против эксплуатации и власти денег, против религиозного воспитания и «архаичного» языка, то есть против собственного отца и среды, в которой он вырос. Революция Бронштейна удалась — его отец лишился всего, в старости он вынужден был работать батраком и умер в нищете. Для еврейской общины, на девять десятых состоящей из мелких торговцев и кустарей, большевистская революция стала вселенской катастрофой. Запрещение частной торговли лишило заработка миллионы людей. Более трети еврейского населения страны Советов были лишены гражданских прав, а прямой ущерб, который понесли российские евреи, составил пять миллиардов рублей. Неудивительно, что у большевиков не было сторонников среди евреев, получивших все без исключения права от Февральской революции.

Конечно, имена нескольких десятков знаменитых большевиков, меньшевиков и эсеров еврейского происхождения были у всех на устах и давали повод утверждать, что «революцию в России сделали евреи». Увы, эти знаменитые революционеры были евреями исключительно по происхождению и действовали отнюдь не в интересах российского еврейства. Чаще всего они выступали в качестве его злейших врагов. Как сказал тогдашний московский раввин Яков Мазе, Троцкие делают революцию, а Бронштейны платят по счету.

И все же Бронштейн отомстил Троцкому: еврейское происхождение сковало волю героя революции, когда ему пришлось один на один выйти на бой со Сталиным.

Сталин победил, но тень Троцкого сводила его с ума, не давала ему покоя ни днем ни ночью. Вплоть до 20 августа 1940 года.

Оставшись наедине с Троцким, Рамон Меркадер выхватил из-под пальто ледоруб и что было сил ударил Троц-

кого по голове. И тут... Хотя Меркадер годами готовил себя к этой минуте, он был ошеломлен: он ждал мольбы о пощаде, готов был к предсмертным стонам, но Троцкий, обливаясь кровью, бросился на противника. Он выбил из рук Меркадера ледоруб и попытался нанести ответный удар. Меркадер увернулся, Троцкий рухнул и забился в конвульсиях. Меркадер не в силах был оторвать взгляд от дергающегося тела. Вдруг его охватил ужас: со лба Троцкого исчезла кровь, лицо стало вытягиваться, обрастать черной бородой, голова покрылась копной густых, нечесанных волос. Куда-то исчезли и белая рубашка и парусиновые брюки; вместо них на Троцком появился черный разодранный кафтан, башмаки с подвязками, за плечами — потрепанная котомка. Троцкий поднялся на колени, потом выпрямился во весь рост. Лицо его было бледно, глаза горели зеленым светом: «Убийца! Ты лишил меня покоя, теперь я снова должен возвращаться к духам. Будь ты проклят! Пусть все несчастья обрушатся на тебя и на твой род. Будь проклят, проклят, проклят...» Троцкий взмахнул полками кафтана и стал подниматься к потолку. Покружив, он вылетел в окно, его уже совсем не было видно, а с небес, словно раскаты грома, неслось: «Проклят, проклят, проклят...»

Книга вторая

1. СПРОСИ ОТЦА ТВОЕГО

Прежде чем покончить с собой, Макс прилег на пропахшую пылью кушетку, положил рядом прощальное письмо и решил в последний раз воскресить в памяти тех, от кого уходил навсегда. Он закрыл глаза и тут же увидел родительский дом на Виленской улице, седые виски отца, едва заметные морщинки под глазами матери, рыжие кудри старшей сестры, пухленькие, вечно надутые губки — младшей. Боже, как они будут страдать, как переживут его уход из жизни! В груди что-то сжалось, к горлу подступил комок, слезы ручейками потекли по щекам. Быть может, пожалеть их? Не уходить, а спрятаться, уединиться, стать отшельником? Да, да, так он и сделает. Он устроится в камерке под крышей, вроде той, что у него здесь, в Петербурге, и станет читать, читать и читать. И только по вечерам он будет тайком пробираться на пустынный берег Невы и под отраженный свет луны размышлять, размышлять и размышлять.

Казалось, он нашел выход, но... была еще Раечка.

Маленькая, стройная в пышном тюлевом платье, в белых чулочках и лаковых туфельках, она удивительно походила на фарфоровую балерину, что стояла на ломберном столике в гостиной. Только лицо у Раечки было совсем другое: пухлые щечки, покрытый веснушками носик и глаза — круглые-круглые, серые-серые. И ресницы — длинные-длинные, быстрые-быстрые.

По праздникам, когда они ездили в Вильно или когда дядя Леон с семьей приезжал к ним в Ковно, Раечка протягивала ему руку в белой перчатке и неизменно спрашивала: «Здравствуйте, Макс, — он был на полтора года старше, — как вы себя чувствуете?» При этом она так быстро хлопала ресницами, что Макс никогда не мог уловить выражения ее глаз, понять, рада она встрече с ним или нет.

Поздоровавшись с дедушкой и бабушкой, с тетушками и дядюшками, Раечка исчезала в компании кузин, а Макс тем временем нежно целовал бабушку и дедушку, по-мужски жал руки дядюшек, выслушивал комплименты тетушек, дружески похлопывал по плечу двоюродных братьев. При этом он не сводил глаз с дальнего угла, где, сбившись в кружок, шептались и хихикали кузины.

Решающий момент наступал, когда гости усаживались за стол. Макс подвигал кресло дедушке, подкладывал подушки младшей сестричке, помогал тетушкам, сновал, сутелся и все для того, чтобы устроиться как можно ближе к Раечке. Удавалось это не всегда — она то садилась возле родителей на противоположном конце стола, то попадала в плотное кольцо кузин, и только на Пасху, когда в дом на Виленской съезжалась вся семья, и оттого приходилось накрывать отдельный «детский» стол, Макс был уверен, что окажется рядом с Раечкой.

Вообще-то им надлежало сидеть со взрослыми — детский стол предназначался для малышей, — но когда все наконец усаживались и дедушка должен был вот-вот приступить к чтению Аггады, Макс вдруг вскакивал со своего места.

— Боже, как гадят маленькие! Пожалуй, пойду присмотрю за ними, а то Бог знает что натворят. Кто хочет мне помочь? Раечка, вы не хотите?

Хотела Раечка или не хотела, не имело значения — это была мицва!¹

Макс садился напротив Раечки и, покрикивая время от времени на малышню, без усталости рассказывал ей об успехах в гимназии, о видах на Петербургский университет, об очередном модном романе.

— Ну, а вы, Раечка, вы снова проскучали зиму в Мюнхене? — дядя Леон вместе с семьей полгода жил в Вильно, а полгода в Мюнхене.

¹ Мицва — заповедь (*иврит*).

— На этот раз совсем не скучала. Я так увлеклась балетом, что не пропустила ни одного представления. Я даже решила попробовать себя — осенью начну брать уроки танцев.

— И дядя Леон ездит в балет?

— Очень редко — он ведь всегда занят. Обычно мы ездим с мамой. А пропос, почему бы вам не поехать учиться в Мюнхен, местный университет очень ценится?

— Нет, нет, Раечка, я хочу стать адвокатом. Русским адвокатом. У нас, в России, адвокат — властитель дум, кумир публики. Кстати, вы читали отчет о деле Вальяно? Не читали! Андреевский, скажу я вам, произнес убийственную речь. Карабчиевский не оставил от обвинения камня на камне. А Пассовер? Вся Россия говорит о его выступлении в суде!

Макс живо пересказывал Раечке речь знаменитого адвоката, круглые серые глаза смотрели на него с восхищением. А может быть... Или это ему показалось?

Когда малышей разбирали по домам, Раечка возвращалась к общему столу и снова становилась далекой и недоступной. Боже, как хотелось сказать ей... Но что, что он может сказать? Только когда Макс окончил гимназию и получил из Петербурга приглашение к экзаменам, он решился отправиться в Вильно, точно зная, что скажет Раечке.

Дядя Леон встретил Макса как взрослого, провел в кабинет, налил мадеры и принялся писать рекомендательное письмо своему петербургскому товарищу. Закончив, он протянул Максу конверт, извинился и тут же исчез. Макс прошел в гостиную и, не обнаружив здесь Раечки, постучал в дверь ее комнаты.

— Ах, Макс! Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? — стоя у зеркала, Раечка поправляла прическу.

Макс не ответил на приветствие, подошел к ней близко-близко, взял ее руки.

— Мне нужно сказать вам что-то очень важное. Вы позволите?

Раечка опустила голову, побледнела.

— Пожалуйста, — тихо сказала она.

— Я уезжаю, Раечка. Я уезжаю, чтобы стать адвокатом, защитником прав и свобод личности. Вы приедете ко мне?

Раечка тяжело задышала, по длинным ресницам показались слезинки.

— Право, Макс, я не знаю... Надо поговорить с...

— Раечка, Раечка, я хочу слышать от вас, только от вас — хотите ли вы стать женой борца за право и свободу?

— Я... я не знаю. Я не могу сразу...

— Раечка, быть может, мы никогда больше не увидимся. Только одно ваше слово, только одно — хотите вы быть со мной?

Макс крепко сжимал ее руки и не отрываясь смотрел ей прямо в глаза.

— Хочу.

Как он теперь будет смотреть ей в глаза? Он, который так жестоко ее обманул! Нет, он не срезался на экзаменах; по всем предметам он получил пятерки, он лишь не прошел какой-то негласный конкурс среди еврейских абитуриентов-отличников, которых набралось больше, чем допускала процентная норма. Впрочем, какое это имеет значение — почему? В глазах Раечки он неудачник: он не стал ни студентом, ни петербуржцем. Оставалось одно — покончить собой. Вот сейчас он немного полежит и...

В дверь постучали.

Макс попытался открыть глаза. У него не получалось. Стук усилился.

— Извольте открыть, вам депеша.

Макс понял, что стучат в дверь, вскочил, скинул дверной крючок, взял протянутый конверт.

— Который сейчас час, любезный?

— Стало быть, послеполудню, — дворник, типичный ярославец, с укоризною покачал головой.

Макс закрыл дверь, трясущимися руками разорвал конверт. «Милый Макс. Дошла весть, будто вы не попали в процентную норму. Папа приглашает вас в Мюнхен, обещает помочь устройстве в университет. Если останетесь в Петербурге, приеду к вам. Рая».

Макс поднял с пола прощальное письмо, разорвал его на мелкие клочки и побежал умываться.

— А, Леон! Ну как же, как же! Не один год провели с ним в Виленском училище, — улыбаясь в пышные, свисающие книзу усы, Адольф Ефимович Ландау покачал своей крупной головой, которую только и видно было из-за кипы бумаг, заваливших стол редактора и издателя журнала «Восход». — Ну, ну, так что же вас привело ко мне, молодой человек?

Выслушав Макса, Ландау помрачнел, снял пенсне.

— Н-да, старая история: все экзамены на отлично, но вот вам — процентная норма!

Ландау сделал паузу.

— Дядя, говорите, обещает помочь в Мюнхене? Что ж, Леон человек слова: раз обещает, то уж, конечно, поможет. Другое скажу вам, молодой человек. Больно смотреть, как наши молодые таланты с легкостью отступают перед несправедливостью. Чего проще для вас, как уехать в Германию, да только не у всякого еврейского юноши найдется влиятельный дядюшка в Мюнхене, не всякий сможет уехать. А уж тем паче народ наш в массе своей никуда переехать не сможет и не захочет. Следовало быть, должен он здесь, на этой земле, которая ему столь же родная, как и всякому другому россиянину, требовать уничтожения еврейских ограничений. Этой думой болело все мое поколение. А вот молодежь... Впрочем, что это я, конечно, поезжайте в Мюнхен. Не сомневаюсь, из вас выйдет хороший немецкий адвокат.

— Нет, нет, господин Ландау, вы меня не поняли. Это дядя Леон приглашает меня в Мюнхен, но я вовсе не хочу

туда. Я мечтаю стать русским адвокатом, я хочу выступать в гражданских судах, чтобы защищать личность от государственных начал. Поверьте мне, — стесняясь высоких слов, Макс краснел и запинаясь.

— Полноте, молодой человек, — поспешил успокоить его Ландау. — Не сомневаюсь в чистоте ваших помыслов. Вот и не опускайте рук. Пытайтесь еще раз. Свое участие я вам обещаю.

— Конечно, я буду пытаться. Только в Ковно мне возвращаться очень не хочется.

— Ну что ж, задержаться здесь, в Петербурге, будет для вас полезно. Однако и непросто, — Ландау задумался, провел ладонью по подбородку. — Знаете что, напишу-ка я прошение от имени редакции о прописке вас в качестве переводчика с еврейского — образования у вас достает, русский ваш превосходен, чего же еще!

Редакции «Восхода» в прописке «еще одного переводчика с еврейского» отказали. Удрученный, Макс снова сидел за столом редактора.

— Не падайте духом, молодой человек, так просто мы не отступим. А вот и Оскар Осипович, — протягивая руку входящему гостю, Ландау приподнялся из-за стола, — он-то нам и поможет.

Оскар Грузенберг, известный столичный адвокат и ходатай по еврейским делам, слушал внимательно, резюмировал кратко.

— В вашем случае нет смысла затевать тяжбу. Ответят просто: переводчиков с еврейского не сложно сыскать из числа лиц, прописанных в Петербурге. А вас, молодой человек, тем временем постараются выселить из столицы. Сделаем проще. Я вас пропишу к себе в качестве домашнего слугителя — займетесь моей библиотекой, а сверх того сможете подработать в журнале.

Проще не получилось: околоточный надзиратель, в обязанность которого входило представить надлежащее донесение, к делу отнесся рачительно. «Указанный моло-

дой человек снимает комнату, за которую платит целых двадцать пять рублей за месяц, да сверх того прислуге и швейцару по положению. Носит цилиндр и перчатки, а также разъезжает на лихаче в компании особ женского полу». Вывод следовал тот, что «имярек выдает себя за домашнего служителя облыжно».

Ответ пришел — отказать.

Грузенберг рассердился не на шутку, за дело взялся энергично, в результате решение о прописке было изменено. Макс получил титул «Домашний служитель кандидата прав Оскара Осиповича Грузенберга» и право проживать в Петербурге.

Помню, дедушка Макс время от времени вспоминал своих университетских профессоров — ссылался на их авторитет по тому или иному поводу, но словно молитву «Шма, Израэль!»¹, словно заклинание или последний аргумент в споре звучала в его устах фраза: «Вы говорите с человеком, который состоял служителем у самого Грузенберга!»

2. КОГДА МЕНЯЕТСЯ ЛИЦО ЗЕМЛИ

Над Невой, далеко ко взморью, догорала полоса осеннего заката, с востока на небосклон выплывал тонкий серп луны, ветер леденел, усиливался и принимался гнать по Каменноостровскому проспекту опавшие листья, сорванные ветки, обрывки газет и другой мусор, который люди давно перестали убирать. Трамваи, между тем, прятались в депо, редкие прохожие исчезали с унылых улиц, малообитаемые дома и заколоченные магазины погружались во тьму. Откуда-то сверху на Петроград спускалась густая

¹ Шма, Израэль! — Слушай, Израиль! Одна из самых торжественных молитв иудейского ритуала.

тишина, которую то здесь, то там нарушали глухие хлопки ружейных выстрелов.

Извозчик, что гнал по Каменноостровскому, чуть придержал лошадей, спустил пассажира и тут же ударил вожжами. Пассажир — крупный сутулый мужчина — поднял воротник пальто, поглубже натянул шляпу, чуть постоял в раздумье, словно дожидаясь, когда стихнет цокание копыт, и направился на Большую Монетную к дому 21.

— Наконец-то, Максим Моисеевич. Сюда, пожалуйста. Пойдите минутку, сейчас запру дверь и пройду вперед.

Хозяин дважды повернул ключ и, подняв над головой свечу, повел гостя вдоль длинного, заставленного шкафов и заваленного книгами коридора.

В большой, тускло освещенной гостиной широко расселись гости. Кто-то устроился за овальным столом посреди комнаты, кто-то — в креслах у камина, кто-то на широком кожаном диване, что занимал простенок между окнами. Пили чай. Не удовольствия ради, а на тот случай, если ворвется кто-нибудь из Комбеда — комитета из большевистски настроенных жильцов, призванного следить за тем, чтобы буржуи не устраивали в своих квартирах политических собраний.

— Вот и Максим Моисеевич, — представил вошедшего хозяин, — присаживайтесь, пожалуйста, сейчас Ида Ефимовна подаст вам чаю.

Гость — Максим Винавер, — представлять которого не было нужды, оглядел присутствующих и тут же направился к высокому плетеному стулу.

— Бог мой, Юлий Исидорович! Как же я рад видеть вас в добром здравии!

Смущенный Юлий Гессен обнял Винавера за плечи.

— Эрлих, — поклонился высокий, элегантно одетый мужчина.

— Ах, забыл, вы же не знакомы, — всполошился хозяин, — мой зять Генрих, бундист.

Винавер раскланялся с Эрлихом, а с противоположной стороны стола ему уже протягивал руку крепко сложенный молодой человек в черной косоворотке.

— Рубашов. Очень рад познакомиться.

— Мой ученик и отчаянный палестинофил, — прокомментировал хозяин.

— Гинзбург, — смущаясь, назвал свое имя следующий гость, — мы с вами встречались в Историко-этнографической комиссии и в «Восходе»...

— Как же, как же, помню, хорошо помню, — крепко пожав руку Гинзбургу, Винавер опустился в кресло, принял из рук хозяйки чашку горячего чая.

— Мережин, — в дальнем углу поднялся со стула еще один гость.

— Извините, голубчик, не дотянусь до вас. Рад познакомиться.

— Господа, — хлопнул в ладоши хозяин, — не будем терять драгоценного времени, приступим к делу, ради которого я рискнул собрать вас в этот нелегкий час. Да что там нелегкий, — никто из нас не уверен, доживет ли до следующего утра! Однако ж именно сейчас мы обязаны противостоять соблазну сиюминутных политических лозунгов, которые, словно чума, поражают нашу молодежь. Мне представляется, что нам нужно срочно повысить престиж еврейского образования, ибо лучший бром против политических страстей — изучение нашей истории. Конкретное мое предложение состоит в том, чтобы образовать здесь, в Петербурге, еврейский исследовательский институт, или университет, если угодно.

На этом хозяин оборвал свою речь и опустился в кресло. Наступило неловкое молчание; гости готовы были обсуждать что угодно: заговор против правительства, план бегства за границу или, на худой конец, какой-нибудь совсем уж необычный способ раздобыть лишнюю осьмушку хлеба. Но чтобы сейчас, в октябре восемнадцатого, вести речь об открытии еврейского университета!

— Да возможно ли такое в окружающей нас тьме? — нарушил молчание Саул Гинзбург.

— Вы говорите о тьме? — Хозяин, словно библейский пророк, обвел присутствующих горящим взглядом. — Конечно, вокруг нас тьма, египетская тьма. Но когда же зажигать свечу? При свете дня? Мы должны учиться у прошлого, прошлое обладает чудесной целительной силой. Причем, помимо утешения, сколько света, ясности, сознательности вносит в наш ум знание прошедшего. Мы чувствуем себя тогда не отрезанными ломтями, а продолжением целого ряда поколений. Мы должны научить нашу молодежь воспринимать прошлое с живостью текущего момента, а современность мыслить исторически.

— Все это верно, Семен Маркович, но все же еврейский институт здесь, в большевистском Петрограде! Может быть, разумнее подождать, пока кончится это безумие?

— Нет, нет. Именно теперь и именно здесь, в Петрограде. Ведь это про наше время сказал пророк Иеремия: «Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен...»

— Вы говорите — наше время! Но ведь в наше время, — Эрлих сделал паузу, — на историческую сцену вышла народная масса. Она, а не пророки нынче делает историю. Согласен с вами, Семен Маркович, именно сейчас и именно в Петрограде нужно создать еврейский университет. Но это должен быть университет, открытый народным массам. Предлагаю так и назвать его: «Еврейский народный университет» и преподавание вести на народном же языке, на идише. Надеюсь, этот университет станет лабораторией народного национального духа.

— Странно слышать такие слова, — горячо возразил Рубашов, — вы говорите о нашем времени, но ведь именно в наше время и стала ясна эфемерность еврейских жаргонов, эфемерность литературного творчества на чужих языках. Скажите, кто из вас помнит авторов, писавших на

ладино¹, кто вспомнит стихи еврейско-арабских поэтов? Да и вообще, поднимать национальный дух, пользуясь идиш или русским! Это же нонсенс. И другое. Английские войска только что освободили Иерусалим, а правительство в Лондоне опубликовало Декларацию Бальфура, в которой признало, наконец, наше право на национальный очаг в Палестине. Теперь никто не может усомниться, что будущее нашего народа на земле предков. Так что если и создавать еврейский университет здесь, в Петрограде, то целью его должна стать подготовка нашей молодежи к возвращению на историческую родину.

— Позволю себе усомниться в искренности британского правительства. Мотивы Декларации Бальфура невысоки. Мне представляется, что британцы взяли на себя роль еврейских опекунов, чтобы сделать из Палестины свою колонию. Сегодня они потеснили там Турцию, а завтра смогут угрожать интересам Франции и России. А насчет университета, — Винавер чуть задумался, — готов с вами, Семен Маркович, согласиться. Сейчас и здесь, в Петрограде. Только при этом не следует забывать главное: мы, евреи, нация политическая, следовательно, еврейский университет должен готовить нашу молодежь к борьбе за гражданские права, равно как и за интересы российского отечества. Само собой — основным языком преподавания должен быть русский.

— Позвольте, позвольте, — подал голос Мережин, которого едва было видно в дальнем углу, — все вы говорите о новом времени. Но мы не сможем войти в это самое время, пока не выбросим на помойку истории наше старье: допотопный язык и отжившую свой век религию. Мы не сможем войти в новое время, пока не преодолеем буржуазный национализм. Мы требуем светско-демократической школы!

¹Ладино — еврейско-испанский язык, распространенный среди сефардов — евреев выходцев из Испании.

— О каком старье вы толкуете? — вскочил с кресла хозяин. Голос его дрожал от возмущения. — Нация — это совокупность поколений, живущих по законам своей эволюции. Если мы начнем выхолащивать из нашего сознания сначала религию, потом древний язык, потом традиции, то с чем, в конце концов, останемся? Мы не можем отказаться от преподавания религии, тем более, что религия в школе еще не означает религиозной школы. А наш древний язык? Я против узурпации его сионистами, равно как и народного нашего языка — вами, социалистами. И вы, и сионисты делаете это из партийных соображений, но интересы нации заставляют нас думать об иудаизме, о еврейской культуре. Кто этого не понимает..

— Господа, — Гессен попытался внести примирительную нотку, — быть может, нам лучше умолчать об иврите или вообще не поднимать вопроса о языке, чтобы не провоцировать «красных индюков»?

— Нет, нет и нет, — хозяин сжал кулаки. — Что касается языка, то мы обязаны отстаивать принцип равенства трех языков: иврита — нашего древнего языка, идиша — народного языка и русского — языка нашей страны. У нас просто нет иного выхода, ибо единству народа в рассеянии должно соответствовать единство культуры в разнорычии. Если этот священный принцип будет нарушен, я не смогу принять участие в проекте.

После длительной паузы слово взял Винавер.

— Господа, если мы попытаемся при получении санкции на открытие еврейского института выставить идиш в качестве языка преподавания, это будет уступка еврейским большевикам. Если станем настаивать на древнееврейском — рискуем получить отказ. Думаю, мы должны принять формулу Семена Марковича. Кто «за»?

Все, кроме Мережина, подняли руки.

— Подавляющее большинство. Ну что ж, я надеюсь, проект, который мы задумали в дни большевистской диктатуры, после падения ее станет источником демократи-

ческого обновления нашего отечества. А пока что разрешите откланяться.

Винавер поднялся с кресла и в сопровождении хозяйина направился к выходу.

— Максим Моисеевич, дорогой мой, не лучше ли вам на время покинуть Петербург? Вам-то более других опасно пребывание в этом царстве штыкократии.

— Не хочется, Семен Маркович, оставлять столицу, но, похоже, придется: есть сведения, что меня разыскивают. Так что не сегодня — завтра уеду.

— И куда же, голубчик?

— В Крым. А уж оттуда начнем очищать Россию от большевиков.

— Удачи вам. Берегите себя.

Хозяин осторожно приоткрыл дверь, оглядел лестницу, выпустил гостя и вернулся в гостиную, где споры разгорелись с новой силой.

— Я ничего не имею против университета в Иерусалиме, я даже готов поверить, что на деньги Ротшильда или другого толстосума в Палестине удастся создать культурный центр. Но какой прок от этого трудовым массам в России, в Польше, во всей Европе, наконец? Ответьте мне, любезный Залман Львович, когда и как вы собираетесь переселить в Палестину массы трудящихся? Ведь им нужен не университет на горе Скопус, а рабочие места и крыша над головой.

— Ах, Генрих Моисеевич, вы и представить себе не можете, сколь велик сделался со времен Второй алии размах заселения страны трудящимся элементом. Наемные рабочие включились в поселенческое движение, которое распространилось ныне от подножья горы Хермон на севере до Синайской пустыни на юге. Более того, именно еврейские рабочие девять лет назад начали строить в пригороде Яффо поселок Тель-Авив, который обещает стать городом. А Реховот, а Ришон ле-Цион, а Петах Тиква? Эти поселения — в сущности, города — остро нуждаются в рабо-

чих руках. Неужели и вы, Семен Маркович, — Рубашов чуть ли не с мольбой в глазах обратился к вошедшему хозяину, — наш историк и летописец, не замечаете этих разительных перемен, неужели вы до сих пор не изменили своего мнения о нашем движении?

Дубнов помедлил, не спеша уселся в кресло.

— Безусловно, замечая. Утопия сионизма действительно выливается в скромную реальность. И все же уверен, историческая проблема еврейства столь глубока, что ее нельзя разрешить дипломатией и колонизацией маленькой территории для части нации. Когда кончится мировая война, лицо земли изменится и еврейский вопрос станет международным. Европейские державы и Американские Соединенные Штаты должны будут сообща гарантировать нам гражданские права и право на национальную автономию в каждой стране нашего рассеяния. Только тогда евреи станут нацией среди наций. Что же касается создания палестинского культурного центра, то эта идея Ахад Гаама вовсе не противоречит национальной автономии — это две стороны одной медали. Другой вопрос — возродится ли Великая Россия?

— Великая Россия, — Гинзбург вскочил со стула, — никогда не возродится. Она была сколочена кровью и рабством, ее народы больше не захотят..

— Это буржуазные националисты не захотят, — оборвал Гинзбурга Мережин, — а трудящиеся, безусловно, захотят жить в новой федеративной России. Пролетарии едины по своему существу. Пролетариат, в том числе и на еврейской улице, борется за федеративную Россию, в которой не будет угнетения одной нации дру..

Вспышка молнии, резко осветившая комнату, ударила Мережину в лицо. От неожиданности он закрыл глаза и умолк. На минуту в комнате воцарилась тишина. Первым пришел в себя Дубнов. Он вскочил с кресла и бросился к окну. Гости последовали за ним.

Над Невой, далеко ко взморью, без усталы полыхалы молнны, а с востока сквозь кровавые облака загадочно улыбалась многоцветная радуга.

EPICRIS

После долгих колебаний — еврейы должны держаться скромно! — Максим Винавер согласился занять пост министра юстиции в первом правительстве Милюкова. Во втором правительстве кадетов он уже был товарищем председателя Совета Министров, но после победы на выборах альянса эсеров и меньшевиков навсегда ушел из политики. По предложению правительства Чхеидзе, Государственная дума утвердила его кандидатуру на пост председателя Верховного Суда России. Одновременно Винавер стал почетным председателем Всероссийского совета еврейских обществ и организаций, членом президиума Всемирного Еврейского Конгресса, сопредседателем Мирowego Еврейского Суда высшей инстанции. С трибуны Лиги наций Винавер решительно осуждал притеснения евреев в Германии и Франции и, несмотря на сопротивление Британии и США, добился образования на территории Палестины Еврейского автономного района. Уходя на покой, он был уверен, что его дело находится в надежных руках нового поколения русско-еврейских политиков...

Всего этого не было, но все это могло быть, ибо Максим Винавер, человек высокого ума, обширных знаний и огромной энергии, в равной мере принадлежал русскому и еврейскому мирам. Он, как никто другой, умел сплести в единое целое многоцветие культур и традиций двух народов, лучше других видел перспективу разнонациональной, но единой России. Один из лучших петербургских адвокатов, Винавер состоял в числе основателей конституционно-демократической партии, был членом ее ЦК, депутатом I Государственной Думы. После Февральской революции Винавер стал сенатором, был выбран в Учре-

длительное собрание от Петрограда, а позже, став министром внешних сношений Крымского краевого правительства, принял участие в борьбе с большевиками.

Увы, победить российскую деспотию не удалось — она лишь окрасилась в другой цвет, — а сам Винавер бежал во Францию, где и умер в 1926 году, забытый обоими народами, вождем и слугой которых был долгие годы.

Рассказывают, что жизнь Семена Марковича Дубнова оборвалась 8 декабря 1941 года, когда его, больного и старого — ему шел 82-й год! — выгнали из старческого приюта на улице Людза, 56, и толкнули в колонну обреченных, направлявшуюся в пригород Риги Румбулу. В действительности никто точно не знает, как закончил свой путь патриарх еврейской историографии, летописец русского еврейства, центральная фигура русско-еврейского возрождения на рубеже веков. Известно лишь, что жил он как праведник, а умер как святой.

В том, что касалось строительства Русско-еврейского центра, Дубнов стоял у истоков самых важных его начинаний. Он был одним из основателей Еврейской историко-этнографической комиссии и Союза для достижения полноправия. Дубнов редактировал журнал «Еврейская старина», его статьи украшали страницы журнала «Восход» и многих других русских и русско-еврейских газет и журналов. Исторические исследования Дубнова увенчал его монументальный труд «Всемирная история еврейского народа». Дубнов выдвинул идею национально-культурной автономии евреев в России, а для практического ее осуществления основал Еврейскую Народную партию. Начало «потопа» — большевистская революция — застало Дубнова в Петрограде, но в 1922 году ему удалось вырваться из страны Советов и обосноваться в Берлине. В том самом Берлине, который кишел российскими эмигрантами, русскими типографиями, библиотеками и всем необходимым для того, чтобы завершить «труд жизни».

Новая волна «потопа» — нацизм — захлестнула Германию; в 1933 году Дубнов вынужден был снова бежать. На этот раз в свое последнее прибежище — Латвию.

В 1904 году Генрих Эрлих был исключен из Варшавского университета за участие в демонстрации против антисемитизма. Еще раньше он примкнул к Бунду, увлекся нелегальной партийной работой. Эрлих изучал политэкономия в Берлинском университете, затем окончил юридический факультет Петербургского университета. Поселившись в Варшаве, он практиковал как адвокат, не отказываясь от участия в работе запрещенной партии Бунд. В конце концов, он был вынужден эмигрировать во Францию. После Февральской революции Эрлих вернулся в Петроград и был избран членом Исполкома Петроградского Совета, где решительно противился большевистскому диктату. После захвата власти большевиками бежал в Польшу, стал одним из руководителей Бунда. Осенью 1939 года Эрлих снова бежит — от наступающих немецких войск — в СССР. На границе, в Бресте, его арестовали. Два года он провел в советской тюрьме, был приговорен к смертной казни, в ожидании которой написал — вместе с другим лидером польского Бунда Виктором Альтером — письмо Сталину с предложением создать в СССР Еврейский антигитлеровский комитет. Предложение Эрлиха и Альтера Сталин одобрил, его авторы были освобождены, затем снова арестованы. 14 мая 1942 года в одиночной камере внутренней тюрьмы НКВД города Куйбышева вторично приговоренный к смертной казни узник «№ 42» Генрих Эрлих покончил жизнь самоубийством.

К научной и литературной работе Залман Рубашов тяготел смолоду: в 1903 году, четырнадцатилетним юношей, он опубликовал свое первое литературное эссе. Жизнь, однако, вынудила его отказаться от литературы. В погромном 1905 году он вступил в отряд еврейской самообороны в

Белоруссии, затем стал членом сионистской рабочей партии «Поалей Цион», учился на Курсах востоковедения барона Гинцбурга, выполнял задания партии, скитаясь по России, Европе и США. С 1922 года Рубашов преподавал в Еврейском учительском институте в Вене, но все больше и больше втягивался в публицистическую и редакционную работу ведущих сионистских изданий. В 1947 году он — делегат от Еврейского агентства в ООН, которая в то время решала вопрос о разделе Палестины. После провозглашения государства Израиль Рубашов — теперь уже Шазар — депутат Кнессета I — III созывов, потом министр образования, потом — Президент государства Израиль. Залман Шазар умер в 1973 году в возрасте 84 лет, сохранив до конца дней светлый ум, верность идеалам юности и... великолепный русский язык.

Саул Гинзбург закончил юридический факультет Петербургского университета в 1891 году и сразу примкнул к движению «Ховевей-Цион». Позже он охладел к сионизму и сблизился с автономистами. Однако политика была для него не главным — прежде всего Гинзбург был историком российского еврейства. Он писал о евреях в Отечественной войне 1812 года и составил сборник еврейских народных песен, он основал первую в России ежедневную газету на идиш «Фрайнд». В 1930 году Гинзбург эмигрировал во Францию, в 1933-м переехал в США, где вплоть до кончины в 1940 году публиковал исторические эссе в газете «Форвертс».

Абрам Мережин начал свою общественную деятельность как сионист и гебраист. Он учительствовал в Одессе, сотрудничал в еврейских и русско-еврейских газетах. После Февральской революции Мережин порвал с сионистами и вступил в Бунд, примкнув к его левому крылу. Очень скоро он стал инициатором создания Комбунда. После окончания гражданской войны вступил в партию

большевиков, стал одним из руководителей Евсекций при ЦК РКП(б). Партия поручила бывшему учителю заняться земельной политикой — он был назначен секретарем Комиссии по земельному устройству трудящихся евреев. Мережину не довелось увидеть результат своих усилий: в 1937 году он был объявлен врагом народа, арестован и расстрелян.

Имя Юлия Гессена впервые появилось в журнале «Восход» в 1895 году. В 1905—1906 годах Гессен состоял секретарем Союза для достижения равноправия еврейского народа в России, он же составил знаменитую «Записку о жизни евреев в России», представленную депутатам II Думы. По инициативе Гессена началось издание Еврейской энциклопедии. Главными направлениями его исследований были борьба российских евреев за эмансипацию и история русского антисемитизма. Скончался Юлий Гессен в Ленинграде в 1939 году, оставив более 300 работ по истории российского еврейства.

3. СЛЕЗЫ РАХИЛИ

2 августа 1903. Тиша бе Аб¹. В пятницу в Коллегии голосовали двух выкрестов. Плевако всех удивил — выступил против. Так и сказал: «Для принятия в сословие присяжных поверенных ограничения должны держаться не на религиозном признаке — нравственно неустойчивые люди могут обойти их путем крещения, — а на начале национальности, принадлежности к известному народу или племени. Лучше уж нам увеличить процент евреев-нехристиан, но не открывать свободный доступ в адвокатуру выкрестам».

¹ Тиша бе Аб — Девятое Аба — день поста и траура в память о падении Иерусалима и разрушении Храма.

Мое прошение, тем не менее, опять отклонили. Завтра подам новое и пойду к профессору Фойницкому, надеюсь, он меня не забыл.

Только бы продлили вид-на-жительство лист, только бы продлили!

3 августа 1903. Был у Фойницкого. Он мне с ходу: «Путь у вас один — крещение». Я — ему: «Но я хочу оставаться евреем!» Он мне: «Ах, оставьте, молодой человек. К чему это цепляние за религию? Можно подумать, что вы, еврейские интеллигенты, более религиозны, чем интеллигенты наши, русские. А твердите одно — хочу оставаться евреем! Ну и оставайтесь, только метрику перемените. При ваших способностях и трудолюбии было бы прискорбно остаться вне адвокатуры».

Сменить метрику? Конечно, я не какой-нибудь фрумер ид¹, но ведь креститься, значит, изменить светлой памяти Ландау, обмануть тех, кто принял во мне участие. Смогу ли я порвать с миром людей, очаровавших меня своей верой и своей преданностью Русско-еврейскому дому? Смогу ли забыть бесконечные споры в «Восходе», статьи Дубнова, стихи Фруга, речи Винавера? Конечно, не смогу! Да и противно быть среди тех, кто купил входной билет ценой ренегатства. Забыть!

14 августа 1904. Ура, ура! Власти идут на уступки обществу. Вчера во всех газетах: «Знаменитый адвокат Оскар Грузенберг, просидевший — в виду еврейского происхождения — 14 лет в помощниках, получил аттестат присяжного поверенного».

Вечером поеду поздравить, а завтра в Коллегию.

... Вот он, аттестат помощника присяжного поверенного. Пять лет борьбы — подумать только — пять лет! Теперь смогу выступать на уголовных процессах и в коммерческих судах. Правда, только в качестве стряпчего. Но не это важно, а важно — начну, наконец, зарабатывать. А то ведь — отец пятерых детей, а все на иждивении тестя.

¹ Фрумер ид — набожный еврей (*идиш*).

Раечка устроила торжественный ужин, пригласила гостей...

14 августа 1906. Через полгода выйдет стаж в помощниках, но по новому положению «лица иудейского вероисповедания» могут записаться в присяжные поверенные только с разрешения министра юстиции. В Коллегии ходят слухи, будто министр клятвенно обещал царю таких разрешений не давать.

...Небосклон все сильнее затягивают черные тучи. Столыпин озверел и вешает революционеров, Дурново всюду суется со своей полицией, Шварц — министр просвещения — уже и не знает, как ужесточить процентную норму. Ну, а в Думе, что делается в Думе! Пуришкевич открыто глумится над принципами свободы, равенства и «слюнявого гуманизма», Марков во всем обвиняет евреев: «Во всех наших бедах виноваты жида, само существование которых противно принципам христианского государства».

... *14 августа 1912.* В Коллегии снова отказали. Значит, опять — вот уже восьмой год — изнурительная беготня ради заработка. А что делать? Ося кончает Тенишевское училище, Наум переходит в девятый класс, да и Альберт с Гришей уже большие мальчики. Даже Мирочке заказали школьное платье. Боже, как летит время!

... *14 июля 1914.* Все сильнее нависает ужас войны. Российское заступничество за Сербию вызывает германское выступление в пользу Австрии, а французское — в пользу России. Неужели наше правительство, которое так яростно воюет со своим народом, вступит еще и во внешнюю войну?

19 июля 1914. Война. Всюду читают царский Манифест. На улицах ликующие толпы. В еврейском обществе патриотический подъем, призывы забыть былые обиды во имя победы над врагом. И верно, сейчас главное — проявить себя надежными сынами отечества. Тогда после победы все ограничения отпадут сами собой.

20 сентября 1914. Канун Рош а Шуне¹, а настроение отвратительное. На дорогах Польши, где наступают германо-австрийские войска, великий стон. Вчера у Гинзбурга двое приезжих из Варшавы рассказывали, что перед отступлением русские солдаты собирают евреев и гонят их — вместе со стариками и младенцами — в Варшаву. Куда смотрит военное начальство?

14 октября 1914. Думским депутатам удалось узнать, что выселение и издевательства над евреями в Польше — вовсе не самоуправство каких-то командиров, а приказ главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича. Оказалось, не успели высохнуть чернила на царском манифесте, как он приказал выселять евреев из прифронтовых областей, так как они «по родству языка могут легко сговориться с противником и оказать ему услуги доставкой продовольствия и шпионством». Позор!

...14 августа 1915. Армия терпит страшные поражения, войска отступают. Люди, появляющиеся в столице, рассказывают, что по приближении фронта евреев гонят из Литвы, Галиции и Буковины в глубь страны, в недавно наглухо закрытые для них великорусские губернии. Какая ирония — черту оседлости отменило для нас не русское правительство, а наступающие войска кайзера!

...Вчера еврейские депутаты Думы потребовали от премьера Горемыкина разъяснить, за что сражаются и умирают полмиллиона российских евреев — илотов, идущих в бой с клеймом вечных рабов? Горемыкин отвечал невнятно, обвинял депутатов в отсутствии патриотизма.

...Сегодня начинается запись в Комитет оказания помощи беженцам из Черты. Переговорю с Раечкой и непременно запишусь.

...14 августа 1916. Только что вернулся из поездки в Новгород и Вятку. Картина та же, что в Ростове, Самаре и

¹ Ашкеназийское произношение ивритских «Рош га-Шана» — еврейский Новый год.

Екатеринбурге: евреи, погромленные русской армией, ночуют в синагогах, где они есть, ютятся в ночлежках, в дешевых гостиных дворах, а то и просто замерзают на вокзалах, на площадях, на пустырях и опушках леса. Местное начальство и пальцем не шевелит, чтобы помочь беженцам найти крышу над головой. Отрадно лишь, что несчастья беженцев возвращают нас к старым идеалам: люди с серьезностью относятся к общественным обязанностям, жертвуют деньги, еду, одежду. В Новгороде трогательная картина: пожилая пара, сами недавние беженцы, засветло отправляются на вокзал и подбирают несчастных, которых проводники, обобрав до нитки, выталкивают на перрон.

27 февраля 1917. Свершилось! Свершилось! Свершилось! Взошло, наконец, над Россией солнце революции! А под лучами его, словно высушенный плод, пало самодержавие. Император отрекся, Петроград ликует. На улицах незнакомые люди обнимают друг друга, поздравляют. И мы с Раечкой обнялись и плакали навзрыд.

22 марта 1917. Пока размышлял, как начать борьбу за равноправие, оно свалилась как снег на голову. Сегодня во всех газетах Постановление Временного правительства: «Все ограничения в правах российских граждан, обусловленные принадлежностью к тому или иному вероисповеданию, вероучению или национальности, отменяются». И хорошо, что все, а не только еврейские. Говорят, Винавер настоял. Теперь одна проблема — одолеть германского Ганнибала.

22 апреля 1917. Петроград политически раскален. Повсюду съезды, собрания, митинги. Отовсюду потоки зажигательных лозунгов.

...Получил свидетельство присяжного поверенного, но даже не порадовался — на юридическую практику не остается времени. Все отнимает политика — непрерывные встречи, бесчисленные планы и проекты, все новые и новые идеи. Надо остановиться, перевести дух и выбрать для себя что-то одно, иначе не выдержу.

...После разговора с Раечкой решил сосредоточить усилия в Комитете по подготовке Всероссийского еврейского съезда. Думаю, наш Съезд выполнит роль учредительного собрания, которое от имени всего народа провозгласит национально-культурную автономию российского еврейства.

26 октября 1917. Вчера группа фанатиков пролетарской диктатуры захватила Зимний и объявила себя новой властью. Руководили «революцией» два человека: Ленин, коренной русский дворянин, и отчужденный от своего народа еврейский интеллигент Троцкий, настоящая фамилия которого Бронштейн. Конечно, продержится эта власть недолго, но удивляет, что узурпаторы захватили ее с легкостью. Так ведь и до анархии недалеко!

26 ноября 1917. Новые власти проявляют пренебрежение к правам и свободам граждан. Всюду командуют красноармейцы и красные комиссары. Вместо свободы внедряется диктатура, вместо равенства — «пролетарское правосознание», вместо братства — классовая ненависть.

27 июля 1918. Только что вернулся из Москвы. Собрать съезд все же удалось, но разве можно назвать его «всероссийским»? Черта оккупирована, Украина, Литва и Латвия объявили себя независимыми государствами — делегаты оттуда не прибыли. Но и мы хороши: распри, возмутительное политиканство по всякому поводу.

14 августа 1918. Горе. Исчез Ося.

...Оси нет вторые сутки. Боже, где он, что с ним? Только о нем и думаю. Как ему везло, как везло! В университет приняли с первой попытки. Не успел закончить курс, сразу же получил свидетельство помощника. Только начал подыскивать работу — тут же нашел место у юрисконсульта Британского посольства. Все шло хорошо, пока большевики не объявили, что выходят из войны. Дипломатов стали терроризировать, убивать даже. Я уже тогда понял: Ося под угрозой.

20 августа. Утром был в Британском посольстве — об исчезновении Оси там ничего не знают. Весь день объезжал больницы и морги — следов Оси нигде нет. Остается одно — справиться в ВЧК. Страшно и отвратительно!

...Был в Чрезвычайке. Выслушали внимательно, подробно обо всем расспросили, ответили сухо: «Сведениями о вашем сыне ВЧК не располагает».

...В доме траур. Раечка плачет с утра до вечера. Что мне делать, сесть в шиву?¹ Во всяком случае, бриться не буду. И выходить из дома тоже.

4 сентября. Услышал Бог наши молитвы! Рано-ранехонько позвонили в дверь. Испугался и не хотел открывать. Потом все же решился. Надел халат, открываю. Незнакомец протянул конверт и тут же исчез. Взглянул на адрес — почерк крупный, разборчивый, такой знакомый... «Не имел возможности предупредить об отъезде... скитаюсь по Крыму... планы неопределенны, а как только определятся, тут же дам знать...» Ладно уж — планы, главное — жив! На радостях решили с Раечкой отметить второе рождение Оси.

20 июня 1919. Конец всех надежд. В газетах декрет правительства «О ликвидации Центрального бюро и закрытии еврейских обществ и организаций». Большевики требуют закрыть все, на чем веками держались наши общины, даже богадельни и похоронные братства!

...Только что ушел один знакомый. Он днями вернулся из Витебска, рассказывает, как комиссары в сопровождении красноармейцев врываются в синагоги и общинные дома, чинят форменный грабег имущества, людей выгоняют, двери заколачивают. В воздух летят пух и перья, льются слезы, на дорогах беженцы.

...Бундовцы, левые сионисты и люди без всяких убеждений переходят на сторону новой власти. Как недостойно!

¹ Шива — семидневный траур по умершему близкому родственнику, который можно начинать только после погребения покойного.

14 августа 1919. Чувствую себя, словно Йов на пепелище: революция выродилась в пугачевщину: вместо царской полиции и черносотенных банд в стране хозяйничают комиссары и красноармейцы. В Петрограде голод, в стране — разруха и гражданская война.

...14 августа 1920. Новое несчастье на наши головы! Утром встаем к завтраку. Гришеньки уже нет, а на столе записка: «Дорогие папа и мама! Сегодня я не вернусь из гимназии. Вместе с товарищами уезжаю на Польский фронт. Знаю, вы огорчитесь, но я не могу оставаться в стороне, когда над Советской республикой нависла смертельная опасность!»

...Как пережить горе? Раечка спасается тем, что целыми днями бежит по городу в поисках крупы и хлеба. Потом ухаживает за Сонечкой, к которой то и дело липнут хвори. Потом стирает, готовит, делает все, чтобы не оставалось времени и сил думать о Грише. Я утром иду в сарай, заносу дрова, топлю печи, а на большее не хватает сил. Живу, словно в летаргическом сне.

12 сентября. Утром, часов этак в семь, звонок. Через силу поднялся. Отпираю. На пороге незнакомый мужчина. Представляется: «Нарочный из Литовского консульства, примите конверт». Беру, смотрю на штамп отправителя: «С. Розенбаум. Заместитель министра иностранных дел». Бог ты мой! Бросился в кабинет, а Раечка кричит из спальни: «Кто там, что?» Отвечаю: «Письмо от Розенбаума, Семена Яковлевича. Помнишь его?» — «Не читай без меня, — кричит, — я сейчас». Плюхнулся в кресло, закрыл глаза, а воспоминания так и наплывают.

Помню, как он появился в Петрограде. Провинциальный адвокат в качестве депутата I Думы. Никто от него ничего не ждал, а потом поразились смелости, с которой он обвинял правительство и думских черносотенцев в организации погромов! На одном «погромном» процессе мы и познакомились. Сначала дружбы не получилось — Розенбаум стоял на сионистской платформе, — но постепенно

сблизились. В начале войны Розенбаум покинул Петербург, чтобы поддержать единомышленников в Вильно. Потом Литву оккупировала германская армия; четыре года от него не было ни слуху ни духу.

Пока вспоминал, подошла Раечка. Взял нож, аккуратно вскрыл конверт. Бумага белая, гладкая, приятно пахнет. Мы от такой отвыкли. Медленно разворачиваю письмо, читаю. Сначала вопросы о нас, о детях. Потом о себе. «Председательствую ныне в Еврейском национальном совете и являюсь заместителем министра иностранных дел Литовской республики. К тому же состою в комиссии по подготовке конституции, которая должна гарантировать литовским евреям гражданские права и широкую национальную автономию». А потом уж совсем необычные для сиониста слова: «Дело за нами; если у нас хватит проницательности и энергии, то здесь, в Литве, мы осуществим наше исконное право на национально-культурную автономию». В конце же обращается ко мне с предложением: «Дорогой Макс Леопольдович, вы здесь очень нужны. Такие люди, как вы — европейски образованные, идее нашей преданные и к тому же знающие по-литовски, — на вес золота... Что касается меня, то всяческое содействие вам гарантирую».

Раечка закрыла лицо руками и заплакала. А я, чтоб скрыть слезы, подошел к окну. Смотрю на набережную Мойки, а вижу Неман, переулки Старого города и почти физически ощущаю, как не хочется возвращаться к реальности, в царство разрухи и войны.

...Вечер, сумерки. Сажу и рассуждаю: когда все это кончится? И кончится ли вообще? Быть может, не такая уже это нелепая мысль — переехать в Литву, увезти Раечку и детей от этого моря безумия и озверения?

Впрочем, Наум, наверное, не захочет. Ему скоро 22. Университет он еще не закончил, но уже преподает в Институте высших еврейских знаний. И так увлечен своей наукой, что ничего вокруг не замечает.

Альберт, напротив, неусидчив, ленив, в гимназии больше увлекался барышнями и вечеринками, а оттого экзамены в университет провалил. Теперь целыми днями слоняется по городу, а потом возвращается домой то с мешочком муки, то с хлебными карточками. Все это неоценимая помощь, но, с другой стороны, и до беды недалеко. Большевики только и делают, что хватают «саботажников» и «спекулянтов».

А Мира? Маленькая, хрупкая, но характер! С ранних лет увлеклась рисованием, а как только получила аттестат зрелости, тут же побежала сдавать документы в Академию художеств. У нас с Раечкой от упрямства ее и наглости — так сразу и в Академию! — дух перехватило. Девочку, однако, не приняли. Мы было вздохнули с облегчением, но она нашла частную студию, пропадает там с утра до вечера и ни о чем, кроме живописи, говорить не желает. Захочет ли уезжать?

Младшая, Сонечка, совсем еще ребенок, но, быть может, ее-то и следует прежде всего увезти из этого Содома.

5 октября 1920. Симхас-Тейре¹. Надо радоваться и веселиться, но какое уж тут веселье! Всю ночь проговорил с Раечкой, а утром сел и написал два письма. Одно в Москву, в Комиссариат иностранных дел, другое в Каунас, Розенбауму. Теперь либо заграничные паспорта, либо — визит чекистов, обыск и арест.

14 декабря. Знакомый адвокат, который теперь работает в Комиссариате иностранных дел, сказал под большим секретом, что там против моего отъезда не возражают, но дело должно пройти через ГПУ.

...24 апреля 1921 года. Полгода, как отправил бумаги. Когда кончится эта пытка ожиданием?

14 августа. Раечка стала словно безумная: то впадает в отчаяние, то загорается надеждой и рисует картины нашей будущей жизни в Ковно.

¹ Идишистское название праздника «Симхат Тора», во время которого положено радоваться и веселиться.

20 августа. Сегодня ездили за паспортами. Теперь сборы, отправка багажа. Все так сложно, так мучительно, а сил уже нет.

20 сентября 21 года. Нарва. К вечеру поезд должен пересечь советско-эстонскую границу. Раечка плачет навзрыд. И я не могу удержаться.

4. ШАЛОМ, АХА!¹

Ветер с гор Иудеи разогнал солнечный зной, духота спала, каменные ступени на улице царя Давида покрылись влагой, и только Муса, хозяин кофейни, что примостилась между узкими домами и лавками, не ощущал вечерней прохлады. По-женски полный, неуклюжий, он сновал между столиками, то и дело вытирая со лба пот и поправляя сползавшую на затылок феску. Муса был счастлив. Вчера, когда он дрожащей рукой отсчитывал пиастры за фонограф — невиданное в здешних местах чудо техники, — слезы чуть не катились из его глаз, но сегодня он понял, что не зря выложил деньги. Мелодии, близкие сердцу каждого араба и бедуина, донеслись до самих Яффских ворот и зазвали в его кофейню столько людей, сколько здесь никогда не собиралось.

Лишь два посетителя были ему не желанны. Эти двое — парень и девушка — часто заглядывали к нему по вечерам. Они усаживались в дальний угол, заказывали по чашке кофе без сахара и о чем-то без конца говорили. Когда посетителей было мало, Муса радовался и этим молодым евреям, но сегодня, когда в кофейне некуда упасть косточке от оливки, лучше бы они не приходили! К тому же, обычно их было трое. Третий, большеголовый и неприветливый, всегда приходил позже. Вот и сейчас они наверняка

¹ Здравствуй, брат! (*иврит*) Дружеское обращение, принятое в среде первых еврейских поселенцев в Палестине.

ждут третьего, чтобы заказать по чашке кофе без сахара и говорить до тех пор, пока звезды не осыпят все небо.

— Черт бы побрал эту музыку, — высокий красивый парень скорчил гримасу, отчего стал похож на разбойника из детской сказки.

— Прекрати, Исачок, — юное создание с большими зелеными глазами, с каштановой косой, аккуратно уложенной вокруг головы, замахало на него руками, — я не люблю, когда ты так делаешь. Чем тебе мешает музыка? Пусть себе играет.

— Извини, Рохеле, больше не буду. Мне-то все равно, но Давида она будет раздражать.

— Неважно, — отрезала Рахель, — ты должен держаться с ним официально. Не называй меня при нем Рохеле. Мы сегодня не приятели, а представители партии.

— Хорошо, — кивнул Ицхак и, различив сквозь табачный дым огромную шевелюру товарища, закричал: — По, анахну по, Давид¹.

Давид, невысокий молодой человек с бледным лицом и карими живыми глазами, лавируя между столиками, помахал рукой, сделал еще несколько пируэтов и оказался возле друзей. На его тщательно выбритом лице красовались шегольские усики, которые плохо вязались с мятой косовороткой, потертыми брюками и давно не чищенными сапогами.

— Шалом, аха, — Ицхак проворно вскочил и протянул Давиду руку.

— Шалом, хавер Давид, — Рахель встала, изящно расправила спину и крепко, по-мужски, пожала Давиду руку.

— Шалом, хавер Ицхак, шалом хавера Рахель, — ответил Давид на приветствие. — Как всегда, кофе?

— Как всегда, только по две чашки.

— По две? Вы разбогатели?

¹ Здесь, мы здесь, Давид (*иврит*).

— Сегодня мы здесь по поручению партии, — Рахель взяла инициативу в свои руки. — Как мы тебе сообщили, на съезде в Зихрон-Яков ты избран в состав редакционного совета нашей газеты «Ха-ахдут»¹.

— Товарищи, — растерянно поднял голову Давид, — но ведь я вам писал, я не умею составлять тексты, я никогда этого не делал, я не могу принять...

— Партия, — строго перебила Рахель, — считает, что четырех лет героического физического труда и защиты наших поселений достаточно. Теперь ты должен сменить плуг и винтовку на перо и бумагу. Ты, товарищ Давид, должен полностью отдаться партийной работе. На вчерашней партконференции, — не давая Давиду опомниться, продолжила Рахель, — мы с товарищем Ицхаком настояли, чтобы ты был назначен редактором на зарплате.

Давид уже готов был возразить, как возле столика возник Муса.

— Три чашки без сахара?

— Три, а потом еще раз — три.

Муса вскинул бровь: не понял! На самом деле, он хотел, чтоб заказ сделала девушка, которая обычно смотрела на него таким долгим и открытым взглядом, каким не позволила бы себе посмотреть на мужчину ни одна арабская женщина.

Рахель поняла, чего ждет от нее хозяин, оторвала взгляд от Давида.

— Три, Муса-паши, сначала принеси нам три чашки, а потом мы закажем еще.

Муса кивнул, почесал потную щеку и пошел готовить кофе.

Повторного заказа не было — нескончаемая восточная мелодия утомила Давида, друзья расплатились и вышли на освещенную звездами улицу царя Давида.

— Мы тебя проводим, — предложила Рахель.

¹ Ха-ахдут — Единство (*иврит*).

— Ни в коем случае, немного погуляем, а потом я пойду.

Давид не хотел, чтобы Рахель узнала, в каком грязном, запущенном квартале он снимает комнату. Чтобы попасть в нее, нужно было пройти мимо кучи мусора, потом спуститься в темный, пахнувший плесенью подвал, нащупать висячий замок и лишь после этого войти в каморку без единого окна, где мебель заменяли ящики, а кроватью служила лежанка, сколоченная из подобранных на свалке досок.

Отсутствие удобств Давида не смущало. Мучил его холод.

Вот и сейчас, спускаясь в подвал, он почувствовал, что его уже начинает знобить. Конечно, сейчас он завернется в накидку, привезенную из Плонска, но под утро все равно заоченеет. Впрочем, Давид знает: от холода получают не только неприятности. Разве мог бы он писать в дневник по двадцать-тридцать страниц, если бы холод не поднимал его среди ночи? А вести дневник было необходимо. Только ему, дневнику, Давид мог доверить тайные мысли, рассказать об обидах и унижениях, поделиться планами, спросить совета. Вот и сегодня он будет обсуждать с дневником, что ответить на предложение товарищей по партии.

Членом ЦК Позалей Цион¹ Давида выбрали сразу, как только он приехал в Палестину. Тогда его это не очень обрадовало. Здесь в партии состояло человек тридцать, меньше, чем в Плонске! К тому же — то ли от жаркого южного солнца, то ли от грома русской революции — палестинские товарищи все больше склонялись в сторону марксизма. Даже съезд проводили как партийную сходку в России — тайно, в малюсенькой комнатке заброшенного караван-сарая в Рамле! Когда же дело дошло до партийной программы, Давид и вовсе сник — все говорили об

¹ «Позалей Цион» — Рабочий Сиона (*иврит*) — левосоциалистическая сионистская партия.

историческом материализме, о классовой борьбе, о забастовках и профсоюзах. Конечно, он сам провел 1905 год в Варшаве, видел там стачки и демонстрации, слушал ораторов, призывающих к классовой справедливости, видел солдат, расстреливающих толпу. Тогда-то он и проникся классовым сознанием, но в марксизме остался не силен. Первым он был по части иврита. Когда другие товарищи даже здесь, в Палестине, двух слов не могли связать, он говорит свободно, легко, на любые темы. Однако от его предложения включить в партийную программу пункты о возвращении в Сион и об иврите как единственном языке трудящихся Эрец-Исраэль товарищи отмахнулись. Решено было строить партию марксистского типа. Уязвленный — он ведь член партии с 1903 года! — Давид решил отойти от партийных дел, податься на землю. А там посмотрим!

И вот он уже в толпе арабов и еврейских поденщиков на площади Петах-Тиквы, где фермеры и их управляющие отбирают самых сильных и крепких. Иногда ему везет, он вскарабкивается на повозку и отправляется на пардес¹, где до захода солнца копает лунки, засыпает их навозом, высаживает апельсиновые деревья.

Изнурительная работа! Пот льет ручьем, руки покрываются волдырями, а хозяин все подгоняет и подгоняет: «Ялла, ялла! — Быстрее, быстрее!» И когда он слышит это понукание, кровь закипает в жилах. Его, гордого пионера, мечтающего вернуться к исконному делу еврейского народа, погоняют, словно скотину. И кто погоняет? Те, кто приехал на двадцать лет раньше, купил на деньги Ротшильда участки под апельсиновые рощи и теперь превратился в жадных и бесчувственных работодателей. Объединяться, стучит в висках, только объединяться и общими усилиями трудящихся победить эксплуататоров. Здесь, на плантациях Петах-Тиквы, он неожиданно понял, что означает партийный лозунг «Объединение труда».

¹ Пардес — плантация (*иврит*).

Объединять рабочих Давиду не пришлось — через две недели он заболел болотной лихорадкой и выжил только благодаря деньгам, которые прислал ему отец.

Воспоминание об отцовских деньгах болью отозвалось в сердце. Когда он впервые получил письмо с деньгами, то немедленно отослал их обратно. А потом? Потом он не только ждал этих денег, но умолял отца помочь, прислать то шарф, то сапоги, но главное — деньги. Дневнику он мог признаться: без помощи отца не было бы тех «четырёх лет героического физического труда», о которых с восторгом и завистью говорили товарищи по партии.

Оправившись от болезни, Давид нашел другую работу — сборщика апельсинов. Сбирать оранжевые плоды было легче, но и здесь он с утра до ночи слышал все то же: «Ялла! Ялла!» Нет, вынести это невозможно. Он уезжает в Яффо, всю зиму работает в аппарате партии, но как только морозы спадают, снова возвращается в Петах-Тикву. Вскоре он отправится в Кфар-Сабу, потом в «винодельческую столицу» Ришон-ле-Цион, потом — в Реховот. Кажется, он уже обошел все поселения Иудеи, но места, где можно было вернуться на землю, так и не нашел.

Неожиданно старый товарищ Шломо Земах — это он первым уехал из родного Плонска в Палестину — предлагает податься в Галилею. Откуда-то он узнал, что там, вдали от больших городов, нет ни богатых еврейских фермеров, ни униженных поденных рабочих. В еврейских поселениях людей нанимают на целый год, обеспечивают их всем необходимым, да к тому же платят жалование. Галилея — вот оно, идеальное место для тех, кто хочет вернуться на землю! Друзья ударяют по рукам и отправляются на север.

И только дневник знает, почему тогда, осенью 1907-го, он покинул Иудею.

Стройную и зеленоглазую Рахель Давид знал с детства, но «малышку» — Рахель была младше его на целый год — просто не замечал. Заметил он ее после того, как вернулся из Варшавы. И не просто заметил — влюбился.

Увы, за плонской красавицей вьется шлейф обожателей. Один — вальяжный красавец, другой — сын богатея, третий — гимназист в фуражке и с револьвером в кармане. Соперничество лишь разжигает страсти. «Я люблю, — рассказывает он дневнику, — и чувство мое, словно извержение вулкана. Сердце мое сгорает в огненной лаве безумной любви. Мои стихи — лишь бледная тень этого чувства...»

Стихи Давида и в самом деле не производят на Рахель впечатления. Тогда он покупает клетчатый пиджак, шелковый галстук и приводит в порядок шевелюру. Не помогает. В отчаянии Давид раскрывает Рахель свою главную тайну: он состоит в заговоре! Вместе с друзьями он собирается бежать в Палестину. Там, в стране предков, где нет надменных поляков и злых русских чиновников, они будут возделывать землю и защищать ее с оружием в руках. Жаргон¹ и старые обычаи они оставят здесь, в местечке, а там, на Земле Израилевой, будут говорить на языке пророков, будут называть друг друга «брат» и «сестра», будут гулять, взявшись за руки, и сочинять оды героям и труженикам.

В глазах девушки недоверие. «Не веришь? Один из наших, Шломо, — Давид сознательно называет друга на древнееврейский лад — уже там. Он взял у отца деньги и бежал в Палестину». О скандале с кражей денег в Плонске знают все. «Вы хотите сказать, что сын Земаха в Палестине?» — «Это страшный секрет, вы никому не должны говорить об этом». — «Но почему же вы до сих пор не уехали в Палестину?» — «Я? — Давид на минуту задумался. — Палестине нужны строители, и я решил, что не сдвинусь с места, пока не стану инженером. Для этого я полтора года провел в Варшаве, брал уроки русского, физики и математики, но перед экзаменом выяснилось, что туда принимают только со средним образованием. Все лопнуло». — «И что же теперь?» — «Больше я не намерен тратить время впустую, я еду в Палестину». — «Когда же вы уезжаете?»

¹ Жаргон — язык идиш.

Давид улавливает в голосе Рахель сожаление. Вот оно! Кажется, он нашел ключ к сердцу возлюбленной. «Когда? Это зависит от вас». Рахель бледнеет: «От меня?!» — «Да от вас, Рахель. Я поражен стрелой любви в самое сердце. Я ранен, я сражен, и если вы не поможете мне, если вы не поедете со мной, я погибну, так и не добравшись до берегов своей прекрасной родины». — «Я? Как же я могу? Меня даже на улицу не выпускают без няни!» — «Все зависит только от нас. Сначала мы должны разорвать цепи рабства здесь, дома! Давайте называть друг друга на «ты», давайте выйдем на улицу вдвоем...»

Давид победил, но победа имела для него неожиданные последствия. Рахель принимала его слова буквально, она не только гуляла с ним по улице, не обращая внимания на окрики: «Безобразие, как ты смеешь?», но и постоянно спрашивала: «Когда же мы едем?» Давид изобретал все новые поводы для отсрочек, пока, наконец, воображение его не иссякло; отъезд стал неминуем.

А потом было ветхое грузовое суденышко, которое везло их из Одессы, бессонные ночи на палубе четвертого класса, потом была встреча в Яффо, потом тяжелый труд на плантациях Петах-Тиквы.

Потом был разрыв.

Пока Давид под палящими лучами солнца высаживал апельсиновые деревья, Рахель устроилась в оранжерею. Работа там была не из легких. Возить на тачке землю и навоз, таскать ведрами воду — все это было не под силу хрупкой девушке. Кончилось тем, что ее уволили. Впрочем, это было не самое страшное, страшней было другое. Товарищи по партии устроили собрание и выразили ей возмущение как не справившейся с основной задачей — победой труда на Земле Израилевой. Энергичнее других осуждал ее товарищ Давид.

Конечно, Рахель знала, что победа труда имеет национальное значение, но разве она виновата, что к концу дня руки не держат тачку, что своим криком бригадир доводит

ее до слез, что арабские девушки проворнее и выносливее ее? Давид лучше других знает об этом, почему же он не защитил ее? Быть может, он ее больше не любит? Конечно, не любит! Ведь тот, кто любит, не бросает в беде. Вот Исачок — он давно ее любит, и хотя он тоже член партии, но вечером, после собрания, подошел, утешил и обнадежил. А утром пошел с ней в оранжерею и уговорил хозяина снова принять ее на работу.

Только дневнику доверил Давид свою боль, только ему он признался, почему провинциальная Галилея вдруг сделалась так мила его сердцу. Его чувство к Рахель отнюдь не ослабло: выполнив партийный долг, он намеревался через какое-то время восстановить отношения с возлюбленной. Увы, было уже поздно.

Седжера, крохотная колония на склоне холма, состоит из двух десятков домов и фермы, на которой, к удивлению Давида, работают только евреи. И в поселке та же картина: кузнецы, сапожники, шорники, пекари — тоже евреи. Лавочников, хозяев, управляющих и других бездельников, живущих чужим трудом, здесь нет. Вот она, говорит он себе, Земля Израилева, в которой я, наконец, спою свою «песнь пахаря».

«Разве это не воплощение мечты, когда ты видишь, как взрыхленная почва предстает перед тобой во всем таинстве и великолепии, когда вокруг тебя другие евреи тоже обрабатывают свою землю!» Так пишет он отцу, забыв, впрочем, добавить, что в руке он держит партийную газету и, зачитавшись, не замечает, что быки дошли до соседнего участка. Под хохот рабочих он бежит за быками и с трудом поворачивает их обратно. Через какое-то время он убеждается — в этом давно убеждены все в Седжере — пахаря из него не получится.

Но, может быть, из него получится воин?

И то сказать, вокруг Седжеры море арабских деревень и деревушек, где всегда найдется кто-то, кто готов увести

у евреев коня, украсть мешок зерна или стащить из караван-сарая рубаху или пару сапог. Охранять поселок евреи нанимают друзов-серкасийцев. Люди это свирепые, арабы боятся их как огня, да только охранять поселок круглые сутки бесстрашным воинам очень уж утомительно. Другое дело проводить время в ближайшей кофейне! Кражи в поселке учащаются, терпению колонистов приходит конец, друзов увольняют.

Прослышав, что друзы ушли из Седжеры, арабские разбойники и вовсе распоясались. На Пасху 1909 года между поселенцами и арабами, пытавшимися угнать из поселка мулов, произошло настоящее сражение. Один араб был убит, и, хотя скотину удалось отбить, стало ясно: в дело вступает закон кровной мести, кто-то из жителей поселка поплатится за победу жизнью. Этим кем-то оказался не Давид, но гибель поселенца — гибель в бою — произвела на него большое впечатление. Нет, он не испугался. Напротив, он настойчиво призывает колонистов организовать общество «Гашомер», которое взяло бы на себя охрану поселка.

В конце концов общество такое создается, но кандидатуру Давида на пост его руководителя поселенцы отклоняют: они не сомневаются, что этот городской мечтатель недолго задержится в Седжере.

Давид глубоко уязвлен, он уходит в себя, ни с кем не общается. Кроме дневника. Дневнику он доверяет. И еще он доверяет отцу. «Теперь она моя, эта таинственная земля, а мое разбитое сердце в тоске по чужой земле... Как вышедший из тюрьмы узник, я гуляю на воле, а ноги сами несут меня к стенам узилища, где остались мои друзья...»

Отец понимает, о чем речь, и тут же высылает Давиду деньги: 35 рублей на дорогу, 40 — на погашение долгов.

С тех пор, как он крохой сидел на коленях деда и учил по прихоти старого меламеда не жаргон, а язык Библии, Давид мечтал о Земле Израилевой. Как мечтал о ней и его

отец, член общества «Ховевей-Сион». Конечно, там, в Плонске, им, «любящим Сион», мечталось радостно и сладко, и, если бы кто-нибудь тогда сказал Давиду, что, вернувшись на землю предков, он через два года захочет оттуда уехать, да что там — бежать, он бы рассмеялся такому человеку в лицо.

А между тем страстное желание вернуться, бежать, сразу, немедленно, сейчас же вспыхнуло в нем в то туманное утро 7 сентября 1906 года, когда он вышел на берег Яффо. Вышел и ужаснулся. Непролазная грязь, обшарпанные фасады домов, примитивные повозки, праздные арабы и их дети, копающиеся в мусоре. Духота, вонь, мухи, пронзительный рев осла. В ту первую минуту на Земле Израилевой сонный, пыльный Плонск вдруг показался ему самым чистым, самым красивым и самым бойким местом на свете. Друзья ташат его в гостиницу, а он стоит, словно вкопанный. «Что с тобой?» — спрашивает Шломо. «Я не хочу, я не хочу оставаться! — Давид делает над собой усилие — ...в Яффе». Друзья понимают: Давид переполнен эмоциями. «Не хочешь в Яффе? Хорошо, давай двинемся пешком в Петах-Тикву, до восхода солнца доберемся». Ночная прохлада и мягкий лунный свет приводят его в чувство. Давиду стыдно: как могла прийти в голову эта нелепая мысль! Все хорошо, успокаивает он себя, я шагаю по Земле Израилевой, а вместе со мной шагают мои товарищи и девушка, которую я люблю.

Увы, мысль о возвращении приходит к нему снова и снова. Она вспыхивает в нем всякий раз, когда его унижают товарищи по партии, управляющие на плантации, поселенцы в Седжере.

И вот он сидит в караван-сараях, руки жгут деньги, присланные на дорогу, душа разрывается на части. Но он знает, что уедет. Нет, нет, уговаривает он себя, я вовсе не дезертир, я еду учиться, чтобы вернуться сюда инженером.

В сентябре 1908 года Давид садится на пароход и через две недели горячо обнимает отца, сестер и братьев. Его

стараются не травмировать; разговоры о Палестине в доме не ведутся. О чем здесь постоянно говорят, так это о том, куда Давид пойдет учиться. Неожиданно письмоносец приносит казенный конверт: к концу года, когда Давиду исполнится 22, ему надлежит явиться на призывной пункт и отправиться служить царю и отечеству!

Что делать, куда бежать? Отец не настолько богат, чтобы послать Давида в немецкий университет. К тому же Давид не знает европейских языков, да и жизнь в большом городе его пугает. Быть может, вернуться в Палестину, где он исходил немало дорог и оставил близких друзей? Похоже, другого выхода нет.

Чтобы не вызвать подозрения, Давид отправляется в воинское присутствие, присягает на верность царю, а вскоре под чужим именем пересекает немецкую границу. В конце декабря он снова, во второй уже раз, сходит на берег Яффо. Непролазная грязь, обшарпанные фасады домов, жалкие повозки, толпы праздных арабов, духота, вонь и пронзительный рев осла на этот раз его не смущают.

Окоченевшей рукой Давид поставил точку. Этой ночью он сообщил дневнику о предложении товарищей по партии, пожаловался, что Рахель весь вечер была с ним суха, а Ицхак — слишком уж дружелюбен. Одного не сказал Давид — принимает он предложение занять место редактора или нет. «В следующий раз», — хитро подмигнул он дневнику и спрятал его под подушку. В глубине души Давид знал: выбор сделан, отныне политика станет смыслом его жизни.

Через месяц в газете «Ха-ахдут» появилась статья за подписью «Бен-Гурион». Имя это Давид позаимствовал у персонажа исторического — главы независимого иерусалимского правительства времен восстания Иудеи против Рима.

5. КРОВАВАЯ ОБЛОЖКА

— Вы арестованы как участник контрреволюционной организации. Дайте показания о вашей контрреволюционной деятельности. Имею предупредить, ложные показания усилят вашу вину, чистосердечное признание...

Оперуполномоченный 5-го отделения IV отдела УНКВД Ленинградской области лейтенант госбезопасности Фейгельштейн говорил спокойно, по-деловому, явно давая понять, — речь идет о простой формальности. Однако буднич- ный тон следователя насторожил Наума. Отвечать надо четко, — сказал он себе, — по делу, иначе можно запутаться, наговорить такого, что следователь и в самом деле подумает Бог знает что. Ясно, произошла ошибка. Но почему, что стало поводом? Наум снова и снова перебрал в памяти события последнего времени, но ничего такого, что могло дать основания для столь тяжкого обвинения, не обнаружил. Оставалось ждать, пока следователь сам намекнет, откуда дует ветер.

— Это какое-то недоразумение. Я никогда не принимал участия в антисоветских организациях. Даже помыслить о таком не мог.

— А если подумать?

— Уверяю вас, товарищ следователь...

— Гражданин следователь, — спокойно перебил лейтенант.

— Извините, гражданин следователь. Так вот, уверяю вас, здесь какая-то ошибка. Посудите сами, зачем я стану участвовать в антисоветской организации? Я всем доволен, занимаюсь любимым делом — историей и культурой Древнего Востока, гебраистикой и семитологией. Со дня на день меня должны утвердить в звании доктора. Зарплата я получаю, хоть и скромную, но на семью хватает. Что вам еще сказать? Общаюсь с людьми науки, увлеченными древней историей и филологией.

— Древней историей занимаетесь? С людьми науки общаетесь? — Фейгельштейн покачал головой, пробарабанил пальцами какую-то мелодию, не спеша открыл ящик стола, достал толстую книгу в кроваво-красной обложке.

— Ваша? — и сам же ответил: — Ваша, изъята при обыске. А год здесь какой? — следовательно открыл титульный лист. — Вот он год, 5685-й. Значит... э-э 1925. И это мы держим за историю?

— Нет, конечно, это литературный сборник, «Берешит»¹. Он был издан у нас, в Ленинграде, с разрешения товарища Мережина.

— В Ленинграде, говорите?

— Ах, извините, тов... гражданин следовательно, забыл, — двенадцать лет все же прошло, — но помню, что разрешение тогда было получено, только типографии не нашлось. Отправили в Берлин, а потом официально, уверяю вас — официально, с разрешения Центрального бюро Евсекции — сборник был допущен в СССР.

Следователь молча положил книгу на стол, снова выдвинул ящик стола, достал изрядно выцветшую папку, швырнул ее на стол.

— Это тоже с разрешения?

— Что это? — недоумевая, спросил Наум.

— Я от вас спрашиваю, что это?

— Можно взглянуть?

— Если у вас есть нужда освежить память, подойдите.

Наум встал со стула на противоположном конце комнаты, подошел к столу следователя и стал осторожно — словно что-то липкое и опасное — листать папку.

Стихи, проза, снова стихи... Ба, да это же материалы для второго номера «Берешит»! Их Ленский когда-то принес, попросил просмотреть, сделать замечания, а потом почему-то — Наум уж и не помнил почему — не взял обратно.

¹ Берешит — вначале (*иврит*).

— Это, гражданин следователь, стихи и рассказы для второй книжки «Берешит», — хрипло выдавил он из себя.

— Расскажите, кто, когда и для какой надобности передал вам эти материалы?

— Ах, тов... гражданин следователь, это было так давно. Точно не помню, наверное, в начале 26-го года. Пришел ко мне редактор сборника Хаим Ленский. Попросил просмотреть материалы для следующего номера и высказать свое мнение.

— Расскажите, и почему эти материалы принесли к вам?

— Вы знаете, иврит — это древний язык. Писать на нем современные стихи — смелая, можно сказать, революционная затея, и, если есть энтузиасты, почему не помочь? В конце концов, обработка и редактирование текстов на семитических языках — моя профессия. Ленский знал, что я готовил к изданию Бен Эзру, Луцатто и других еврейско-арабских поэтов средневековья, и обратился ко мне за советом. Вот видите, это моя правка — я тут подсказал автору, как лучше закончить строфу.

— Разделяли вы антисоветские взгляды авторов?

— Но позвольте, в чем они антисоветские? — опешил Наум.

— В том, что Ленский, Бобровский, Левин и другие пишут тут, что Советская власть угнетает еврейскую национальность и, вообще, с контрреволюционных националистических позиций критикуют ВКП(б). Вам известно, что второй сборник «Берешит» был антисоветским и был запрещен к выпуску?

— Я слышал, что второй сборник издать не удалось, но что он антисоветский? Я так не думаю.

— Расскажите, что вы знаете о Ленском.

— Ленский — это литературный псевдоним поэта Хаима Штейсона.

— Я спрашиваю за его контрреволюционную деятельность.

— Уверяю вас, он поэт, у него большое дарование.

— Я спрашиваю вам... вас о его контрреволюционной деятельности.

— Я ровным счетом ничего об этом не знаю. Я знал, что он принимает меры к выезду из Советского Союза, но я его отговаривал.

— Расскажите о вашем участии в контрреволюционной группе Ленского.

— Да не состоял я ни в какой контрреволюционной группе!

Дверь кабинета бесшумно приоткрылась, белобрысая продолговатая физиономия просунулась в щель и тихо, вкрадчиво произнесла: «К заму».

Следователь быстро сгреб со стола бумаги.

— Вы говорите неправду. Сейчас я уйду, а вами займется младший лейтенант.

Фейгельштейн вышел и направился вдоль бесчисленных, как две капли воды похожих друг на друга, дверей, в начальственный коридор. «Петьку мне дал, с чего бы это?» — соображал он по дороге.

Петька Белых, долговязый парень с крысиными глазками и короткой стрижкой, был младшим лейтенантом госбезопасности, говорил плохо, писал и вовсе никудашно, и оттого вести дела ему не поручали, а приставляли помощником. Но не к любому следователю, а к тому, кто буксовал, не справлялся. Ибо Петька Белых был великим мастером выбивания. Про него так и говорили: Петька даже у мумии фараона показания выбьет!

«Так с чего это он мне Петьку приставил, думает, не справлюсь?» С этой тревожной мыслью Фейгельштейн постучал в дверь замначальника 5 отделения IV Отдела УНКВД капитана госбезопасности Рубенчика.

Сухой, подтянутый, с неизменным орденом Красной звезды — зависть и уважение всего отдела, — Рубенчик буркнул «садись» и продолжал что-то писать на отрывном календаре. Затем он не спеша вытер тряпочкой перо, осторожно положил ручку, достал из кармана галифе пачку «Казбека», закурил.

— Ну?

— Пока упирается. Но я его уже зацепил — он сам проговорился: «Это правка моя, и это моя». Теперь он с Белых, а ночью я его вызову, и он у меня запрыгает, как барабулька на сковородке у тети Хаси. Утром принесу признание.

— Плевал я на его признание, — дым вырвался изо рта Рубенчика, словно из паровозной трубы, — с десятого этажа плевал.

Рубенчик снова затянулся.

— Плохо с тобой, Фейгельштейн, плохо. Ты скоро год как в органах, а все в толк не возьмешь, что главное в нашей работе. Посмотри сюда: у Дроздецкого по эсерам — 150 человек. Организация! Кромас уже 320 белогвардейцев сдал. Целая сеть! Федорчук попов из всех дыр тащит — скоро на всесоюзный заговор вытянем. А ты? Я тебя на что посадил? На еврейских националистов я тебя посадил. И что я от тебя имею? Ноль я от тебя имею, ноль и ничего кроме ноля! Ты пойми, Фейгельштейн, мы — го-су-дар-ственная безопасность. Мы должны действовать масштабно, по-государственному. А ты? Разоблачил червя-националиста, добился признания, ну и что? Да ничего, блох ловишь. Ты мне фамилии давай, связи давай, за границу давай.

— Нету там заграницы, товарищ капитан.

— Кто не ищет, для того нет. Ты обыск проводил? Бумаги взял? А книги?

— Старье у него одно, роешься, как в лавке у Фимы-антиквара.

— А это ты видел? — Рубенчик подошел к шкафу, вынул тонкую книжонку в простенькой обложке.

— Так то ж вирши.

— Правильно, стихи. Да только кто автор? Не посмотрел. А ведь это Бялик. Знаешь, кто такой Бялик? Один из главных фашистов Палестины. А если человек состоит в переписке с фашистом, получает от него книги, кто этот человек?

— Враг народа.

— Само собой, — отмахнулся Рубенчик, — главное, он участник заговора, международного сионистско-фашистского заговора, направленного против Советской власти, ВКП(б) и лично против товарища Сталина! Вот что главное, Фейгельштейн!

— Так ведь и у меня заговор, товарищ капитан, — группа Ленского. Я этого хмыря как раз в группу и тяну.

Фейгельштейн не успел закончить. Рубенчик вскочил и с такой силой ударил по столу, что бумаги взвились в воздух, пресс-папье упало на пол и даже тяжелая мраморная чернильница сдвинулась с места.

— Ты что, Фейгельштейн, за дурака меня имеешь? Да группу Ленского я в тридцать четвертом взял, когда ты еще подсадным работал в Одесском центре. Я с ними тянул, потому что у меня специалиста не было дело раскрутить. Я тебя за специалиста взял, а ты мне бейцы крутишь. Целый год крутишь. А дело где?

Рубенчик махнул рукой, постоял, немного успокоился, вернулся к столу.

— Так вот, Фейгельштейн, даю тебе в помощь Белых, и чтоб через неделю у меня на столе лежал заговор. Не будет заговора — отправлю жуликов ловить на Молдаванке. Иди.

Наум недоумевал — что значит «займется другой следователь»? Это что, опять все сначала?

Белых, между тем, подошел к шкафу, достал клеенчатый фартук, не спеша надел его, а затем медленно, расслабленной походкой подошел к Науму.

— Упирается, жидовская морда?

От неожиданности Наум поднял голову, но увидел только резко выброшенную вперед руку и искры, которые посыпались из его собственных глаз.

Губы распухли, веки едва открывались, в голове гудело. Но сильнее всякой боли мучила мысль: почему не

уничтожил папку, как допустил такую оплошность? А ведь мог бы сообразить — ведь чувствовал душок и у Ленского, и у Захрина, и у других. Не антисоветский, конечно, — такое и в голову не приходило, но сколько упрямства, невежества! Ну почему непременно писать на иврите, на этом архаичном языке? Почему не на идиш, почему не по-русски? Сколько раз толковал им, что евреи Палестины и Диаспоры уже в последние века до нашей эры пользовались и арамейским, и персидским, и греческим. А эти молодые только и долдонят: «Иврит — национальный язык, мы должны вернуться к нашим корням». Фанатики, невежды. Но и я хорош — оставить у себя папку!

В камеру вошел старшина.

— Подымайся. К следователю.

Наум с трудом приподнялся на локтях, потом через силу встал на ноги. Старшина крепко ухватил его за локоть и повел вдоль длинного коридора.

— Расскажите, что вам известно о контрреволюционной деятельности главара группы Ленского? С кем он был связан?

— О Ленском мне известно, — Наум говорил с трудом, — что он является убежденным еврейским националистом. До ареста он был связан с группой таких же националистов.

— Назовите фамилии.

— Роберт Левин, Нахман Шварц. Фамилии других я не помню.

— В чем выражалась ихняя националистическая деятельность?

— Наверное, в том, что Ленский, Левин и Шварц несколько тенденциозно освещали положение евреев в Советском Союзе.

— Известно вам, что группа Ленского держала связь с Палестиной?

— Я знаю, что Ленский и другие авторы сборника «Берешит» обменивались литературными трудами, получали

из Палестины книги на, ...на иврите, — язык распух, из губ сочилась кровь.

— Так, значит, не хотите давать правдивые показания. Ладно, сидите и думайте. Младший лейтенант вами займется.

При слове «младший лейтенант» Наум сделал последнее усилие.

— Я... я готов.

Фейгельштейн вышел, Белых, покачал головой, пробурчал: «Ай, яй, яй» и надел клеенчатый фартук.

Свет выключили или я ослеп? Не иначе ослеп, ведь свет в камере никогда не выключают. Не успел Наум отогнать от себя эту ужасную мысль, как перед глазами возникло большое красное пятно. Потом в красном появились синие прожилки, потом прожилки стали проступать ясней и складываться в отдельные, ни на что не похожие буквы. Господи, да это же клинопись из Рас-Шамра, те самые тексты, которые я совсем недавно расшифровал! Да, да, те самые, из Северной Финикии, на не известном до сих пор языке. Это я разобрал, что писали люди в третьем тысячелетии до новой эры, это я проник в величайшую тайну человечества — в тайну Алфавита. Сейчас попробуем понять, о чем здесь речь.

Наум напряг зрение, но красное пятно стало светлеть и расплываться. Синие буквы исчезли, а на их месте появился какой-то знак. Что это? Ах, да, это ведь спираль электрической лампочки.

В камеру вошли двое — старшина и сержант. Ни слова не говоря, они подхватили Наума под мышки и поволокли вдоль длинного коридора.

— Признаете, что являетесь участником контрреволюционно-националистической группы Ленского?

— Признаю.

— Признаете, что ваша группа имела задачей создать в Ленинграде националистическую организацию для борьбы с Советской властью?

— Признаю.

— Расскажите, в чем заключалась контрреволюционная деятельность вашей группы.

— Мы собирались на квартирах, обсуждали политику советской власти и ВКП(б).

— И это все?

— Я показал все, что знал...

— Упираетесь? Младший лейтенант...

— Нет, нет, гражданин следовательно, я еще не все сказал. Наша группа установила связь с зарубежными сионистскими деятелями, в том числе с известным фашистом Бяликом и раввином-клерикалом Куком. Мы получали инструкции о том, как лучше вести борьбу с Советской властью.

— Еще какие цели вы ставили?

— Я сказал все, что знаю.

— Снова упираетесь? Младший лейтенант...

— Нет, нет, у меня еще. В целях фашизации группы Хаим Ленский разработал расовую теорию, обосновывающую превосходство еврейской расы.

— И это все? — следовательно снова посмотрел в сторону Белых.

— Нет, не все. Наша группа составила план покушения на товарища Сталина.

Дел было множество, Особое совещание заседало с утра до вечера, но расстрельная команда не справлялась. Впрочем, Рубенчика это уже не беспокоило. Не беспокоило это и Наума. Он лежал на деревянной койке, и, когда к нему возвращалось сознание, думал не о клинописном алфавите, а о своем маленьком рыжем сынишке.

Чем ты, Толя, займешься, когда вырастешь? Быть может, тоже филологией? Ну нет, уж лучше тебе стать врачом. Врач — это совсем не опасно!

В камеру вошли двое. Они подхватили Наума под руки, стащили с койки и куда-то поволокли. Потом его посадили на скамейку, велели поднять голову. Ему сделалось очень больно, но тут что-то сверкнуло, и ему стало хорошо.

6. БАШНИ СОДОМА

Две тысячи лет молились евреи, просили Бога вернуть им потерянное государство. Молились, молились и домолились: 7 мая 1934 года Председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин подписал декрет «Об образовании Еврейской автономной области». Впрочем, Михаил Иванович только по платежной ведомости числился президентом, на самом деле он был кремлевским шутком. Вот и государство получилось шутовское. Нарекли его Биробиджаном. Потому, наверное, что слова такого нет ни в Библии, ни в Талмуде, ни в одном из многочисленных еврейских языков. Устроить же еврейское государство решили в Сибири. И не просто в Сибири, а в самом далеком и заброшенном уголке Приамурья, куда еврейская нога до того не ступала. Впрочем, биробиджанская эпопея, полная песен и слез, надежд и разочарований, началась задолго до 1934 года.

Как только отгремели бои «гражданки», на просторах бывшей Российской империи началось строительство нового государства. В основу его положили принцип: кто был ничем, тот станет всем; кто был кем-то, станет ничем. Увы, в эту простую и ясную схему не вписывались сотни тысяч жителей бывшей черты оседлости. Поскольку в царские времена эти люди добывали пропитание мелочной торговлей, посредничеством, извозом, а то и просто прикармливались в синагогах или общественных столовых, новая власть причислила их к нетрудовым элементам и лишила гражданских прав. Такие вот «лишенцы» составили более трети еврейского населения бывшей Чер-

ты. С другой стороны, всякому было ясно, что местечковые «лишенцы» никакие не буржуа, о реставрации старого режима они не помышляют, а являются просто-напросто лишними людьми.

Что с ними делать власти не знали, а пока они думали, десятки тысяч людей, прежде не имевших права даже на время покинуть свои касриловки и мазеповки, ринулись в столицы, в крупные города России и Украины. Ринулись каждый сам по себе, каждый туда, где надеялся зацепиться. Багаж у переселенцев был незамысловат, если не считать деревянных колясок, где в пеленках лежали будущие русские литераторы, кинорежиссеры, физики-атомщики, авиаконструкторы, композиторы и Бог весть какие еще знаменитости.

Большевики, однако, не любили, когда каждый сам решал, куда ему ехать. Решать должна была партия. Вот она и решила превратить «деклассированные элементы» в колхозных труженников. Для этого в августе 1924-го ЦИК распорядился образовать Комитет по земельному устройству трудящихся евреев — КОМЗЕТ. Секретарем Комитета назначили Абрама Мережина, а начать указали с устройства сельхозпоселений на Украине — по месту жительства подопечных. Не успел, однако, КОМЗЕТ развернуться на Украине, как сверху пришел приказ — сосредоточить усилия на заселении Крыма. Дело было не в том, что добрые кремлевские дяди решили «отдать евреям» этот райский уголок, о чем впоследствии будет сложено немало легенд. Все объяснялось проще: за годы гражданской войны сельское хозяйство Крыма пришло в упадок, народ разбежался, восстановить здесь жизнь без притока новых поселенцев казалось невозможным.

КОМЗЕТ начал с того, что обратился за помощью к зарубежным собратям. Американские благотворительные организации, полагая, что дают деньги на «национальное дело», пожертвовали на Крымский проект две трети его бюджета. Но уже к 1927 году интерес к Крымскому проек-

ту на советских верхах начал падать, а вот разгорающиеся аппетиты Японии вынуждали Кремль задуматься о заселении необжитых просторов Дальнего Востока. Тут-то и вспомнили о сотнях тысяч еврейских «лишенцев» — на смену Крымскому проекту пришел Биробиджанский.

Весной 1927 года КОМЗЕТ направил в Бирско-Биджанский район, что лежал на самой границе с Китаем, научную экспедицию для выяснения возможности сельскохозяйственной колонизации края. Вернувшись в Москву, ученые представили правительству отчет, в каждой фразе которого просматривались указания на большие трудности, с коими непременно столкнутся новые поселенцы. Большевики, однако, трудностей не боялись. Особенно, когда эти трудности ложились на плечи других. В Москве отчет Биробиджанской экспедиции положили под сукно, а 28 марта 1928 года состоялось постановление Президиума ЦИК «О закреплении за КОМЗЕТОМ Биробиджанского района для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободной земли». Как только это постановление было опубликовано, началась вербовка добровольцев, число которых к 1933 году должно было достичь 60 тысяч человек.

Результаты большевистского энтузиазма сказались незамедлительно. Вот какое свидетельство оставил нам современник: «В поселке при станции Тихонькая (будущий город Биробиджан) образуется затор из еврейских переселенцев. Они живут в бараках. В невероятной скученности и грязи там валяются вповалку на двухэтажных нарах десятки чужих друг другу людей — холостяков, молодых женщин, стариков, многодетных семей с грудными младенцами. Я утверждаю, что переселенческие бараки могли бы быть позором для тюрьмы. Среди барачных жителей складывается какой-то особый жуткий быт. Некоторые умудряются получать переселенческий кредит и ссуды, сидя в бараке, и проедают их, даже не выехав на землю. Другие, менее изворотливые, нищенствуют».

Немудрено, что из 960 переселенцев 1928 года в Биробиджане осталось лишь 350 человек! Бегство новоприбывших продолжалось и в последующие годы. К началу 1934 года в Биробиджане проживало чуть больше 8 тысяч евреев. Стало ясно: решение партии и правительства находится под угрозой срыва.

В Кремле вынуждены были признать, что попытка одним росчерком пера превратить «людей воздуха» в сибирских колхозников с треском провалилась. Отсюда следовал вывод: чтобы добиться успеха, в Биробиджан нужно привозить трудовой люд — крестьян, рабочих, ремесленников, тех, кто давно вырвался из местечек и научился самостоятельно зарабатывать на жизнь. Но уверенности, что даже эти люди осядут в Биробиджане, не было. Помочь делу — так решили в Кремле — можно лишь прибегнув к «национальному аргументу». Одно дело мучиться непонятно ради чего, совсем другое — во имя высокого идеала, строительства национального очага! Конечно, большевикам, командовавшим на «еврейской улице», — такой подход был чужд, но прагматические соображения начальства взяли верх: 7 мая 1934 года ВЦИК провозгласил Биробиджан Еврейской автономной областью.

Зачитывая исторический декрет, всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин заявил: «Создание еврейского территориального центра в Биробиджане является единственным путем нормализации национального статуса евреев Советского Союза. Уверен, в течение одного десятилетия Биробиджан станет наиболее важным и, возможно, единственным оплотом национальной еврейской социалистической культуры».

Лозунг «еврейской государственности», а также усиленная вербовка дали результат. К 1937 году численность еврейского населения в Биробиджане достигла 19 тысяч человек. Возникли здесь и какая-никакая инфраструктура, и мелкое производство, и торговля.

Пытались наладить в Биробиджане и культурную жизнь. Что касается языка идиш, «равноправного» с русским, то его сделали обязательным во всех учреждениях. Но никто и не думал относиться к этому всерьез. Вот что писала газета «Эмес» по этому поводу: «Большинство ответственных работников облисполкома не ценят огромного политического значения обслуживания трудящихся на их родном языке... Заведующий облздравотделом тов. Гуртовой отвечает посетителям только по-русски. Заведующий финансовым отделом тов. Левицкий принципиально не говорит по-еврейски, хотя он плохо говорит по-русски...» В общем, на официальном уровне еврейский язык не пошел дальше названий некоторых улиц, таблички на здании вокзала и почтового штемпеля области. Были в Биробиджане и еврейские школы, и еврейская газета, и еврейский театр, и библиотека имени Шолом-Алейхема. Однако в еврейских школах не преподавали еврейские языки и еврейскую историю, а газета «Биробиджанер Штерн» всего лишь перепечатывала в переводе на идиш статьи из областной «Биробиджанской звезды».

И все же многим тогда казалось, что еврейский национальный очаг в Приамурье обретает реальные черты.

Во второй половине 36-го года на Еврейскую автономную область обрушился шквал великих чисток. Как и всюду по стране, чистки унесли здесь много человеческих жизней, но, в отличие от других мест, в Биробиджане гонению подверглась сама идея национального строительства, сама мысль о возрождении национальной культуры. Тех, кого вчера привезли в Биробиджан, чтобы строить национальный очаг, сегодня арестовывали как буржуазных националистов. Еврейские издания уничтожались независимо от их содержания — держать в доме еврейскую книгу в Еврейской автономной области стало опаснее, чем, скажем, в Киеве или Ленинграде.

Сколько погибло партийных и советских начальников, деятелей культуры, граждан иностранных государств,

принимавших участие в строительстве «национального очага» в Сибири, не известно. Равно, как ничего не известно о жизни таежного Израиля в годы войны. Известно лишь, что существованием Еврейской автономной области отнюдь не воспользовались, чтобы приютить здесь тысячи еврейских беженцев, которым чудом удалось выбраться из западных районов страны вместе с отступающей Красной армией.

Вспомнили о Биробиджане уже после войны, когда евреи, бежавшие от наступавшей немецкой армии, стали возвращаться в родные места на Украине, в Белоруссии и Балтийских странах. Понятно, беженцы требовали вернуть им дома, украденное соседями добро, а кое-кто заговорил об открытии синагог, еврейских школ, театров — всего того, что существовало в этих краях до войны. Однако в Кремле в отношении западных областей вынашивали другие планы: в Прибалтике намечалось провести крутую советизацию, на Украине и в Белоруссии — основательную чистку. Евреи здесь были не нужны.

В январе 1947 года в Биробиджан прибыл первый послевоенный эшелон с еврейскими переселенцами. Люди, которые пережили бегство от нацистов и тяготы эвакуации, не страшились суровых условий жизни на Дальнем Востоке. Напротив — начать жизнь заново, начать ее за тысячи километров от мест, обильно политых кровью родных и близких, — об этом мечтали многие.

Переселение в Биробиджан шло небывалыми темпами, к середине 1948 года еврейское население области достигло 30 тысяч человек. Новый импульс получило еврейское образование и культурная жизнь. Среди переселенцев оказалось немало людей пишущих и читающих на идиш, немало энтузиастов, готовых трудиться на ниве еврейской культуры.

Послевоенный ренессанс продлился недолго. Во второй половине 1948 года из Кремля подул ледяным ветром. Сначала было приказано остановить переселение в

Биробиджан, а затем начался погром. Не тот погром, что прокатился по стране во времена великих чисток. Это был исключительно еврейский погром. Его жертвами стали не только кремлевские врачи, столичные актеры, писатели и разные начальники еврейского происхождения. Его жертвой стал и таежный Израиль.

Говорят, незадолго до смерти Сталин вынашивал план превращения Биробиджана в еврейскую Колыму и уже готовил эшелоны, чтобы вывезти сюда евреев из Москвы, Ленинграда и других городов. Было такое или не было, никто не знает, ибо тиран умер, не успев оставить письменного распоряжения насчет еврейской Колымы.

PS

Никита Сергеевич тяжело опустился в кресло, швырнул на стол шляпу, залпом осушил кружку кваса.

— Ах, хорошо!

И верно, апрель выдался теплым, солнечным — столы накрыли на лужайке. Ел вкусно, пил в меру. А вот гопак с Микояном — это лишнее. Снова стало жарко. Вынул носовой платок, вытер лысину. Помощник тащил вентилятор.

— Близо не ставь, простужусь еще. Ну, с чего начнем?

— Ответы «Фигаро», — помощник протянул папку.

— Французу, значит. Так, что тут у него? Разрядка? Хорошо. В какие сроки догоним Америку? Правильно ответил. Дружба с Францией? Само собой. Так, так. А это еще что? — Хрущев поправил очки и приподнялся в кресле. — Еврейская республика... Почему не удалось... Что ответил? «Клеветнические измышления... еврейские трудящиеся под руководством Коммунистической партии успешно...» Какого черта, успешно, — Хрущев топнул ногой, — чего ерунду порешь? Обкакались с этим Биробиджаном, вот и все. Сколько евреев-то там у нас?

— Семь тыщ.

— Ну, а ты что несешь? Какое колхозное строительство? Чтоб их нация на земле вкалывала — видал такое? Они все в Академии да в Союзе писателей, а в колхоз их и плеткой не загонишь.

— Это Громыко...

— Громыке врать — не привыкать, а мы прямо скажем: их нация...

— Есть вариант от Сулова, — перебил помощник.

— Ну?

— Нелюбовь евреев к коллективному труду и к групповой дисциплине привела к неудаче попытки создания еврейского поселения в Биробиджане.

— Это пойдет. Так, значит, и отдай.

Помощник вышел, Хрущев плотнее уселся в кресло и стал размышлять: дать Насеру Героя? Или не дать, послушать кощера-Сулова?

PPS

Бен-Гурион плюхнулся на деревянный стул, взял в одну руку бутылку, другой попытался отвернуть крышку. Руки не слушались, глаза слипались — невероятно хотелось спать. Всю ночь он провел в Мисраде: диктовал письмо де Голлю, обсуждал с Шаретом угрозу Вашингтона, отчитывал Хареля за египетские дела и только под утро уехал к себе в киббуц в Сде-Бокер. Сейчас он выпьет стакан сока и обязательно поспит пару часов.

— Хавер Давид, эйфо ата?¹ — кто-то громко постучал в дверь. — В коровник. Все на субботник. Быстро, быстро!

Бен-Гурион узнал голос нарядчика, залпом допил сок, вскочил, схватил грабли и уже через минуту шагал в колонне киббуцников. Над раскаленными холмами пустыни Негев звенела еврейская-комсомольская:

¹ Товарищ Давид, где ты? (*иврит*)

На рыбалке у реки,
Тянут сети рыбаки.
Будет селам и станицам,
Много рыбы. Йааа...

7. ДОРОГА УХОДИТ ВДАЛЬ

- Раз.
- Два.
- Пас.
- Два здесь.

Мягкий зеленоватый свет, круглый, безупречно полированный стол, простые, но удобные стулья и гарантия того, что сюда, в маленькую комнату под крышей, «случайно» не забредет говорливая хозяйка — что еще нужно для преферанса! Цезарь Соломонович Какас не мог нарадоваться своей придумке — перенести игру в комнату, которую специально оборудовал на чердаке.

Раньше, когда они играли в гостиной, не было случая, чтобы Молли Давыдовна не нашла повод вторгнуться в мужское общество. «Цалик, господа останутся ужинать?», «Цалик, как ты думаешь...», «Цалик...» Цезарь Соломонович отчаянно мотал головой, махал руками, в который уже раз повторял любимое изречение: «Жена, шум и скатерть мешают преферансу», но ничего не помогало.

Аугустинас Повилайтис, шеф департамента безопасности и самое важное лицо в компании заядлых преферансистов, перенос игры одобрил. Правда, другой партнер, Юозас Микуцкис, между прочим, тоже немалая птица — бывший комендант Каунаса, был несколько огорчен. В гостиной он чувствовал себя уютно и был совсем не прочь поболтать с Молли Давыдовной. Но Микуцкис — человек простой. Он ходит к Какасу пешком, не смущаясь говорить по-русски, а главное, он не очень-то нужен Цезарю Соломоновичу — больше ста литов он никогда не выиг-

рывает. Другое дело, Повилайтис. Высокий, смуглый, с усиками «а la Гиммлер», он носит темно-синий костюм из бостона, золотые часы с большим циферблатом и приезжает к Кацасу на служебном «Шевроле». Держится Повилайтис с достоинством, говорит мало, давая понять, что каждое его слово на вес золота. Только когда он забирает выигрыш — пятьсот, а то и тысячу литов, он чуть улыбается и произносит дежурную фразу: «В следующий раз повезет кому-то другому».

Да, Повилайтис говорит мало, но знает много. Знает он, в частности, что Цалик Кац, он же Цезарь Соломонович Кацас, представитель советской фирмы «Автоэкспорт», продал в Литве в прошлом, 1938 году, всего четыре «Эмки» и один полуторатонный грузовик «ГАЗ». Правда, сколько заработал Кацас, главный сыщик Литвы не знает, но он прекрасно понимает, что заработка от пяти проданных автомобилей не хватит на содержание открытого дома, на поездки в Стокгольм, Лондон и Париж, на взятки полицейским, которые приходят к Кацасу в будни, «выигрывают» свои пятнадцать-двадцать литов и незаметно исчезают.

Незаметно для всех, но не для сотрудника полиции безопасности Лашаса, которому Повилайтис доверяет. Доверяет, потому что Лашас — сторонник испытанных методов сыска, которые он усвоил, когда служил в Жандармском управлении в Петербурге и носил фамилию Спиридонов. Да, Лашасу Повилайтис верит, но он его не любит. Не любит, потому что Лашас не говорит по-немецки, не восхищается немецким порядком, а предпочитает по-русски рубить сплеча. «Завтра у Кацаса собирается Центральный Комитет компартии, сделаем налет, арестуем...», «В университете вывесили портрет Маркса, сделаем налет, арестуем...» Царская школа — лишь бы сделать налет! Нет, в Берлине Повилайтиса учили другому. Главное — все и всех держать под контролем. А налет сделать никогда не поздно.

И еще Повилайтис не любит Лашаса, потому что Лашас антисемит. «Все евреи — коммунисты! Все евреи —

шпионы!» Повилайтис знает — не все. Конечно, компартия Литвы на добрую половину состоит из евреев, но многие евреи ненавидят большевиков. Конечно, Цезарь Кацас раз в неделю посещает советское посольство и получает там деньги и инструкции. Но и майор Кайрис, адъютант министра обороны, раз в неделю посещает тот же дом, причем входит туда с туго набитыми портфелем, а выходит с туго набитым кошельком.

Наконец, Повилайтис не любит Лашаса за то, что старый сыщик с укоризной смотрит на шефа, когда тот отправляется играть к Кацасу. Возможно, он даже думает, что шеф берет взятки. Да, Лашасу с его старой школой невдомек, что он, Повилайтис, ходит к Кацасу, чтобы держать руку на пульсе. Свою руку. И вообще, если Лашас вздумает рыпаться, он выгонит его с формулировкой «за антисемитизм».

Впрочем, сегодня мысли Повилайтиса заняты не Лашасом и не Кацасом, а четвертым, самым неприметным партнером в их компании — Максом Леопольдовичем.

Макса Леопольдовича Повилайтис недолюбливает. Оно и понятно — уж очень они разные люди. Макс Леопольдович закончил юридический факультет в Петербурге и еще в царские времена защищал смутьянов и революционеров. Август Петрович с молодых лет пошел по полицейской части и сделал в независимой Литве большую карьеру. Сегодня он следит за неблагонадежными элементами, инородцами и иностранцами, сажает в тюрьму коммунистов, фашистов, польских националистов, белорусских активистов, шпионов и контрабандистов. Он разгоняет студенческие митинги и рабочие забастовки. И еще он информирует Берлин обо всем, что происходит в Литве.

Макс Леопольдович, напротив, защищает коммунистов, инородцев и иностранцев. Он никого ни о чем не информирует, но всегда требует, чтобы полицейский обвинитель Лашас назвал в суде свою настоящую фамилию и должность, которую занимал в Охранном отделении в Петербурге.

Да, Макса Леопольдовича Повилайтис недолюбливает, но и ничего против него не имеет; в конце концов, Литва — страна демократическая, и кто-то так или иначе должен защищать преступников.

Последняя поездка в Берлин все изменила.

После заседаний Интерпола Повилайтис отправился в резиденцию гестапо на Принц-Альбрехтштрассе. Куратор Литвы штурмбанфюрер СС Греффе усадил гостя в кресло, принял отчет об отношениях Литвы с Советской Россией и передал Повилайтису личную благодарность своего шефа Гейдриха. Затем он велел принести кофе, и между коллегами началась непринужденная беседа. Хозяин доверительно сообщил гостю, что Рихард Коссман, человек гестапо при «Культурфербанде» — культурном объединении литовских немцев — засыпает Принц-Альбрехтштрассе жалобами. По его словам, немцы в Литве подвергаются стеснениям в то время, как советское влияние постоянно растет. По его же словам, советское посольство в Каунасе превратилось в шпионский центр и место, где формируется «пятая колонна».

— Я думаю, это недоразумение. Правительство президента Сметоны тщательно следит за тем, чтобы интересы национальных меньшинств не ущемлялись. Мы боремся только против коммунистов, шпионов и заговорщиков.

Повилайтис сотрудничал с Греффе давно и всегда находил с ним общий язык. И доктор Греффе, в свою очередь, всегда старался помочь коллеге. Вот и на этот раз он понимающе кивнул и добродушно улыбнулся.

— Согласен, коллега, наши фольксдойче любят преувеличивать. Забудем об этом. Скажите лучше, как поживает отец нашего командарма?

— Простите, — не понял Повилайтис, — какого командарма?

— Ну, полноте, Август Петрович, — Греффе, выпускник рижской гимназии, любил блеснуть своим русским, — для чего же вы играете в карты с Максом Леопольдовичем, разве не для того, чтобы держать руку на пульсе?

Как? При чем тут Макс Леопольдович? В маленьком Каунасе не надо быть шефом политической полиции, чтобы знать, что старший сын Макса Леопольдовича, тоже адвокат, живет в Лондоне, а старшая дочь, художница, — в Ленинграде, что младший его сын уехал в Америку, а младшая дочь — в Париж. Откуда там взяться красному командарму?

— А оттуда, что у вашего скромного партнера по преферансу есть еще один сын. Совсем мальчишкой он убежал из дома, воевал в Конной армии, участвовал в походе на Варшаву, был ранен. Потом выучился на летчика, стал классным пилотом, дослужился до комбрига. Генерала, по-нашему. Это он был главным советником — фактически командующим республиканской авиацией в Испании и доставил Франко немало неприятностей. А в Монголии он просто сотворил чудо. Японцы потеряли там сотни самолетов. У нас, в Люфтваффе, его считают прекрасным стратегом и организатором. И Сталин так же считает. Недавно он сделал его командармом, назначил заместителем начальника ВВС РККА и поручил готовить авиацию к будущей войне.

Повилайтис молчал, не зная, что ответить.

— Не огорчайтесь, коллега, в нашей работе случаются недосмотры, — успокоил его Греффе, — сейчас главное дать знать Сталину, что отец его любимца является нашим... нет, лучше — нашим агентом.

— Раз.

— Два.

— Пас.

— Два здесь.

Макса Леопольдовича игра не интересует. Не интересуют его и партнеры. Высокомерный и надутый Повилайтис наверняка видит себя литовским Гиммлером, думает Макс Леопольдович, так же, как Сметона — кайзером Вильгельмом. Странные, право, превращения происхо-

дят с людьми! Ведь Сметона тоже окончил юридический факультет в Петербурге, когда-то отстаивал право и справедливость, а кончил тем, что разогнал Сейм и провозгласил себя «отцом нации». Однажды на приеме в президентском дворце Сметона задал ему вопрос: «Я слышал, Макс Леопольдович, вы сильно пострадали от большевиков и едва унесли ноги из красного Петрограда. Почему же сейчас вы защищаете коммунистов?» — «Когда-то, господин президент, мы с вами сели в один поезд под названием «Право и свобода». Вы вышли на остановке «Национализм», а я все еще надеюсь добраться до конечной станции». — «В таком случае, — ответил Сметона, — вам придется совершить кругосветное путешествие». Какое самомнение!

Не интересуется Макса Леопольдовича и весельчак Микуцкис, и хозяин дома Кацас. Более того, Кацас ему неприятен. Он строит из себя барина, при том, что действительно необразован, а главное — насквозь фальшив. В литовской компании он старается казаться литовским патриотом, но когда они остаются вдвоем, он нещадно костерит тех же литовцев; все они у него «плебеи» и «все нас ненавидят».

Нас — это евреев. Но Кацас никакой не еврей. Он не сионист и не бундовец. Он не пожертвовал на общину ни одного лита и даже по праздникам не ходит в синагогу. Все его еврейство состоит в том, что он любит рассказывать глупые истории и выдает их за еврейскую мудрость. А вот в советское посольство он бегает каждую неделю. То на просмотр фильма, то на лекцию, то на чашку кофе. От этих визитов в доме у Кацаса всегда свежие советские газеты. И хотя для Макса Леопольдовича все советское — трейфа¹, именно ради этих газет он и играет у Кацаса.

Играет, чтоб потом устроиться в кресле и сделать вид, будто советская жизнь его очень интересуется. В самом деле,

¹ Трейфа — не кошерное, в быту — неприемлемое, противопоказанное

Макса Леопольдовича интересует только Гриша. Просмотр газет он начинает с «Красной звезды», и если ему удастся «выудить» что-то о сыне, он тут же спешит поделиться с Раечкой, для которой грозный советский генерал все еще ее «младшенький». Однажды Макс Леопольдович даже украл у Кациса газету с портретом Гриши. Ему было очень стыдно, но после отъезда в Париж младшей дочери у Раечки началась депрессия, и Макс Леопольдович решил, что фотография Гриши поможет ей прийти в себя. Собственно, депрессия у Раечки началась потому, что на самом деле Сонечка решила через Париж перебраться в Ленинград. Старшая сестра, Мира, давно звала ее, рисовала ей радужные картины, убеждала, что в «провинциальном Каунасе у нее нет будущего». Мира же всем была довольна. Она вышла замуж за своего учителя рисования, родила сына и поступила на работу в Русский музей, чем особо гордилась.

Как можно восторгаться жизнью в Ленинграде, Макс Леопольдович не понимал, но в том, что старшая дочь счастлива, не сомневался. А оттого не очень-то отговаривал младшую от «безумной затеи». Однако, проводив Сонечку, он снова, как и семнадцать лет назад в Петербурге, почувствовал, что остался у разбитого корыта.

А ведь сколько было надежд, каким светлым казалось будущее!

Макс Леопольдович, как сегодня, помнил то сентябрьское утро 21-го года, когда старый шведский паровоз заскрежетал тормозами на Каунассском вокзале. Розенбаум не дал опомниться и прямо с вокзала повез Макса Леопольдовича в свое министерство. Измученный отъездной лихорадкой и пятидневным путешествием, Макс Леопольдович тем не менее обратил внимание, что кабинеты в министерстве обставлены дорогой мебелью, чиновники хорошо одеты, отвечают вежливо, двигаются не спеша. Какой контраст с хаосом и неразберихой в учреждениях красного Петрограда!

По дороге же обратил Макс Леопольдович внимание на то, что в его родном Каунасе — временной столице Литвы — все строится, чистится, приводится в порядок. По соседству с тяжеловесными учреждениям и банками вырастают легкие современные здания, изящные виллы и уютные коттеджи. Только Старый город все еще хранит колорит провинциального Ковно, военного форпоста империи, так и не сумевшего защитить ее границы своими многочисленными фортами.

Макс Леопольдович был восхищен и восхищения своего не скрывал. Розенбаум, однако, счел нужным охладить восторг старого товарища.

— Не обольщайтесь, Макс Леопольдович. Верно, фасад у нас пристойный, но за фасадом не все так просто. Независимости добились мы, либералы старой школы. А вот теперь голову поднимают «молодые волки». К власти рвутся карьеристы, бездари, личности с сомнительным прошлым. Их козырь — национализм, они не хотят ни либералов, ни нас, евреев. Мое положение в министерстве иностранных дел не так прочно, как может показаться. Хотя я и был членом литовской делегации в Версале, а в прошлом году добился от Москвы признания нашей независимости, сегодня на меня смотрят как на человека, которому пора уходить. Но я уйду без огорчения. Честно говоря, я ведь и приехал сюда, чтобы строить еврейскую автономию, но коль скоро мне довелось внести вклад в литовскую независимость, то я об этом ничуть не жалею. Теперь, по всей видимости, стану министром по еврейским делам, а вас представляю к должности старшего референта. Если здесь, в Литве, мы реализуем идею национально-культурной автономии, то совершим переворот в нашей истории. И в истории евреев Европы. Мы подадим пример Польше, Румынии, Венгрии всем странам, где наши общины не имеют правового статуса национально-меньшинства.

Слова Розенбаума не охладили желания Макса Леопольдовича трудиться на общественном поприще. Скромный кабинет референта в министерстве по еврейским делам и скромная — по сравнению с частнопрактикующим адвокатом — зарплата вполне его устраивали, а законность и правопорядок после произвола и хаоса в Советской России внушали большие надежды.

Надеждам этим не суждено было сбыться.

Не прошло и полутора лет, как Сейм постановил прекратить финансирование министерства по еврейским делам. Впрочем, дни самого литовского Сейма были сочтены: «Молодые волки», провозгласившие лозунг «Литва — литовцам», разогнали его в 1927 году.

Семен Розенбаум полного краха литовской демократии дожидаться не стал. Глубоко уязвленный предательством литовской элиты и хорошо понимавший, куда ведут дело «младолитовцы», он вспомнил, что когда-то был сионистом, и в том же, 24-м году, отбыл в Палестину.

Макс Леопольдович хлопать дверью не захотел. Перед глазами стоял красный Петроград, на фоне которого Литва смотрелась островком благополучия и порядка. И верно, в суде он все еще мог защищать коммунистов, студентов и профсоюзных активистов. Сонечка все еще могла ходить в ивритскую гимназию, а Альберт играть в футбол в спортивном обществе «Маккаби». Субботний стол был полон, а на большие праздники полиция по-прежнему перекрывала подъезды к синагоге с тем, чтобы уличное движение не мешало молящимся.

Тучи, однако, сгущались.

Зажатая между коричневой Германией и красной Россией, Литва шла на уступки то одной стороне, то другой. Германии отдали Клайпеду. Взамен получили обещание приструнить местных нацистов. России позволили разместить военные базы. Взамен получили старую столицу — Вильнюс, куда и решили перевести правительство. Вслед за ним в постоянную столицу потянулись обитатели временной.

Решил перебраться в Вильнюс и Макс Леопольдович. «Ну что же, — сказал он Раечке, — пожили в моем доме, теперь поживем в твоём». Не прошло и двух недель, как лохматые вильнюсские грузчики уже заносили вещи в тот самый дом на Антоколе, где когда-то давным-давно он, вчерашний гимназист, сделал предложение шестнадцатилетней барышне, так похожей на маленькую фарфоровую балерину.

Тук-тук.

Тук-тук.

Тук-тук.

Стучат и стучат колеса по рельсам. Стучат целых три часа. Наверное, мы уже проехали Минск, думает Макс Леопольдович, поправляя пальто, которым укрыл Раечку. Слава Богу, она уснула. А все благодаря соседке. Та взяла на руки свою девочку, Макс Леопольдович разложил узлы с бельем, и они смогли лечь — Раечка и соседская девочка. У ее матери нет узлов, только чемоданы. Да и другие пассажиры, тесно прижавшись друг к другу, сидят на своих чемоданах. Мужчины, женщины, дети. Сколько их никто не знает; энкавэдэшники запихивали людей в вагоны, не считая — сколько войдет. Некоторые встречают знакомых, перешептываются, перебираются поближе друг к другу. Макс Леопольдовичу все лица, а большинство из них — женские, незнакомы. Но какие они красивые, светлые, гордые! Кто они — жены офицеров, чиновников, журналистов? Как мужественно они переносят унижения, как достойно держат себя со своими мучителями! Их грузят в теплушки, словно скот, а они — ни слез, ни жалоб, ни причитаний.

Впрочем, его Раечка тоже молодец. Когда сегодня — нет, уже вчера, — сразу после полуночи к их дому подъехала полуторка с солдатами и два энкавэдэшника начали барабанить в дверь, Макс Леопольдович растерялся. А вот Раечка вместе с пани Данутей встали и открыли дверь. Раечка

спокойно спросила: «Что угодно господам военным?» — «Здесь живет старший референт министерства...» — «Вы ошиблись, господа, это дом адвоката». Один из энкавэдэшников, явно из местных, достал бумагу, спросил Раечку, понимает ли она по-литовски, и отчетливо зачитал фамилию и имя Макса Леопольдовича. «Это мой муж, — ответила Раечка, — но он адвокат, ни в каком министерстве он не служит». Незваные гости переглянулись: «Где он в настоящий момент?» Раечка посмотрела на пани Данутю. «Не знаю, давно не видела пана адвоката», — замахала руками экономка.

Тем временем Макс Леопольдович понял, что перед ним представители новых властей, тех самых, чья армия вошла в Литву три дня назад. Скрываться было бессмысленно.

— Господа, здесь какая-то ошибка. Я — адвокат. В течение последних шестнадцати лет...

Старший по званию энкавэдэшник перебил Макса Леопольдовича:

— Эта ваша жена? — показал он на Раечку. — А это кто?

— Пани Данутя, работает у нас экономкой.

— А где ваши дети?

— Сын тринадцать лет назад уехал в Америку, а дочь учится в Париже.

— В Париже? Так вот, я уполномочен объявить...

Советскую терминологию Макс Леопольдович понимал с трудом, но главные слова понял. «Как классово чуждые и социально опасные элементы вы подлежите вывозу в отдаленные районы СССР в соответствии с указом... Собирайтесь, к шести утра должны быть готовы». Солдаты окружили дом, поднялись на второй этаж, энкавэдэшники устроились в гостиной, Раечка с пани Данутей начали сборы.

В предрассветный час 15 июня 1940 года крытая полупортка отъехала от двухэтажного дома на Антоколе и взяла курс на станцию Вильнюс-Товарная. В кузове ее в окру-

жении солдат сидели на своих узлах Макс Леопольдович и Раечка.

Тук-тук.

Тук-тук.

Тук-тук.

Стучат и стучат колеса. В вагоне тихо. Спят таутинники и шаулисты¹, польские эсдэки и еврейские бундовцы, русские монархисты и белорусские националисты. И лишь время от времени их жены, мучительно преодолевая стыд, пробираются опорожниться к ведру. Но скоро они будут ходить туда, не стесняясь. Скоро они сменят лаковые туфельки на валенки, твидовые юбки на стеганые штаны, а замшевые пиджачки — на ватники. Скоро они будут валить лес и погонять своих буренок в Иркутской области, в республике Коми и Бог весть в еще в каких «отдаленных районах СССР». Кто-то из них отморозит руки, кто-то — ноги, кто-то заболит туберкулезом, многие оставят свои косточки на бесчисленных лесоповалах и в шахтах. Кому-то посчастливится дожить до освобождения.

В числе счастливиц окажутся Макс Леопольдович и Раечка. По возрасту и состоянию своему рубить лес они оказались непригодны. Дедушку Макса определили в правление леспромхоза, где он благодаря высокой грамотности и каллиграфическому почерку сделался незаменим при написания важных бумаг. Бабушка Рая стала учительницей детей-спецпереселенцев. Литовских, польских, еврейских и белорусских.

Но все это будет потом, а пока что Макс Леопольдович, сидя на большом фибровом чемодане в наглухо закрытом вагоне, даже не догадывается, куда ведет его дорога. Впрочем, не знает он и того, что ровно через год в Каунас придут солдаты со свастикой, которые выгонят тех, что с красными звездами. Придут и соберут всех его кузенов и

¹ Таутинники и шаулисты — члены литовских национальных партий.

кузин, племянников и племянниц, торговцев и адвокатов, меламедов и водоносов, больных и здоровых, старых и молодых в IX Форт, где всех их расстреляют. А потом те, что со свастикой, придут в Вильнюс и свезут Раечкиных кузенов и кузин, племянников и племянниц в котлованы недостроенного нефтехранилища в Панарах и всех их расстреляют.

И уж тем более не знает Макс Леопольдович, что после освобождения поселится он у Сонечки, в пропавшем копотью уральском городе-заводе, а потом вывезет всю семью сначала в Польшу, а потом на Святую Землю. Не знает он и того, что в возрасте восьмидесяти четырех лет найдет пристанище на кладбище в кибуце Михморет.

Там, в двух шагах от высокого обрыва, под которым неистово бушуют волны Средиземного моря, стоят рядом две могильные плиты, и когда я прихожу навещать бабушку Макса и бабушку Раю, они вежливо здороваются со мной, а потом продолжают свой нескончаемый разговор.

Я знаю, им есть о чем поговорить, и никогда им не мешаю.

8. АРИФМЕТИКА ВОЙНЫ

— Что-то ты, Клим, сегодня говенно стреляешь. Никита, смотри, сымает одну за другой, а у тебя, — Булганин брезгливо, носком сапога пересчитал заляпаных кровью уток, — всего три.

— Да, хреново сегодня идет, — виновато улыбаясь: он ведь лучший стрелок страны, — согласился Ворошилов.

Хрушев же, которого впервые взяли в Давидовское охотничье хозяйство, не мог сдержать счастливой улыбки.

— Девять у меня, значит. Так, все соберем и, значит, поровну разделим между членами Политбюро.

Продолжая улыбаться, он подозвал энкавэдэшника из охраны. Тот подбежал, вытянулся в струнку.

— Ты вот, значит, собери все в одну машину и по дороге поровну разделишь.

— Слушаюсь, — отдал честь энкавэдэшник и принялся сгребать подстреленную птицу.

— Ну что, поедем? — предложил Каганович. Что до охоты, тут он был последним.

Все закивали, Каганович бросил Хрущеву: «Сядешь со мной», вытер со лба пот и побрел к стоящему в конце колонны большому черному ЗИСу. Хрущев с сожалением протянул ружье энкавэдэшнику и засеменял вслед за Кагановичем. Булганин и Маленков устроились во второй машине, Ворошилов и Берия направились к первой. Расстроенный неудачей, нарком обороны хлопнул дверцей, буркнул шоферу: «Заводи» и молча откинулся на заднем сиденье. Моторы взревели, охранники на ходу вскочили в свои эмки, кортеж взял курс на Кунцево.

Мошенная красным кирпичом узкая и извилистая дорога неожиданно оборвалась у ворот Ближней дачи. Машины чуть притормозили, но тут же продолжили путь к видневшемуся вдалеке двухэтажному бледно-розовому дому.

Сталин и Молотов ждали на крыльце. Хрущев выскочил чуть ли не на ходу и быстрым шагом направился к Сталину. Сталин улыбнулся в усы, Хрущев понял, что хозяин в хорошем расположении духа, и открыл было рот, чтоб доложить об успешной охоте, но Сталин его опередил:

— К нам едет Риббентроп.

Хрущев оторопел, остановился, да так и остался стоять с раскрытым ртом. Сталин, с удовольствием глядя на глупую физиономию Хрущева, и вовсе разулыбался. Наконец, Хрущев пришел в себя.

— Он что, сбежал, спрятаться у нас задумал?

— Да нет, не сбежал. Гитлер мне телеграмму прислал. Прошу вас, господин Сталин, принять моего министра Риббентропа, он, так сказать, везет конкретные предло-

жения. Вот мы тут с Вячеславом все обдумали и пришли к выводу — надо с ними договор подписывать.

Хрущев лихорадочно соображал, шутит Сталин или хочет его на чем-то зацепить.

— Это же... Это же...

— Что «это же»? Предательство? Коварство? — улыбка исчезла, лицо Сталина сделалось привычно строгим и сосредоточенным.

Тем временем члены Политбюро вышли из машин и сгрудились у входа. Хозяин жестом велел проходить. Все прошли в зал, ждали. Сталин молча раскурил трубку и, вопреки обычаю расхаживать взад и вперед, остановился напротив Хрущева.

— Ты что, забыл Мюнхен? — Сталин снова улыбнулся, но уже нехорошей улыбкой, словно игрок, который бросил карты на стол, но не уверен, что поступил правильно. — Забыл, как предали Чехословакию? А ведь потом, в декабре тридцать восьмого, Риббентропа пригласили в Париж и долго его убеждали, что Англия и Франция и пальцем не пошевелят, если Германия начнет войну на Востоке. Действуй, мол, господин Гитлер, угощайся Украиной и Белоруссией. Но разбойник-то сообразил, на что его толкают, понял, что риск слишком велик. И к нам. А мы тоже не забыли, как в двадцатом Польша оттяпала у нас большой кусок Украины и Белоруссии. Мы вот сейчас возьмем и вернем свое. А Польшу, — Сталин помедлил, — этот плацдарм империалистических держав, уничтожим, сотрем с лица земли.

— Но у Польши договор с Англией и Францией. Вдруг они войну начнут? — решил вставить Ворошилов, сильно обиженный, что не его, а Молотова Сталин выбрал в советники по такому важному вопросу.

— Не бойся, Клим, не начнут. Только самоубийцы осмелятся пойти войной против Германии и СССР. Ну, а если капиталисты все же захотят устроить бойню между собой, тем лучше. Они будут изматывать друг друга, а мы

будем ждать и готовиться. А потом посмотрим. Верно? — обращаясь к Хрущеву, закончил Сталин.

— Верно-то, оно верно, только наши идеи противоположны с ихними. Они врагами остаются нашей, значит, марксистско-ленинской идеологии или как?

Сталин помедлил, подымял трубкой.

— Мы исходим из всемирно-исторической точки зрения. Не таскать каштаны из огня для той или иной капиталистической державы, а добиваться ослабления всех их, вместе взятых. Вот наша стратегия. А когда она восторжествует, победят и наши идеи.

— Тут вот и другой вопрос возникает, значит, с Коминтерном. Гитлер ведь коммунистов в тюрьмы сажает и целую национальность задумал уничтожить. А мы...

— Ты что, Никита, — Сталин с презрением оглядел Хрущева с ног до головы, — гнилой интеллигент? Боишься руки замарать? С Лазаря пример бери, он не боится.

Хрушев побледнел, энергично замотал головой.

— Не интеллигент я вовсе.

— То-то же! Ну что там, птица ваша готова? — примирительно сказал Сталин и направился в столовую.

Члены Политбюро последовали за ним. Каганович шел первым.

9. КОМАНДАРМ

Плечистый и широкогрудый, он сидит за большим столом, опустив голову с густой шапкой черных, но уже тронутых сединой волос. Это его привилегия сидеть: рана ноги, полученная в двадцатом под Варшавой, неожиданно дала о себе знать. Командующий стоит. Сталин ходит из угла в угол. Вот уже целый час он их распекает, но командующего словно не замечает; обращается только к нему, заму. «Мы должны одеть в броню всю авиацию, все самолеты. Почему руководство ВВС РККА саботирует ре-

шение партии и правительства?» — «Но ведь они же не будут летать!» — «Почему вы, товарищ командарм, думаете, что вы умнее, чем Политбюро и вся наша партия?» — «Я не умнее, я — летчик». — «Правильно, вы у нас герой Гвадалахары и Халхин-Гола, но без партии вы никто». — «Самолеты, одетые броней, не поднимутся в воздух». — «С той броней, которую нам подсовывают спецы-вредители из Броневого института, конечно, не поднимутся. Но партия нашла способ создать легкую броню. Идею подал рабочий-изобретатель. Он взял два листа железа, соединил их, и получилась броня: пуля, пробивая первый лист, теряет силу. Второй остается невредимым. Это же диалектика: погибая — защищает!»

При слове «диалектика» Гриша поднял голову, но увидел не Сталина, а маленького узколобого человека с изъеденным оспой лицом, который все знает, всех может поучать, назначать и снимать.

Сталин тоже посмотрел на Гришу. Но никого не увидел.

10. УГОЛЕК И ЛЬДИНКА

Мира услышала звуки, похожие на колокольный звон, открыла глаза и с облегчением вздохнула. Она привыкла к этим звукам, знала, что это звенят замороженные трупы, которые забрасывают в грузовик, и поняла — жива, еще жива! Впрочем, был и другой повод радоваться, но она никак не могла вспомнить, какой именно. Кажется, пошел третий день, размышляла она, когда я последний раз сползала с дивана. Помню, вынула из рам портреты папы и мамы, рамы положила в «буржуйку», подождала, потом попыталась снять автопортрет Вавы — но не смогла его достать. Сил хватило лишь поплотнее завернуть Сашу, поцеловать его. Он дернулся, фыркнул — видно, губы ее были очень холодные — и снова заснул, а она поползла обратно на диван. Лежать и ждать, когда и они с Сашей

превратятся в сосульки и их забросят в грузовик, который по утрам объезжает переулки на Литейном.

Ага, вспомнила — Сашу уже не забросят! Вчера в квартире раздались человеческие голоса.

— Ау, есть тут кто живой? Ау!

Она вспомнила, как открыла глаза и увидела перед собой серую шаль.

— Гражданочка, сыночку твоему сколько будет? — спросила шаль.

Мира не поняла.

— Сыночек-то у тебя дышит. Стало быть, заберем его в детдом, живой будет. Ты только скажи, сколько ему и как звать.

Мира наконец сообразила, что от нее хотят, но говорить не было сил. Шаль продолжала дышать теплом:

— Говори, говори, милая, я по губам понимаю.

— Саша. Шесть ему...

— Ага, поняла. Пиши, Варвара: Александр, значит. Шесть годков. А фамилия как? Фамилия вашенская как будет?

— Пяти...ор..ски...

— Не поняла, давай еще скажи.

— Пяти..ор..ский...

— Пятиборский? Так и пиши, Варвара, Пятиборский. Бирку ту же завяжи, смотри, шоб не спала. Ладушки, — дыхнула шаль на прощание, — мы пойдем, а ты, милая, лежи, дождайся. Вот, с робятишками управимся, родителей собирать будем.

Несуразное существо в стеганых штанах, ватнике и огромных валенках со скрипом поднялось с колен. Мира закрыла глаза: какое счастье, что Сашу забрали в детдом! Теперь он уже точно останется жить, вырастет большим и красивым, как и его отец.

С этой приятной мыслью Мира отошла в сон.

Разбудило ее горячее дыхание. Нет, это был не пар изо рта старой женщины, это был огонь, настоящий огонь!

— Мира, Мирочка, родная моя, проснись, это же я, Вава.

Боже мой, Вава! Ее Вава, ее дорогой, ее любимый, ее единственный Вава!

— Вава, Вавочка, милый мой, неужели это ты? Я так ждала тебя. Где же ты был? Целых полтора года ни одной весточки. Но почему, Вава, почему?

— Не мог я писать, радость моя. Совсем, со-всем-не-мог! Помнишь наш последний день, двадцать второго июня?

— Да, да, ты был такой бледный, ты смотрел куда-то в пространство. Я испугалась, спросила, что с тобой, а ты не ответил, только протянул руку. Я разжала кулак, а там лежала эта бумажка... повестка. А потом ты собрался и ушел. И больше никогда, никогда...

— Прости меня, родная, я думал, что еще увижу тебя. Я не знал, что нас сразу отправят на фронт.

— Как, тогда же, в тот же день?

— Ну конечно, родная. Выдали гимнастерку, ботинки, мешок. Раздали винтовки, — одну на пятерых, — и марш! Мы думали, будем чему-то учиться, а нас через леса и болота на Лугу. Ну и намучились! Одно утешение, со взводным нам повезло. С виду мужик-мужиком, рожа круглая, словно сито, а на самом деле душа-человек. Пройдем километров десять, он: «Привал, интеллигенция, будем кипятки ставить, обмотки учиться завязывать». В общем, довел нас до Луги. Там паек выдали, и снова в поход. На юг, немца бить. А никакого немца и нет. Плутаем в лесах и болотах, вымокли, как черти, и уж не знаем, где мы и куда идти.

На десятый день слышим гул. Взводный говорит: «Это артиллерия, немецкая». Гул все приближается, в сплошной рев переходит. Взводный командует: «Окопаться, занять оборону». Мы изо всех сил землю роем, кто чем может, — лопатой, штыком, руками. Потом залегли, ждем, что немец вот-вот пойдет в атаку, но слышим, танки и машины где-то у нас сзади. Уже и мотоциклы стрекочут, и

автоматные очереди. Мы врассыпную и в лес. Я взводного держусь, стараюсь не отставать. Вдруг смотрю — он упал и за голову схватился. Подбегаю, спрашиваю: «Товарищ командир, что с вами? Давайте я вас подниму». — «Ты, что ли, Володя? Не вижу я, голову зацепило, конец мне. А ты беги, к своим пробирайся. И документы выбрось. Нельзя с твоими документами».

Я пытаюсь его поднять, не могу — большой он, тяжелый. А пули над головой свистят, ветки сбивают. Тут я достал военный билет, карточку. Только зарыл, слышу: «Стоять! Руки вверх!» Поднимаюсь, немцев двое. Один пожилой, в шинели, автомат на меня направил, вот-вот выстрелит. Другой молодой, с винтовкой, бледный весь, перепуганный. Пожилой кричит: «Почему второй не встает? Встать!» Я — ему: «Он мертвый». Пожилой мне: «Пять шагов вправо», а молодому: «Проверь». Я отхожу в сторону, молодой подходит к взводному, но тронуть его боится: «Вроде мертвый». Пожилой: «Ладно, веди этого, я сам проверю». Молодой наставил на меня винтовку, орет: «Марш!»

— Ужас, Вавочка! Как ты это пережил?

— Как в тумане, Мирочка, словно и не со мной было.

— А потом? Что потом, Вава?

— Потом нас, пленных, под конвоем погнали в Остров. Собрали на окраине, оградили проволокой, переписали и дальше отправили.

— Как же ты без документов?

— Случай выручил. Когда переписывали, офицер спрашивает: «Как это документов у тебя нет? Ты, наверное, командир или комиссар». — «Нет, — говорю, — я художник». Он как рассмеется: «Художник, говоришь? А ну, нарисуй меня». И протягивает блокнот и ручку. Я чего-то там начеркал, он берет, другим показывает. «Похож?» Все ржут — вроде похож. «Имя, фамилия, воинское звание?» — спрашивает. «Григорьев, — говорю, — Владимир Александрович, красноармеец, рождения девятьсот третьего, из Ленинграда». — «Ну хорошо, поверю, но если

соврал, получишь пулю». Да что это я все о себе, ты-то как, моя милая?

— Плохо мне, Вавочка, стало. Дверь за тобой закрылась, я села в твое кресло, — знаю, надо плакать. Не плачется. Надо кричать. Не кричится. Саша сначала сам по себе играл, потом ко мне пришел, стал о чем-то спрашивать. Я хочу ему ответить, не могу, горло перехватило, хочу погладить его — руки не слушаются. Он расплакался, забрался на колени, в щеку меня укусил. Тут я в себя пришла, обняла его, стала целовать, успокаивать. «Папу нашего, — говорю, — в армию забрали, мы с тобой вдвоем остались». Он снова в плач, а я его глажу, целую: «Это ненадолго, Сашенька, война скоро кончится, и папа к нам придет».

Накормила его, уложила, думаю, надо всех обзвонить, сообщить, что тебя в армию забрали. Взяла телефон, а он то трещит, то занят. Всю ночь в кресле просидела, а утром кое-как собралась с силами, умылась холодной водой и пошла в музей.

Выхожу на улицу — ярко, солнечно, народу полно, все мечутся, куда-то бегут, трамваи переполнены. Добралась, захожу в отдел. Все мои уже на месте, молчат и на меня смотрят. Взяла себя в руки. «Большая беда, говорю, случилась, но ответственность за работу никто с нас не снимал, так что давайте работать». Через полчаса пришли из дирекции: музей закрыть, двери везде запереть, окна чем можно завесить, заведующим отделами собраться в Белоконном зале. Пришла я туда, а зал уже полон, и со всех сторон шепотки: «Мой вчера ушел, моего ночью забрали».

В двенадцать вышел Петя Балтун — он обязанности директора исполнял. Бледный, растерянный. «Дорогие дамы и товарищи! Многого сказать не могу. Судьба фондов решается в правительстве. Завтра начнутся занятия по противовоздушной обороне. А пока что прошу по очереди в кабинет».

Меня Балтун сразу о тебе спросил. «Призвали? Тогда вот что. Уже есть решение: все самое ценное вывозить в Пермь. Эшелон дают. Я постараюсь тебя взять. Нехорошо тебе одной с парнем оставаться». — «Ты что, хочешь чтоб я музей бросила? Ни за что! И с Вавой мы договорились — буду ждать его в Ленинграде». — «Как знаешь. Только я все равно на тебя разрешение оформлю».

— А скажи, Мирочка, удалось ли коллекцию спасти?

— Удалось, Вавочка, удалось. Работали мы днем и ночью. Сначала скульптуры бинтовали, а потом в ящики укладывали. Заколачивать было труднее всего. Женщины одни, неумехи. Все руки себе поотбивали. Потом ящики таскали в машины. Когда последнюю машину загружали, подошел ко мне Балтун и этак официально: «Мирьям Максимильяновна, вам в эшелоне место забронировано. И мальчика можете взять. Вообще членов семьи брать не разрешается, но для вас сделано исключение».

Расплакалась я: «Не могу, Петр Петрович, ведь половина коллекции здесь остается, как же без меня?»

В общем, не поехала я с ними.

— А Саша-то как?

— С собой брала. Мы работаем, а он помогает — гвоздик подаст, молоток подержит. Все хорошо было, только от тебя ни весточки!

— Не плачь, милая, не плачь, пожалуйста. Посуди сама, как я мог писать? Из Острова меня отправили в Минск. Там мы аэродром расширяли. Работали днем и ночью, а кормили так, что многие от голода падали. И одежда в лохмотья превратилась. Только уж потом мне шинель досталась и сапоги. Одно там было хорошо — никто никаких объяснений не требовал, вышел на работу — и ладно!

Правда, через три месяца я уже едва ноги таскал, думал, больше не выдержу. Но так получилось, что работы кончились и стали нас по лагерям рассылать. В один день и меня в вагон запихнули. Пленных там было полным-полно. Мы друг об друга греемся и все гадаем — куда ве-

зут? Где-то под Тильзитом нас из вагонов выгнали, выстроили в шеренгу и марш. Прошли километра два — забор с колючей проволокой, вышки, собаки. Охранники нас пересчитали, потом ворота открыли. А там бараки рядами стоят, все чисто, аккуратно и дорожки гравием посыпаны. Чудеса!

В бараке каждому свое место определили, разрешили мыться и бриться. И на работы выводили не каждый день. Только вот народ там оказался злой, озверелый: скандалы и драки чуть ли не каждый день — за кусок хлеба или пачку табаку могли и убить. И еще вербовщики туда часто наезжали. Приедут, и давай пленных вызывать и обо всем расспрашивать. Меня тоже вызвали. Прихожу в комендатуру, там немецкий офицер, капитан, кажется, и другой человек в форме, но без знаков различия. Капитан вежливо предложил мне сесть.

— Что-то мы о вас, господин Григорьев, мало знаем. Вы — художник, родились в Петербурге. Верно? Но из какой вы семьи, чем ваш отец занимался?

Я вдрогнул — капитан говорил по-русски, словно только вчера прибыл из старого Петербурга. Он заметил мое недоумение, улыбнулся.

— Я тоже из Петербурга, учился там в немецкой гимназии. А вы где учились?

— В Девятой классической.

— А живопись где изучали?

— В Свободных художественных мастерских.

— Как они до переворота назывались?

— Высшее художественное училище.

Капитан снова улыбнулся.

— Теперь вижу, что вы петербуржец.

Тут второй вступает.

— В ВКП(б) состоял, номер членского билета помнишь?

Этот был наш, советский.

— Я — беспартийный.

— Вот и хорошо, — говорит немец, — а как вы относитесь к Сталину?

Я молчу, не знаю, что сказать.

— К сталинской диктатуре, я имею в виду. Верите ли вы в возможность свержения сталинской власти?

— Я очень далек от политики. Я художник.

— Понимаю, — немец встал, — в гражданской жизни и я был инженером. Но сегодня все мы должны занять позицию. Либо вы с немецкой армией, которая несет освобождение России, либо вы — сторонник сталинской диктатуры.

Вербовали многих. Тех, кто соглашался, сразу куда-то отправляли. Я всякий раз твердил: не солдат я, ни одного выстрела не сделал! Вербовщики от меня отстали, зато начал цепляться один гнусный тип из пленных. Звали его Петька. Белобрысый, голова узкая, вытянутая, а глаза маленькие, въедливые, так и сверлят насквозь. Начал он с того, что хлеб стал у меня выпрашивать. Я вначале думал, может, он с ума сходит от голода. Дал один раз, а он снова и снова. Ходит за мной по пятам и уж не просит — требует. Я рассвирепел, говорю: «Отстань, башку сверну». А он мне: «Не дашь — донесу». — «Чего это ты на меня донесешь?» — спрашиваю. «А то, — отвечает, — что никакой ты не Григорьев, а самая, что ни есть, жидовская морда».

— Так и сказал?

— Не то страшно, что он так сказал, а то, что я растерялся. Спрашиваю: «Откуда ты это взял?» А он: «Оттуда и взял, что навидался я вашего брата сверх головы и породу вашу за версту чую». И давай бегать по бараку и орать, как сумасшедший: «Григорьев — жид! Жид! Жид!»

— Ужас, Вавочка!

— Ну, успокойся, родная моя, успокойся. Лучше про себя расскажи. Писали ли родители, как они?

— Не знаю, Вавочка, может, и писали, только писем я не получала. У нас ведь блокада началась, не то что письма...

— Как это — блокада?

— Так ведь немцы окружили город со всех сторон, а в сентябре такие бомбежки начались, просто ужас! Однажды, когда мы «Анну Иоанновну» закапывали, слышим тяжелый гул. Это немецкий самолет над нами кружит и зажигательные бомбы сбрасывает. Одна на крышу Этнографического музея упала. Минуты не прошло, а крыша уже горит. Я смотрю на багровое зарево, остолбенела, а мне кричат: «Мира, Мира!» Тут я вижу: у меня под ногами бомба. Шипит, огнем брызжет и запах ужасный. Бросились мы ее песком засыпать, а она все шипит и все не сдается. Засыпали ее, наконец, и «Анну Иоанновну» закопали.

К началу октября, когда мы все экспонаты законсервировали, пошла я к директору, спрашиваю, что же дальше? «Что? Работать. Хоть и мало нас осталось, но, думаю, раз в неделю будем собираться в подвальном гардеробе, семинары проводить, мнениями обмениваться, диссертации обсуждать. И вы приходите, Мирьям Максимилиановна».

В тот день мне последний раз ученый паек выдали. Все-то давно продукты по карточкам получали, а мы с Сашей — на пайке. Когда паек прекратился, я тоже стала карточку получать. Сначала по ней двести грамм хлеба выдавали и тарелку супа. А потом стали каждый день выдачу уменьшать. Сашу едва накормлю, а у самой от голода под ложечкой сосет, голова кружится.

Вначале я все же несколько раз в музей выбиралась, а потом стало неважно. Мороз жуткий, снег, ветер. Трамваи и троллейбусы, словно снежные курганы, посреди улиц стоят. В общем, жуткое зрелище: ни движения в городе, ни света, словно вымер весь. А главное, сил нет, голод все отнял. Если бы ты знал, Вава, как он меня мучил! Желудок наружу выворачивал, ноги и руки ватными делал. Потом галлюцинации начались — куда ни взгляну, а перед глазами гора пшенной каши. Горячей, жирной, которую Саша на пол опрокинул в тот последний день, двадцать второго июня. Я, как только увидела, сразу бросилась кашу собирать. Сначала с боков подгрести, чтобы жир не расте-

кался, а потом ложкой в самую гушу, и быстро-быстро в ведро. Собрала и давай пятно отмывать. Мылом и без мыла, а оно все проступает и проступает. И — ведь подумать — оно-то меня и спасло!

— Как спасло? Пятно спасло?

— Когда совсем плохо стало, я ночью сползала с дивана, и давай ту кашу есть. Сначала с боков подойду, потом в самую гушу... И на другую ночь — сползу, полижу пятно и вроде съта. Потом голод как-то отступил, холод стал мучить. Мы ведь «буржуйкой» спасались. Мебель жгли, потом книги. А в квартире все холоднее и холоднее. Сашу во все одежды укутала, так и лежим целый день.

— Как же он все это перенес?

— Слава Богу, обошлось. Когда я уже думала — конец, объявились в доме две женщины и забрали его в детский дом. Там тепло и кормят. О нем не беспокойся, расскажи, чем у тебя-то кончилось?

— Если бы кончилось! Разговоры о том, что Григорьев — жид, дошли, видно, до немцев. Однажды ночью подняли меня с нар и отвезли в Тильзит, в гестапо. Там пять дней допрашивали. Били, грозили на месте расстрелять. Но доказать-то ничего не могут. В конце концов, пришел какой-то начальник: «Хватит, говорит, с ним возиться, отправляйте в лагерь». Вернули мне сапоги и шинель, и в вагон. А я думаю: хорошо, что в другой лагерь отправят, Петькину рожу больше видеть не буду.

Везли нас долго, везде остановки, слышно, как новые вагоны прицепляют. Наконец, стоп, приехали: вагон открывают, командуют выходить, строиться. Выходим на платформу: кругом солдаты из СС с собаками, вышки с пулеметами, колючая проволока, а где-то на задах трубы дымят. И запах. Необычный какой-то, сладкий, противный.

Солдаты бегают, кричат, людей из вагонов выгоняют. Смотрю, а там гражданские: женщины, дети. С чемоданами, узлами. Маленькие все, скрюченные, и желтые звезды — у кого на рукаве, у кого на спине. Смотрю я, а у

самого все внутри дрожит — их-то за что? И что это такое — желтые звезды?

Выгнали всех на платформу, кое-как построили и начали сортировать. Нас, мужчин, что поздоровей, в одну колонну, слабых — в другую, женщин — в третью, детей — в четвертую. Что тут началось! Женщины кричат, плачут, детей не отдают. Солдаты их прикладами бьют, детей вырывают, а собаки с поводков рвутся, вот-вот начнут людей в клочья драть.

Повели в лагерь. А он колючей проволокой на секции разделен. И в каждой бараки, вышки, полицейские с дубинками. Ведут нас из одной секции в другую, пока в баню не привели. Там одежду отобрали, постригли наголо и бризоном полили. Потом выкололи каждому номер — я стал В-7049, — выдали полосатую одежду и снова погнали.

Идем, а уже вечер, темно. Вдруг видим, по ту сторону проволоки что-то горит. Подходим ближе — яма. На дне огонь горит, а по краям охранники стоят и людей в эту яму сбрасывают. Раскачают, и в яму. Тут я решил, что попал в ад. Просто умер и попал в ад.

Пришли в барак, а там народа столько — повернуться невозможно! Друг у друга на головах стоим, едва дышим. Отстояли ночь, а утром полицаи двери открыли, разрешили выйти. Я пошел вдоль проволоки, вижу, с другой стороны человек подметает. Когда я с ним поровнялся, он, не поднимая головы, меня спрашивает по-польски: «Ты кто, еврей?» — «Русский», — отвечаю. Тогда он мне наполовину по-польски, наполовину по-русски: «Что же тебя в резерв-лагерь забрали? Сюда евреев берут и малолеток, а русских на фабрику посылают». — «Какой такой резерв-лагерь?» — спрашиваю. «А что вон там за каминь, знаешь?» — «Не знаю». — «Это же газ-камеры. Там людей сжигают. Четыре тысячи в день. А если поезд вовремя не подойдет, недобор случится, тогда из резерв-лагеря берут. Чтоб норму выполнить».

Сказал и, не поднимая головы, ушел. Я к бараку вернулся, а тут надзиратели и полицаи давай нас строить и на группы разбивать. Мою группу в другую зону повели. Там нас снова в барак загнали и выстроили вдоль нар. Старший капо — капо, это Мирочка, тоже полицай, только из заключенных, взобрался на скамейку и говорит с гордостью: «Вы попали в самый большой концлагерь, каких больше на свете нет. Запомните мои слова, наш концлагерь — Освенцим — войдет в историю человечества!»

— Не надо, Вава, не могу больше это слушать! Ничего не говори, подойди лучше поближе, дай я тебя поцелую. Ой, Вава, почему ты такой горячий? Ты просто огонь, что с тобой, Вава?

— Ну конечно, родная, я — горячий. Я ведь сгорел в крематории, почти весь сгорел. Только вот уголек от меня и остался. А ты, Мира, почему ты такая холодная? Боже, да ты просто ледяная!

— Конечно, Вава, ледяная. Я ведь так и заледенела тогда на диване. Отвезли меня в грузовике, выбросили в большую яму. А весной я оттаяла. Только сосулька от меня и осталась.

— Ау, есть тут кто живой? Ау! Слышь, Варвара, тут что ли мы третьего дня мальчонку забирали?

— Тут, вроде.

— И мамаша евонная тут же лежала, живой была. Так я помню?

— Может, и так, только, видать, кто-то ее подобрал. Нету.

— Глянь-ка, Варвара, тут лужица какая-то, а в ней уголек. Откуда бы это?

11. СПИСКИ МАМЫ ГОЛДЫ

Бен-Гурион перевел дыхание, зачем-то ударил председательским молотком, продолжил:

— На этом основании мы, члены Народного Совета, представители еврейского населения Эрец-Исраэль и сионистского движения, собрались в день истечения срока британского мандата на Эрец-Исраэль и в силу нашего естественного и исторического права и на основании решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций настоящим провозглашаем создание Еврейского государства в Эрец-Исраэль — Государства Израиль.

Голда попыталась стряхнуть слезу, но руки дрожали, не слушались. Она поспешила их спрятать — лучше уж пусть текут слезы — и вернулась к своим мыслям. Да, я не верила, что доживу до этого дня. Но дожила. Быть может, кое-кто назовет нас авантюристами, но это неважно; если мы продержимся даже полгода, мир будет знать, что спустя две тысячи лет было провозглашено еврейское государство. Следующим поколениям придется лишь добиваться его восстановления. И вот тогда-то вспомнят о нас.

Ровный голос Бен-Гуриона неожиданно сорвался:

— Государство Израиль будет открыто для репатриации и объединения в нем всех рассеянных по свету евреев.

Все встали и начали аплодировать. Бен-Гурион откашлялся, снова постучал молотком и продолжал читать. Наконец, он произнес все 979 слов, из которых состояла Декларация независимости, и попросил присутствующих встать. И тут произошло непредвиденное. Рабби Фишман начал читать браху, благословляя день, до которого присутствующим удалось дожить. В первый момент лицо Бен-Гуриона перекопилось, он решил, что это ответ клерикалов на его несогласие включить в Декларацию слово «Бог». Все, однако, произошло быстро и пришлось к месту. Старик предпочел не заметить «отклонения от процедуры» и спокойным тоном предложил членам Народного Совета подойти к столу президиума и поставить свои подписи.

Рука дрожала, Голда никак не могла сообразить, где же ставить подпись. Невозмутимый Шарет — он один был спокоен в эту минуту — пододвинул ей папку, сунул ручку.

— Здесь, Голда.

Она расписалась, вернула ручку Шарету и вдруг отчетливо представила себя на одинокой скале, вокруг которой яростно бушуют волны. Шарет угадал ее мысли.

— Теперь главное, чтобы нас не сбросили в море.

Дома Голду ждали друзья. Они уже откупорили бутылку вина, пели и танцевали вместе с солдатами из охраны. Заставить себя веселиться Голда не могла. В полночь закончится британский мандат, последние томми отплывут на своем корабле, и арабские армии — армии, регулярные армии! — перейдут границу. Интересно, что с нами сделают? Наверное, отправят в те же лагеря на Кипре, которые англичане устроили для евреев из Европы. В конце концов не перебьют же все 650 тысяч! А почему, собственно, не перебьют? Если перебили шесть миллионов...

Зазвонил телефон. Голда схватила трубку, все повернулась в ее сторону.

— Ничего страшного, — поспешила она успокоить собравшихся. — Старик вызывает.

Одной рукой Бен-Гурион что-то писал, другой показал ей на стул.

— Я уезжаю в Америку, Шарет тоже. Ты остаешься.

— Ты нужен здесь, — возразила Голда.

— Не поняла. Главное сейчас — оружие, а чтоб его купить, нужны деньги. Деньги в Америке, больше их не откуда взять.

— Все я поняла, но здесь тебя никто не может заметить, а в Америке я сумею.

— Опять не поняла, — с досадой махнул рукой Бен-Гурион, — я говорю не о деньгах, а о день-гах! Нам нужен не миллион, нам нужно, — Бен-Гурион встал, набрал воздуха и чуть приподнялся на цыпочках, — нам нужно... двадцать пять или тридцать миллионов! Я должен объяснить

им, что предстоит война не с бандами муфтия, а с регулярными войсками, с Арабским легионом! Нам нужны пушки, танки, самолеты.

Голда достала папиросу, закурила.

— Тебе ехать нельзя. Когда хочешь, чтобы люди жертвовали большие деньги, нужно дойти до их сердец. С твоим английским ты не сумеешь, — выпустив клуб дыма, твердо добавила. — Я справлюсь.

Удар пришелся ниже пояса. Бен-Гурион действительно был слаб в английском, но обижался, когда ему об этом напоминали. Сейчас было не до обид.

— Хорошо, поезжай, только без денег не возвращайся.

Когда пожертвования перевалили за 50 миллионов, Голда позволила себе расслабиться. Она лежала на кровати в гостиничном номере, курила одну папиросу за другой и время от времени пыталась дозвониться в Израиль. Мысль о том, что Сарра осталась в Ревивим, маленьком кибуце в Негеве, отрезанном от Тель-Авива египетскими войсками, жгла сердце. Дозвониться не удавалось.

Кто-то постучал в дверь. Голда сползла с постели, стряхнула на пол пепел и пошла открывать. На пороге стоял Шарет.

— Что-то случилось?

— Ничего не случилось, — поспешил успокоить ее министр иностранных дел, — просто узнал, что ты здесь, решил зайти просто так. У меня два часа до отлета.

— Чаю сделать?

Пока Голда готовила чай, Шарет расточал ей комплименты.

— Ты молодец, пятьдесят миллионов — это настоящие деньги. Старик доволен. Авигур уже вылетел в Польшу закупать оружие. Кажется, у него получается.

— Дай Бог!

— К сожалению, у поляков немецкое старье. Вся надежда на Чехословакию.

— Скажи, Моше, чехи дают оружие с согласия Москвы? Шарет кивнул и про себя улыбнулся — Голда облегчила ему задачу.

— Москва — ключ ко всему, но мне некого туда послать.

— Меня, слава Богу, ты послать не можешь — я по-русски ни слова не помню.

— Собственно говоря, язык не имеет значения.

— А что имеет?

— Мы должны отправить в Москву человека, с которым там станут разговаривать.

— Но ведь они уже разговаривают. Они нас признали. Теперь дают оружие. Ты же сам говоришь, без согласия Москвы чехи бы не посмели...

— Этого мало.

— Ты хочешь, чтобы русские давали оружие напрямую?

— Не в этом дело. Там два миллиона. А может быть, три.

Голда вдруг поняла, почему Шарет «просто так» появился в ее номере. И все же решила проверить, согласовал ли он вопрос о ее назначении со Стариком.

— Здесь я делаю конкретное дело. А что я знаю о России? И вообще, почему всегда я? Это несправедливо! В конце концов, у меня дети: Менахем воюет на Севере, Сарра в Негеве, с ней даже нет связи! Я имею право хотя бы находиться поблизости от детей.

— Справедливость тут ни при чем — все хотят быть поблизости от детей. Это вопрос дисциплины. Я зондировал через Прагу — в Москве «миссис Меерсон» хотят. Значит, ты должна ехать, а не противиться решению партии. Когда ежедневно приходят известия о новых потерях, каждый из нас обязан выполнять долг!

Шарет говорил словами Старика; Голда поняла: поездки в Россию не избежать.

— Твоя дочь, кажется, радистка? Можешь взять ее с собой, посольству так или иначе нужен радист, — от себя добавил Шарет.

Московское посольство Голда устроила на манер кибуца. Как сделать иначе, она просто не знала. А вот цену деньгам знала хорошо. Когда ее заместитель Намир просил денег на очередной файф-о-клок, она протягивала ему сто долларов. На его недоуменный вопрос отвечала просто и ясно:

— Процедура провозглашения независимости обошлась нам в двести долларов, на твои посиделки я отпускаю половину.

Спорить было бесполезно, тем более, что пример экономики Голда подавала сама. Рано утром, прихватив с собой помощницу, она отправлялась на рынок, покупала, что подешевле, а потом готовила еду на электрической плитке. В московском дипкорпусе «посол-кухарка» сделалась объектом шуток и издевательств. Больше других старались британцы. Ни один прием в особняке на Софийской набережной не обходился без того, чтобы кто-нибудь не изобразил, как Голда шупает петуха на Центральном рынке. Слухи об этом до Голды доходили, но ничуть ее не смущали. Смущало другое — добраться до Самого не получалось. Русские были вежливы, но невероятно уклончивы.

Голда пожаловалась знакомому журналисту из Нью-Йорка Генри Шапиро.

— Русские нас в грош не ставят, не идут ни на какие контакты.

Шапиро, съевший зубы на кремлевских интригах, попытался ее успокоить:

— К вам относятся не хуже, чем ко всем остальным, может быть, даже лучше. Сейчас они к тебе присматриваются; каждый твой шаг известен, каждое твое слово услышано. Поверь, они сами выберут время и место, когда с тобой говорить.

Шапиро не ошибся. Седьмого ноября Голда стояла на трибуне мавзолея Ленина и с восхищением наблюдала военный парад в честь Дня революции. Уже пролетели над

Красной площадью самолеты, прошли танки и артиллерия, уже начали расходиться с трибун дипломаты, а она все стояла и думала: нам бы толику этого богатства!

Неожиданно подошел Молотов.

— Нравится?

Голда кивнула.

— Не думайте, что мы получили это легко и в один день. Придет время, и вы сможете получить такие штуки. Надеюсь завтра вас увидеть.

Официальное приглашение на прием к министру иностранных дел уже лежало на ее столе, но личного приглашения от второго человека в Кремле Голда не ждала. Это знак, решила она и всю ночь обдумывала, с чего начнет разговор.

В зале приемов на Арбате послов вызывали по алфавиту. Дождаясь своей очереди, Голда прогуливалась в фойе и о чем-то болтала с Саррой. Неожиданно подошел Генри Шапиро, держа под руку какого-то господина с трубкой в одной руке и бокалом вина — в другой.

— Ты хотела познакомиться с Эренбургом? Прошу любить и жаловать.

— Мы знаем о вашем вкладе в борьбу с фашизмом. Говорят, солдаты читали ваши статьи перед тем, как пойти в бой. Это правда? — сказала Голда по-английски.

Эренбург, больше похожий на французского дипломата, чем на советского журналиста, окинул Голду презрительным взглядом и громко, чтоб слышали все вокруг, отчеканил:

— Терпеть не могу русских евреев, которые говорят по-английски, — покачиваясь, он делал вид, будто несколько пьян.

Скандала Голда не хотела.

— А мне очень жаль евреев, не знающих ни одного еврейского языка.

Эренбург пожал плечами, повернулся и тут же исчез. Голда поняла, победа за ней.

Наконец распорядитель прокричал:

— Ее превосходительство, посол государства Израиль!

Голда вошла в приемную. Молотов пожал ей руку, поблагодарил за поздравление и, слегка поклонившись, повернулся в сторону входящего посла Италии. Обескураженная Голда, направилась было к выходу, но тут к ней подошла невысокая женщина с крупными чертами лица и живым, пронизательным взглядом. Женщина обратилась к Голде... на идиш.

— Я — Полина Жемчужина, его жена, — женщина кивнула в сторону Молотова. — Рада вас видеть. Пойдемте со мной, я хочу с вами поговорить.

Боже, здесь, в этом гадюшнике, услышать родной идиш, узнать интонации, с которыми говорили с ней евреи в Америке и других странах! Это был настоящий сюрприз. Голда вдруг забыла о дипломатическом этикете и протянула Жемчужиной руки. Какую-то долю минуты две женщины смотрели друг другу в глаза, словно старые, давно не видевшиеся подруги.

Первой пришла в себя Жемчужина. Она взяла Голду под руку, поднялась с ней на второй этаж, открыла какую-то дверь, пропустила гостью вперед. Усевшись за большой письменный стол, Жемчужина жестом показала Голде на стул и как бы невзначай спросила:

— Так вы собираетесь отдавать Негев или нет?

Вопрос о Негеве был горячей темой, отвечать на него Голде приходилось ежедневно.

— Я не могу отдать Негев, там живет моя дочь.

Жемчужина улыбнулась.

— Хорошо, положим, не отдадите, но кем вы собираетесь его заселять, вас ведь всего горстка?

— Сегодня горстка — завтра будут миллионы.

— Миллионы! Откуда вы возьмете миллионы?

Голда поняла, что момент наступил. Все варианты, которые она заготовила, перепутались, неожиданно для самой себя она выпалила:

— Из Советского Союза!

Жемчужина ничуть не смутилась, бросила на Голду взгляд исподлобья, достала папиросу, по-мужски постучала ею по пачке.

— Вы сделали грубую ошибку. Зачем вы пошли к синагоге, зачем вы возбуждаете неправильные настроения? Вами не довольны.

— Там евреи. Они хотели меня видеть, они называют меня «мама Голда» и суют мне списки желающих отправиться на историческую родину, они...

— Это мы будем решать, чего они хотят, и это мы будем составлять списки, — Жемчужина затянулась, сделала паузу. — Хорошо, на первый раз мы замнем дело, но запомните раз и навсегда, в нашей стране ничего не делается через голову.

— Я просила о встрече.

— Прежде чем назначить встречу, в инстанции должны убедиться, что разговор будет по существу. Пустые разговоры там не ведутся.

— Я понимаю, я хотела обсудить...

— Вот сейчас и обсудим.

Прямо с аэродрома Голда помчалась в Мисрад.

— Он работал всю ночь, только что пошел спать, — Ицхак Навон, личный секретарь Старика, преградил ей дорогу.

— А ну отойди, — Голда посмотрела на Навона так, что тот сразу отошел в сторону. Голда вошла в жилую половину, без стука толкнула дверь спальни.

Бен-Гурион неподвижно лежал на кровати, глаза его были открыты.

— Был разговор.

— С Самим?

— Нет.

— Считаю — не было.

— С самим можно говорить только по делу.

— Какие могут быть дела? Там вакханалия, за сионизм сажают...

— Именно поэтому. Сталину все равно, куда высылать евреев, на Дальний Восток или на Ближний. Стоит ему пальцем пошевелить, и мы получим миллион. Офицеров, инженеров, всех, кого захотим. И, само собой, — оружие.

— Чего хотят?

— Гарантий, что мы будем вести антиимпериалистическую линию.

— Конкретно? — в глазах Старика блеснуло любопытство.

— Мы должны согласовывать с ними назначения в МИДе и в армии.

Бен-Гурион махнул рукой. Голда повысила голос.

— Ну и что случится, если Шарет будет время от времени звонить Кагановичу? Мы ведь получим миллион человек! И оружие.

— Не мы получим, Мапам получит. Они проиграли на выборах, и теперь Сне¹ спит и видит, как Сталин вручает ему власть. Если Сталин пришлет людей, это будут люди Мапам.

Голда закурила.

— Не забывай, мы вместе с Мапам боролись за страну, — Голда и не подумала обращать внимание на замечание Старика, — и сейчас они с нами в коалиции. В обмен на миллион евреев я не стану возражать, если Сне сменит Шарета.

Бен-Гурион не ответил, свободной рукой взял с тумбочки газету, протянул ее Голде. Голда взглянула на первую страницу, увидела большой портрет Яна Масарика, прочла жирный заголовок: «Министр иностранных дел Чехословакии выбросился из окна».

— Сне не выбросится, он прошел огонь и воду.

¹ Мапам — левосоциалистическая партия простиалинской ориентации. Моше Сне — председатель партии Мапам.

— Выбросят, — вяло перебил Старик, — они устроят у нас вторую Чехословакию. Нам надо смотреть на Вашингтон.

Голда потушила папиросу, завернула окурочек в салфетку, закурила новую.

— Послушай, Давид, Америка — моя страна, и я знаю, что Трумен нами восхищается. Но он связан по рукам и ногам. Британия для него важнее, чем мы. Положим, американские евреи соберут деньги. Но Джордж Маршалл протащит через Конгресс закон, запрещающий давать нам деньги, так же, как он протащил закон об эмбарго на поставки нам оружия.

Голда перевела дыхание.

— Конечно, я не знаю, что у Сне на уме, — в конце концов, он был у русских в плену, и они его отпустили к нам, когда никого не отпускали, — но я его понимаю, когда он говорит, что видит нашу перспективу только с русскими. Во-первых, русские наступают по всему миру, во-вторых, если Сталин захочет, у нас будет все. Ты представляешь: миллион из России, тысяч триста из Европы, и нас уже два миллиона! И пусть наше государство станет коммунистическим, но мы выстоим, у наших детей появится будущее.

— Не появится. Ты не знаешь, кто такие русские евреи. Там каждый второй врач или инженер, каждый третий — доктор наук. Они привезут нам русский язык и советские привычки, они закроют синагоги и откроют консерватории. У нас будет одна партия и много тюрем. Мы пахали землю, рыли колодцы, строили дороги. Мы создали эту страну, а они приедут на все готовое и будут смотреть на нас, как на диких аборигенов. Они не пустят наших детей даже на порог университета!

— Давид, ты забываешь, против нас восемьдесят миллионов.

— У нас будет два миллиона и без Сталина. Евреи есть в Египте, в Ираке, в Марокко.

— С чего ты решил, что они захотят приехать? И вообще, шварце юден! Они же темные, набожные. Эти базарные торговцы не пойдут в кибуцы, они подорвут социалистические основы...

— Во-первых, захотят. Мы им поможем захотеть. Не пойдут в кибуцы? Хорошо, пусть подметают улицы. Во всяком случае, они не потребуют профессорских окладов и благоустроенных квартир.

Голда достала папиросу, но у нее не было сил закурить.

— Что мне ответить Жемчужиной?

— Не отвечай ничего, собирай вещи и возвращайся. Будешь министром труда.

— Министром? — Голда подняла голову. — Пейсатые никогда не допустят, чтобы женщина стала министром.

— Пейсатые-непейсатые! Теперь у нас все политики. А политика — это торговля. У меня есть, что им предложить, — Бен-Гурион закрыл глаза, рука его повисла, словно безжизненная.

Голда вышла, не прощаясь. Что верно, то верно, — утешала она себя, Эренбург мне министерский пост не предложит!

12. ОБАЯНИЕ ЗЛА

Граммфон в который уже раз играл «Магнолия в цвету», хозяйка снова и снова принималась протирать бокалы, гости, расхаживая вокруг стола, глотали слюну. Именинника не было.

— Все, садимся, — распорядился хозяин, — явится, никуда не денется.

Не успели, однако, гости занять места, как хлопнула входная дверь.

— Сейчас я ему задам! — хозяйка, рыхлая крашеная блондинка, грозно помахивая кухонным полотенцем, направилась в коридор.

— Постой, Зоя, я сама, — Дора Михайловна тяжело поднялась и пошла встречать внука.

— Ну, именинник, ты чего это опаздываешь? А грязный-то какой! Иди, умойся и быстро к столу.

Через пять минут Боря уже сидел в окружении гостей и, смущаясь, выслушивал поздравления. «Чтоб ты был мне здоров!» — «Учись, мальчик, на одни пятерки». — «Одну четверку разрешаю!» — «Главное — слушай родителей!» «А вот это тебе», — дядя Коля вытащил из кармана черный жестяной пистолет и рулончик пахнувших серой пистонов. Боря протянул руку, но тут же схлопотал от отца подзатыльник.

— Что надо сказать?

— Спасибо!

— Оставь, Вульффик, сегодня его день.

Раздача подарков быстро закончилась, гости с упоением приступили к делу. Лишь Дора Михайловна не столько ела, сколько подкладывала внуку.

Виновник торжества с жадностью набросился на праздничное угощение, быстро насытился, уже и ремень распустил, но Дора Михайловна продолжала усердствовать.

— Кушай, мальчик, кушай.

Боря так и подмывало огрызнуться — сама кушай! — но, сообразил он, сейчас лучше не обращать на себя внимания. Отец не отойдет, пока не выпьет и не расскажет гостям все свои истории, а мать, если и перестанет сердиться, то уж не раньше, чем к концу вечера.

Боря давился, но ел.

Расчет оказался правильным. Отец, разгоряченный вином и вечным спором с дядей Колей — кто первым вошел в Берлин, — смотрел на сына так, будто тот ни в чем не виноват. Мать, подперев щеку рукой, вела с подругами женский разговор.

— Не могу я больше есть, баб, не могу.

— Оставь его, не хочет — пусть не ест, — бросил Вульффик.

— Поел? Больше не хочешь? — мать нехотя поднялась из-за стола. — Тогда попросайся, умойся и быстро в постель. Завтра поговорим.

Боря бросил в пространство «до свидания» и, прихватив подарки, юркнул в спальню. Там, на большой родительской кровати, спала младшая сестра Катя. Ему же была постелена старая скрипучая раскладушка. Боря придвинул к ней круглый хромоногий стул, разложил на нем подарки и довольный тем, что трепки удалось избежать, начал медленно раздеваться.

Увы, как только голова коснулась подушки, настроение сразу испортилось.

С чего все началось? С географии. Посреди урока кто-то выпустил мышь. Косорылка — так звали перекошенную после инсульта учительницу — увидела мышь и закричала: «Кто это? Чья работа?» Все молчали. Косорылка свирепым взглядом обвела класс: «Барсуков — ты?» — «Чего я? Не я» — «Ты! По роже вижу, что ты. А ну, иди сюда». Барсук вышел к доске, она схватила его за шиворот и сунула головой под перекладину. Это было ее любимое наказание — головой под перекладину. Барсук простоял с торчашей наружу задницей до конца урока, а на перемене стал приставать. То подножку подставит, то толкнет, то подкрадется сзади и вдарит шелобан. С чего бы это, со страхом подумал Боря.

После уроков Слон scomандовал: «Айда за мной!» Ватага устремилась за вожакom, Боря пошел со всеми. Правда, мать утром предупредила: «Не задерживайся — будут гости!», но послушаться Слона Боря не решился. В толпе он внимательно выглядывал Барсука, стараясь держаться от него подальше. Не получалось: Барсук то и дело насккивал, пытался повалить в снег или засунуть снежок за шиворот. Боря бегал от него, отбивался портфелем, но Барсук не отставал до тех пор, пока вся компания, перебравшись через ограждение, не устроилась под старым деревянным мостом. Слон вытащил из кармана маленькую

пачку сигарет, понюхал ее и поднял палец: «"Огонек", чай, не махорка».

Все дружно загудели, а у Бори забилось сердце — он ведь еще никогда не курил! Мысль эту, впрочем, тут же перебила другая: если Слон даст сигаретку, значит, он за меня! А тогда не страшен ни Барсук, ни Череп, никто другой. Против Слона — он был на два года старше и на голову выше всех — не попрешь!

Слон, между тем, распечатал пачку коротких — не длиннее мизинца — сигарет и начал царским жестом одаривать одноклассников. Когда очередь дошла до Бори, Слон обратился к толпе.

— Хмелю дадим?

Толпа молчала, не зная, что хочет услышать от нее вожак.

— Не давай еврею, он на меня насексотил, — злобно прошипел Барсук.

Толпа загудела:

— Гад, сексот, хрен ему!

Слон поднял голову, все смолкли.

— Ты насексотил?

— Почему я? Я и мышь-то увидел, когда Косорылка на Барсука закричала.

— Побожись.

— Божусь.

В толпе раздался смех.

— Он и божиться-то не умеет. Нерусский, гад.

— Ты еврей? — строго, по-деловому спросил Слон.

— Русский.

— Врет. Раз Вульфович, значит, еврей, — выскочил Колька-рябой.

— Не веришь, — Боря старался поймать глаза вожака, — посмотри в журнал, там написано.

— Так в журнале ему за деньги написали. У них знаешь сколько деньжищ — куры не клюют!

Между тем табак делал свое дело, начинающие курильщики кашляли, чихали, вытирали слезы. Только Слон спокойно затынулся и выпускал дым изо рта.

— Последний раз спрашиваю, Хмель, русский ты или еврей?

Дело принимало серьезный оборот, душа уходила в пятки.

— Я знаю, — вдруг выскочил шуплый, востроносый всезнайка Колька, по прозвищу Пушкин, — мамашка у него русская, а папан — чистый жид.

— Русская у тебя мамаша?

Слон вытащил сигарету.

— Русская.

— А папаша?

— Юрист.

Как выскочило у него такое, Боря и сам не знал. Хотя отец часто повторял «Я — юрист», что означало это слово, ему было неизвестно. И уж тем более не знали этого слова его одноклассники. Слон почесал в затылке, затынулся и вынес приговор.

— Значит так, наполовину ты еврей, а наполовину русский. Вот и получай полсигареты.

Под дружный гогот толпы Слон протянул Боре окурочок. Боря осторожно взял его и, обжигая пальцы, сунул в рот.

— Затягивайся, гад, не переводи добро.

Боря напрягся, сделал вдох. Горячий дым тут же проник в глотку, перекрыл дыхание, из глаз брызнули слезы. Боря закашлялся, окурочок выпал изо рта, он нагнулся, чтобы его поднять, но тут же получил пинок. Схватив одной рукой шапку и крепко держа в другой портфель, Боря начал на четвереньках выбираться из толпы. Пинки сыпались со всех сторон, кто-то охаживал его сумкой, кто-то пытался размазать по лицу комок грязи.

— Гад ползучий! Еврей-евреич! Немчура недобитая...

Под градом пинков Боря добрался до изгороди, перелез через нее и бросился бежать, то и дело оглядываясь,

нет ли погони. Погони не было. На всякий случай он пробежал еще полквартала, повернул за угол и остановился под козырьком бывшей аптеки. Сердце колотилось, он тяжело дышал, но от мысли, что шапку и портфель удалось спасти, стал успокаиваться. Отдышавшись, Боря стянул с себя пальто, отряхнул его, надел снова. Потом повалил в снегу шапку, почистил ее рукавом и натянул на голову. Чуть постояв, он огляделся по сторонам, поднял портфель и не спеша побрел домой.

Перекладки врезались в бока и в спину, Боря ерзал по раскладушке, но заснуть не мог.

— Катька, а Катька?

Сестра не отзывалась.

— Катька, проснись, шоколадку дам.

— Чего будишь? — пропищал тонкий голосок. — Сейчас маму позову.

— Катька, мне шоколадку подарили. С орехами. Тебе такая не снилась.

— Дай откусить.

— Не, давай меняться. Я тебе всю отдам, даже не откусю. Честное слово.

— А ты у меня что возьмешь, фантики?

— На лешего мне твои фантики. Смотри, у нас как получается. Ты наполовину русская и я наполовину русский. Я тебе шоколадку отдам, а ты мне — свою половинку. Тебе все равно, а я русским буду. Ну что, меняемся?

— Все равно обманешь, дай лучше откусить.

13. ПРОКУРОР НАЦИИ

Драма в трех действиях с последствиями

Действующие лица

Председатель суда: Сталин, вождь.

Президиум суда: соратники вождя — Жданов, Маленков, Щербаков, Шкирятов, Кузнецов, Андреев, Молотов, Каганович, Шверник, Булганин, Ворошилов, Берия, Хрущев.

Обвинители:

Г. Александров, начальник Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б),

А. Вышинский, министр иностранных дел,

А. Фадеев, генеральный секретарь Союза писателей СССР,

М. Шолохов, советский писатель.

А также: члены ЦК ВКП(б), секретари обкомов, министры, директора, генералы, полковники, ректоры и профессора учебных заведений, редакторы газет, журналов и радио, все честные советские люди.

Следственная часть:

В. Абакумов, А. Леонов, М. Лихачев, С. Огольцов, С. Гоглидзе — неустановленное число руководящих работников аппарата МГБ СССР.

Пыточная часть:

В. Комаров, М. Рюмин, П. Гришаев — всего 35 человек, следователи МГБ.

Судьи: А. Чепцов, И. Зарянов, Я. Дмитриев.

Секретарь суда: Поскребышев, начальник личной канцелярии Вождя.

Доказщицы:

Анна Бегичева, журналистка,

Мария Гордиенко, дама легкого поведения,

Лидия Тимашук, кремлевский врач.

Защита: Петр Капица, ученый.

Обвиняемые:

*Давид Бергельсон, писатель,
Вениамин Зускин, актер,
Лев Квитко, поэт,
Перец Маркиш, поэт,
Соломон Михоэлс, актер,
Лина Штерн, ученый.*

А также лица еврейского происхождения: начальники — партийные, государственные и хозяйственные, врачи — кремлевские, руководящие, рядовые, сотрудники МГБ, прокуратуры, дипломатической и разведывательной службы — всех рангов, офицеры Вооруженных Сил СССР — всех рангов, учителя, инженеры, музыканты, актеры.

Действие первое

17 сентября 1946 года. Судебная Палата Большого Кремлевского дворца. Куранты на Спасской башне бьют двенадцать. Из боковой двери на сцену выходит Сталин. На некотором расстоянии за ним следуют соратники. Зал встает. Бурные, продолжительные аплодисменты. Сталин усаживается за стол президиума. Соратники становятся справа и слева от него. Выкрики с мест: «Да здравствует товарищ Сталин, вождь и учитель!» Сталин терпеливо ждет. Поскребышев поднимает левую руку, аплодисменты стихают.

Поскребышев. Именем Союза Советских Социалистических Республик закрытое судебное заседание объявляю открытым. Слушается дело «О безродных космополитах». Слово предоставляется товарищу Жданову.

Жданов (выходит на трибуну, открывает папку, читает). Дорогие товарищи! В результате длительной и всесторонней проверки установлено, что в последние годы в нашем обществе подняли голову безродные космополиты, которые отрицают приоритет России во всех сферах искусства и науки, пытаются отравить наше общество тлетворным влиянием Запада. Эти люди сеют низкопоклонство, пресмыкательство, клеветают на русский народ. Они свили

гнездо в ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград». Всякого рода розенцвейги и лившицы захватили театральную и литературную критику, морганы и вейцманы — биологию, трауберги и габриловичи — киноискусство. В нашей исторической науке орудуют валки и рубинштейны, в музыковедении — груберы и шнеерсоны. Германы, казакевичи и другие литературные торгаши создали подполье, имеющее организационные связи с еврейскими буржуазными националистами из-за океана. Эти люди сеют ненависть к русскому народу, прославляют иудаизм и сионизм. Они оскорбляют память великих русских и немецких писателей, засоряют великий русский язык...

Сталин (перебивает). Хватит, товарищ Жданов. Теперь мы хотим послушать, какие меры принимает Секретариат ЦК.

Жданов. Секретариат ЦК, руководствуясь вашими генеральными указаниями, ведет непримиримую войну с безродными космополитами...

Сталин (прерывает). Что-то мы не видим успехов в этой войне.

Жданов. Дорогой товарищ Сталин, борьба с космополитами усложняется тем, что многие из них маскируются русскими псевдонимами. Секретариат ЦК совместно с МГБ уже установили, что Яковлев — это Хольцман, Данин — Плотке...

Сталин (перебивает). Псевдонимы? А разве честным советским людям нужны псевдонимы? Здесь присутствует наш замечательный писатель товарищ Шолохов. Давайте спросим его, нужны ли советским писателям псевдонимы?

Шолохов (с места). Конечно, не нужны, товарищ Сталин. Это хамелеонство, это идеологическая диверсия, когда некто Лифшиц пишет под псевдонимом Жданов, это... (задыхается от негодования).

Сталин. Спасибо, товарищ Шолохов (задумывается). Так говорите, Жданов — это Лифшиц? Странно, очень

страно. Об этом надо подумать (тяжело поднимается с места и направляется к трибуне). Товарищи, всем известно, что безродные космополиты-антипатриоты под фальшивым лозунгом растворения в мировом всечеловеческом единстве народов, проводят линию на глобальную американизацию человечества. Этого-то и не понимают отдельные руководящие товарищи (с подозрением смотрит на Жданова), и поэтому они не в состоянии дать бой безродным космополитам, выявить их, разгромить и уничтожить. Предлагаю образовать комиссию из товарищей Маленкова, Сулова, Шепилова, Пospelова и Ильичева для подготовки перехода к массиванному наступлению на космополитов с целью их полного выявления и окончательного уничтожения. Однако хочу предупредить вас, товарищи: у этого дела есть внешнеполитический аспект. Наш злейший враг — Британия — дал трещину. Трещина эта проходит через Палестину. Не исключено, что нам удастся создать там надежный плацдарм, с тем, чтобы ударить с него в подбрюшину Британской империи. Товарищи Каганович, Берия и Судоплатов активно разрабатывают это направление. Так что, товарищи, война против безродных космополитов будет продолжаться, но мы не должны давать повод для обвинений в... антисемитизме. А пока что сделаем перерыв.

17 сентября 1948 года. Судебная Палата Большого Кремлевского дворца. Куранты на Спасской башне бьют двенадцать. Из боковой двери на сцену выходит Сталин...

Поскребышев. Продолжаем слушать дело «О безродных космополитах». Слово предоставляется товарищу Маленкову. (Аплодисменты.)

Маленков (выходит на трибуну, читает). Дорогие товарищи! В течение довоенных, военных и послевоенных лет партия, правительство и весь советский народ под гениальным руководством товарища Сталина вел борьбу с идеологической диверсией безродных космополитов. Правда,

до недавнего времени мы говорили о вредоносной деятельности космополитов в искусстве. Сегодня настало время рассматривать космополитизм как оружие мировой еврейской буржуазии. Его цель — ослаблять чувство национальной гордости, подорвать национальные корни народов нашей страны с тем, чтобы потом продать их в рабство американскому империализму. (Гул в зале, возмущенные выкрики.)

Сталин. Товарищ Маленков, есть ли у вас конкретные факты?

Маленков. Товарищ Сталин, разрешите мне зачитать отрывки из письма, поступившего в адрес суда от журналистки из газеты «Известия» Анны Бегичевой. (Читает.) «...Вокруг нас действуют враги. Это космополиты-деляги. У них нет национальной гордости, нет идей и принципов. Ими руководит стремление к проведению евро-американских взглядов... Они растлевают нашу молодежь, прививают ей чуждые нашему народу вкусы... Они сеют национальный нигилизм, проповедуют низкопоклонство перед всем западным... Считаю, что, как и весь немецкий народ несет ответственность за гитлеровскую агрессию, так и весь еврейский народ должен нести ответственность за действия космополитов».

Вот вам, товарищи, глас истинно русской женщины, пламенной советской патриотки! Он ли не является доказательством преступной деятельности безродных космополитов?! (Бурные, продолжительные аплодисменты.)

Сталин (аплодирует вместе со всеми, затем поднимается с места и направляется к трибуне). Товарищи, приведенные факты неопровержимо доказывают наличие в нашей стране широко разветвленного и глубоко конспирированного заговора безродных космополитов. Но вот, товарищи, я получил письмо от академика Капицы. Конечно, я совершенно не согласен с автором, который утверждает, будто в нашей стране поднимает голову антисемитизм. Однако одно положение письма меня заин-

тересовало. Академик Капица утверждает, что наша политика нанесет удар по просоветски настроенной западной интеллигенции. Как вы думаете, товарищ Берия?

Берия. Я думаю, это соображение должно быть принято в расчет. Предлагаю направить на Запад товарища Эренбурга. Уверен, он сумеет разъяснить тамошней интеллигенции нашу политику.

Сталин (Берии). Что ж, Лаврентий Павлович, писатель Эренбург является у нас проверенным товарищем. Считаю, что его следует направить в Париж с тем, чтобы он занялся разоблачением антисемитизма в... Соединенных Штатах Америки. А теперь, товарищи, подведем итоги. Вам слово, товарищ Маленков.

Сталин сходит с трибуны и под бурные аплодисменты возвращается на свое место в президиуме. На трибуну поднимается Маленков.

Маленков (открывает папку, читает). Политбюро нашей партии, рассмотрев дело «О заговоре безродных космополитов», установило, что факты, изложенные в томах с первого по сорок второй обвинительного заключения, полностью подтвердились, и вынесло решение: «С корнем выкорчевать в СССР скверну космополитизма. Решительно и повсеместно, начиная от Политбюро, кончая низовыми организациями, выявлять и разоблачать космополитов. Учредить должности уполномоченных ЦК ВКП(б) по кадрам в министерствах и ведомствах, вменить им, а также начальникам и работникам отделов кадров, тщательно проверять сотрудников на предмет наличия у них еврейской примеси или еврейских родственников. В случае обнаружения космополитов сообщать о них органам МВД, изгонять с работы и отдавать их под суд».

Закрывает папку, возвращается на свое место. Зал ждет. Вождь кивает, Поскребышев поднимает обе руки. Зал взрывается аплодисментами, переходящими в овацию. Все встают.

Действие второе

5 июня 1951 года. Судебная Палата Большого Кремлевского дворца. Куранты на Спасской башне бьют двенадцать. Из боковой двери на сцену выходит Сталин...

Поскребышев. Именем Союза Советских Социалистических Республик закрытое судебное заседание объявляю открытым. Слушается дело № 2354 по обвинению Еврейского антифашистского комитета в шпионаже и измене Родине. Слово предоставляется тов. Суслову. (Аплодисменты.)

Сулов (выходит на трибуну, читает). Дорогой товарищ Сталин! Дорогие товарищи! Как вы знаете, ЕАК был создан по решению Политбюро ВКП(б) в апреле 1942 года с целью мобилизации международного еврейского капитала в помощь Красной армии. После окончания войны перед ЕАК была поставлена другая задача: использовать связи с зарубежными еврейскими общественно-политическими и культурными деятелями для получения от них полезной для советского государства информации. Однако в результате проверки, проведенной еще в ноябре 1946 года, мы установили, что ЕАК исчерпал свою положительную роль. Более того, руководство ЕАК все больше и больше смыкалось с еврейскими буржуазно-националистическими центрами за рубежом и по их заданию разжигало националистические настроения среди еврейского населения СССР. В связи с этим мы передали контроль за деятельностью ЕАК органам МГБ. Думаю, товарищи, что о работе наших славных чекистов лучше расскажет министр МГБ товарищ Абакумов.

Абакумов (выходит на трибуну). Дорогой товарищ Сталин! В результате работы, проделанной следственной и пыточной частью МГБ начиная с 1946 года, мы обнаружили, что ЕАК вел не только националистическую работу, но являлся центром шпионской сети, которая работала по заданию западных империалистических разведок и сионистских организаций.

Сталин (с восторгом). Ооо!

Абакумов. В 1947—1948 годах наши органы выследили цепочку, по которой на Запад передавались сведения, порочащие личную жизнь нашего вождя и учителя. Главным звеном в этой цепочке оказался ЕАК.

Сталин (с нетерпением). Кто конкретно передавал информацию?

Абакумов. Некто Гольдштейн передал ее Гринбергу, Гринберг — Михоэлсу, председателю ЕАК, тот — агенту НКВД (чертыхается), тьфу, простите, агенту американской разведки Борису Гольдбергу.

Сталин. Так значит, Михоэлс — сволочь?

Абакумов. Так точно, товарищ Сталин, сволочь.

Сталин. А мы-то ему доверяли! Продолжайте, товарищ Абакумов. В чем конкретно заключалась деятельность сионистской банды?

Абакумов. Они выдавали государственные тайны, снабжали шпионскими сведениями иностранные разведки, занимались вредительством, диверсиями, злодейскими убийствами.

Сталин (в ужасе вытирает пот со лба). Почему мне не доложили?

Абакумов. Мы докладывали. 26 марта 1948 года МГБ направило в ЦК ВКП(б) записку и приложило к ней протоколы допроса Гринберга. По этой записке 20 ноября 1948 года Политбюро вынесло решение: ЕАК распустить, печатные органы закрыть, дела изъять. Мы сразу же арестовали Фефера, который давно сотрудничал с НКВД (чертыхается), тьфу, — с американской разведкой, и Зускина. На первых же допросах Фефер дал обширные показания, изобличающие членов руководства ЕАК в националистической и шпионской деятельности. В соответствии с его показаниями, с 13 по 28 января 1949 мы арестовали всю верхушку ЕАК — Лозовского, Шимелиовича, Юзефовича, Квитко, Маркиша, Бергельсона и других.

Сталин. Признались ли обвиняемые?

Абакумов. В националистической деятельности признались, а шпионаж пока отрицают.

Сталин (строго). Товарищ Абакумов, шпионы-вредители находятся в ваших руках полтора года. Почему они до сих пор не разоблачены, а корни преступлений не вскрыты?

Абакумов. Товарищ Сталин, наше министерство сильно перегружено. Параллельно с делом ЕАК мы разоблачили шпионское гнездо сионистов на заводе ЗИС. По указанию товарища Хрущева, лично руководившего расследованием, десять человек уже расстреляно, сто человек получили сроки.

Сталин. Товарищ Абакумов, мы хорошо знаем, что сионисты свили не одно шпионское гнездо. Но ведь вы сами сказали, что ЕАК является центром сионистского заговора, откуда тянутся нити и на ЗИС, на Первый государственный подшипниковый завод и к сотням других предприятий и учреждений. Так что же получается? МГБ отрубает щупальцы, но почему-то не желает отрубить сионистской гидре голову. Как это прикажете понимать? Между прочим, на днях я получил письмо от рядового следователя МГБ товарища Рюмина. Товарищ Рюмин считает, что руководство МГБ сознательно тормозит расследование дела ЕАК. Предлагаю объявить перерыв и тщательно разобраться с положением дел в МГБ.

Абакумов падает в обморок. Поскребышев объявляет перерыв.

8 мая 1952 года. Судебная Палата Большого Кремлевского дворца. Куранты на Спасской башне бьют двенадцать. Из боковой двери на сцену выходит Сталин...

Поскребышев. Продолжается слушание дела № 2354 по обвинению Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) в шпионаже и измене Родине. Слово предоставляется товарищу Рюмину. (Аплодисменты.)

Рюмин. Дорогой товарищ Сталин! Прежде всего хочу сообщить, что по вашему указанию и при личном участии товарищей Маленкова и Берии в июле прошлого года в органах МГБ была вскрыта и обезврежена банда заговорщиков-сионистов. Бывшие руководящие работники МГБ сионисты Белкин, Райхман, Эйтингон, Шварцман и другие, боясь разоблачения со стороны своих сообщников в ЕАК, замазывали их дела, тормозили следствие. Однако с тех пор, как вы, товарищ Сталин, назначали меня уполномоченным на вскрытие еврейского националистического центра, следственная и пыточная части МГБ добились решающих успехов в изобличении американо-сионистских шпионов. Сегодня перед судом предстанут пятнадцать изменников родины.

Сталин (с недоумением). Как пятнадцать? Всего пятнадцать?

Рюмин. Товарищ Сталин, следуя вашим указаниям, мы начинаем рубить с головы. Сегодня мы расстреляем (чертыхается), тьфу, будем судить главарей преступной сионистской банды. Но у нас уже намечены к аресту еще двести тринадцать сионистов-шпионов.

Сталин. Это правильно, товарищ Рюмин. Благодарю за проделанную работу. А вас, товарищи судьи, прошу приступить к делу.

Чепцов. Введите арестованного Фефера (конвоиры вводят Фефера). Суд должен удостовериться в самоличности подсудимого. Назовите себя.

Фефер. Я, Фефер Исаак Соломонович, родился в 1900 году в местечке Шпола Киевской области. По национальности еврей, образование незаконченное высшее, в партии с 1919 года, всю жизнь занимаюсь поэзией.

Чепцов. Подсудимый Фефер, вы обвиняетесь в еврейском национализме, выразившемся в том, что в своих стихотворениях упоминаете такие имена, как «Царь Соломон», «Самсон», «Бар-Кохба» и другие. Вы обвиняетесь в том, что вместе с другими членами ЕАК составили и пе-

редали в США «Черную книгу», в которой сознательно выпятили роль евреев в войне с фашизмом и принизили роль русского народа. Вы обвиняетесь в том, что, находясь в 1943 года в США, установили — вместе с Михоэлсом — связь с руководителем «Джойнта» Розенбергом, с главой сионистов Вейцманом и с американской разведкой, которой передавали материалы, составляющие государственную тайну. Вы обвиняетесь в том, что совместно с другими руководителями ЕАК, составили заговор, с целью отделения от СССР Крыма и создания там буржуазной еврейской республики, которая должна была послужить плацдармом для английских империалистов. Признаете себя виновным?

Фефер. Да, признаю. (Гул в зале.)

Чепцов. Введите арестованного Шимелиовича. (Конвоиры вводят Шимелиовича.) Назовите себя.

Шимелиович. Я, Шимелиович Борис Абрамович, родился в 1892 году в Риге. Еврей, член ВКП(б) с апреля 1920 года, образование высшее медицинское, восемнадцать лет работал главным врачом Боткинской больницы.

Чепцов. Подсудимый Шимелиович, вы обвиняетесь в национализме, заключающемся в том, будто вы утверждали, что еврейский народ гордится тем, что Гитлер избрал его для полного уничтожения. Вы обвиняетесь в клевете, выраженной в том, что вы утверждали, будто, начиная с 1942 года среди руководителей медицины появились случаи антисемитизма. Вы обвиняетесь в том, что передавали матерым американским разведчикам Борису Гольдбергу и Полю Новику шпионские сведения. Признаете себя виновным?

Шимелиович. Никогда не признавал и не признаю.

Чепцов. Это не имеет значения (охране). Увидите подсудимого. Введите следующего. (Конвоиры вводят Зускина.) Назовите себя.

Зускин. Я, Зускин Вениамин Львович, родился в 1899 году в городе Паневежис. По национальности еврей, бес-

партийный, имею звание народного артиста РСФСР. До ареста работал художественным руководителем Московского государственного еврейского театра.

Чепцов. Подсудимый Зускин, вы обвиняетесь в том, что вместе с Михоэлсом ставили в театре пьесы, в которых воспевалась еврейская старина, местечковые традиции, быт и трагическая обреченность евреев, чем возбуждали у зрителей-евреев националистические чувства. Признаете себя виновным?

Зускин. Частично.

Чепцов. Достаточно, введите следующего. (Конвоиры вводят Квитко.)

Квитко. Я, Квитко Лейба Моисеевич, родился в 1890 году в селе Голенское Одесской области, по национальности еврей, по профессии — поэт.

Чепцов. Подсудимый Квитко, вы обвиняетесь в том, что, вернувшись в СССР из-за границы, примкнули в городе Харькове к националистической еврейской литературной группировке «Бой», возглавляемой троцкистами. Являясь заместителем ответственного секретаря ЕАК, вошли в преступный сговор с руководителями Комитета и помогали им в сборе материалов об экономике СССР. Признаете себя виновным?

Квитко. Я хочу сказать суду, что всей душой желал счастья земле, на которой родился и которую считаю своей родиной. Об этом свидетельствуют все мои литературные труды. Вы можете спросить генерального секретаря Союза писателей Фадеева, он подтвердит.

Чепцов. Ну и спросим. (К Фадееву.) Товарищ Фадеев, как вы расцениваете творчество подсудимого?

Фадеев. Мы всегда критиковали Квитко как безродного космополита. Когда мы разгоняли еврейскую секцию в Союзе писателей, он сопротивлялся.

Чепцов (недовольно). Товарищ Фадеев, сейчас мы судим Квитко не как космополита, а как националиста. Подсудимый Квитко, признаете себя виновным?

Квитко. Частично признаю.

Чепцов (раздраженно охране). Уведите обвиняемого. Следующего в зал! (Охрана уводит Квитко, вводит Маркиша.) Подсудимый Маркиш, вы обвиняетесь в разжигании национализма, выразившегося в том, что в своих статьях и стихотворениях пропагандировали идеи внеклассового единения евреев всего мира и воспевали библейские образы. Признаете себя виновным?

Маркиш. Я виновным себя не признаю.

Чепцов. Вон! (Охрана выводит Маркиша.) (Обращается к Рюмину.) Товарищ Рюмин, как же так, обвиняемые не признаются? Дело надо направить на доработку

Рюмин растерянно смотрит на Сталина.

Сталин (помедлив). Товарищ Чепцов, вы что же, хотите, чтобы мы у этих преступников на коленях выпрашивали признание? Этим делом Политбюро занималось три раза. Выполняйте решение Политбюро!

Чепцов (вытирая пот со лба). Введите следующего...

18 июля 1952 года.

Поскребышев. Слушается приговор по делу № 2354. Слово предоставляется суду.

Судьи Чепцов, Дмитриев, Зарянов четко, по-военному встают со своих мест и, чеканя шаг, направляются к трибуне. Все трое в красных мантиях, на брюках — генеральские лампасы.

Чепцов (открывает папку, читает). Военная коллегия Верховного суда СССР, рассмотрев дело по обвинению Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), установила, что факты, изложенные в томах с первого по сорок второй обвинительного заключения, полностью подтвердились. На основании вышеизложенного Военная Коллегия Верховного Суда СССР признала виновными Лозовского, Фефера, Бергельсона, Юзефовича, Шимелиовича, Маркиша, Зускина, Квитко, Гофштейна, Теумен, Ватенберг И., Тальми и Ватенберг-Островскую в совершении

преступлений, предусмотренных в статьях УК РСФСР, и приговорила перечисленных лиц по совокупности совершенных ими преступлений к высшей мере наказания — расстрелу. Подсудимую Лину Штерн суд приговаривает к десяти годам лишения свободы. (Смотрит на Сталина.)

Сталин. Товарищи, всем известно, что советский суд суров, но справедлив. Карая, мы должны учитывать и смягчающие обстоятельства. Нам кажется, что у подсудимой Штерн они есть. Нам известно, что ее брат, швейцарский гражданин Бруно Штерн, выкрал в США стратегический препарат стрептомицин и доставил его в Москву. Нам представляется, что это смягчает вину подсудимой, если, конечно, суд с нами согласится.

Чепцов. Уже согласился, товарищ Сталин. Подсудимой Штерн определено наказание в три года и шесть месяцев заключения без конфискации имущества.

Сталин. Ну что ж, товарищи, мы заседаем уже десять лет и пришли к неплохим результатам (бурные аплодисменты), однако торжествовать победу нам еще рано. Недавно, товарищи, я получил письмо от врача Лидии Тимашук. Эта скромная советская патриотка сигнализирует о том, что смерть товарища Жданова наступила в результате вредительского лечения (поворачивается в сторону Рюмина). Мы требуем от МГБ немедленно вскрыть и обезвредить американских агентов среди врачей.

Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. Выкрики с мест: «Да здравствует товарищ Сталин, вождь и учитель, отец народов!»

Действие третье

5 марта 1953 года. Судебная Палата Большого Кремлевского дворца. Куранты на Спасской башне бьют двенадцать. Из боковой двери на сцену с трудом выходит Сталин...

Поскребышев. Именем Союза Советских Социалистических Республик закрытое судебное заседание объявляю

открытым. Слушается дело врачей-вредителей. Слово предоставляется товарищу Чеснокову. (Аплодисменты.)

Чесноков. Дорогой Товарищ Сталин! Дорогие товарищи! Все мы помним, как еще в 1937 году партия разоблачила банду убийц, отравивших по указанию шпионских служб Запада товарищей Куйбышева, Менжинского, Горького и его сына Пешкова. Тогда врачи-отравители Левин, Казаков, Плетнев и другие были обезврежены. Однако империалистические разведки не успокоились. Используя для своих замыслов евреев...

Сталин (перебивает). Товарищ Чесноков, это попахивает антисемитизмом. Евреи бывают разные. Вот, например, товарищ Эренбург. Мы ему доверяем и в прошлом месяце наградили его международной Сталинской премией за укрепление мира между народами.

Чесноков. Извините, товарищ Сталин. Так вот, западные спецслужбы, используя евреев, а также русских врачей, выходцев из буржуазной среды, стали устранять видных партийных и государственных деятелей нашей страны. В результате тщательной проверки мы установили, что путем вредительского лечения убийцы в белых халатах умертвили Георгия Димитрова, Мориса Тореза, а также товарищей Андреева, Щербакова и Жданова. (Возгласы в зале: «Убийцы, изверги рода человеческого!») Мы установили также, что вина за многолетнюю безнаказанную деятельность врачей-отравителей лежит на бывших руководителях МГБ Абакумове, Власике, Рюмине и сросшемся с ними на почве пьянства министре здравоохранения Смирнове. Сейчас эти предатели обезврежены, а дело врачей передано в надежные руки товарища Гоглидзе. Думаю, он лучше меня расскажет о ходе следствия.

Гоглидзе. Дорогой товарищ Сталин! Прежде всего хочу сообщить, что по вашему указанию и при личном участии товарищей Маленкова и Хрущева в органах МГБ была вскрыта и обезврежена банда заговорщиков-сионистов. Бывшие руководители МГБ — американские наймиты во

главе с бывшим министром Абакумовым — арестованы. (Аплодисменты). С тех пор, как вы, товарищ Сталин, назначали меня уполномоченным на вскрытие вредительства в лечебном деле, следственная и пыточная части МГБ добились решающих успехов в изобличении врачей-вредителей. Мы установили, что большинство участников террористической группы — Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн и другие — были связаны с еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт». Арестованный Вовси показал, что он получил директиву об истреблении руководящих кадров СССР от врача Шимелиовича и известного еврейского националиста Михоэlsa. Сегодня Вовси и тридцать семь его трижды проклятых сообщников предстанут перед судом.

Сталин (с недоумением). Как тридцать семь? Всего тридцать семь?

Гоглидзе. Товарищ Сталин, следуя вашим указаниям, мы начинаем рубить с головы. Сегодня мы расстреляем (четрыхается), тьфу, будем судить главарей. Но у нас уже намечены к аресту восемьсот семьдесят шесть человек, двенадцать тысяч врачей-сионистов мы уже выгнали из лечебных учреждений...

Сталин (прерывает оратора). А корни? Выявили вы, откуда тянутся корни заговора?

Гоглидзе (смотрит на Сталина). Из Вашингтона? Из Лондона? Из Тель-Авива?

Сталин (багровеет, вскакивает с места). Ничего вы не знаете. Вы утратили нюх на врагов, вы разложились от беспробудной пьянки, вы встали на путь измены (размахивает кулаками), вы не в состоянии разоблачить высокопоставленных изменников, засевших в аппарате ЦК, в Совете Министров... (Хватается за сердце. К нему подбегает человек в белом халате. Это Берия. Он протягивает Сталину таблетку и стакан воды. Сталин глотает таблетку и продолжает.) Мы знаем, кто в ЦК шпионит в пользу Америки (грозит кулаком в сторону президиума), мы знаем,

кого завербовали англичане... (Начинает хрипеть, на губах появляется пена.) Лаврентий, сволочь, сволочь... (Хватается за горло, падает, бьется в конвульсиях. Затем вдруг успокаивается, кладет руки на грудь и загадочно улыбается. Тело его начнет испускать лучи розового цвета.)

Зал замирает.

Последствия

Под воздействием неизвестного ранее излучения, получившего название «S-gau», евреи в СССР подверглись мутации, превратились в лиц еврейской национальности (в номенклатуре Линнея «*Judaeus silens*») и как таковые влились в общество других мутантов, получивших название «советский народ» (в номенклатуре Линнея «*Nomo soveticus*», в британской традиции — «*sovs*»).

14. КОСОВОРОТКА ОТ ДИОРА

Мелкие колючие снежинки, подхваченные бешеным ветром, кружили как сумасшедшие, хлестали по щекам, забивались под юбку, лезли за пазуху. Одной рукой Кира придерживала отвороты легкой заячьей шубки, с трудом сходявшиеся на ее знатной груди, другой старалась удерживать полы, которые трепыхались на ветру так, словно вот-вот оторвутся и улетят в снежную мглу.

— Ну говорила же тебе, черт, подождем троллейбуса, так ведь нет!

Раскрасневшийся от мороза Натан хотел было состричь, что он обычно и делал в ответ на ворчание жены, но только раскрыл рот, как снежный вихрь прорвался сквозь зубы.

— Всего две останов... — успел он произнести и тут же принялся выплевывать набившуюся в рот снежную кашу.

Кира беззлобно усмехнулась, еще ниже опустила голову, сунула локоть Натану. Он взял ее под руку, прижал к

себе, пристроился к ее шагу. Не говоря больше ни слова, они обогнули Сокольнический парк, перешли дорогу и оказались возле длинющего панельного дома.

— Кто такой Натан-мокрый? Да это же наш Тоник!

Хозяин квартиры, вальяжный мужчина лет тридцати пяти в изящном пиджаке и тонком цветном галстуке, протянул руки, чтобы обнять мокрого, отдувающегося Натана.

— Саша, да поухаживай же ты за Кирой, джентельмен, тоже мне! — из-за спины хозяина, Саши Пятиборского, показался напудренный носик хозяйки.

— Не джентльмены мы, а плотники! — пропел хозяин и театральным жестом стянул с Киры заснеженную шубку.

— Киронька, милая, пошли сразу в ванную.

Пока хозяйка вводила гостью, а Пятиборский устраивал Кирину шубку, Натан протер носовым платком лицо, открыл портфель, достал из него бутылку.

— Новая квартира — новая водяра!

— Пшеничная? Не пивали, только слышали. Говорят, отличная. Где растет?

— Во саду-ли, в огороде.

— Ну, пойдем, дорогой, посмотришь апартаменты.

Показ крохотной квартирки не занял и пяти минут. Саша усадил Тоника в гостиной, достал две рюмки, но только принялся разливать, раздался звонок.

— Наливай, может, успеем, пока бабы в ванной, — бросил Пятиборский и направился в коридор.

— Приветствуем, приветствуем. Как добрались?

— С божьей помощью, — крупный мужчина с широкой окладистой бородой снял поношенное черное пальто, причесал вьющуюся шевелюру, вынул из-за пазухи завернутую в целлофан гвоздику. — А где наша несравненная Жанна Павловна?

— Ого, гвоздика в ноябре! Да Жанка описается от счастья. Ну-с, пройдемте, сэр.

Слово «сэр» вырвалось у Пятиборского скорее всего от смущения. Как теперь называть Меерсона-Менделеева? Привычное «Антоша» уже не годилось — Меерсон-Менделеев недавно был рукоположен в священники. «Антон Моисеевич» звучало смешно, «Отец Антоний» — язык не поворачивался.

Пятиборский провел Меерсона-Менделеева в гостиную, достал третью рюмку.

— С Богом, и не последнюю!

— Ну, конечно, им уже невтерпез! Чтоб всех дождаться — этого мы не можем! — подкрашенные и надушенные, из ванной выплыли дамы.

— Не удовольствия ради, пробу снимаем — вдруг несъедобно! — ответил на выпад жены Пятиборский.

Меерсон-Менделеев поднялся с кресла, галантным жестом протянул Жанне гвоздику, поцеловал руку Кире. Дамы зарделись, кокетливо отказались от водки, потребовали вина. Хозяин потянулся к бутылке портвейна, но тут раздался звонок в дверь.

— Тоник, поухаживай за дамами, — Пятиборский протянул Натану бутылку и поспешил встречать новых гостей.

— Мать-перемать, ты что, сучий отрок, натворил с погодой, харя твоя жидовская-пережидовская? — громом понеслось из прихожей.

— Подумаешь! Мы вот блокаду пережили, а они снежка испугались!

— Блокаду они пережили! В Ташкенте небось отсиживались. Знаем мы вашу нацию! — Высоченный — под два метра — мужчина вытирал платком большой мясистый нос и узкие, чуть раскосые глаза-щелочки.

— Мариша, давай сразу в ванную, — выскочила в коридор хозяйка, — а ты, Виля, пожалуйста, не ругайся, у нас церковнослужитель. Вот предаст тебя анафеме!

В ответ Виль Пшеничников протянул свои длинные руки, сгреб хозяйку, прижал ее к себе. Жанна завизжала, вырвалась и вместе с Маришей исчезла в ванной.

— Слушай, — Пшеничников выпрямился, поднял руку, провел ладонью по потолку, — и это квартира? А я думаю — склеп.

— Вам, западникам, только бы охаять все наше, советское. Ну ладно, пошли, согреемся.

Друзья прошли в гостиную, Пятиборский, торопясь, наполнил рюмки.

— С новосельцем!

В дверь снова позвонили.

— Шолом-aleyhem! Ну и холод у вас в России! — Плотный, невысокий молодой человек со светло-каштановой бородой протирает запотевшие очки.

— А у вас, в Палестине, арабов линчуют, — парировал хозяин.

Гость растерянно улыбнулся, стащил с себя берет, достал из кармана маленькую вязаную шапочку, надел ее на макушку.

— Это что, нынче так носят? — искренне удивился хозяин.

— Так, милый мой, носят две тысячи лет. — Иосиф Бедун оглядел прихожую. — За какие заслуги отдельные хоромы дают?

— Не имей сто друзей — имей дядю Осю в Лондоне.

— В нашем народе всякий, если захочет, дядю за кордоном отыщет, да не изо всякого дяди столько фунтов выжмешь, чтоб на квартиру хватило.

— Это уж точно, — гость и хозяин направились в гостиную.

У двери в ванную комнату Пятиборский остановился, постучал.

— Жаннуля, давай быстрее, возможен голодный бунт.

— Потерпите, оглоеды, — отозвалась хозяйка, но уже через несколько минут выскочила из ванной и, постукивая каблучками, принялась таскать в гостиную миски и тарелки.

За столом было тесно, шумно, весело. Первый бокал подняли за новоселье, потом за хозяйку, потом за присутствующих, потом за отсутствующих, потом...

— Мужчины, вы сыты? Можно убирать? Ставить чай?

Стол одобрительно загудел; дамы поднялись помочь хозяйке. Под шумок исчез и Пшеничников, но через минуту он вернулся с большим свертком и торжественно протянул его Пятиборскому.

— Хоть ты и жидовская морда, так и быть, получай!

Пятиборский развернул сверток.

— Ну и ну, Виля! Не верил, честное слово не верил. «Русская икона»! А печать-то какая! В цековской типографии небось делали?

— Выше бери, в Вене.

— «Икону»? В Вене? — гости осторожно передавали друг другу альбом, щупали бумагу, гладили репродукции. — Как прикажете такое понимать?

— А что у нас нынче на дворе? Оттепель. Слово такое слышали?

— Слышать — слышали, видать — не видали.

— Поздравляю, Виля. Скажи, как пробил?

— По правилам надо играть, ребята, — загадочно улыбнулся Пшеничников. — Вы все по старинке мыслите и того не замечаете, что в партию пришли новые люди. Они хотят изменить ее изнутри. Вот с ними-то и надо играть в одну игру!

— Скажите, миряне, где такое продается? — Меерсон-Менделеев не мог оторвать взгляда от иконы Иоанна Златоуста.

— Всюду продается. Только за доллары.

— Как это — за доллары?

— А это, батенька, тоже часть игры. «Наш человек» сразу меня предупредил: чтобы пробить «Икону», нужно доказать «где надо», что она будет продаваться за границей и принесет казне валюту. Тогда дело пойдет.

— Так если это людям недоступно, зачем оно? — пожал плечами отец Антоний.

— Кому недоступно, мужику? Да ему лишь бы водяра была доступна. Вот скажи, Тоник, чем там у вас в Истре земляные люди больше интересуются, искусством или самогоном?

— Про земляных людей не знаю, а вот земляные писатели у нас в почете — журналы за ними гоняются, критика возносит их до небес. Я вот со своим «Путешествием в страну рукописей» все редакции обегал, и везде от ворот поворот. С «Колоколом» куда ни сунусь, все морщатся — какое, мол, отношение это имеет к русской культуре? Так что, Виля, для кого оттепель, а для кого...

— Нет, дорогой, не понимаешь ты правил игры. С твоей фамилией ничего печатать не будут, это ежу ясно. Папаша-то у нас кто был, за что сидел? За еврейский национализм! Так что все правильно, не на кого обижаться.

— Да и у вас, — язвительно заметил Тоник, — папаша тоже фамилией не вышел.

— Правильно, папаша наш значился как Вайцкорн, но мы-то пишемся Пшеничников. Потому и печатаемся. Надо было и тебе «Путешествие» под псевдонимом пустить.

— Ну возьмет он себе псевдоним, ну напечатают его, — вступил Бедун, — а что изменится? Ведь сказано: «По морде бей, не по паспорту». Так что, ребята, антисемитизм вечен, хоть вы сто раз фамилии меняйте.

— Не знаю, где такое сказано, — глаза отца Антония заблестели, борода затряслась, — у нас, под сводами православного храма, звучит слово Апостола: «Несть ни элина, ни иудея».

— Оно, конечно, пополнить недостаток русскости православием дело не хитрое, — заметил Пятиборский, — только ведь есть сермяжная правда в том, что любой деревенщик ближе русской культуре, чем наш друг Тоник. Ну не может еврей целиком войти в эту культуру, не может! Тут хоть три креста надень, а органически русская культу-

ра все равно останется чуждой нашей космополитической натуре.

— Да, да, — Тоник почесал в затылке, — и мне сдается, что все это больше отдает бегством от Кесаря, чем стремлением к Богу. И куда бежим? Туда, где еврея всегда считали исконным и вечным врагом? Не так ли, Антон Моисеевич?

— Сошлюсь на слова Его: «Любите врагов ваших», понимать которые надо так, что у нас только одно средство борьбы — любовь. А любовь наша христианская активна, плодоносна и бескорыстно стремится к благу ближнего. — Меерсон-Менделеев устремил взгляд к потолку. — В чем же еще благо еврейского народа, как не в обращении к Христу?

— Но согласитесь, сэр, православная церковь — атрибут национальный. Как же в ней будет чувствовать себя еврей, который в русской истории сидит какую сотню лет? Для него ведь что Иван Грозный, что император Токугава.

— Да о чем вообще разговор, — возмутился Бедун, — у нас что, своей культуры нет? А кто дал миру Библию, Эйнштейна и Маркса? Надо бороться за возрождение нашей культуры, а не менять ее на русскую. Это ведь все равно, что поменять первородство на чечевичную похлебку!

— Бог с вами, кто же требует от культуры отказываться? Идеалом православия является еврейский народ как еврейская православная церковь. Подумаем, что означают слова Апостола «Весь Израиль спасется»? А то, что народ Израилев откажется от ненависти к Христу и станет особой церковью божьей, церковью апостола Иакова, венчающего Православие!

— Кончайте, мужики, лимпизить. Ну, о чем вы говорите? Сколько в церковь народу пойдет? С гулькин нос! А в партии шестнадцать миллионов. Она — сила. Она все решала и решать будет. Туда надо идти.

— Пошел ты, Виля, со своей партией в одно место, — возмутилась Кира. — Вот мы с Жанной в прошлое вос-

кресенье проповедь отца Антония слушали, так в церкви столько народа собралось — яблоку негде было упасть!

— Так туда небось, кроме вас, одни бабульки деревенские набились.

— Вовсе не деревенские. Там такие люди были, такие! Сам...

— Не говори, Жанна, не говори ему, — перебила ее Кира. — Ты, Виля, сам туда съезди. Сразу увидишь, что церковь — это не партия! На партсобрании сидишь и думаешь, как бы поскорее домой удрать, а в церкви...

— Ничего, Кирка, вот дойдет куда надо, что ты в церковь ходишь, тебе сразу на партсобрании весело станет!

— Плевала я на вашу партию, мне все равно кроме младшего научного ничего не светит, — Кира повернулась к Меерсону-Менделееву. — Еще чайку, отец Антоний?

— Пусть они чай гоняют, а мы с тобой пойдем покурим, — Пшеничников встал, взял под руку Тоника, потащил его в коридор.

— Ну, твоя Кирка дает!

— Без тормозов она у меня. Помнишь, как диссертацию писала? Ночами сидела, ни меня, ни дочери не замечала. Ладно, пройдет у нее и это. Скажи лучше, насчет псевдонима ты серьезно думаешь?

— Уверен. Ты начальство пойми: у нас что ни писатель, то — еврей. Должны же они как-то регулировать.

Хозяин дома, меж тем, предоставив Меерсону-Менделееву беседовать с дамами, уединился с Бедуном.

— Ося, а ты в свой почтовый ящик тоже в ермолке ходишь?

— Не в ермолке дело, — смутился Бедун. — Мы должны бороться за возрождение нашей культуры.

— Для чего? Что мы тут с ней будем делать?

— Почему тут? У нас, между прочим, своя родина есть.

— Ну и ну! У него, — Пятиборский кивнул в сторону Меерсона-Менделеева, — и мамаша была сумасшедшей, и сам он... А твой-то папаша с пеленок в партии. Как ты до такого дошел?

— Так и дошел. И, между прочим, не я один до этого дошел.

— Ну, предположим, найдется еще пара безумцев, да кто ж вас выпустит? Тут в Польшу съездить — историческое событие, а уж в Израиль!

— Господь нас по белу свету рассеял, он нас и соберет. Почитать хочешь?

— Что у тебя?

— «Экзодус», потрясающе.

— Давай, только Жанке ни слова! — Пятиборский под столом взял у Бедуна небольшую книжонку, незаметно сунул ее в карман и тут же обратился к Меерсону-Менделееву. — Не надоели вам наши дамы, сэр? А то пойдемте, покурим.

— Благодарствуем, только мне пора. Еще кое-кого навестить надо.

Меерсон-Менделеев встал, поцеловал дамам ручки, направился в коридор. Все пошли его провожать. Натянув пальто, отец Антоний пожал руки мужчинам и со словами «Храни вас Господь» вышел на лестничную площадку. Дамы махали ему до тех пор, пока двери лифта не скрыли крупную фигуру в черном.

— Доиграется папаша Антоний, — съязвил Пятиборский, — о его проповедях слишком уж много шепчутся. Смотрите, девки, влипнете в историю. Деревенским бабкам сойдет, а вас возьмут за одно место.

— Там и без нас есть кого брать, — тряхнула грудью приунывшая Кира.

— Ребята, а может, он того, по заданию? — Бедун вопросительно посмотрел на друзей. — При всем честном народе нести антисоветчину! Подозрительно что-то.

— Какая там антисоветчина? Любой деревенский поп говорит то же самое, только он — человек скучный, а наш Антон как рот раскроет, как глазом сверкнет!

— Не скажи, Виля. В какую игру Антошка с органами играет, это вопрос.

— Да вы, мужики, в каждом стукача видите. Если человек от всего сердца говорит о свободе, любви и ненависти, он, по-вашему, сексот?

— Ладно, Кира, берем свои слова обратно. Давай собирайся.

— И нам, Мариша, пора.

— Здесь? — такси выскочило на Большую Дмитровку.

— Еще немного. Вот здесь, — Пшеничников расплатился с таксистом, толкнул ногой тяжелую дверь и пропустил вперед Маришу.

Отряхнувшись в парадной, они поднялись по широкой обшарпанной лестнице на второй этаж. На площадке в пижамных штанах и куртке курил сосед. Виль смутился.

— Вечер добрый, Владимир Владимирович, что это вы так поздно?

— Не спится, Вильгельм Яковлевич. А можно ли вас на два слова?

Пшеничников отпер дверь, бросил Марише: «Иди, я сейчас» и подошел к соседу.

— Что-то случилось?

— Срочно нужен отчет по Меерсону-Менделееву.

— Не сегодня же!

— Именно сегодня. Напиши и брось в мой ящик, утром заберу. Завтра у Самого совещание, будем решать, что с ним делать.

— Да там ничего нет, обычные поповские бредни!

— Проповеди в церкви — это еще куда ни шло, но он в почтовые ящики повадился, техническую интеллигенцию сбивает с пути.

— Хорошо, — упавшим голосом согласился Пшеничников и, помедлив, добавил: — Я сегодня с Тоником говорил, он согласен свое «Путешествие» под псевдонимом пустить. Надо бы напечатать.

— Ладно, иди работай, я дам команду, — «наш человек» потушил сигарету и исчез в дверях своей квартиры.

POST SCRIPTUM

Окрыленный первой удачей — «Путеводитель в страну рукописей» под псевдонимом «Натанов» все же был издан, — Натан продолжил архивные изыскания и написал много исторических романов, посвященных декабристам, Радищеву и Герцену. Главным же трудом своей жизни он считал «Секретную политическую историю Российской империи», завершить которую ему не удалось. Он умер от разрыва сердца во время спора с писателем-деревенщиком А. в ресторане Центрального дома литераторов.

Кира тяжело пережила кончину Натана, но уже через год вышла замуж за известного литературного критика Н., человека церковного и глубоко верующего. Через год она родила ему сына, но вскоре брак распался: будучи платонически влюбленной в своего духовника, отца Кирилла, она не могла больше выполнять супружеские обязанности.

Побывав однажды в Литве, Саша Пятиборский познакомился с монахом-иезуитом отцом Станисловасом, под влиянием которого принял католичество. Однако под напором жены вскоре перешел в православие. После Шестидневной войны Пятиборский перестал ходить в церковь, надел ермолку и начал изучать иврит в ульпане Иосифа Бедуна, о чем не замедлил сообщить дяде Осе, будучи уверен, что лондонскому дядюшке его новый выбор придется по душе. Дядя Ося, однако, в резких тонах высказал свое неприятие «любого национализма» и еще раз подтвердил неизменную свою приверженность «лучшим традициям русской интеллигенции». «А уж если меня что-то и увлекает помимо русской культуры, так это загадки древней буддийской цивилизации», — писал Ося сыну любимой сестры, погибшей в Ленинграде во время блокады. Пятиборский, прекрасно умевший читать между строк, тут же сообразил, что хотел сказать ему дядя, и начал изучать буддизм. Через короткое время он написал в Лондон, что

готов преподавать буддийскую философию в любом из британских университетов.

Еще через какое-то время он получил визу в Израиль и оказался в транзитном лагере еврейских эмигрантов Шенау, что под Веной. Там он произнес публичную речь, в которой решительно осудил сионизм и потребовал незамедлительно отправить его в Лондон. Оказавшись в Англии, он, к своему удивлению, обнаружил, что ни один британский университет не спешит осчастливить себя «выдающимся советским специалистом в области буддийской философии». Пятиборский начал было подумывать о переезде в Израиль, но тут его приняли на радиостанцию «Освобождение» в качестве «выдающегося британского специалиста по сравнительному религиоведению».

Несмотря на преследования инакомыслящих и аресты диссидентов в суровую брежневскую годину, отец Антоний неутомимо пропагандировал слово Божье среди еврейского народа, популяризировал азы православной веры в своих статьях и книгах. Его поношенное черное пальто можно было увидеть в медвежьих уголках Подмосковья и на вешалках ведущих институтов Академии наук, его горящий взгляд воодушевлял разочарованных, вдохновлял неудачливых, придавал силы отчаявшимся.

С падением брежневского режима, когда православие сменило марксизм в качестве государственной религии, отец Антоний загрустил и сник. Его духовные дети, воспользовавшись еврейским происхождением, выехали за рубеж, сам же он все реже произносил проповеди, все реже появлялся на людях. В один из осенних дней 1990 года он ушел из дома и больше не вернулся. Его исчезновение породило массу легенд. Одни утверждали, что отца Антония убил его же прихожанин, потребовавший у батюшки денег на водку. Другие говорили, что Меерсон-Менделеев пал жертвой заговора церковных иерархов — чинов КГБ, третьи, наконец, уверяли, что видели отца Антония в ли-

товском городе Тракай, где он сменил имя на Лейбу, отпустил пейсы и каждую ночь приходит на берег Тракайского озера, на то самое месте, где когда-то стояла старинная синагога. Там он, закрывшись полами своего черного пальто, до утра рассуждает сам с собой о свободе, любви и ненависти.

«Отпустим мы вас, — говорили в КГБ Бедуну, — дайте срок — у вас ведь первая форма допуска! Только сидите тихо, учите иврит, с диссидентами не водитесь и не давайте людям читать Солженицына». Бедун решил сделать властям назло и... получил первый срок — три года ссылки. Вернулся, взялся за старое. Получил пять лет тюрьмы, отсиживать которые ему, правда, не пришлось. По личной просьбе президента Франции, Миттерана Бедуна освободили и выдали ему визу в Израиль.

На исторической родине Иосифа встретили как героя. Его светло-каштановая бородка украшала обложки журналов, его знаменитые слова — «Усилим борьбу за возрождение еврейской культуры в СССР» — красовались на уличных заборах.

После падения советской власти о Бедуне стали забывать. Его больше не приглашали на митинги, не называли героем и отцом алии. Немного погрузив, он подался в воинственную ешиву в Хевроне, где всякий раз старался попасть в объектив, когда телевидение снимало поселенцев, забрасывающих камнями израильских солдат. Но, когда история с Хевроном разрешилась, Бегун совсем сник, а через некоторое время и вовсе исчез. Его исчезновение породило много легенд. Одни утверждали, что человек, расстрелявший в мечети Хеврона десятки арабов и затем покончивший собой, вовсе никакой не Гольдштейн, а самый что ни на есть Иосиф Бедун. Другие уверяли, что Бедун вернулся в Москву, сбрил бороду, женился на простой русской женщине и торгует вместе с ней в ларьке под названием «Косоворотка от Диора».

После отъезда Пятиборского его друг Виль Пшеничников сделался выездным. Он то и дело появлялся в Лондоне, в Париже или в Брюсселе, где непременно навещал своих друзей и друзей своих друзей. Гости из Москвы встречали радушно, одаривали щедро, расспрашивали жадно. И он рассказывал. О том, что кремлевские старцы дышат на ладан, а на смену им идут молодые реформаторы, «которых уже готовят на закрытых подмосковных дачах». Бедуна Пшеничников ругал последними словами: «Ему предлагали выездную визу при условии, что он тихо посидит полгода, но он отказался и схлопотал срок. Сам виноват, идиот!»

Скончался Пшеничников внезапно. В разгар народных волнений 1991 года он вдруг увидел по телевидению, как толпа осаждает Лубянскую площадь, пытаясь опрокинуть памятник Дзержинскому. Ему сделалось дурно, но, когда диктор объявил, что люди ринулись в здание КГБ и намерены добраться до архивов, Пшеничников вскочил, бросился к двери, но, сделав несколько шагов, упал замертво. На похоронах Пшеничникова было много людей. Один из них, назвавшись соседом покойного, произнес прочувствованную речь, которую закончил словами: «Ты ушел из жизни, дорогой Вильгельм Яковлевич, но дело твое будет жить вечно»

15. АЛГЕБРА ВОЙНЫ

— Что-то ты, Михаил, сегодня отстаешь, Анастас, гляди, одну за другой тащит, а у тебя, — Булганин нагнулся, заглянул в ведро, — каких-то пять окуньков трепыхается.

— А кому тут еще трепыхаться? Москва, чай, не Волга, окромя окуней никого и не выудишь, — сердито отозвался Суслов, стоявший по шиколотку в воде.

— Иди ко мне, милая, иди, — Микоян, удивший с мостика, присел на корточки и стал осторожно тянуть леску, — карашо, карашо. Так, так.

Вдруг он резко дернул удилище, леска взвилась вверх, плоский, крупный окунь блеснул чешуйчатой спинкой.

— Ты что, Анастас, заговор знаешь? — Маленков подхватил удочку и пошел на мостик, чтобы пристроиться рядом с удачником.

— Любит меня рыбка, любит, — Микоян не мог сдерживать счастливой улыбки.

Каганович, который рыбачил только «за компанию», бросил удилище, подошел к Микояну, присел возле ведра с рыбой.

— Сколько там у него? — Молотов, обнажив волосатую грудь, удил, стоя по колено в воде. Рыба к нему не шла.

— Крупных с десятков, а так все мелкота.

— Ну что, если вместе собрать, на уху хватит. Может, пойдем? Пока дойдем, пока сварят, как раз обед, — предложил Молотов.

— Оно и верно, — Суслов вышел из воды, поправил соломенную шляпу, махнул охраннику.

Тот подбежал и вытянулся в струнку.

— Ты вот что, собери рыбу в одно ведро и неси прямо на кухню, — Суслов надел ботинки, расправил брюки и медленно направился в сторону дачи.

Микоян с сожалением отдал удочку кагэбэшнику и быстрым шагом догнал Сулова. Одолев небольшой подъем, они остановились, чтобы перевести дух и дожждаться остальных. Собравшись вместе, члены Политбюро пересекли большую лужайку и направились к парадному входу.

Хрущев и Шепилов ждали на крыльце. Хрущев шурил глаза и широко улыбался. Микоян понял, что хозяин в хорошем расположении духа, ускорил шаг, чтоб первым положить об удачной рыбалке, и уже раскрыл было рот, но Хрущев его опередил:

— К нам едет Насер.

Микоян оторопел, остановился, да так и остался стоять с раскрытым ртом. Хрущев, с удовольствием глядя на глупую физиономию Микояна, и вовсе разулыбался. Наконец, Микоян пришел в себя.

— Его что, свергли? Спрятаться хочет или помощи будет просить?

— Да нет, не свергли. Мне Тито письмо прислал. Пишет, что Насер очень перспективный товарищ для движения неприсоединения. Ты, значит, Никита Сергеевич, его поддержи, дай ему оружие и начни тот разговор, чтобы он Суэцкий канал национализировал. А я, значит, тебе подсоблю, — буду на Насера давить: раз ты к неприсоединившимся странам присоединился, давай, мол, действуй. Не гоже терпеть у себя пережитки колониализма!

Так вот, значит, мы тут с Шелепиным все обдумали и решили, надо с ним договор заключать.

Микоян продолжал стоять в дурацкой позе, лихорадочно соображая, шутит Хрущев или хочет его на чем-то зацепить.

— Но ведь он же — реакционная военщина, кровавый режим...

— А я, значит, так понимаю, что мы сами это выдумали и сами в это и поверили.

Тем временем подошли члены Президиума ЦК и сгрудились у входа. Хозяин жестом велел проходить. Все прошли в зал, ждали. Хрущев сел в кресло, отбросил соломенную шляпу, вытер со лба пот.

— Ты что, Анастас, не понимаешь, какой силой становятся нарождающиеся третьи страны, освобождающиеся, значит, от колониального гнета? Вот я Неру встречал. Он кто? Нейтралист. И позиция у него, значит, промежуточная между капиталистическим миром и социалистическим. С преобладанием симпатий к нашей политике. И Сукарно в Индонезии — тоже, значит, нейтралист. Если мы в эту компанию еще Насера засунем, чуешь, что мы получим? Суэцкий канал. А это главная морская критерия, тьфу, — артерия. Вот когда мы этот канал к рукам приберем, всех на колени поставим!

— Но у Англии и Франции с Египтом договор об аренде, они могут войну начать, — решил вставить Молотов,

сильно обиженный, что не его, а Шелепина Хрушев выбрал в советники по такому важному вопросу.

— Не бойся, Вячеслав, не начнут. Мы ведь можем атомную бомбу ракетой хоть куда перебросить, хоть в Лондон, хоть в Чикаго. Кто против нас пойдет? Только самоубийцы. Верно я говорю, Анастас?

— Верно-то оно верно, только вот банки у них в Египте частные и экономика поглощена монополистическим капиталом. Их теперь капиталистической страной считать или как?

Хрушев наморщил лоб, задумался.

— Я так понимаю, раз власть у них опирается на диктатуру этого, значит, прогрессивного слоя, то и государство у них идет социалистическим путем. К примеру, они у нас оружие попросят. Мы дадим. И специалистов ихних возьмем в обучение. А те вернуться и будут еще более прогрессивными, чем нынешние. Так, значит, и получится, как учил Ленин, у каждой страны свой путь к социализму!

— Тут вот и другой вопрос возникает. Насер ведь коммунистов в тюрьмы сажает и целое государство задумал уничтожить. А мы...

— Ты что, Анастас, — Хрушев с презрением оглядел Микояна с ног до головы, — гнилой интеллигент? Боишься руки замарать? С Лазаря пример бери, он не боится.

Микоян побледнел, замотал головой.

— Не интеллигент я вовсе.

— То-то же! Ну что там, уха готова? — примирительно сказал Хрушев и направился в столовую.

Члены Президиума ЦК последовали за ним. Каганович шел первым.

16. МУСОП В ХРАМЕ

К сорока годам у Вульфика Хмельницкого прорезался талант рассказчика. Правда, он и прежде частенько пус-

кался в разговоры о том, как воевал в Пруссии, брал Кенигсберг, был ранен и провел три года в госпитале где-то на Урале. И хотя со временем рассказы его обрастали все новыми и новыми подробностями, было ясно — это из его жизни. Однако же, когда он переключился на истории, участником которых быть никак не мог, все решили — у Вульффика талант!

Рассказы его и в самом деле были удивительными и всегда начинались с того, как некто Вайль, Кенис или Померанц — непременно полуграмотный еврей из местечка — оказывался в Москве, являлся к главврачу психбольницы и предлагал ему открыть «цех». Конечно же, трикотажный цех! «Ви будете иметь себе лечебно-трудовой отдел, больные будут излечать себе трудом, я буду иметь себе кусочек хлеба и с маслом, а все вместе ми будем иметь еще кое-что», — талантливо пародировал Вульффик. Главврач — человек обязательно русский и обязательно неискушенный, — поначалу отказывался: «Я рад бы организовать у себя трудотерапию, но ведь надо закупить сырье, оборудование, наладить производство. Нет, это не для меня!» — «Послушайте сюда, доктор, — отвечал Вайль, Кенис или Померанц, — ну зачем вам думать за такие глупости? Пусть у меня болит голова за оборудование, за сырье и я знаю за что? За все! Ви будете себе руководить и получать — я знаю! — скромную зарплату».

В конце концов местечковому Мефистофелю удавалось соблазнить наивного русского доктора; при психбольнице возникало трикотажное производство, начинали капать кое-какие деньжата. Дальше больше — «левое» сырье, «левое» оборудование, «левый» товар. Денежки потекли ручейком, неискушенный доктор превратился в искушенного. Теперь он уже требовал расширять дело. Деньги потекли рекой. Десятки тысяч, сотни, миллионы. При слове «миллионы» Вульффик обычно понижал голос, закрывал глаза и умолкал.

Выдержав паузу, он переходил к «средней части» рассказа. «Фрукты Вайлю возили из Азербайджана, а Кенису — из Грузии. Вайль покупал жене брильянты, а Кенис — норковые шубы. У Вайля была дача с камином, а у Кениса — “Волга” с шофером». Вульффик долго и подробно описывал жизнь подпольных миллионеров, но, дойдя до самого интересного, неожиданно обрывал рассказ: «Все. Сгорел. Точка!»

Слушатели тоже сгорали. От любопытства. «На левом товаре засыпался? Любовница продала?» Вульффик загадочно улыбался: «Ни то и ни другое». — «А что же?» — «А то, что Вайль и Кенис были женаты на родных сестрах. Жена Вайля взяла и неожиданно умерла. Так, знаете, от рака. Общая теща тут и рассудила: чтоб деньги из семьи не утекли, Кенис — младший партнер — должен уступить жену Вайлю — старшему партнеру. Понятно, за отступные. Согласились, начался торг. Вайль говорит — возьми полмиллиона. Кенис возмутился — это за мою-то Сарру? Да ей цены нет! Вайль дошел до миллиона, потом сказал: хватит! — и забрал Сарру. Кенис до того обозлился, что сам пошел в органы и всех заложил».

Историям Вульффика все дивились. Не то, чтоб никто про валютные или трикотажные дела не слышал — газеты так и пестрели заголовками: «Кагал желтого дьявола», «Шайка “Юрий Гендлер и другие”», «Валютчики казнены». Но откуда Вульффик такие подробности знал? Во, придумщик, во талант!

Подробности Вульффик знал от Владимира Ивановича.

Случилось это три года назад. Вульффик сидел в своем закутке за рабочим столом и, обложившись бумагами, думал о том, что вчера на обед он ушел на десять минут раньше и оттого досталась ему печенка с гречневой кашей.

Не успел он подумать о гречневой каше, как зазвонил телефон. «Хмельницкий? Срочно к директору», — выпалила секретарша. Срочно! Все у вас срочно, проворчал про себя Вульффик, взял папку с текущими делами и направился к выходу.

— Не знаешь, зачем он меня?

— Да это не он, его сегодня нет. Тебя какой-то мужчина ждет, из министерства что ли, — секретарша на секунду оторвалась от своей «Эрики» и тут же принялась стучать дальше.

За директорским столом сидел бледнолицый человек средних лет, среднего роста, неопределенного цвета глаз и волос. Он поднялся навстречу Вульффику, протянул руку и посмотрел на него долгим, испытующим взглядом.

— Да, изменились вы! Молодой-то был худенький, а сейчас такой солидный товарищ! Сразу видно — юрис-консульт.

— Извините, не припомню имени-отчества?

— А мы с вами еще не знакомы. Зовут меня Владимир Иванович, я вам от Алексея Денисовича привет привез.

— От какого Алексея Денисовича, из минюста?

— Ну как же это вы так, Алексея Денисовича забыли! А ведь он вас с Урала вытащил, в Москве прописаться помог.

Кровь отхлынула от лица, ноги сделались ватными. Забыл ли он Алексея Денисовича? Очень, очень хотел бы забыть. Все для этого делал и, казалось, совсем уже забыл... И вдруг с удивительной ясностью — словно все это было только вчера, всплыла перед глазами жуткая, до отказа забитая людьми и вшами уральская пересыльная тюрьма, где над ним, дезертиром, издевались и охрана, и надзиратели, и зэки, и следователи. Ему было так худо, что он уже не надеялся дотянуть до лагеря. Но время пришло, и однажды его вызвал оперуполномоченный, который всегда вызывал зэков перед тем, как отправить их в лагерь.

— Ты что, в Томске жил?

— Никогда там не был, гражданин следователь.

— Как не был? А откуда у тебя этот адрес? — следователь протянул Вульффику его же записную книжку, ткнул пальцем: «Томск, ул. Пушкинская...»

— Да это мой товарищ детства, он еще до войны уехал из Ленинграда, но я у него не был.

— Как познакомились?

— Он в Ленинграде учился, к нам заходил. Мама его кормила, а он со мной физикой занимался, — чистосердечно признался Вульффик.

— Физикой, говоришь? А что с ним потом стало, знаешь?

— Он профессором сделался и в Томск переехал. Больше ничего о нем не знаю.

— Ладно, — опер почесал в затылке, — иди. Понадобисься — вызову.

Через неделю Вульффика вызвали. Но не к оперуполномоченному, а «на выход с вещами». Усадили в воронок и отвезли во внутреннюю тюрьму МГБ, которая после пересылки показалась ему земным раем. Три дня он кормился, мылся, а как только принял человеческий облик, подняли его наверх, привели в кабинет, велели ждать.

Ждать пришлось недолго, минут через пять на пороге появился бледнолицый человек среднего роста, среднего возраста, неопределенного цвета глаз и волос. Следователь поздоровался, уселся за стол, открыл папку и стал читать.

— Да, бежать с поля боя — тяжкое преступление, тяжкое. Могли и расстрел дать. Хотя двадцать пять — тоже немало!

В ответ Вульффик повторил то, что говорил всегда — как оглушили его взрывы, как потерял он рассудок, увидев взлетевшие в воздух руки и ноги своего товарища, как побежал не помня себя, не зная даже, куда бежит.

— Понимаю, понимаю, — не без сочувствия покачал головой следователь, — но преступление — оно всегда преступление, и искупить его...

— Да я ведь просил отправить меня на фронт, обещал искупить кровью!

— Зачем обязательно кровью? — следователь сделал длинную паузу, постучал пальцами по столу. — Ладно, к

этому мы еще вернемся, а сейчас поговорим о твоём друге Борисе. Когда ты с ним познакомился?

Расспрашивал следователь подробно: где, как и почему. Расспрос продолжался и на второй день, и на третий, и на четвертый. Вульффик изо всех сил старался вспомнить подробности встреч и бесед с Борисом, но следователь требовал: еще и еще!

Прошло две недели. На очередной допрос следователь явился в хорошем настроении, уселся за стол и... протянул Вульффику папиросу.

— Ну что ж, Хмельницкий, мы убедились, что со следствием ты ведешь себя честно, показания даешь правдивые, ничего не утаиваешь и не путаешь. Кроме того, мы установили, что с поля боя ты бежал, будучи контуженным. В общем, есть возможность тебе помочь. Если... и ты нам поможешь.

— Я? — изумился Вульффик.

— Да, ты. Но учти, задание, которое мы хотим тебе поручить, особо секретное, так что, если согласен, подпиши о неразглашении, — следователь протянул Вульффику какую-то бумагу, — вот здесь и здесь.

Вульффик едва успел разобрать несколько слов — «Обязуюсь...», «В случае...» — как следователь тут же взял бумагу и положил ее в папку.

— Прекрасно, с этого момента мы с тобой сидим в общем деле. Так что называй меня теперь Алексей Денисович, а я буду звать тебя как все — Вульффик. Идет?

Вульффик кивнул.

— Так вот, начну с того, что американские и английские разведцентры усиленно подбираются к нашим секретам, плетут заговоры, чтобы опутать наших ученых, заставить их работать на себя. Такое вот шпионское гнездо, — следователь тяжело вздохнул, — свили и в нашем городе. А знаешь, кто находится в его центре?

У Вульффика перехватило дыхание.

— Вот именно, друг твоего детства. Во время войны он кое-что делал для армии и флота, а после попал в наш город и пытался по личным связям устроиться на сверхсекретное военное предприятие. Но мы установили, что его жена — дочь литовского буржуазного националиста, находящегося на спецпоселении, и сестра врага народа, расстрелянного в сентябре сорок первого. Мы, конечно, к секретной работе его не допустили, но согласились дать ему место директора в несекретном учреждении — Палате мер и весов. Однако твой товарищ по указке шпионских центров превратил эту захудалую контору в солидное научное учреждение. Под видом ученых он принял на работу бывшего троцкиста, члена семьи врага народа, а также лицо, побывавшее в плену. Одновременно он стал приглашать в Институт метрологии крупнейших ученых, работающих на сверхсекретных объектах. Смекаешь, что получается: с одной стороны, шайка предателей и шпионов, с другой — носители государственных секретов. А связующее звено — твой друг Борис!

Мы, конечно, тоже не сидим сложа руки, но он так плотно окружил себя преданными людьми, что до сих пор... Так вот, твоя задача состоит в том, чтобы под видом старого друга проникнуть в его дом и, самое главное, — на его семинары и подробнейшим образом все записывать и передавать нам.

— Я? Я ничего в науке не понимаю, и вообще...

— Ну, понимаешь — не понимаешь — это неважно, у нас разберутся. А что касается «вообще», то мы тебя, понятно, выпустим и в институт устроим — ты ведь в Ленинграде закончил два курса юрфака? Товарищу же своему скажешь так: воевал, был ранен, три года валялся по госпиталям, теперь учусь в университете.

К «случайной» встрече с Борисом Вульфика готовили тщательно. Потом, когда она состоялась, начались посещения его дома и тех дурацких семинаров, на которых Вульфик сидел истуканом и ничего не понимал. Потом

начались занятия на юрфаке и редкие свидания с Зоей. Потом в местной газете появилась статья «Осиное гнездо на Лысой горке», в которой говорилось о директоре научного института, собравшего под своим крылом шпионов-вредителей. Потом была команда прекратить посещения Бориного дома и мучительное ожидание того, что за ненужностью его снова отправят в лагерь. Потом была смерть Сталина, оттепель и новые документы, вручая которые, Алексей Денисович дружески жал ему руку.

— Поезжай, Вульффик, в Москву, к своей Зое. Устраивайся, живи, как все. И не думай, что эта свистопляска с оттепелью надолго. Конечно, сейчас нас, чекистов, модно ругать, но мы с тобой еще понадобится. Обязательно понадобится. Без нас никак нельзя!

И вот понадобился.

Владимир Иванович рассказал о том, что «с самого верха» вышла директива усилить борьбу с экономическими преступлениями, что в Верховном Совете уже готовятся указы о введении смертной казни за хищение, взяточничество и нарушения правил валютных операций. Подробно объяснил его, Вульффика, задачу:

— Экономические дела — они особые, там без экспертной оценки нельзя. Вот мы и решили, что вы с вашим опытом и знаниями с этими делами разберетесь.

И Вульффик разбирался, от души разбирался, так разбирался, что и следователям порой работы не оставлял. Один раз, правда, оплошал, приписал по делу Саввеля Шустера лишний ноль. Прокурор высшей меры потребовал. На суде, однако, адвокат сложил дважды два, и нолик этот выплыл. Конфуз получился, пришлось приговор переписывать, расстрел на пятнадцать лет менять. Владимир Иванович сильно рассердился, кричал, ногами топал. Вульффик оправдывался, как мог: «Работа все силы отнимает, да и на дорогу час уходит. Вечерами совсем не соображаю».

— Ладно, — отошел Владимир Иванович, — в экспертизу начальство тебя больше не хочет, а вот на другую работу устроиться я тебе помогу.

Недели через две пришло приглашение. И не откуда-нибудь, а из универмага «Москва», и не от кого-нибудь, а от самой директрисы Марии Федоровны Коршиловой, слава о которой гремела по всей Москве.

В назначенный день Вульффик трижды прошелся бритвой по щекам и подбородку, щедро смочил их одеколоном «Шипр», надел белую рубашку, синий пиджак и галстук в горошек. В приемную Коршиловой явился минута в минуту.

Вошел и обомлел. Кабинет был обставлен павловской мебелью, хозяйка его, одетая в густо-оранжевое трикотажное платье, стояла возле письменного стола, держа в одной руке золотую трубку телефона, другой поглаживая воротник из горноста, который обвивал ее шею. «Царица, — мелькнуло в голове, — честное слово, царица!»

Мария Федоровна, меж тем, положила трубку, указала Вульффику на стул и открыла свой золотозубый рот.

— Вот вы какой, товарищ Хмельницкий! Так, так. Ну что ж, мне вас рекомендовали как прекрасного юриста, специалиста по трикотажному производству и человека, умеющего держать язык за зубами. Значит, будем работать. Но учтите, задача наша не из легких. Посмотрите, где мы находимся? На Ленинском проспекте. Тут и Президиум Академии наук, и всякие институты — атомные, военные и прочие. У нас одних генералов, академиков и медицинских светил больше, чем в любой части Москвы. Вот их-то мы и должны обслуживать! Улавливаете?

— Как же, как же, — придавленный грандиозностью задачи и покоренный гладкой речью директрисы, пролепетал Вульффик.

— Мне уже удалось расширить сферу нашей торговли, — продолжала Мария Федоровна, — полгода назад мы открыли продовольственный отдел и фруктовую сек-

цию, а вот теперь на очереди трикотажный цех. Начальника я уже подобрала — Хейфиц, ваш человек. Он будет производство налаживать, а ваша задача — следить за разнорядками, за учетом продукции, сбытом — чтоб комар носа не подточил. И зарплаты будут на вас. Запомните — зарабатывать люди должны хорошо, чтобы не воровали. Но, прежде всего, должна быть учтена моя руководящая роль...

С этого момента жизнь Вульфика изменилась. Да так, что вовсе перестала походить на прежнюю. А похожей она стала на ту, которую вели герои его рассказов — подпольные миллионеры. Вульфик больше не вставал в шесть утра, не тащился на работу автобусом, потом метро и снова автобусом. Из коммуналки на Тимирязевской он переехал в трехкомнатную квартиру на Профсоюзной и стал ходить на работу пешком — разгонять стремительно растущие жировые отложения.

Что до Зои, то одеваться она стала исключительно в джерси, разъезжала только на такси, серьги и кольца носила с бриллиантами, на курорты ездила в «бархатный» сезон.

Только сын Вульфика не радовал. Учился Борис плохо — перебивался с двоек на тройки. Занятия прогуливал, целыми днями где-то шатался — пластинками фарцевал. Потом переключился на джинсы. Школу, правда, с грехом пополам окончил, но в институт провалился. Отец ему: «Работать иди, в институт поступать готовься». А Боря в ответ: «На черта мне твой институт, пять лет учись, а потом кукуй всю жизнь на голую зарплату! Я, как твой Хейфиц, хочу — семь классов, а уже третью дачу строит». — «Ты про дачи-то язык придержи, понял?»

Ругать сына ругал, но довольство отпускал щедрое. Благо было с чего.

Все кончилось так же внезапно, как и началось. Приехали, дом вверх дном перевернули, имущество описали, отвезли Вульфика туда, куда он недавно ходил как на службу. Потом и Зою стали вызывать.

С лица женщина спала, веса десять кило потеряла, но держалась твердо: «Ни в чем муж мой не виноват, он все делал по заданию товарищ Коршиловой» — «По чьим заданиям действовал ваш муж, мы сами разберемся, — перебивал ее Владимир Иванович, — вы лучше помогите нам деньги отыскать. Хищений у него на два миллиона двести тысяч, а мы только половину обнаружили. Если поможете деньги найти, даю честное партийное слово, высшей меры не будет». Зоя все отрицала, все просила Коршилову вызвать: «Она подтвердит!»

Неожиданно вызвали к следователю Бориса.

— Не бойся, сынок, и говори им одно: ничего не знаю, — напутствовала сына Зоя.

Боря сделал вид, что не боится. На душу, однако, легла какая-то тяжесть.

— Ээ, молодой человек, — Владимир Иванович листал объемистую папку, — да вас и за собственные дела можно посадить.

— Нет у меня никаких дел, — хорохорился Борис, а у самого сердце ушло в пятки.

— Ну всего, что тут написано, перечислять не стану, время не хватит. Но вот, например. Шестого мая вы были в общежитии МГУ, корпус «Б», комната двести шестнадцать у студента из Нигерии Кв..али..мбо. Купили у него джинсы, которые потом продали товароведу из магазина «Мелодия». Показания зачитать?

— Не надо.

— Хорошо, не буду, — добродушно согласился следователь. — Тогда вот еще. Второго июня в том же общежитии вы посетили комнату шестьсот сорок пять, где проживала гражданочка Японии Томак..о. Провели у нее четырнадцать минут и приобрели кассетный магнитофон «Сони». Тут у нас и фотография. Показать? Вот он, магнитофон-то. Узнаете? Так-то, Борис Вульфович, — от добродушной улыбки на лице следователя не осталось и следа, — мы не только папашу твоего шлепнем, но и тебя, фарца проклятая, годков на десять упрячем.

Боря молчал. Это в математике он был не бум-бум, а в деле соображал мгновенно. Мгновенно же и сообразил — отсюда ему не выйти.

Владимир Иванович, меж тем, откинулся в кресле, закурил и немного смягчился.

— Ладно, парень, ты не думай, лично мне тебя жаль. Понимаю, запутался ты, под дурное влияние попал. И хотел бы тебе помочь, но ведь и надо мной начальство сидит.

Следователя Боря уже не слушал, в голове стучало: что же мне будут шить?

— Можно, конечно, попробовать, — продолжил Владимир Иванович. — У нас тут проблема. Следствие по делу твоего папаши девятый месяц идет, а мы все еще больше миллиона отыскать не можем. Знаем, что на эти деньги бриллианты были куплены. Знаем когда и у кого, а вот где спрятаны? С ног сбились — нету! Признайся, денежки у отца приворовывал, разговоры его подслушивал? Было такое?

— Было, — настороженно ответил Боря.

— Вот и помоги следствию. Если наведешь на след, я к генпрокурору пойду, партбилет положу, но папашу твоего от расстрела отведу и тебя на свободу вытащу. Договорились?

Боря кивнул.

— Ну давай, припоминай. Про дачи что слышал?

— Да не на даче они.

— А где же? — Владимир Владимирович от удивления привстал с кресла.

— В Ленинграде. В комнате у бабушки Доры большая люстра висит, вроде якоря. Вы ее развинтите...

17. ДОМ БЕЗ ВЫВЕСКИ

В конце мая 1967 года в маленьком особняке израильского посольства, что на Арбате, дым стоял коромыслом: заколачивали ящики с мебелью, книгами, документами;

новое здание посольства, скрытое за глухим забором на Большой Ордынке, ждало своих обитателей. Увы, новоселье не состоялось: 10 июня, в последний день Шестидневной войны, Москва объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Распаковывать ящики пришлось в Тель-Авиве.

Разрыв с Советами никого в нашей стране не удивил — Москва и до войны относилась к нам крайне враждебно — и ничего в сущности не изменил. Разве что еще дальше отодвигал разговоры о русских евреях, существование которых и без того казалось эфемерным. Во всяком случае, все тогда говорили о войне, чествовали героев, валом валяли в Старый Иерусалим и на Синай, спорили — отдавать или не отдавать завоеванные территории.

Были, однако, в стране люди, которые не могли забыть о русских евреях в силу служебных обязанностей.

В августе 1912 года подтянутый, аккуратно одетый подросток из Каменец-Подольска держал экзамен в тель-авивскую гимназию «Герцлия». И хотя в Палестину его привезли всего месяц назад, он прекрасно написал сочинение, решил задачи по математике, назвал имя президента Американских Соединенных Штатов и дату смерти Александра Пушкина. Преподаватели пришли в восторг; тринадцатилетний Саул Мееров был зачислен в седьмой класс. Увы, учиться Саулу пришлось недолго — в 1917 году турецкие власти выслали его семью вместе со всем еврейским населением Тель-Авива.

В ссылке, в районе Зихрон-Яков, прилежному гимназисту поручили вырубать кустарник. Обливаясь потом и до крови обдирая руки и ноги, он с завистью смотрел на группу сверстников, ловко орудующих топором и лопатой. К его удивлению, эти парни и девушки работали на земле не для заработка, а во имя идеи — построения государства, в котором не будет эксплуататоров и эксплуатируемых, в котором евреи сами будут пахать землю, стро-

ить дороги, защищать себя с оружием в руках. Во имя этого светлого будущего они не только работали, но и боролись. Открыто — с арабами, тайно — с турками, потом с англичанами.

В гимназию Саул не вернулся. С 1918 года он — член кибуца Киннерет и, само собой, боец отряда самообороны. В 1920-м он под командованием Трумпельдора участвует в защите местечка Телль-Хай, где полный георгиевский кавалер, герой России и Израиля нашел свою могилу. Смелый и предприимчивый, Саул вскоре входит в руководящий совет подпольной армии — Хаганы. Там он отвечает за создание разведслужбы, занимается приобретением и производством оружия. С 1934 года возглавляет секретную организацию Мосад ле-Алия Бет, цель которой — нелегальная иммиграция евреев в подмандатную Палестину. Во время мировой войны он тайно посещает столицы арабских государств, налаживает контакты с беженцами из Европы и с местными евреями. Когда же военные действия в Европе стихают, он организует операцию «Бриха», цель которой — собирать и переправлять в Палестину уцелевших евреев со Старого континента. Одновременно он нелегально закупает оружие и хитроумными путями доставляет его на родину.

В 1948 году в боях за Седжеру погиб его семнадцатилетний сын Гур. Саул решает необычным образом сохранить память о нем. Теперь фамилия его не Мееров, а Авигур — отец Гура.

Но вот и долгожданная независимость; Шаул Авигур становится заместителем Бен-Гуриона по министерству обороны. Увы, для публичной деятельности он не создан; от должности заместителя министра обороны Авигур уходит. От должности, но не от дел, которых у него по-прежнему великое множество. Одно из них — внимательно следить за развитием событий за рубежом.

В феврале 1953 года, когда «дело врачей» подходило к развязке, а под Москвой, как писали газеты, стояли эшелоны для вывоза «шпионов, вредителей и убийц», кто-то из наших горячих голов бросил гранату в здание советской миссии в Тель-Авиве. И хотя министр иностранных дел Моше Шарет принес официальные извинения, Москва объявила о прекращении дипломатических отношений. Шарет снова извинился, но Кремль потребовал гарантий. Начался торг. Бен-Гурион уступил, отношения были восстановлены.

Казалось, все довольны. Все, но не Авигур. Шаул встревожен и возмущен. Ну что ж, пусть его шурин Моше Шарет шлет в Москву ноты с извинениями, пусть Старик считает нужным уступить, он, Авигур, не позволит Москве играть с еврейским государством в кошки-мышки. У Шарета свои дела, у него, Авигура, — свои. В том же 1953 году с согласия Бен-Гуриона Авигур создает организацию под названием «Лишкат хакешер им ихудей Мизрах Юропа вЭБрит ха-Муацот», что означает «Бюро связи с евреями Восточной Европы и Советского Союза». Немногие посвященные станут называть ее просто — Лишка.

В лабиринтах Кирьи, далеко не самого привлекательного района Тель-Авива, между гаражами, складами, ремонтными мастерскими затерялось неказистое двухэтажное здание. Дорогие автомобили к нему не подъезжали, входящие в здание мужчины и женщины ничем не отличались от скромных служащих здешней округи. Случайный прохожий мог подумать, что в здании расположилась какая-то контора, причем столь захудалая, что даже табличка над входом для нее — роскошь. Ему, случайному прохожему, и в голову не могло прийти, что возглавляет эту «контору» человек в ранге заместителя министра, который подчиняется самому Старику. И уж тем более невозможно было бы предположить, что к голосу хозяина «конторы» прислу-

шиваются и в Шин Бет¹, и в министерстве иностранных дел, и на национальном радио, что стоит хозяину кабинета на втором этаже поднять трубку, как сотни тысяч людей выйдут на улицы Нью-Йорка, Парижа, Амстердама, Стокгольма и Буэнос Айреса, что пресса, радио и телевидение во всем мире поднимут шумную кампанию, в которой примут участие сенаторы и министры, нобелевские лауреаты и звезды мирового кино, что кампания эта будет направлена против могущественной державы мира — Советского Союза. Лозунгом этой кампании станут библейские слова «Отпусти народ мой!»

Но все это будет позже, в семидесятые и восьмидесятые, а пока что Авигур устанавливает нужные связи, подбирает сотрудников, отработывает методы координации различных служб, которые прямо или косвенно будут вовлечены в замышляемый им проект. Впрочем, до конца шестидесятых говорить о реальности замысла Авигура означало выставить себя фантазером. Среди немногих посвященных были и те, кто считал, будто Авигур придумал себе синектуру и бросает на ветер государственные деньги.

Деньги на ветер Авигур не бросал.

В 1956 году Польша заключила с Москвой соглашение о репатриации польских граждан, оказавшихся на территории СССР в результате войны. В числе тех, кто мог доказать, что в довоенные годы был гражданином Польши, оказалось более 20 тысяч евреев, причем не только польских, но и русских, сумевших тем или иным способом вскочить в «польский» поезд. Эмиссары Лишки основательно поработали над тем, чтобы евреи, выбравшиеся из России, сумели добраться до Израиля.

Но не это было главным достижением ведомства Авигура в первые пятнадцать лет его существования.

¹ Шин Бет (Шерут ха-Битахон) — Служба безопасности

В начале шестидесятых годов на улицах Москвы можно было встретить чернокожих мальчиков и девочек, которых вели за руки их белокожие мамы. Москвичи знали — это «побочный продукт» Всемирного фестиваля молодежи и студентов, что проходил в Москве в июле-августе 1957 года. Но никто — похоже, и вездесущие органы — не знал, что другим побочным продуктом Московского фестиваля стало появление на свет молодых людей, которых впоследствии назовут еврейскими активистами.

И верно, в душе тех, кто набрался мужества явиться на фестиваль и познакомиться с членами израильской делегации, уже горел национальный огонь. После фестиваля в их руках оказались брошюры с рассказами о молодом еврейском государстве, открытки с изображением прекрасных девушек-солдаток, значки с израильским флагом, авторучки и зажигалки, заряженные «теми» чернилами и «тем» газом...

Крупные международные мероприятия: выставки, конференции, спортивные состязания — случались и позже, и даже если они не представляли интереса для широкой публики, даже если павильоны других стран пустовали, в израильском, непременно задвинутом в самый дальний угол, всегда толпился народ. Под звездой Давида собирались, знакомились, сбивались в кружки молодые люди из Риги и Киева, Вильнюса и Москвы, Тбилиси и Одессы.

«Ну что твои мальчишки в России? Ты все еще веришь, что они поднимут большую алию? Кстати, сколько их у тебя, сотня душ наберется?» И такое приходилось выслушивать Авигуру. Но он оставался непреклонен, «где надо» стучал по столу, требовал поддержки. И попробовал бы кто-нибудь ему отказать!

Оппоненты Авигура были правы: мальчишки пятидесятых-шестидесятых поднять большую алию, конечно же, не могли. Они, наверное, так и остались бы разрозненными, разбросанными по огромной стране одиночками, ко-

торых рано или поздно выследили бы органы, упекли в лагеря и... закрыли бы дело. На это КГБ и рассчитывал, организовав антиеврейские процессы в Ленинграде, Риге, Кишеневе, Одессе, Свердловске, Киеве, Душанбе. Увы, Шестидневная война спутала карты всесильного Комитета госбезопасности — судить теперь нужно было не «одиночек-отщепенцев», а десятки тысяч людей.

Да, КГБ опоздал, но Шестидневная война спутала карты не только чекистам. Недоброжелатели Авигура из окружения премьер-министра были посрамлены, Голда Меир обратилась к советским евреям с открытым призывом эмигрировать в «страну предков», на этот раз точно зная, — ее услышат! А Лишка, державшаяся до сих пор на личных связях Авигура, превратилась в одно из важных министерств страны. Увы, сам он по причине возраста и здоровья покинул кабинет в Кирье, уступив свое кресло Нехемии Леванону.

18. ОПЕРАЦИЯ «ЖЕНИТЬБА»

Из газет. «Вечерний Ленинград», 15 июня 1970 года. Хроника.

15 июня с.г. в аэропорту «Смольное» задержана группа преступников, пытавшихся захватить рейсовый самолет. Ведется следствие.

Из оперативных донесений.

Начальнику УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области генерал-лейтенанту И.П. Носыреву

12 мая 1968 г. Ленинград

8 мая с.г. секретный сотрудник «Фаина» сообщила, что ее знакомая гр-ка А. Кац рассказывала, будто ее приятель по имени Гарик предложил ей бежать в Израиль на само-

лете, который он собирается угнать. Проверкой установлено, что «Гариком» является гр-н Лифшиц Гавриил Юльевич, 1928 г. рождения, еврей, член КПСС, разведен, работает инженером в тресте «Птицепром». В прошлом военный штурман.

Начальнику УКГБ при СМ УССР по Одесской области тов. Куварзину

18 августа 1968 г. Одесса

Сек. сот. «Инженер» сообщает, что 17 августа с.г. на проводах гр-на Шифлина Авраама Куселевича молодой парень по имени Толя пожаловался, что не может подать документы на выезд, так как у него нет родственников в Израиле. На это Шифлин ответил: «У настоящего патриота Израиля всегда есть выход — бежать через границу. При этом лучше всего угнать подводную лодку, чтобы одновременно принести пользу родине». Проверкой установлено, что «Толя» — это гр-н Апельман Анатолий Львович, 1941 г. рождения, без определенных занятий. Шифлин дал Апельману рекомендательное письмо в Ригу. Внешнее наблюдение сообщает, что сегодня в 8.05 Апельман отбыл поездом в Ригу.

Оперуполномоченному ст. лейтенанту Прохорову

6 ноября 1968 г. Потьма

Вчера вечером после отбоя з/к з/к Федотов, Каненко и Жлобкин залезли на нары и долго шептались о том, что будут делать после освобождения. Каненко сказал, что уедет на Украину и будет поступать в институт иностранных языков. Федотов сказал, что будет продолжать борьбу, несмотря на то, что начал ее глупо. Жлобкин сказал: «Не верю, что смогу чего-то добиться в Советском Союзе, но я не хочу хоронить свой талант писателя и поэтому после освобождения подамся на Запад». На это Федотов заметил, что бежать через границу еще труднее, чем стать писателем.

«Студент»

Председателю КГБ при СМ Лат. ССР генерал-майору
В.Я. Авдюкевичу

4 июля 1968 г. Рига

Подборка по бегству за границу

1. Сек. сот. «Рыбак» сообщает, что 26 июня подслушал разговор в парке «Шмерли» трех молодых парней еврейской наружности. Первый сказал: «Оставаться в СССР равносильно тому, что жить в тюрьме». Второй сказал: «Но ведь тебе уже отказали и, может быть, никогда не разрешат» — «Тогда я уеду без разрешения» — «Как это, перейдешь границу?» — «Нет, я с друзьями построю воздушный шар, и мы улетим в Швецию» С/с «Рыбак» проводил первого парня до дома. Проверкой установлено, что им является гр-н Клоп Ноах Мордухович, 1944 г. рождения, техник. Подал документы на выезд в Израиль. Двое других приезжие. Личности устанавливаются.

2. 5 июля с.г. в приемную поступило письмо от гр-на Чернова Юрия Петровича, работающего на Хлебокомбинате № 3. Чернов сообщает, что однажды в заводской столовой рассказал, как служил пограничником на советско-норвежской границе и ловил там перебежчиков. К нему подошел человек, которого все звали «Кися», и стал расспрашивать, как ловят перебежчиков. 2 июля с.г. «Кися» принес Чернову крупномасштабную карту Карелии, сказал, что едет туда отдыхать, и просил показать такие маршруты, чтобы не попасть на глаза пограничникам. Все это показалось Чернову подозрительным, и он решил сообщить в КГБ. Проверкой установлено, что «Кися» — гр-н Кисельман Лазарь Шмулевич, 1938 г. рождения, женат, не судим, с 1966 года подает на выезд в Израиль, где у него проживает мать.

Из докладной записки

Совершенно секретно

Особой важности

Председателю КГБ при СМ СССР тов. Ю.В. Андропову
23 ноября 1968 г.

В связи с решением Политбюро ЦК КПСС о проведении судебных процессов над сионистски настроенными лицами в гг. Риге, Вильнюсе, Кишиневе, Одессе, Киеве и Ленинграде представляю вам наши проработки по этому вопросу:

1. Подготовка и проведение судов на идеологической основе представляются нам затруднительными, так как большинство сионистски настроенных лиц имеют в Израиле родственников и прикрываются правом на воссоединение семей.

2. Большие сроки наказания по соответствующим статьям не предусмотрены, а маленькие — сведут эффект от судов к минимуму.

3. Суды над лицами, пытающимися законно выехать из СССР (воссоединиться с родственниками), могут произвести неблагоприятное впечатление за рубежом.

Учитывая вышеперечисленное, нам представляется, что с целью более эффективной реализации решений Политбюро ЦК КПСС необходимо найти другую основу для проведения процессов над сионистами. Такой основой, по нашему мнению, может стать разбойное нападение группы сионистов на советский самолет/корабль с целью бегства за границу.

По нашему мнению, процесс над угонщиками самолета/корабля позволит:

1. Развернуть осуждение/преследование сионистов повсеместно по стране, начиная от заводских коллективов, кончая Академией наук и Союзом писателей.

2. Судить сионистов по статье «Измена Родине» и назначить им максимальные сроки наказания.

3. Суд над лицами, пытавшимися незаконно бежать за рубеж с захватом самолета/корабля, ограничит возможности разведслужб Запада и сионистских центров по развертыванию антисоветской пропагандистской кампании.

В связи с вышесказанным прошу вашего согласия на разработку операции по захвату сионистами самолета/корабля с целью угона его за границу. При этом сообщаю, что неплохие наработки в этом направлении имеются в УКГБ по Ленинградской области, которые предлагаю сделать головным в разработке и проведении предлагаемой операции.

Начальник Пятого Главного Управления КГБ при СМ СССР Бобков

Из разговора по вертушке

— Бобков, ты?

— Я, товарищ председатель. Слушаю вас внимательно.

— Ну вот, говорил я о твоей записке. Разные мнения есть, разные. Да...

— Имеются конкретные возражения?

— Конкретные — не конкретные, но Устинов-то носом крутил: «Специалисты они хорошие, не обойтись без них!» И Громыко не так чтобы очень. Суслов, конечно, — «за». Черненко «не против», только, говорит, одновременно и по диссидентам ударить надо.

— Ну, а как Сам?

— Добро дал, только дров, говорит, не наломайте.

— Так как будем, товарищ председатель?

— А так и будем, Филипп Денисович, — начинай, но смотри в оба. И два тебе условия. Самолет там надумаешь или корабль — дело твое. Только чтоб стопроцентная гарантия в смысле угона. Окажется на Западе — головы тебе не сносить.

— Понял, товарищ председатель. Что еще?

— Еще вот что. Нехорошо, когда одни евреи. Ты давай туда русских, так один к четверем. Поженим диссидентов с сионистами, сыграем свадьбу, а потом дадим им квартиру. Казенную и надолго. Давай, действуй. Да...

Из докладных записок

Совершенно секретно

Начальнику Пятого Главного Управления КГБ при СМ СССР т. Бобкову Ф.Д.

21 мая 1969 г.

Настоящим прошу утвердить кандидатуру гр-на Лифшица в качестве «пилота» и гр-на Путмана в качестве «руководителя» операции «Женитьба».

Лифшиц Г.Ю. окончил Саранское летное училище по специальности «штурман бомбардировщика». Уволен из ВВС в 1961 г. ввиду конфликтного характера, выразившегося в правдоискательстве и несговорчивости с начальниками и сослуживцами. После Шестидневной войны 1967 г. загорелся желанием уехать в Израиль и начал склонять к отъезду жену Анастасию Ивановну, русскую. После отказа последней развелся с ней, оставив двух дочерей. Одержим идеей прилететь в Израиль на самолете. Рассматривал возможность построить самолет или воздушный шар, но остановился на угоне. Часто летает по разным маршрутам и заходит «поболтать» в кабину пилотов. В настоящее время пришел к выводу, что в одиночку угнать самолет не сможет. Ищет сообщников.

Путман П.И. окончил Ленинградский юридический институт в 1954 году, работал следователем в милиции. Выведен за кадры в звании лейтенанта за превышение полномочий, разглашение служебных сведений и грубое отношение к подчиненным. В настоящее время работает инженером. Под наблюдением с ноября 1966 г., когда в сговоре с другими лицами создал нелегальную антисоветскую сионистскую организацию. Членом ее руководяще-

го органа, «Комиссариата», является с весны 1968 г. Амбициозен, болтлив, тяготеет к прожектерству.

В случае вашего согласия с указанными кандидатурами, с/с «Веня» немедленно сведет Лифшица с Путманом.

Начальник УКГБ при СМ СССР по ЛО генерал-лейтенант Носырев

Секретно

Начальнику Пятого Главного Управления КГБ при СМ СССР т. Бобкову Ф.Д.

6 сентября 1969 г.

5 октября с.г. из лагеря № 37 в Потье освобождается з/к Жлобкин Арманд, отбывающий семь лет заключения по статьям 70, ч. 1, и 72 УК РСФСР. Согласно сводкам оперуполномоченного ст. лейтенанта КГБ Прохорова, з/к Жлобкин после освобождения будет пытаться попасть за рубеж, где рассчитывает «развернуть свой талант философа и писателя». В связи с этим мы запросили экспертную оценку на Жлобкина. Эксперт, профессор А. З-в, считает, что Жлобкин является недоучкой и дилетантом; максимум, на что он может рассчитывать на Западе, это работа в какой-нибудь эмигрантской газете или на радиостанции «Освобождение».

В связи с этим предлагаю оказать Жлобкину негласное содействие в выезде за границу. В случае вашего согласия я проинструктирую оперуполномоченного ст. лейтенанта Прохорова, с тем, чтобы перед освобождением он разъяснил Жлобкину, что в СССР мы ему жить не дадим, но препятствовать его отъезду за границу не будем. Оперуполномоченный Прохоров порекомендует Жлобкину поехать в Прибалтику, жениться на еврейской женщине, которая собирается выезжать в Израиль, и вместе с ней убраться, куда ему вздумается. Он также даст Жлобкину адрес в Риге с/с «Доктора», который получит соответствующие инструкции от своего ведущего.

Старший следователь по особо важным делам УКГБ
по МО п/п Пугин

Совершенно секретно

Начальнику Пятого Главного Управления КГБ при СМ
СССР т. Бобкову Ф.Д.

20 сентября 1969 г.

Настоящим сообщая, что 16 сентября с.г. сек. сот. «Веня»
свел Лифшица с Путманом. Путман сразу же загорелся иде-
ей угнать самолет и принялся обсуждать с Лифшицем
разные варианты. В настоящий момент они сошлись
на плане угнать рейсовый самолет Ту-124 Ленинград —
Мурманск. Операция «Женитьба» назначена на 1--2
мая следующего года.

24 декабря 1969 г.

Сообщая, что Лифшиц отказался от планов угона мар-
шрутного самолета Ленинград--Мурманск, так как убедил-
ся, что не справится с управлением. Кроме того, Путман
познакомил Лифшица с членами возглавляемой им сио-
нистской группы. Согласно оперативному наблюдению,
Лифшиц произвел на них плохое впечатление. В «Комис-
сариате» возникли разногласия между его членами, с од-
ной стороны, и Путманом и Лифшицем — с другой. В ре-
зультате решили обратиться с запросом в Израиль через
первого же члена группы, который получит разрешение.

В связи с этим мы срочно выдали разрешение с/с «Ма-
лышу», который будет действовать в Израиле в соответ-
ствии с указаниями резидента «Попа».

Начальник УКГБ при СМ СССР по ЛО генерал-лейте-
нант Носырев

Из распоряжений

Совершенно секретно

7 января 1970 г.

Начальнику УКГБ при СМ СССР по ЛО генерал-лейтенанту Носыреву И.П.

Копия: Председателю КГБ при СМ Лат. ССР генерал-майору Авдюкевичу В. Я.

Относительно операции «Женитьба»

В связи с тем, что «пилот» вызвал недоверие членов «Комиссариата», сексот «Веня» должен немедленно связать Лифшица и Путмана с гр-м Жлобкиным А., проживающим по адресу: г. Рига, улица Стучки, дом № 85, кв. 12., женатым на гр-ке Рабинович О.И. и вместе с ней подавшим документы на выезд в Израиль.

В изменение нашего прежнего распоряжения КГБ при СМ Латв. ССР должен немедленно отменить разрешение семье Жлобкин-Рабинович и дать им знать (официально и через сек. сотрудников), что они никогда из Союза не уедут.

В дополнение сообщаю, что проработки аналитического отдела показали: Жлобкин начнет вербовать угонщиков из числа сионистов в Риге, Одессе и Кишиневе (через О. Рабинович), а также из числа своих подельников и сосидельцев в Москве и других городах.

Начальник Пятого Главного Управления КГБ при СМ СССР Бобков

Из докладных записок

Начальнику Пятого Главного Управления КГБ при СМ СССР т. Бобкову Ф.Д.

2 апреля 1970 г.

Настоящим сообщаю, что 29 марта с.г. на конспиративной квартире на Витебском проспекте состоялась встреча членов «Комиссариата» с Лифшицем, на которой неожиданно для нас появилось новое лицо, которое представи-

лось «из Москвы от Гельфонда». Путман протянул ему открытку от «Малыша», в которой содержится согласие Шин Бет на проведение операции «Женитьба». Московский посланец эту открытку разорвал и бросил в лицо Путману. Начались горячие споры. В конце концов, Путман и Лифшиц поклялись, что отказываются от угона и сообщат Жлобкину, что операции «Женитьба» отменяется.

1 июня 1970 г.

Настоящим сообщаю, что 22 мая с.г. Лифшиц вызвал в Ленинград Жлобкина, чтобы обсудить новый вариант угона. 25 мая они поехали в аэропорт Смольное с целью проверить возможность захвата 12-местного самолета АН-2 на летном поле. К сожалению, местная милиция, получившая от нас сигнал, поняла так, что угон должен состояться в тот же день, и выставила дежурных с собаками. В результате, Лифшиц и Жлобкин пришли к выводу, что подобраться ночью к самолету не удастся.

Однако уже 5 июня с.г. Лифшиц снова звонил Жлобкину, попросил его приехать, обсудить третий вариант «Женитьбы». 8 июня в Ленинград прилетели из Риги Жлобкин и человек из Москвы по имени Юра. В тот же день они втроем летали из Смольного в Приозерск на АН-2. Вернувшись в Ленинград, решили остановиться на следующем варианте: Лифшиц закупает все билеты на рейс Ленинград—Приозерск, мужчины садятся в аэропорту Смольное, женщины и дети выезжают в Приозерск поездом и ждут на аэродроме. Во время полета мужчины нападают на пилотов, связывают/убивают пилотов, приземляются в Приозерске, подбирают женщин и летят в шведский город Боден. Операция намечена на 15 июня с.г.

Начальник УКГБ при СМ СССР по ЛО генерал-лейтенант Носырев

Из разговоров по вертушке

— Ты что ли, Бобков?

— Я, товарищ председатель. Докладываю, завтра будем играть свадьбу. В 8.35 поднимем бокалы.

— Неожиданностей не будет?

— Раписано по нотам, стопроцентная гарантия.

— Оружие есть?

— Палки, кастеты, веревки...

— Я спрашиваю, обрез или, там, пистолеты?

— Нет... не установлено.

— Не установлено, говоришь. Значит, как договорились: взять на поле, к самолету не подпускать. В случае чего, стрельбу не открывать, брать вручную. Убьют кого из наших, дадим вышку.

— Само собой.

— Ну давай, действуй. Да...

— Але, Логинов, ты?

— Я, товарищ Андропов. Слушаю вас.

— Просьба у меня к тебе, маршал. Отмени-ка ты рейс сто семьдесят девять из Ленинградского Смольного в Петрозаводск. На пятнадцатое число. Там АН-2 летит. Только так отмени, чтобы посадку объявили, всех пропустили, а там дело за моими ребятами. И обязательно лично все сделай. Тихо так, спокойно.

— О чем речь, Юрий Владимирович! Прямо сейчас сделаю. Рейс сто семьдесят девять, говорите? Из Смольного? Все записал, можете не беспокоиться.

— Ну всего тебе, Логинов. Да...

Из письма

Потьма, июнь 1974 г.

Папа, мама, здравствуйте!

В прошлом письме, которое у меня конфисковали, я писал вам о моей жизни здесь. Коль скоро я не имею права писать о своем теперешнем положении, я решил рассказать в этом письме о событиях четырехлетней давности.

15 июня мы встали спозаранку, вышли к летному полю. Еще была ночь. Вытащил сломанную спичку из рук Толика, а это значит — спальный мешок мне не достался, и, подстелив плащ, лег на землю. Вова с Ильей подогрели перловую кашу в банке и немного съели. Толик на проволоке поджаривал кусочки свиной колбасы. Естественно, что никто не подумал о водке или вине, — еврейская компания!

Временами казалось, что вокруг нас за деревьями расположились другие люди: еще с вечера, прямо по колхозному полю подъехала к леску «Волга» с четырьмя мужчинами, один вышел и внимательно смотрел в сторону леса; иногда где-то, на расстоянии метров ста, звучали вроде приглушенные голоса, шуршали листья. Сон был короткий, и уже в пять часов подъем. Толик сказал: «Последняя ночь на воле».

Для меня такая реплика была неожиданной: ни о чем подобном я не думал; в пределах ближайших часов мой путь был мне ясен, а дальше — как повернется. Уже через несколько месяцев на допросе я сказал следователю: я сделал все, чтобы попасть на Родину. Надо было подать документы — собрал и подал их в МВД. Отказали — жаловался в ЦК; подал еще раз, снова отказали, и снова жаловался, и только когда мне заявили в ОВИРе, чтобы на официальный выезд я не надеялся, решил добиваться любым путем. Ну, а если не получилось, что ж, я сделал все, что мне казалось возможным. Именно с таким настроением я и встал рано утром с мокрой травы, перекинулся парой слов с товарищами, и мы пошли.

Было солнечное, ласковое утро, леса и поля вокруг были зелеными и свежими, но они были чужими, и совсем ни к чему было мне это ласковое утро. Хотя ясное небо — летная погода.

Стали прибывать автобусы из города. Я был удивлен, что они шли очень часто и из них выходило много молодых мужчин.

Вот приехали из Ленинграда все остальные. Прошли регистрацию багажа. 8.35. Объявляют посадку на самолет Смольное—Приозерск. Поодиночке, по два подходим к заборику и там — уже все вместе. Билеты проверяет солидный мужчина в форме ГВФ. Странно. Обычно такими делами занимаются молодые девушки. Ну, а впрочем, — какая разница.

Один за другим выходим на летное поле и идем цепочкой к желто-оранжевому кукурузнику, стоящему в 50-ти метрах от входа. Я иду последним. Я бы сказал, что со стороны наша процессия должна выглядеть очень подозрительной. Мы проходим несколько шагов, и вдруг все ребята начинают поворачивать голову в мою сторону. В чем дело? Ах, да ведь нашего «пилота» нет среди нас. Ну, это дело поправимое, он устроился чуть вдалеке от аэрокассы. Поскольку я последний, я должен его позвать, — решаю я про себя. Почти бегом, но без паники, поворачиваю к выходу. Мужчина у выхода не хочет меня пропустить. Я ему говорю: «Мой товарищ задерживается, хочу его позвать». «Вы на Бокситогорск?» — спрашивает он меня. Но я не отвечаю, проталкиваюсь сквозь толпу и бегу к месту, где он сидел. Ну да! Он что-то ест. «Что же ты? Ведь уже объявлена посадка!» — «Разве? Не может быть, по расписанию еще десять минут до посадки. Странно». — «Все ребята уже садятся в самолет», — говорю я.

Он быстро собирается, идет за мной. По дороге к выходу встречаю «билетера» и весело ему кричу: «Я же говорил, что товарищ задержался, а вы не верили». На его лице удивление: «Вы на Бокситогорск?» Дался ему этот Бокситогорск. Я спешу к летному полю. У входа большая толпа. Слышу удивленные возгласы: «Дерутся?» Слышу, но не понимаю, о чем это они. Пересекаю калитку. Вдруг кто-то крепко хватает меня с двух сторон, дают подножку

и кидают на землю. Голову прижали к земле, руки завели за спину и вяжут веревкой. Ах, вот в чем дело — нас выследили и арестовали: ну что же, к этому я был внутренне готов, и поэтому сейчас вполне спокоен, и регистрирую в памяти все, что вижу вокруг.

А вижу я — меня подняли с земли, — что на аэродроме много здоровых молодых людей. Тут же вооруженные офицеры, пограничники с собаками и автоматами, военные автобусы — подготовились старательно. Мимо меня проводят Гарика. Глаз у него начинает заплывать, по лицу сочится кровь. Все ребята в наручниках или со связанными руками стоят дальше от меня, почти у самого самолета. Внешне спокойны. Их поодиночке увозят в машины.

Меня приводят в дощатый барак диспетчерской. Сажу на стуле, рядом охрана. Чего-то ждут. Руки начинают отекать, но это ерунда. Входит старший лейтенант КГБ, двое понятых, молодые парни. Тщательно меня обыскивают. Жалкая сумма наличных — 5 р. 60 к. вызывает изумление. Наверное, думали найти тысячи. Предъявляют ордер на задержание — измена и пр. Отказываюсь подписать. Вся процедура происходит без шума, спокойно. Вдруг через окошко замечаю, что в соседней комнате сидит Арманд, курит и с кем-то бодро говорит.

Входит старший офицер. Удивлен, что я связан. Развязывает мне руки, выводит к «Волге». Никаких существенных мыслей в голове. Сажусь. По обе стороны от меня — двое; руки велят положить на колени. Едем...

Ну, вот мы и приехали, ворота захлопываются. Из передней машины выводят Илью. Высокий, в коричневом свитере, он держится непринужденно, вертит головой, что-то говорит. Иду вверх по лестнице. Длинный коридор. Двери, двери...

Наконец ввели меня в кабинет, там был следователь. Давать показаний я не захотел, и он мне сказал, что меня ждет высшая мера...

Из газет

«Правда», 25 декабря 1970 г. Хроника

На днях коллегия по уголовным делам Ленинградского городского суда в открытом судебном заседании рассмотрела уголовное дело одиннадцати лиц, обвиняемых в попытке угона советского гражданского самолета.

В результате тщательного расследования дела полностью установлено, что организаторы преступления А. Жлобкин и Г. Лифшиц с конца 1969 г. активно занимались созданием преступной группы и подготовкой к разбойному захвату самолета, чтобы перелететь на нем с целью измены Родине за границу. Преступники планировали нападение на экипаж, убийство пилотов и хищение самолета. Замышлявшееся преступление пресечено советскими органами государственной безопасности.

Коллегия по уголовным делам Ленинградского городского суда, признав доказанной вину подсудимых, приговорила организаторов особо опасного государственного преступления Лифшица и Жлобкина к смертной казни. Остальные подсудимые приговорены к различным срокам лишения свободы. (ТАСС)

19. МОИСЕЕМ РАБОТАЮ Я!

Загадочным человеком был Нехемия Леванон. Старая косточка-кибуцник и, само собой, ветеран партии, он, как и его предшественник Шаул Авигур, был лишен политических амбиций, действовать предпочитал за сценой, света прожекторов избегал. И хотя вместе с креслом хозяина Лишки унаследовал он должность заместителя министра, по количеству и многообразию вопросов, которые ему приходилось решать ежедневно и ежечасно, уступал разве что главе правительства. Наверное, в другой стране,

чтобы справиться с таким ворохом проблем, создали бы многотысячную организацию. Тысяч у Нехемии не было, но была железная рука. Ею он и правил: где нужно, шел напролом, с кем нужно, был непримирим, кому нужно, был отцом и наставником.

Против операции «Женитьба» Нехемия возражал категорически. Ему было ясно: дело об угоне самолета станет грозным предостережением тем советским евреям, которые мечтают когда-либо перебраться в Израиль. Убедившись, что предотвратить «Женитьбу» не удалось, Нехемия пришел в ужас: что теперь делать? Отстраниться, бросить «самолетчиков» на произвол КГБ, значит, подорвать доверие людей за железным занавесом. Организовать защиту воздушных пиратов — верный способ нарваться на неприятности внутри страны и подмочить свою репутацию в глазах зарубежных доброжелателей.

Выручили ленинградские судьи. Два смертных приговора — и это всего лишь за попытку, обошедшуюся без жертв и предотвращенную еще до того, как угонщики взошли на трап самолета! — в корне меняли дело. Всем стало ясно, что речь идет не о наказании преступников, а о расправе над теми, кто хотел эмигрировать из СССР. Раньше всех понял это Нехемия. 24 декабря 1970 года, ровно через четверть часа после вынесения приговора, он поднял трубку белого телефона; сотни тысяч людей вышли на улицы Нью-Йорка, Парижа, Амстердама...

Трудно было Нехемии с теми, кто действовал за железным занавесом, трудно было и с теми, кто приезжал в страну. Что они из себя представляют? Что скрывается за их клятвами верности «родной земле» и «делу сионизма»? Нехемия хорошо знал, как много людей, считавших себя убежденными сионистами, не выдержав или разочаровавшись, покидали «историческую родину». Нехемия скептически относился к словам свежее испеченных патриотов, у него было достаточно оснований опасаться наплыва в страну агентов Лубянки. Хозяин Лишки взял за правило: лучше обидеть невинного, чем допустить ошибку.

Промашки все же случались.

Авраам Шифлин, импозантный седобородый красавец, авантюрист и фантазер, обладал необыкновенным даром убеждения; не поверить ему было невозможно. Даже Нехемия поверил. И отправился в Вену на встречу с «крупным советским чиновником» договариваться об «условиях, на которых Москва готова отпускать своих евреев». В Вене Нехемия чуть было не попал в ловушку КГБ.

Миша Фейлин, именитый рижский отказник, выдавал себя за отставного майора советской армии. В Лишке знали, что это именно он закатил пощечину какому-то арабу, пытавшемуся сорвать израильский флаг на международной выставке в Сокольниках. Так что, когда Фейлин прибыл в страну, Нехемия устроил ему пышный прием, а затем организовал встречу в министерстве обороны — смотрите, мол, какой товар я завожу из России! Больше часа Фейлин поучал израильских генералов. В какой-то момент Моше Даян встал, сунул Нехемии записку и вышел. Нехемия развернул смятую бумажку. На ней был нарисован... бублик.

Отказников-активистов Нехемия не любил, задачу свою видел в том, чтобы отвести их от дела, которому они служили самозабвенно в России и в котором, как им казалось, разбирались лучше, чем бюрократы из Лишки.

Профессор Моисей Гитерман провел «в отказе» шесть лет. Участвовал в коллективных походах к высокому начальству и в семинарах ученых-отказников, писал протестные письма и статьи в еврейский самиздат, «беседовал» со следователями КГБ и обсуждал проблему еврейской эмиграции с иностранными визитерами. Сразу же по приезде в Израиль Гитерман явился в Лишку поделиться с Нехемией своими соображениями. Нехемия слушал Гитермана с мрачным видом, в какой-то момент стукнул по столу: «Гитерман, вы, кажется, физик. Так идите и работайте физиком, Моисеем в этой стране работаю я!» Нехемия считал себя хорошим Моисеем. Он упорно пробивал щели в

железном занавесе и, не жалея сил, мостил дорогу из советского Египта в Землю обетованную.

Как и библейский Моисей, Нехемия плохо знал тех, кого собирался выводить.

В начале семидесятых, после полувекового перерыва, в Америку снова начали приезжать евреи из России. Как попадали они туда, имея на руках въездные визы в Израиль? Кто проложил им дорогу через Вену и Рим в аэропорт Кеннеди? Кто добился для них статуса политэмигрантов и различных льгот для устройства в Соединенных Штатах?

Поиски доброго ангела вряд ли привели бы счастливых в Израиль, ведь там только и делали, что проклинали ниширим — «прямоков», которые, минуя Израиль, устремились в США. Каково же было этим людям узнать, что «американскую опцию» пробил для них все тот же Нехемия Леванон! «Ну зачем нам бродские? — говорил он, имея в виду одного из них, Иосифа. — Приедут, начнут мутить воду; возись с ними — не возись, они все равно уедут. Это не наш товар, пусть катятся в Америку, она большая, выдержит и бродских».

Америка «бродских» выдержала, но, к удивлению Леванона, за «бродскими» потянулись и те, кого Нехемия считал своим товаром. С середины семидесятых кривая эмиграции в Израиль начала падать, в Америку — расти. Нехемия не раз пожалел, что проторил советским евреям дорогу за океан, не раз пытался исправить свою ошибку.

Впрочем, осчастливил Нехемия не только советских евреев, ставших американскими. «Израильский путь» превратился для Кремля в черный ход, через который он выталкивал из страны диссидентов и наводнял Запад агентами Лубянки.

Между тем, не пересыхал ручеек эмиграции и в Израиль. Люди ехали сюда по разным соображениям, но одна категория — отказники-активисты — по идейным.

Вернувшись из эвакуации в родной Каунас в 1944 году, Шаул Бейлинсон — друзья звали его «Павлик» — стал одним из организаторов нелегального перехода польской границы. Несколько грузовиков с беженцами удалось переправить в Польшу, откуда они должны были продолжить путь к итальянским портам и дальше, в Палестину. МГБ, однако, перехитрило Павлика и его товарищей. Чекисты построили ложную границу, перейдя которую беженцы считали, что все уже позади...

Павлика пытали в подвалах вильнюсского МГБ, приговорили к расстрелу. В последний момент смертную казнь заменили двадцатью пятью годами лагерей. Павлик выдержал, вернулся в Каунас, стал крупным инженером-строителем. Все знали его как прекрасного специалиста, одинаково хорошо владевшего русским и литовским языками. Но никто не знал, что он столь же хорошо владеет и ивритом, что с мыслью добраться до Израиля никогда не расставался. При этом Павлик не просто мечтал, он действовал. Но не так, как в сороковые годы; КГБ долго не мог выйти на его след, а когда вышел, было уже поздно. В начале 1971 года, поняв, что дело сделано, Бейлинсон официально подал документы на выезд в Израиль. Арестовать его «за организацию сионистского подполья» означало для КГБ признать свой провал. Шаул Бейлинсон получил выездную визу.

После освобождения Жмеринки в 1944 году семья Меира Гельфонда вернулась туда в числе первых. Увы, от прежней Жмеринки ничего не осталось: город лежал в развалинах, евреи — родные, соседи, школьные друзья Меира — в окрестных рвах. Тех же, кто, как и Гельфонды, вернулся из эвакуации, встречали с ненавистью. Ни дома, ни разграбленное имущество евреям не возвращали. Устроиться на работу было невозможно, антисемитизмом смердило на каждом шагу. Пятнадцатилетний Меир сделал выбор.

В 1949 году МГБ вышло на след сионистской группы «Эйникайт» — Единство. Студент медицинского инсти-

туда Меир Гельфонд вместе с другими ее организаторами отправился в лагерь, ставший для него «академией жизни». Его лагерными учителями были ивритский писатель Григорий Прейгерзон, поэт Иосиф Керлер, сионист старшего поколения Иосиф Миллер. Здесь, в лагере, Меир выучил иврит, узнал подлинную историю того, что произошло с его народом в России, в Европе и в Палестине.

После освобождения Меир умудрился закончить медицинский институт, стать кандидатом наук. Для бывшего зэка, да еще с именем «Меир Беркович», это было, ох, как непросто! Непросто это было еще и потому, что днем Гельфонд пользовал пациентов, а вечерами преподавал иврит, писал, печатал, копировал. Что?

Слово «самиздат» подразумевает нечто стихийное, спонтанное. Конечно, было и стихийное, и спонтанное, но основной поток еврейского самиздата создавался целенаправленно и попадал к тем, для кого предназначался. В огромном количестве ходили по стране отпечатанные на машинке брошюры «Шесть миллионов обвиняют: процесс Эйхмана», русский перевод книги Леона Юриса «Эксодус», учебники иврита и многое другое. Так что, когда в марте 1971 года в аэропорту «Бен-Гурион» премьер-министр Голда Меир пожимала руки Гельфонду и его друзьям, она хорошо знала, кому и за что воздает должное.

А еще раньше, в октябре 1969 года, в тот же аэропорт прилетел из Москвы Давид Хавкин. Хавкин был первым еврейским активистом в советской столице, первым, кто начал действовать открыто, кто собирал молодежь у московской синагоги, кто учил ее петь еврейские песни и танцевать еврейские танцы, кто учил ее не бояться слова «еврей» и, вообще, — учил не бояться! Инженер-полиграфист, он отсидел срок за сионизм, вышел из лагеря и стал добиваться выезда в Израиль. За ним ходили по пятам, его телефон прослушивали, всех, кто заглядывал в его дом, таскали на допросы. Земля горела под ногами, но Хавкин лишь «наращивал обороты», сознательно ставя КГБ перед

выбором: посадить или отпустить! Власти предпочли второе, полагая, что повторить подвиг Хавкина никто не решится.

Но вот наши герои в Израиле.

И Шаул Бейлинсон, и Меер Гельфонд пользовались в Лишке уважением — в конкретных делах часто добивались своего, но призваны они не были. Как не был призван никто из героев шестидесятых-семидесятых. Влиять на политику «русским» позволено не было. Об этом позаботился Нехемия Леванон, не подозревая, что его детище — массовая алия из России — изменит страну до неузнаваемости и выдвинет на политическую сцену людей, которые ему, ветерану, покажутся настоящими чудовищами.

20. СОБАКА, КОТОРАЯ ГОНЯЕТСЯ ЗА МУХАМИ

Худенькая бледнолицая сестра Милда не могла сдерживать радостной улыбки: новенький дежурный врач пришел на полчаса раньше. Сейчас она покрутится для вида и...

— Сегодня вам повезло, доктор, — в реанимации только один больной. Какой-то странный старик. Его утром «скорая» привезла с аритмией. Вообще-то он приписан к спецбольнице, но ни за что не хотел туда ехать. А у нас не знали, что с ним делать. Позвонили главному. Главный тут же примчался, велел устроить старика в реанимационную палату и ни на шаг от него не отходить. Потом послал в спецбольницу за историей болезни. Днем к нему несколько раз заходил, а вечером звонил из дома. В общем, возились с ним, возились, а у него ничего особенного — пульс нормальный, болей нет.

Порхая по ординаторской, сестра наводил всюду порядок, а наведя его, вопросительно взглянула на доктора.

— Так я могу идти, доктор?

— Конечно, конечно. Висо гяро¹.

Оставшись один, доктор не спеша надел халат, подошел к зеркалу. Затем вынул из кармана фонендоскоп, повесил его на шею, пригладил рыжие кудри. «Теперь я в порядке», — сказал он себе и раскрыл папку с историей болезни «странного старика».

Никакой истории не было. В тонкой картонной папке лежал обыкновенный лист бумаги, в верхнем углу которого значились фамилия и год рождения больного, посередине ровным женским почерком было написано «Жалоб на работу сердца не поступало, диагностика проводилась регулярно, функциональных изменений в работе сердечно-сосудистой системы не наблюдалось». К записке были приложены широкие ленты кардиограмм.

Прекрасное сердце, откуда взялась аритмия! Доктор закрыл папку и направился в отделение.

В реанимационной палате было пусто и мрачно. В первый момент доктору показалось, что там никого нет. Вдоль стен — скелеты незастеленных коек, в проходе — поникшее головой инвалидное кресло, и только в дальнем углу, не нарушая тишины, мерно попискивал кардиомонитор. А огоньки, что вспыхивали на экране в унисон пискам, отражаясь от голых спинок кроватей, гонялись друг за другом по стенам и потолку, словно фантастические чудовища.

Доктору стало не по себе, он включил верхний свет, увидел постель, наполовину скрытую этажеркой кардиомонитора, и направился к больному.

На нескольких подушках, увешанный проводами и датчиками, полулежал маленький человек с огромной седой шевелюрой.

— Как мы себя чувствуем? — бодро спросил доктор.

¹ Висо гяро — всего хорошего (литовский).

Глаза больного медленно открылись и посмотрели в сторону доктора.

— Вы будете новый доктор?

— Нет, я — дежурant, я здесь только дежурю.

— А почему бы вам здесь не работать? Вы что, приезжий?

— Да, я из Ленинграда, — ответил доктор и, желая побыстрее овладеть положением, повторил: — Так как вы себя чувствуете? Сейчас вам легче?

Больной вздохнул, опустил глаза:

— Легче? Что значит легче после того, что со мной было? Я ведь чуть не отправился туда, — больной показал пальцем в потолок. — И что теперь будет, доктор, наверное, все уже кончено? — глаза больного были полны мольбы и смирения.

— Ну что вы, что вы! У вас прекрасное сердце. Скорее всего, сбой случился на нервной почве. Вам нельзя нервничать, вам нужен покой. Если будете соблюдать эти условия...

Доктору не удалось закончить дежурную фразу. Страдальческое выражение исчезло с лица больного, густые брови грозно сдвинулись, бледные губы вытянулись в струнку.

— Покой, условия! — завизжал маленький человек. — Что вы тут все понимаете? Ничего вы не понимаете. Чепуха — ваш покой, говно — ваши условия!

Доктор растерялся, однако тут же взял себя в руки: главное — не возражать.

— Ну да, вы еще молодой, вы еще ничего не можете знать, а я знаю, я знаю все. И отчего это, я тоже знаю.

Доктор молчал. Больной успокоился, голос его вновь стал тихим и жалостливым.

— Да, да, у вас все впереди, вся жизнь. А у меня? У меня все кончено. Нет, нет, не успокаивайте меня, я знаю, что отсюда уже не выйду. Но я расскажу вам, отчего это бывает, я вижу, вы тот человек, кому я могу рассказать.

Теперь это надолго, подумал доктор. Скрестив на груди руки, он присел на соседнюю кровать и вдруг увидел, как на противоположной стене собака гоняется за мухами. Это еще что такое? Ну почему меня сегодня преследуют галлюцинации? Наверное, тоже от нервов.

Еще бы! Чего стоил один переезд в Вильнюс. Два года нервотрепки, поездки туда-сюда, переговоры, расходы, а потом отказ, и начинай все сначала. А сколько сил и нервов отняли поиски работы! Врачи везде требуются, но всем нужны «национальные кадры». Еще месяц назад казалось, что получить работу вообще не удастся. И надо же, приехал сюда, в Йодшиляй, посмотреть места, где когда-то жил дедушка Макс. Гулял, любовался дубовой рощей, утопающими в зелени особняками и вдруг увидел двухэтажное деревянное здание, а возле него санитарную машину. Подошел — районная больница.

Зашел, спросил, где кабинет главврача, поднялся на второй этаж. Пухленький, лысенький старичок кивнул: «Слушаю вас». Я представился — так, мол, и так, врач с десятилетним стажем, переехал в Вильнюс из Ленинграда, ищу работу. Старичок первым делом: «Кто вас ко мне послал?» — «Никто не посылал. Приехал посмотреть на место, где мой дедушка когда-то жил. Ходил-бродил, увидел больницу, решил зайти». — «Дедушка? Здесь, в Черном Бору?»¹ А как звали? Я здесь живу без малого шестьдесят, — и за польским часом, и за немецким, и при литвинах. Всех знал, все помню». Услышав имя «Макс Леопольдович», старик вскочил, побледнел и давай расхаживать по кабинету взад-вперед. «Пан адвокат, пан адвокат! Вот не думал, что услышу когда-нибудь о нем. Он, как из ссылки вернулся, сразу к нам. Вон там жил, четвертый дом от угла, — главврач кивнул в стороу окна, — и дочь была при нем с малыми детишками. А пани его — красивица, коро-

¹ Черный Бор — польское название городка Йодшиляй, расположенного в предместье Вильнюса.

лева! Придет, бывало, с внуками, сестры и нянечки так и сбегаются на нее смотреть».

— Вы говорите — покой, условия! — перебил воспоминания доктора больной. — Все говорят — покой, условия. А я никогда не имел покой, никогда не имел условия. Но разве я имел это? — палец больного уперся в то место, где должно было находиться сердце. — Взять до войны. У меня были еще те условия, пусть они будут у моих врагов! Ну ладно, тогда я еще был мальчишкой. А война? Вы знаете, где я служил в войну? Там, где вечная зима. Вы, конечно, скажете, что мне повезло, — там не было фронта, не было немцев. Но вы ошибаетесь. Я охранял там таких бандитов — хуже немцев в сто раз! Не успела закончиться война, а меня уже перебросили на юг. Но вы думаете, там были условия, там был покой? Как бы не так! Конечно, там было тепло, но, спросите меня, видел я там тепло? Нет, я не видел там тепло, я видел только работу, одну работу и какую еще работу! Вы слышали, доктор, что-нибудь про крымских татар? Так это я умирал этих бандитов. Целыми днями в седле, целыми ночами в засаде. Не успеешь вернуться с операции, а уже снова тревога, снова надо отправляться в горы. А ведь за каждым камнем засада, на каждом шагу — смерть. Вы даже представить себе не можете, какие это шакалы. Все, как один, от мала до велика. Одним словом, скажу я вам, работенка была еще та. Но я никогда не уклонялся, а то ведь, сами знаете, скажут: еврей — трус! Да, было тяжело, но тогда и людей ценили.

Так вот ты из каких, подумал доктор. Вспомнились рассказы матери о ее младшем брате Грише, который в семнадцать лет убежал из дома сражаться за власть Советов. Дядя Гриша представлялся ему идеалистом, защитником бедных и угнетенных. А вот этот тип на идеалиста не похож: все у него бандиты, всех надо усмирить. Хорошо еще, что мама не слышит, она бы тебе показала как выселять крымских татар!

— Ценили тогда людей, ценили, — продолжил больной. — Как только мы Крым очистили, вызывает меня командующий операцией генерал... А, впрочем, это был не простой генерал, одно время он был даже немножечко министр. Так вот, вызывает он меня и вручает мне орден и именные часы. За храбрость, за отличную службу и, я знаю, за что? За все! После торжественной части приглашает к себе в кабинет. Садимся, он достает портсигар, закуривает. «Так ты, Октябрь Лазаревич, родом из Литвы?» Из Литвы, не из Литвы, но на всякий случай отвечаю: «Приблизительно оттуда» — «Вот и хорошо. Республику эту, как ты знаешь, мы недавно освободили, но недобитых фашистов там хоть отбавляй. Всю войну они с немцами якшались, вроде этих, — генерал кивнул в сторону окна, — а теперь перешли к вооруженному бандитизму и саботажу. Сам товарищ Сталин поставил задачу в кратчайший срок ликвидировать в Литве бандитизм. Из Москвы туда едет товарищ Сулов, а нас попросили направить ему в помощь опытного товарища, знакомого с местными условиями. Так вот, мы решили направить тебя в Литву». Я, конечно, поблагодарил, как тогда полагалось. Что ж, думаю, Литва, так Литва. Справился с татарами, справлюсь и с литовцами.

Доктор расправил спину; подумать только, с виду безобидный старик, а на самом деле — страшный тип. Ладно, пропади ты пропадом... А вот Клару надо уговорить съездить на море. Неизвестно, сколько времени придется ждать разрешения, а нервы уже никуда не годятся.

— Прибыл сюда, — переведя дух, продолжал больной, — но вы думаете, здесь был покой, здесь были условия? Так вы так не думайте. Конечно, здесь я уже был не на рядовой работе, лоб под пули не подставлял. Но сколько здесь было трудностей — кошмар, ужас! И знаете, какая была самая большая трудность? Здесь приходилось делить их на бандитов и на небандитов, на саботажников и на несаботажников. Но ведь они все бандиты. Все нас ненавидят,

поверьте мне — все! Я это всюду доказывал, везде требовал — всех в Сибирь, всех — в Азию. Всех до одного. Но не слушали, не слушали.

Больной сокрушенно помотал головой, сник и умолк.

Вот ты чем здесь занимался, старый гэбэшник! Понятно, почему нас теперь не любят. Быть может, «национальные кадры» — это только отговорка; а в самом деле все думают, что и я из тех же. Только главврач знает, из каких я. О дедушке он говорил с почтением. «Ваш дедушка знаменитым человеком был, о нем газеты писали. Правые называли его леваком — за то, что он коммунистов защищал, левые, наоборот, — консерватором. А я думаю, раз людей от петли спасал, значит, хороший человек был. Потом в сороковом исчез. Ну, тогда многие исчезли... А ведь что получилось — москали-то его спасли! Немцы, когда пришли, они вашу нацию... Да, значит, когда он вернулся, сразу к нам, в Черный Бор, а потом в Вильнюсе квартиру выхлопотал. Но к нам время от времени наезжал. Пока в Польшу не уехал». Главврач помолчал, хитро прищурился: «Там остался или дальше поехал?» — «Дальше. Только недолго прожил, вот уж двадцать лет, как скончался. Бабушка его на полгода пережила. Царство им небесное».

Дедушка дедушкой, но, когда речь зашла о моей работе, главврач съезжился, обмяк: «Давно прошу кардиолога, но министерство ставку не дает. Я ведь кто? Районная больница. И край у нас польский... Да и дадут ставку, приезжего все равно не утвердят», — вслух размышлял главврач. «А что, жена тоже не работает?» — «Не работает». — «И дети есть?» — «Дочь, семнадцать ей». — «Да, ситуация, — главврач почесал за ухом. — А дежурить не хотите? Я вам столько часов дам, сколько выдержите...»

Больной между тем продолжал.

— Конечно, при Михаиле Андреевиче порядок был строгий. Он Литву в руках держал, а я — город. Я его с полуслова понимал, и он меня ценил; не одна буря меня миновала. Да, мог быть покой, могли быть условия, —

больной на минуту задумался, покачал головой, — если бы не этот идиот Хрушев. И откуда он только взялся? Столько достойных людей было, а пролез этот выскочка. Пролез и давай делать всякие безобразия. «Расширение прав республик, национальные кадры!» — лицо больного перекосила кривая усмешка. — Как вам это нравится? Этим бандитам права, этих бункерщиков к руководству! До чего дошло — руководящий состав обязали изучать ихний язык! Меня-то, правда, не заставишь, но вы знаете, не успел я оглянуться, а они уже везде пролезли, со всех сторон обложили.

Больной умолк, облизал пересохшие губы.

— Но вы знаете, доктор, отчего бывают самые большие несчастья? Я вам скажу, отчего они бывают. От родственников. Да, да, от них самых. Был у меня, знаете ли, брат. Жил он в глуши, жил там и гнил. Вытащил его сюда, спрашиваю: «Чем заниматься хочешь?» — «Тем же, чем и занимался» — «А чем ты занимался?» — «Торговлей» — «Ну хорошо, хочешь торговлей, занимайся торговлей, хочешь магазин — бери магазин. Хочешь базу — бери базу». И он брал, и еще как брал! Одна квартира, другая квартира, одна дача, другая дача. И все мало, все мало. Бриллианты ему понадобились, валюты ему не хватало! Вы, наверное, не помните валютные дела? О, это были еще те дела! Операцию проводили органы по прямому указанию Москвы. Я ничего не знал, и вдруг мне докладывают: арестованы валютчики. Смотрю список — в глазах темно. На первом месте он, этот подлец, этот мерзавец. Но вы не думайте, я боролся, до конца боролся. От этого негодяя отсекся, письма писал — требовал сурово наказать. Но чувствую, дело плохо, не помогает. Его, конечно, расстреляли, но мне-то какво! Больной остановился, перевел дух.

Перевел дух и доктор. Быть может, он слышал это от матери, но ему всегда казалось, что он сам помнит, как его, трехлетнего, закутанного с ног до головы, мать везла в санках на Литейный, как стояла она в длинной очереди,

передавала в окошечко сверток, а потом снова усаживала его в санки и везла обратно, все время останавливаясь, чтобы вытереть слезы.

Много позже — кажется, ему стукнуло уже тринадцать, — он спросил: «Мам, все говорят, что ты хороший врач, почему же ты работаешь в этом поселке, почему мы не живем в Ленинграде?» — «Зато, Толенька, ты носишь папину фамилию». Тогда он не понял, что имела в виду мать, и только спустя много лет ему стало ясно, что означали передачи в окошечко на Литейном и почему они с матерью ютились в коммуналке в грязном и пьяном поселке под Ленинградом. Правда, он всегда думал, что те жуткие истории принадлежат далекому прошлому и его не касаются. И только два года назад понял — касаются!

Понял, когда признался матери, что они с Кларой решили уехать в Израиль. Нет, нет, они не хотят ей неприятностей, они не будут подавать из Ленинграда, а переберутся в Вильнюс или Ригу — там на это смотрят иначе, — но все же от нее потребуется письменное разрешение.

Мать слушала его с застывшим выражением лица. Когда он умолк, она тихо сказала: «Поезжай, Толенька, я подпишу все что нужно». Ему стало стыдно, — разве мог он ожидать от матери чего-то другого! «Поехали с нами, мама». — «Нет, сынок, мне уже поздно. Да и отделение я бросить не могу, — я здесь нужна. Конечно, без вас мне будет тяжело, но если вам так лучше, поезжайте».

— Положим, всего они меня не лишили, — продолжал больной, — сделали редактором партийного журнала и из ЦК не вывели. Да и ничего не отняли — и дом, и все при мне. Так что дочь моя без приданого не осталась.

Больной закатил глаза, голос его сделался совсем тихим.

— Ах, дочь, дочь. Вот я вам говорю, все несчастья от родственников — так и есть. Какая это была дочь — умница, красавица. А вы думаете, она знала, что такое «нельзя»? Нет, она не знала, что такое «нельзя». Хочешь шубу — на тебе шубу. Хочешь французские духи — на тебе духи. Хочешь пойти учительницей — иди учительницей. А потом

пришло время взять зятя. И началось — этого не хочу, того не хочу, этот не нравится, тот не нравится. Хорошо, возьми того, кто тебе нравится. И взяла. Голого, босого, без ничего, без гроша. Ладно, думаю, пусть голый, пусть босый, лишь бы в доме был свой человек. Взял — обул, одел, дал квартиру, дал работу. И вы думаете, я имел благодарность? Я имел еще ту благодарность! Этот оборванец вдруг стал орать: не потерплю, чтоб моя жена носила имя палача. Ему, видите ли, имя вождя не нравится, Сталина ему не подходит! Ну ладно, не хочешь быть Сталиной, будь Светланой, черт бы вас взял! Наконец, родился внук, и все стало тихо. И мог быть покой, и могли быть условия. Но вы знаете, что задумал мой зятек, этот кусок идиота? Он задумал ехать в Израиль. А я, слышите — я! — должен дать им разрешение! И еще он мне грозит: «Если не дашь разрешение, я буду шуметь». Вы знаете, доктор, что это у них называется «шуметь»? Они пишут всякие письма, а потом эти письма передают по радио. По тому радио, — больной показал пальцем куда-то в сторону, — или они делают демонстрацию, и об этом тоже передают. И вот этот мерзавец грозит, что мое имя будут склонять все радиостанции мира. Как вам это нравится?

Доктор глотнул воздуха и сжал пальцами виски; он уже не слышал больного, он слышал голос Клары. «Хочешь, Любочка, это платьице? Сейчас купим. Хочешь эти туфельки? Носи на здоровье. Хочешь в Гнесинское училище? Поезжай в Москву». Любочка завела мальчика? «Ах, какой хороший еврейский мальчик, — умный, в Физтехе учится!» Плевать мне на Гнесинское училище, плевать на этого мальчишку! Щупак — тоже мне фамилия! Наверняка не захочет расстаться со своим Физтехом. А из какой он семьи? Если из таких же большевичков, что и этот тип, об Израиле придется забыть! Нет, нет, немедленно забрать Любу из Москвы, немедленно!

— Конец, настоящий конец. Теперь я даже хуже, чем эти бандиты. А в городе, что происходит в городе? Все помеша-

лись: Израиль, Израиль, Израиль! Только и слышишь — тот уехал, этот уехал. Ну ладно бы еще мясники, торговцы, а то ведь порядочные люди: партийцы, из прокуратуры, из милиции, откуда только не едут! А из-за этих предателей никому нет доверия: пиши — не пиши, подписывай — не подписывай. Да, доктор, все помешались на Израиле, но что они знают за Израиль? Ничего они не знают. Мой зять кричит, что, если бы я имел голову на плечах, я бы давно уехал и был бы там большим человеком, может быть, даже министром. Но разве он может знать, что я уже был большой человек, что я уже был израильский министр.

У доктора перехватило дыхание.

— Да, да, доктор, представьте, я был израильский министр. О, это старая история, вам я могу рассказать. Было это в те времена, вы понимаете... Так вот, вызывает меня однажды Сулов. Ночью, срочно. Правда, тогда все было ночью, все было срочно, но чтоб самолично, не через секретаря — такое было не каждый день. Через пять минут у него. Стоит, не сидит. Рядом двое, сразу вижу — приезд. «Октябрь, ты должен немедленно, прямо отсюда отправиться в Москву. Товарищи прибыли, чтобы тебя сопровождать. Машина готова». Я, конечно, могу прямо и немедленно, но не все так могут. Самолеты тогда были не те, что теперь, они прямо не могли и немедленно не могли. Одним словом, добирались сутки. В Москве на аэродроме уже заждались. Бежим к машине и едем. Куда бы вы думали? Прямо в Кремль. Немытый, небритый захожу в кабинет. За столом Каганович, а у него несколько человек. Он сразу на меня: «Ты что же это позже всех явился?» — «Извините, — говорю, — товарищ Каганович, самолет сломался». — «Хорошо, садись. Я тут товарищей посвятил, тебе кратко повторю. Как ты знаешь, в Палестине, — тогда, доктор, это называлось Палестина, — происходят важные события. Англичане со дня на день уходят, ожидается провозглашение независимого государства. Мы это-

му и раньше способствовали, но теперь задача другая. необходимо превратить новое государство в верного союзника, надежного члена социалистического лагеря. Однако у нас нет уверенности, что местные товарищи устоят под натиском временных попутчиков в борьбе с англичанами. Поэтому мы должны сделать все, чтобы в ближайшее время смогли опереться на собственные кадры. Состав будущего правительства уже утвержден». Беседовал Лазарь Моисеевич и со мной лично: «Ты, Октябрь, будешь ведать внутренними вопросами. Учти главное — тебе придется иметь дело не только с открытыми врагами. Но ты должен быть тверд и беспощаден, на то ты и министр внутренних дел». После всех этих встреч и бесед мне выделили отдельное помещение — знакомиться с материалами, составлять списки и так далее. Правда, потом это дело заглохло, я получил указание вернуться в Литву. Но скажите, доктор, кто имеет к нему больше отношения: я или эти щенки? Они держат меня за старого дурака, но они меня не знают, я покажу им разрешение, я дам им такое разрешение...

Больной начал лихорадочно ерзать по кровати, но неожиданно сник, рухнул на подушки и запрокинул голову. Его руки со сжатыми кулаками застыли в мертвой, неестественной позе.

Боже мой, ритм, — спохватился доктор. Только сейчас, в наступившей тишине, он обратил внимание на учатившиеся пiski кардиомонитора.

— Хорошо, хорошо, только не надо волноваться. Сейчас я сделаю вам укол и, пожалуйста, не думайте больше ни о чем.

Доктор сделал инъекцию, присел на соседнюю койку и, дождавшись, пока больной заснул, выключил свет и побрел в ординаторскую.

Устроившись на узком диване, он долго ворочался с боку на бок — картины из рассказа больного не давали ему уснуть. Наконец, он заснул и увидел себя в кабинете начальника отдела кадров. Вот он скромно сидит на кра-

ешке стула и, глядя в бесцветные глаза, повторяет и повторяет:

— У вас есть место кардиолога, место кардиолога, место кардиолога...

Лицо начальника наливаются кровью, волосатый кулак ударяет по столу.

— Места в клинике для национальных кадров, для национальных кадров, для национальных кадров...

Потом волосатый кулак куда-то исчезает, на голове начальника отдела кадров появляется генеральская фуражка. Генерал достает портсигар, закуривает и вкрадчиво спрашивает:

— Ты, кажется, родом из Ленинграда? Туда нужен свой человек, мы решили послать тебя.

Доктор вскакивает из-за стола и кричит, что есть сил:

— Не хочу в Ленинград, хочу в клинику, в клинику, в клинику.

Доктор бросается из кабинета и бежит к выходу. Но где он, выход? Коридор поворачивает то направо, то налево, но никак не кончается. Ноги подкашиваются, пот заливает глаза, еще немного и он рухнет. Вдруг он видит дверь, делает последнее усилие, дверь открывается... перед ним сегодняшней больной. Его тело неподвижно, лицо мертвое, но скрюченный кулак, не переставая, грозит.

— Разрешение? Я дам тебе разрешение! Я покажу тебе разрешение!

21. КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ

e2 — e4

— Еще раз проверь, Витенька, — аттестат, комсомольская характеристика, медицинская справка, фотографии... Удостоверение разрядника не забыл?

— Не забыл, только зачем его подавать?

— А я тебе говорю, подай, послушай маму. Шахматистов в институтах любят.

— Хорошо, мам.

— Счастливо тебе, сынок, ни пуха ни пера, — немолодая, чуть тронутая сединой женщина вытерла слезы и долго-долго махала вслед уходящему поезду.

e7 — e5

— Щупак Витольд Борисович, 21 марта 1947 года, город Горловка, — коренастый, плотно сбитый пожилой человек в мундире генерал-лейтенанта внимательно изучал анкету. — Горловка? Это хорошо. Еврей! — Генерал отложил анкету, достал из сейфа папку «Объективки», вынул листок «Щупак».

«Отец: Щупак Борис Мойшевич, 1905 год, Одесса, член КПСС, участник ВОВ, политкомиссар. После войны — в Горловке, журналист... Мать: Мильштейн Лея Пейсаховна, 1909 года, Одесса, учитель истории... Особые замечания: активен, честолюбив, предосудительных связей не имеет, в нежелательные разговоры не вступает. Увлечения: шахматы».

Генерал вернул «Объективки» на место, достал из папки маленькую анкетную фотографию и стал пристально в нее всматриваться. Не по анкете, по глазам составлял он мнение о человеке.

Проректором по режиму Московского физико-технического института Иван Федорович Петров был не всегда, но в петлицах своего мундира всегда носил крылышки. Правда, ни летчиком, ни штурманом, ни даже аэродромным механиком он никогда не был. В авиации служил «оком государевым», служил исправно, а оттого по служебной лестнице двигался беспрепятственно. Двигался, пока не наступила оттепель. Она-то его и погубила, ибо не успел Хрущев развенчать культ личности, как вдовы расстрелянных Иваном Федоровичем красных соколов побежали жаловаться. Да ладно бы вдовы! У расстрелян-

ных летчиков остались друзья. И когда эти друзья, вышедшие в маршалы и генералы, узнали, кто был виновником гибели боевых товарищей, Иван Федорович смекнул: дела плохи! Смекнул и слег в психбольницу — переждать.

Московский Физтех придумали большие ученые. Те, кто делал науку, хотели подготовить себе смену, те, кто строил ракеты и подводные лодки, рассчитывали заполучить в свои «почтовые ящики» талантливых специалистов. Ну, а поскольку и те и другие знали цену отечественному высшему образованию, идея создать элитный вуз для особо одаренных молодых людей не встретила сопротивления. Разместили его в подмосковном городке Долгопрудный.

— Принять этого парня! — указывал, бывало, Ландау.

— Ну что вы, Лев Давидович, у него тройка по литературе!

— Мне не поэты нужны, а физики, — обрывал чиновника ученый.

— Зачислить, — говорил Капица.

— Но, Петр Леонидович, у него же нет комсомольской характеристики!

— Меня характеристика не интересует, из мальчишки толк выйдет!

Позволить такую вольность можно было при условии, что за большими учеными — «малыми детьми» — будет глаз да глаз. А тут и глаз подвернулся. Старый, опытный. Призвали Ивана Федоровича, ректором сделали.

— Отказать, — говорил ректор.

— Но он же, Иван Федорович, набрал тридцать баллов!

— Глазам его не верю.

— Как же быть?

— Скажите ему, что он принят в Московский университет, я позвоню.

Шли годы, выпускники Физтеха становились профессорами и академиками, бояться Ивана Федоровича они перестали и пересадили старого чекиста в кресло прорек-

тора по режиму. Теперь уже Ивана Федоровича спрашивали не «Как быть?», а «Ваши аргументы?»

Аргументов не было, Иван Федорович тяжело вздохнул и швырнул анкету Щупака в стопку «К экзаменам допустить».

f2 — f4

«Увлечение» звали Любой. Она приехала в Москву из Вильнюса, поступила в Гнесинское училище и более всего на свете мечтала стать пианисткой. А он — студент-третьекурсник — больше всего мечтал погладить ее рыжие кудри, поцеловать ее веснушчатый носик, а потом долго-долго смотреть, как ее тонкие длинные пальцы с непостижимой скоростью бегают по клавишам. Как он ждал воскресенья, чтобы рано-ранехонька вскочить в электричку и помчаться на улицу Воровского, где она снимала комнату! Правда, там часто была Любина мама — Клара, но присутствие «тещи» его не смущало. Наоборот, Вите нравилась ее добрая улыбка, ее тактичность — она старалась не досаждать «детям» своим обществом. Но еще больше ему нравились домашние обеды, приготовленные «мамой Klarой» из каких-то диковинных продуктов, которые она привозила из Вильнюса.

Кончилось тем, что однажды, взяв за руку дрожащую от страха девушку, Витя объявил маме Klаре, что они решили пожениться.

e5 — f4

Kлара помрачнела, опустила голову, на глаза навернулись слезы:

— Нет, Витя, это невозможно.

— Но почему, я ведь скоро окончу институт, начну зарабатывать, — Витя решил, что мама Клара возражает потому, что он слишком молод, не зарабатывает, института не кончил...

— А потому, мой мальчик, что мы подали в Израиль. Документы наши больше года лежат в ОВИРе. Мы уже дважды получали отказ.

Редкие пушинки встали на голове Вити торчком.

— Куда? В Израиль! Зачем? Что там делать, в этом Израиле?

— Затем, чтобы увезти Любочку из этой антисемитской страны.

— О чем вы говорите? Антисемитизм изжит в нашей стране в 1917 году! — искренне возмущился Витя. — Подумаешь, один раз в жизни мне сказали «жид», но ведь в школе я получил золотую медаль, и в лучший институт меня приняли.

— Не надо, Витенька, об этом. Ты еще слишком молод, ты многого не знаешь.

— Но ведь мы так... подходим друг другу, — Витя не решился произнести слово «любим».

— Знаю, мальчик. Думаешь, у меня сердце не разрывается? Но для нас Израиль — дело жизни. Мы сожгли все мосты. В Ленинграде у нас была прекрасная квартира, Любин папа заведовал отделением. Сейчас он зарабатывает ночными дежурствами в районной больнице. А главное, — мама Клара понизила голос, — наш папа бьется за разрешение всеми силами. Он ведь все письма подписывает, на демонстрации ходит. За ним КГБ следит, телефон наш прослушивает. Если вы поженитесь, и тебе плохо будет, и нам.

Витя молча опустил на стул, закрыл лицо руками.

— Знаешь что, мальчик, — Клара вытерла слезы батистовым платочком, — если ты согласен перевестись в Вильнюс и подать документы вместе с нами, я попробую уговорить мужа.

Любовь взяла верх — Витя согласился перевестись в Вильнюс. Увы, была еще одна мама, Лея Пейсаховна, она же Лидия Петровна. «Только через мой труп, — билась она в истерике в том, 1970 году. — Не позволю увезти сына

в фашистское государство!» Семейная драма завершилась компромиссом: Толя обещал закончить Физтех, после чего Лидия Петровна обещала отпустить сына «куда захочет».

В феврале 1972 года семья Любы получила разрешение на выезд; покинуть пределы державы предписано было в течение двух недель. Отложить отъезд, дожидаться, пока Витя закончит учебу, казалось безумием. Решили так: Люба отправится в Израиль с родителями и сразу же вышлет вызов жениху.

Люба уехала, а Витя с головой ушел в работу над дипломным проектом, посвященным теории шахматной игры. «Эндшпиль — конец шахматной партии, — типичный пример поиска решений в конфликтной ситуации», — пишет он очередную страничку диплома, еще не представляя себе, как найти выход из его собственного, совсем не простого положения.

Но вот, наконец, диплом в кармане, согласие родителей — на руках; можно подавать документы в ОВИР. Инспектор Исапилова неумолима.

— Вызов от невесты не принимаем. Мало ли ты себе невест навывдумываешь. Невеста — не родственник!

В апреле 1973 года Витя посылает бумаги в ОВИР по почте и начинает отсчет времени. Время идет, ответ из ОВИРа не приходит. В августе он добивается приема у начальника Московского ОВИРа генерал-лейтинанта Андрея Вереина. Вереин заверяет Щупака: к концу года следует ждать «положительного решения».

Увы, слова генерала — всего лишь уловка.

— Вам отказано за недостаточностью родства, — с каменным лицом объявляет ему старший лейтинант Исапилова.

Что делать? Этого Витя еще не знает, но одно ему ясно: обратного хода нет.

Kg1 — f3

Новая жизнь начинается с квартиры «отца отказников» Владимира Слепака. Витя подписывает всевозмож-

ные обращения и письма протеста, участвует в коллективных походах к высокому начальству и в работе семинара ученых-отказников. Вскоре, однако, Щупак приходит к выводу, что приемы отказников-ветеранов перестали производить впечатление на тех, кто решает вопрос о выезде. Нужно придумать что-то новое, такое, что вынудит КГБ избавиться от «смутьяна». Его поддерживают Валерий Крижак и Исаак Полхан. Ребята не упускают случая выйти на улицу с плакатами: «Отпустите нас в Израиль!» Их избивают «дружинники», по пятам ходят стукачи. В конце концов Крижак и Полхан получают выездные визы, Витя остается «в отказе».

Еще совсем недавно слова «связь с границей» приводили советских людей в ужас, но в начале семидесятых отказники-активисты не упускали случая встретиться с иностранцами. Случаи такие время от времени подворачивались, но происходили они чаще всего по инициативе западных корреспондентов или туристов. В 1971 году в отказники попал журналист Кирилл Пенкин. Человек необычной судьбы: выпускник Сорбонны и бывший сотрудник советских пропагандистских органов, Пенкин обратил внимание на то обстоятельство, что встречи с западными корреспондентами происходят нерегулярно, собираются на них люди случайные, каждый несет свое. «Это мешает делу, — заявил Пенкин. — Должен быть человек, который станет собирать, проверять и регулярно передавать западным корреспондентам информацию о положении дел с еврейской эмиграцией». Пенкин и стал первым пресс-аташе в еврейском движении. После его отъезда за это опасное и сложное дело взялся Витя Щупак.

Новые встречи, новые имена, новые перспективы.

Иностранные корреспонденты плохо понимают, кто из московских диссидентов еврейский отказник, кто правозащитник, кто русский националист или активист православной церкви. И действительно, судьбы тех, кто со-

бирается на неофициальных брифингах, так тесно переплетены, что они и сами порой забывают, кто есть кто. Баптист добивается выезда в Канаду по приглашению из Израиля, русский генерал требует вернуть на родину крымских татар, московская адвокатесса хлопочет за украинского поэта.

Вот и Щупак. Он помогает баптистам, пятидесятникам, немцам, крымским татарам, семьям политзаключенных. В 1976 году он становится одним из учредителей Московской Хельсинкской группы. Со стороны может показаться, что Витя вовсе не собирается уезжать из СССР, а готовит себя к роли министра в будущем демократическом правительстве России.

Kg8 — f6

Что такое коллективное руководство? Собачья упряжка: если плохо тянешь, отстаешь, сзади тебя кусают за ноги. Если рвешься вперед, тянешь изо всех сил, значит, хочешь выслужиться, выпросить лишний кусок — на ближайшей стоянке тебя разорвут в клочья.

Юрий Владимирович Андропов медлил. И в стране, и за ее пределами были уверены, что руки шефа КГБ связаны разрядкой, кредитами, международными соглашениями. Он и хотел, чтоб так думали, но сам-то хорошо знал, кто укусит его за ноги, а при каких обстоятельствах разорвут в клочья.

Конечно, рассуждал сам с собой Юрий Владимирович, тогда, в 69-м, можно было одним ударом разрубить гордиев узел: взять тридцать, ну, пятьдесят тысяч, упрятать их в лагерь, и никто бы никогда не узнал, что кто-то когда-то хотел ехать в какой-то Израиль. Ленинградцы перестарались: смертные приговоры испортили дело. Генеральный тогда осерчал — он не любил резких движений. И шепоток пошел, что, дескать, органы занимаются самодеятельностью. Правда, тогда обошлось — под удар подставил ленинградцев, и все успокоились. Но урок запомнил, действовать стал тонь-

ше, осторожнее. Придумал сколотить группу долговременных отказников. Дело беспронимательное: те, кто подумывает об отъезде, глядя на поседевших в отказе горемык, лишний раз почешут в затылке. С другой стороны, с американцами поторговаться можно: хотите рабиновича-абрамовича, пожалуйста кредит или обменем на кого-то из наших. На Старой площади понравилось, одобрили.

К лету 1976 года ситуация усложнилась: хельсинкские группы переполнили чашу терпения. В Политбюро стучали кулаками, требовали принять меры. Сам тоже кивал головой. Юрий Владимирович понял: действовать надо решительно. И все же рубить с плеча не стал; кивок кивком, но если что не так, не видать ему кресла Генерального. Стал думать — где же корень зла? И понял — смычка! Диссидентов с отказниками, с националами, с религиозниками. Понял и вызвал начальника Пятого Главного управления.

— Вот что, Бобков, пора ударить. И сразу в узел. Орлова убрать прежде всего.

— А Гинзбурга?

— Гинзбург? Это тот, кто прыгает между Сахаровым и Солженицыным? По лагерям пусть попрыгает!

— От сионистов кого?

— Само собой — Слепака.

— Не расколоть, Юрий Владимирович, проверено, не расколоть.

— Может, Рубина?

— Дряхлый уж очень; пока говорить заставишь, чего доброго концы отдаст.

— Тогда не надо, мучеников делать не будем.

— Может, Щупака? Корней у него — ни диссидентских, ни еврейских, в отказники попал по юбошному делу. Возле Сахарова крутится по азарту.

— По азарту, говоришь? Вот в Потье и поозорничает.

— Когда будем брать, товарищ председатель?

— Когда? Когда теракт случится. Например, бомбочка в метро взорвется. Тогда статью в газету и брать всех по списку.

8 января 1977 года в Московском метро случился взрыв; 3 февраля забрали Гинзбурга, через неделю — Орлова. 15 марта взяли Щупака. Взяли его не первым, но роль отвели главную — засвидетельствовать наличие в стране разветвленной сионистско-шпионской сети. А дальше все просто: арестовать сионистов и тех, кто с ними заодно. После первого круга зайти на второй. Понадобится — на третий. И развернуть кампанию нетерпимости к сионистам и их прихвостням. Вот и будет порядок! Дело за малым: расколоть Щупака.

Пятнадцать месяцев одиночной камеры Лефортовской тюрьмы. Обвинения в измене родине и шпионаже. Угрозы расстрела и обещания отпустить в «свой Израиль», «если поможешь следствию». Расколоть Щупака не удалось. 10 июля 1978 года «изменник Родины» предстал перед судом. Прокурор потребовал 15 лет лагерей. Судья, однако, — суд все-таки! — определил меру наказания в три года тюрьмы и 10 лет лагерей строгого режима!

e4 — e5

Люба явилась к Нехемии незамедлительно.

— Я жена Щупака, устройте мне встречи с важными людьми в Америке и в Европе. Витю надо спасать.

Kf6 — h5

— У меня уже были желающие спасти Щупака. Идите себе, я разберусь, кого куда посылать.

Давно ушло время мальчиков Авигура; в роли еврейских активистов теперь выступали люди другого склада, другого масштаба. Известные ученые, актеры, писатели, они не боялись встречаться с западными корреспондентами, звонили в агентства новостей, писали письма американским сенаторам. Преданность этих людей Сиону

представлялась Нехемии сомнительной. Конечно, новые активисты больше думают о себе, чем о деле; ясно, многие из них уедут в Америку — с этим Нехемия уже смирился. Пугало его другое: отказники-активисты стали сближаться с диссидентами! Это была идеологическая, самая страшная измена. Нехемия понял: если «евреи-умники» встанут под знамена Сахарова, он, Нехемия, не досчитается и тех, кого рассчитывал заполнить в Израиль.

И вообще, кто такой Щупак? Что он за птица? За два дня до ареста этот парень сказал журналистам, что «рассматривает еврейское движение за эмиграцию как интегральную часть борьбы за права человека». Так вот и тебя, дружок, будем рассматривать «как интегральную часть»; он, Нехемия, не позволит сделать из этого парня героя номер один.

Fd1 — e2

Люба вышла из кабинета Нехемии в полном отчаянии; одинокая в новом, незнакомом мире, она не знала, как помочь Вите. Одно было ясно: на Лишку можно не рассчитывать. Оставались еще знакомые эмигранты из Риги и Москвы, которые в Израиле стали хазрим б'тшува — «возвращенцами к вере». Эти ребята устроили ей с Витей религиозную свадьбу в Москве, и здесь, в Израиле, готовы бороться за его освобождение. Конечно, и она должна будет вернуться к вере и строго соблюдать все правила и установления Галахи¹. Но почему бы и нет? Ее Витя оказался в руках людей, над которыми земная сила не властна. Так кто же, кроме Всевышнего, может ему помочь?

Добрый десяток лет со страниц самых крупных, самых влиятельных газет и журналов мира не сходила фотография молодой женщины с глубоко посаженными глазами-вишнями. Если бы не ее нелепые косынки и очень уж немодные юбки, эту женщину можно было принять за

¹ Галаха — нормативная часть иудейского вероисповедания.

очередную кинозвезду. Впрочем, в те семидесятые-восемидесятые известности и популярности Любы Щупак могли позавидовать многие кинозвезды. Ее утешала премьер-министр Великобритании, ее выслушивал президент Франции, ее не раз и не два принимал хозяин Белого дома. У нее не было ни кола ни двора, но, при всем том, она была неутомима и ни на минуту не сомневалась, что Витю освободят, что он приедет в Израиль, приедет к ней. И все же неизвестно, как долго пришлось бы ей ждать, если бы...

В 1985 году Горбачев заговорил о сближении с Западом. Сближение это должно было начаться на Женевской встрече советского лидера с американским президентом. Тогда-то из полуофициальных советских источников поползли слухи: «Если встреча в верхах пройдет успешно, Сахарова и Щупака обменяем». После встречи американцы знали определенно: Горбачев освободит диссидентов.

Знали об этом и в ГУЛАГе. 26 декабря 85-го Витю перевели в тюремный госпиталь, начали делать уколы для улучшения сердечной деятельности. 22 января 86-го его под конвоем отправили в Москву. И никаких объяснений — то ли новый процесс готовят, то ли потребуют каких-то показаний, то ли... Утром 11 февраля его отвезли в аэропорт и посадили в самолет в сопровождении четырех офицеров КГБ. «Куда мы летим, на Восток или на Запад?» Конвоиры молчат. И лишь когда самолет начал снижаться, один из конвойных офицеров зачитал Щупаку Указ Президиума Верховного Совета: «За поведение, недостойное советского гражданина, вы лишаетесь советского гражданства и выдворяетесь из СССР».

Самолет приземлился в Восточном Берлине; у трапа ждала черная «Волга». А вот и знаменитый мост Глинике, соединяющий Восточный Берлин с Западным. Здесь, на пограничной полосе, должны встретиться четыре агента Восточного блока, арестованные в США, и четыре западных: трое разведчиков и Щупак. Правда, американцы до-

бились, чтобы Щупака провели по мосту отдельно от разведчиков.

Четыре шага через белую полосу, и «крестный ход» — 3255 дней в тюрьме и лагере — завершен.

Во Франкфурте Витю, теперь уже Авигдора, ждал сюрприз: израильский самолет, в котором была... Люба, теперь уже — Ахава! А еще там был врач, а еще там была вкусная еда... Только вот костюм забыли захватить. Так Витя и вышел к многотысячной толпе встречавших в аэропорту «Бен-Гурион» — в тюремных брюках, волочащихся по земле, так он и обнимался с премьер-министром, так говорил по телефону с президентом США, пожимал руки депутатам Кнессета, друзьям, знакомым...

Не было в этом море людей одного человека — Нехемии Леванона.

22. ЗАГОВОРЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ

В субботу, ранним утром, когда мостовые в городе царя Давида еще не просохли от ночной влаги, черный лимузин с затемненными стеклами, лавируя по узким улочкам Рехавии, пробивался к небольшому особняку, скрытому за высоким забором. Одинаково одетые парни, расставленные на ближайших перекрестках, заслышав скрежет тормозов, хватались за микрофоны, сообщая друг другу о продвижении черной машины. В нужный момент кто-то из них дал команду, ворота особняка открылись, лимузин, не сбавляя скорости, въехал во двор и остановился у подъезда. Бородатый мужчина в темных очках, энергично хлопнув дверцей, поднялся по парадным ступенькам и исчез в дверях. Лимузин отъехал, развернулся и встал в ряд с такими же черными лимузинами с затемненными стеклами.

— Дзень добрый, пану, — Менахем Бегин, как всегда в пиджаке и при галстукe, протянул руку вошедшему.

— Дзень добрый, — Шимон Перес стянул приклеенную бороду и пожал руку хозяина. — Все собрались?

— Старика нет, — Бегин жестом предложил Пересу пройти в гостиную.

Перес открыл стеклянную дверь, сделал общий поклон — панове! — и уселся в кресло за большим овальным столом рядом с Ицхаком Шамиром, лидером оппозиции, которому на сегодняшнем заседании Синедриона предстояло играть роль Ав бейт-дина — Верховного судьи. Сам он, действующий глава правительства, по заведенной традиции был сегодня Наси — Президент.

Шамир кивнул Пересу и с невозмутимым видом продолжал работать пилочкой для ногтей. Рабби Шапиро, глава национальной религиозной партии Мафдаль, расположился на противоположном конце стола, уткнулся в молитвенник и делал вид, будто все происходящее его не касается. Пинхас Сапир, министр финансов и старый товарищ по партии, подошел к Пересу и пожал ему руку. «Бени» — бледнолицый человек среднего роста, среднего возраста, с неопределенным цветом глаз и волос, настоящее имя которого знали только Шамир и Перес, — многозначительно кивнул.

Пока присутствующие молчали, думая каждый о своем, во двор особняка въехала старенькая и давно не мытая «Тойота» с номером далекой Димоны. Пассажир, невысокий пожилой кибуцник в панаме и шортах цвета хаки, тяжело спустился с высокого сидения вездехода и, опираясь на палку, медленно поднялся по ступеням. Бегин молча поклонился. Бен-Гурион стянул с себя панаму, снял темные очки и пригладил седую, изрядно поредевшую шевелюру. Шагая в ногу, хозяин и гость прошли в гостиную и устроились по разные стороны большого овального стола.

Много лет назад, сразу после того, как на рейде Тель Авива была потоплена «Альталена», они тоже сидели за одним столом. Правда, тогда это был маленький, неопрят-

ный столик в каком-то захудалом яффском кафе, где они, тщательно загримировавшись, договаривались на родном польском языке о том, как погасить разгоравшуюся братоубийственную войну, которую сами же и развязали. Никто из посетителей, случайно оказавшихся тогда в кофе, и представить себе не мог, что эти два поляка — непримиримые враги, один из которых только что отдал приказ расстрелять корабль, набитый оружием и людьми «Лехи», а другой — тот самый командир «Лехи», который в ответ поклялся убить «кровавого диктатора».

Договориться удалось. Не в последнюю очередь потому, что, перейдя на польский, они вдруг почувствовали себя галутными евреями, которым все же важнее сохранить свое государство, чем урвать от пирога власти. Поняли это и решили в будущем, в критических ситуациях, устраивать законспирированные встречи, паролем для которых должно было послужить слово «Синедрион».

Традицию и пароль тайных собраний они передали своим преемникам так же конфиденциально, как и ключи от атомной кнопки.

Итак, отцы-основатели уселись на свои места, Наси открыл заседание.

— Панове, наезжают россияне. Цо зробиме?

— Что значит «едут»? Не первый год едут!

— Прошрое не в счет. Горбачев конфиденциально сообщил Рейгану, что Москва готова разрешить свободную эмиграцию. Может приехать миллион.

— К нам или в Америчку? — не отрывая глаз от молитвенника, спросил рабби Шапиро.

— Зависит от того, хотим мы их или нет.

— Если они евреи, их хотим мы, если они неевреи, их хочет Америчка.

— Панове, что за вопрос! Через тридцать лет арабов будет столько же, сколько нас. Евреи из России — наш последний шанс.

Шамир говорил отрывисто, четко, Бегин кивал: «Так, так!»

— Если придет миллион, мы не справимся, у нас нет для них работы, нет квартир, даже воды на них не хватит...

Бен-Гурион не дал Сапиру договорить.

— Ты что, Пиня, забыл, в пятидесятых мы были голыми и босыми, а принимали сотни тысяч!

— Вспомнил! Тогда приезжали марроканцы. Мы их ду-стом и — в мааборот¹. А у русских в каждой семье он — инженер, она — учительница музыки. Им квартиры подавай, машины и оперный театр.

— Панове, — Перес поднял руку, — вопрос стоит совершенно по-новому. Советы трещат по швам, там разгорается гигантский пожар, наподобие революции семнадцатого. А революций без погромов не бывает. Бежать оттуда — хотя они того или нет — вынуждены будут миллионы. Вот вам и вся арифметика.

— Пожара не будет, и погромов не будет, — Бен-Гурион откашлялся. — В семнадцатом российский вулкан извергал людей, зараженных неслыханной энергией, одержимых идеей перестроить мир и переписать историю. Они презирали радости бытия и готовы были жертвовать собой ради будущего. Признаем, панове, и мы, Вторая алия были частичкой той лавы, и нашей энергии, нашей веры в Сион хватило на то, чтобы освоить эту землю, построить киббуцы, создать государство...

— Если бы в Освенциме трубы дымили не так густо, — не отрываясь от молитвенника, вставил рабби Шапиро, — сегодня о твоих киббуцах знали бы столько же, сколько о еврейских гаучо в Аргентине².

— Во всяком случае, это мы заложили фундамент государства...

¹ Мааборот — поселки временного типа, иногда палаточные городки.

² К 1914 году из Российской империи в Аргентину эмигрировали более 100 тысяч евреев, многие из которых селились на фермах и становились пастухами — гаучо.

— И поспорили на нем социализм с местечковым лицом, — не отказал себе в удовольствии съязвить Бегин.

— Панове, панове, — призвал к порядку Перес, — мы не знаем, хватит у теперешних русских энергии на погром или не хватит, но там явно начнется заварушка, и, по нашим сведениям, до миллиона евреев уже пакуют чемоданы. Вопрос — не устроят ли они у нас «русскую революцию»? — Перес посмотрел на «Дани».

— Анализ показывает, что русские евреи давно превратились из «закваски революции» в обывателей, озабоченных приобретательством и устройством быта. Политически они инфантильны, к общественной деятельности питают отвращение, совершенно невежественны по части рыночной экономики, тяготеют к работе на государственных предприятиях...

— Гойских жен они привезут и привычку жрать хазер¹ они привезут. И все на наши головы. Мы и без того изгой в этом государстве, — рабби Шапиро потер огромным кулачищем свои маленькие хитрые глазки.

— Тебе-то грех жаловаться. Мало у тебя русских по ешивам сидит? Или очереди на гиюр поиссаякли? Даже Щупак у вас.

— У нас, у вас, их вайс! — рабби Шапиро покрутил пальцем в воздухе.

— Ничего не понимаю, — Бен-Гурион пожал плечами. — Этот Щупак — русский диссидент, сионист или баал-тшува?²

— Был и комсомольским активистом, — вставил «Дани».

— Это пройдет. Мы ему покажем дорогу. А твердо стоять на своем он умеет.

— Не знаю, не знаю, — перебил Шамира Бегин, — русские евреи всегда так, — сначала верой и правдой служат режиму, а потом, попав в его жернова, с той же страстью

¹ Хазер — свинина.

² Баал-тшува — вернувшийся к вере (*иврит*).

борются с властями. Но и на вершине успеха, и в пропасти падения души их одинаково пусты, лексикон однообразен, индивидуальность заменена коллективной моралью. В Печорлаге я наблюдал это ежедневно.

— По вашим данным, — Перес снова обратился к «Дани», — за Щупаком что-нибудь числится?

— Мелочи. Летом 1972-го его вызывали в партком Физтеха в связи с отъездом невесты. Он сионизм осудил, сказал, что уезжать в Израиль не собирается. Ему тогда поверили, дали институт закончить. В диссидентские годы ничего подозрительного за ним не замечено, а вот из тюрьмы и лагеря точных сведений нет. Но в Вашингтоне ему доверяют.

— Тогда как понять его отказ сотрудничать с Лишкой и встречу с Хуссейни?¹ Если это не по указанию Лубянки, то что, политический вызов?

— С Лишкой — детские дела, месть Нехемии за Любу. Встреча с Хуссейни? Думаю, это по инерции диссидентства. Иначе не стал бы после встречи публично каяться.

— Вот вам теперешние революционеры. Публично каяться! — Бен-Гурион скорчил гримасу. — В царские времена за убеждения на каторгу шли.

— Хорошо, панове, главное сейчас — к кому он примкнет: к нам, к вам или к ним, — Перес показал сначала на себя, потом на Шамира, потом на рабби Шапиро.

— Еще не решил, может быть, ни к кому.

— Ну, что ж, — голос Переса стал жестким и решительным, — тогда договоримся так: двери для него держим открытыми, дорогу друг другу не перебегаем, но если он еще раз затеет какую-нибудь самодеятельность, бьем все вместе. А еще лучше, чтобы каждый из нас обзавелся своим Щупаком. Згода? — Наси посмотрел на Главного судью.

Шамир поднял указательный палец правой руки. Вслед за ним подняли указательные пальцы другие члены Синедриона.

¹Фейсал Хуссейни — популярный в 80-х годах арабский лидер, редактор газеты «А-Шазаб».

— Решено, панове. Теперь, что делаем с миллионом, берем весь или делим с американцами?

— Вылезай из машины, — Сапир махнул рукой. — Сколько русских в последние годы отправлялись прямо в Америку? Процентом семьдесят? А если Россия откроется, все сто ринуться за океан. Это же ясно как дважды два!

— Ну уж нет, если Россия откроется, я уверен, что Белый дом пойдет нам навстречу. Не сомневаюсь, они закроют въезд в Америку.

— Правильно, — поддержал своего преемника Бен-Гурион. — Перекрыть дорогу в Штаты, всех привезти на родину, устроить улыпаны в кибуцах!

— Панове, будем реалистами. За двадцать лет мы приняли четверть миллиона русских. Американцы давали нам деньги, потому что ненавидели Советы. Но если Россия станет демократической, деньги будут давать не нам, а Сахарову. А нам на голову свалится миллион. Поймите — миллион! Они нас погубят. Они и вас погубят, — Сапир показал пальцем в сторону рабби Шапиро. — Зря радуетесь. Да, да, мы прошли аутодафе и Освенцим, но это лишь укрепило нашу веру и нашу волю. Русские хозрим б'тшува разрушат веру изнутри, а миллион русских олим — это страшнее, чем миллион арабских солдат.

— Не можешь проглотить? Выплюни. Или откуси, сколько можешь. Тех, кто готов принять святость субботы, возьмем себе. Остальные пусть катятся в Америчку, — рабби Шапиро закрыл молитвенник.

За столом наступило тягостное молчание. Первым его нарушил Сапир.

— Вспомните, панове, у нас еще есть йордим¹. В одной Америке их тысяч семьсот. Этих людей не нужно учить ивриту, у них есть деньги, и они любят землю, на которой родились. Если мы создадим им условия, они вернуться.

¹ Йордим — дословно — спустившиеся (*иврит*). Уроженцы Израиля, покинувшие страну.

— Ни за что! — решительно возразил Перес. — Пусть любят Эрец Исраэль издали и присылают сюда деньги. Люди без иврита и без денег нам нужней. По крайней мере, пока учат иврит и становятся на ноги, не будут рыпаться.

— Панове! Я думаю, глупо заранее отказываться от русских, тем более, что на самом деле никто не знает, что происходит в России. Что-то мне не верится, что к власти придет Сахаров. — Бегин повернулся в сторону «Дани».

— Сахаров исключается. К власти придут вторые секретари обкомов. На Западе их примут за демократов и будут давать им деньги на «демократизацию». Не исключено, что власть окажется в руках КГБ. Но и кагэбэшники будут делать вид, что проводят реформы, и им тоже будут давать деньги.

— Панове, — голос Переса снова зазвучал жестко, — значит, так: берем все, что перепадет от России. Згода? — Наси посмотрел на Главного судью.

Шамир помедлил, потом поднял указательный палец. Вслед за ним указательные пальцы подняли другие члены Синедриона.

— Решено. Теперь, как будем принимать?

Это было главное, ради чего собрали Синедрион, ибо всерьез никто и не помышлял отказываться от «русского пирога». Вопрос стоял — как его поделить?

— Панове, — начал осторожно Перес, — конечно, мы не можем принуждать людей менять свои убеждения, но мы обязаны сохранить сложившийся в обществе баланс сил. Иначе все полетит в тартарары.

— Убеждения! — хмыкнул Бегин. — Да у русских нет никаких убеждений. А если и есть, то они поменяют их прямо по дороге из аэропорта, если таксист пообещает скидку на холодильник.

— Это все знают. Менахем, но речь не о них, а о нас. Уверен, если никто из нас не станет применять запрещенные приемы, русские со временем равномерно распределятся по всем партиям и движениям.

— И где написано, что такое запрещенный прием и что такое — незапрещенный прием?

— А вот когда ты, Аврамеле, раздаешь новопривышшим квартиры под подписку строго соблюдать субботу, а если нет — убраться на улицу, это — запрещенный прием. Тем более, что, когда надо платить налоги, тебя нет...

— Пусть найдется хоть один мудрец, который скажет, почему я должен платить налоги безбожному государству?

— Ладно, ладно, сейчас речь не о том. Партии не должны давать русским никаких льгот и привилегий. Хочешь работать в аппарате — работай бесплатно. Хочешь в ешиву — иди и получай там столько же, сколько другие.

— Столько же, не столько же... В Танахе ничего не сказано про социализм, — хмыкнул рабби Шапиро.

— Панове, дело серьезнее, чем может показаться. Соблазн притащить к себе как можно больше русских велик. Но зачем нам новые милхемет игудим?¹ Зачем раскачивать лодку?

— Согласен, Шимон, — Бегин вытер бледный лоб. — Я за то, чтобы мы заключили договор. Но дело не только в нас. У русских уголовная мораль, они будут голосовать за «пахана», и если их станет миллион, они прорвутся в Кнессет и перевернут все вверх ногами, не успев согреть на нашем жарком солнце свои собственные ноги.

— Это серьезная угроза. Обязанность противостоять ей ложится на всех нас. А на вас, — Перес показал пальцем на «Дани», — в первую очередь. Либо никакой «русской партии», либо пусть их будет как можно больше. Понятно?

— Что тут понимать, — пожал плечами «Дани».

— Згода, панове? — Наси посмотрел на Главного судью.

Шамир помедлил, потом поднял указательный палец. Вслед за ним указательные пальцы подняли другие члены Синедриона.

¹ Милхемет игудим (*иврит*) — еврейские войны.

POST SCRIPTUM

Безлюдным зимним вечером черный лимузин министра иностранных дел и лидера «русской» партии «Мой дом — Иерусалим» бесшумно плыл по проспекту Яффо. Потом выскочил на Кинг Джордж, свернул с него на проспект Жаботинского и неожиданно затормозил. Авигдор Щупак, дремавший после шумного — в честь нового тысячелетия — приема в американском посольстве, инстинктивно потянулся к двери. Охранник придержал его за локоть.

— Нет, нет, господин министр, вам не здесь, это только Бейт га-Наси¹.

Щупак очнулся от полудремы и подмигнул охраннику:

— Ты уверен? А может быть, мне именно здесь!

Оба улыбнулись.

23. ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

19 октября 1990. День начался удачно. Утром, в одиннадцать, вышел из голубого особняка на проспекте Калинина — самого главного из советских издательств — и с облегчением вдохнул морозного воздуха: наконец-то моя книга, главная книга, книга об отце, увидит свет!

Писал я ее давно — в самые советские времена, но о том, чтоб напечатать, не было и речи. «Да, ваш отец — участник гражданской войны, — Сволочь этот Гусев, не «герой», а «участник»! — Но зачем выпячивать его роль? И во второй части у вас получается, будто наши военно-воздушные силы создавал один человек — командарм авиации. Неужели непонятно, что их создали миллионы людей. Народ наш их создал. А драматизировать зачем? Да, ваш отец пал жертвой культа личности. Не он один, меж-

¹ Резиденция президента государства Израиль.

ду прочим. Но об этом давно все сказано, и незачем ворошить прошлое. Это играет на руку врагам».

Тех разговоров я не забыл — дословно их помню, — а он, шура, забыл. Или вид делает, что забыл. «Не знаю, пойдет ваша книга или не пойдет, — сейчас красные командиры не в моде. Если бы вы написали о каком-нибудь белом генерале, тогда другое дело. Но печатать все равно будем. Это пусть частные издательства выбрасывают на рынок чернуху и порнуху, а мы, ради того чтобы наша молодежь не забывала героев и патриотов, — каких это патриотов? — готовы пойти на коммерческий риск». Руку протягивает и спрашивает этак заискивающе: «А как вы думаете, в Израиле ваша книга пойдет? Командарм-то наш — все же еврей!»

Черт с ним, с Гусевым, главное — книга выходит. Почти счастливый иду по проспекту Маркса и думаю: центральное издательство — библиотека Ленина — русская литература — русская культура... И тут я увидел Кремль. Взглянул на зубчатые стены и вдруг представил себе явственно, как наши молодцы в красных кафтанах льют горячую смолу с этой самой стены на татарских захватчиков. И что-то враз в моей гладкой радости треснуло.

Нет, я знаю, конечно, что не с этих стен смолу лили — с других, деревянных еще. Но не в том дело. Просто поймал себя на мысли, что татар, на которых лили смолу, мне жальче, чем ливших ее русичей. Как же так, почему? Уж не потому ли, что само понятие «Россия» ограничено для меня во времени. Да, папа защитил Советскую Россию от белополяков, потом бил японцев на Халхин-Голе. Потом военную авиацию создал — пусть об этом только я один и знаю. Дальше — дедушка Макс. Он был присяжным поверенным, боролся за справедливость вместе с лучшими адвокатами России. Но родом он был из Литвы, туда и вернулся после революции. А кем был прадедушка? Понятия не имею. И вообще, кем были, чем занимались мои предки? Не знаю. Знаю только, что смолу с кремлевских стен

они не лили. А к тем, кто лил, никакого сродства, никакой особой жалости не чувствую, никакой особой гордости за них не испытываю.

Тогда какая же русская литература, какая русская культура?

Ну, положим, XX век мой, я — его. И часть XIX. А если двигаться дальше, назад по шкале времени, начинается для меня настоящая чужбина. Выходит, правы все эти злющие, угрюмые патриоты, не моя это страна, а ихняя. И кладбищенские доказательства против меня.

Что же все-таки делать? Застрелиться, отравиться, повеситься или, может быть, уехать? «Уехать, уехать», — кричат с разных сторон. Здесь красно-коричневые рвут глотку — убирайтесь в свой Израиль! Оттуда все пишут: «Приезжай, приезжай, приезжай! Мы, читатели твоей «Малаховки» и «Записок из Биробиджана», сюда переместились, здесь ты нам нужен!»

12 мая 1991. Только что вернулся из Литвы. Там настоящая эйфория. Всюду снимают советские памятники, названия улиц меняют, сами люди меняются. Невозможно за них не порадоваться, у них уже другая и совсем независимая страна. Только не моя это страна. Мое там разве что кладбище. На нем и проводил все дни, искал могилы прадедов. Не нашел. Зато нашел могилу Ильи Гаона. Стоит она в тени огромных елей, и незримый дух ее шепчет: «Ищи, ищи, здесь они, твои предки, вокруг меня лежат. И враги их, и друзья, и соседи — тоже здесь. И резники, и учителя, и шинкари, и коробейники, и талмудисты, и каббалисты, и калеки, и здоровяки, весь их — и мой, значит, — мир здесь лежит».

Поверил я Илье Гаону и вдруг понял, что моя следующая книга, самая главная книга, книга жизни будет о тех, кто здесь лежит. И название ей тут же придумал — «Великий Гаон». Нет, лучше — «Последний Гаон». Да, именно так — «Последний Гаон».

23 сентября 1991. Все идет из рук вон плохо. Думал, материалы по Гаону не найду. Нашел, собрал целую гору. А вот писать — не пишется. Два месяца сдвинуться с места не могу. То «памятники» дебош устроят, то коммуняки очередной фокус выкинут — на неделю выпадаешь. Злюсь на себя и все размышляю, как уйти от этих жидоедов к Илье Гаону, Залману Шнеерсону и Авигдору Хаймовичу? Как уйти от тяжелых зубчатых стен Кремля в Шклов, в Вильну, в Воложин?

19 октября 1992. Вот уже год, как живу в этой маленькой симпатичной стране, и никто не говорит мне: «Вали отсюда! Это все не твое, а наше». Напротив, все наперебой говорят: «Это — твое». Спрашиваю: «А как же предки?» — «Ну, с этим все в порядке», — и везут меня на Масаду. Скала шестьсот метров в длину и пятьсот в высоту, на вершине которой мои предки почти две тысячи лет назад защищались от римских захватчиков. Девятьсот человек против десяти тысяч. А когда стало ясно, что их все равно захватят, мужчин распнут на крестах, женщин отдадут солдатам, а детей продадут в рабство, они бросали жребий и по очереди закалывали друг друга. Последний покончил с собой сам.

Я стоял на вершине огромной скалы и пытался представить себе полуголых мужиков, героически убивавших своих детей и жен. К стыду своему, никакого сродства с ними я не почувствовал. А почувствовал, вглядываясь в дымную даль Мертвого моря, что самое лучшее для меня место на земле — это пятиметровая кухня на Разгуляе с закопченным потолком, с облезлым линолеумом, со столом и табуретками образца шестидесятых.

19 октября 1993. Уезжаю, покидаю Израиль, возвращаюсь в Россию. Можно было бы сказать — наконец-то, я ведь с первого дня рвался обратно, — можно было бы облегченно вздохнуть, широко улыбнуться. Но что-то не чувствую ни облегчения, ни особой радости. Потому, во-первых, что не знаю, в какую страну возвращаюсь, во-вторых, потому, что не знаю, из какой страны уезжаю.

Полтора года мы прожили с женой в самом центре Иерусалима в квартире на пятом этаже, из которой открывается сказочный вид на три стороны света. А еще с нами живет песик Филя, которого жена подобрала за рынком в забегаловке «У Нисима», куда регулярно ходят русские литераторы. С ним, Филькой, она теперь и останется.

29 октября 1993. Сегодня гулял с Филей в последний раз. Пристегнул поводок к ошейнику и вышел во двор, где растет чеснок. Сам по себе растет, никто его не сажал.

На автобусной остановке парни целуются с девушками, русские обмениваются олимовскими новостями, а датишники в черных шляпах, вчитываясь в карманные молитвенники, трясут длиннющими пейсами. При виде собаки они испуганно шарахаются.

Углубляюсь в какой-то переулочек. Молодой датишник — лапсердак, черная шляпа, цитот, — все как положено, — копается в моторе старенького «Форда». Прохожу мимо, он поднимает голову, кивает.

— В Москве, на Разгуляе, вы, помнится, гуляли с собачкой. Эта та же?

— Нет, — отвечаю я, — та умерла, пока я был здесь.

Оказалось, он еще три года назад жил на Разгуляе.

Прохожу мимо маленькой синагоги с цветными витражами. Дверь открыта, молящихся нет, и только какая-то красивая девушка — а девушки здесь все красивые, — повесив на шею маленький приемник, моет полы.

Подхожу к газетному киоску, царству кириллицы. Продавец укладывает в пластиковый мешочек «Московские новости», «Комсомольскую правду», «Коммерсант», дает сдачу, благодарит. Идем с Филей дальше.

Какое-то обволакивающее тепло, околдовывающий уют, размягчающие удобства. Ну скажи, спрашиваю я Филю, как могу я писать здесь о заснеженной Литве и об убогих местечках Белоруссии, о Великом Гаоне и о его враге Шнеерсоне, о раввине-доносчике Авигдоре и сенаторе-ревизоре Державине? Филя не отвечает, но мне со-

вершено ясно: чтобы закончить свою главную книгу, книгу о Гаоне, нужно вернуться.

Но как, спрашиваю своего песика, я оставлю тебя, как я оставлю эти улочки, этих собакобоязненных датишников, ленивых чиновников и коротко стриженных ребят в военной форме? Скажи, Филя, как мне уехать, чтобы одновременно остаться с этими людьми, с их теплом, с их напрягом, с их смелостью и любовью к этой стране?

Филя молчит, знает, что я все равно уеду, и говорить со мной не стоит. И проходящие мимо парень и девушка тоже знают, что я уеду. Они оборачиваются, смотрят на моего песика и что-то говорят. Я понимаю, что: «Езжай себе, с Богом, в свою Россию, но помни, любовь к Израилю будет следовать за тобой неотступно».

15 декабря 1993. Три дня не звонит телефон. Целых три дня ни одного звонка!

Еще два года назад, до отъезда в Израиль, я воспринимал телефон как сущее бедствие. Звонит с утра до поздней ночи, а выключить боязно: вдруг что-то важное. Но для наших людей телефон не средство сообщать важное, а способ существования. Наш человек, говоря по телефону, прежде всего, хочет послушать себя, со всеми обстоятельствами образа действия, придаточными предложениями, паузами, вариантами терминов и определений. Обрывать каждого не будешь — обидятся. Вот и получалось, что рабочий день разменивался на десятки звонков, а жизнь без телефона казалась недостижимым благом.

И вот снова Москва, та же квартира, тот же белый телефон с крутящимся диском. Вроде бы все то же, и все совсем другое. И самое непривычное — телефон молчит. Три-пять звонков в день — это много, бывает, два, бывает один, бывает ни одного. Разговоры простые, скупые, без оттенков и обсуждений. «Николаевские уезжают, слышал?» — «Нет». — «Ну вот, знай». «Привет. Не знаешь, когда у Семена проводы?» — «Не знаю». — «Узнаешь, свистни. Пока». Чаше не из Москвы звонят, из-за границы — Бер-

лина, Нью-Йорка. «Старик, мы уже в лагере под Франкфуртом. Ну и кайф, я тебе скажу! Чистота, порядок, на дорогах одни иномарки. И всего, всего навалом!» Дочь звонит из Нью-Йорка: «Как ты, папа?» — «Я-то в порядке, а у тебя как, алименты он хотя бы платит?» — «Какие алименты — он что, зарабатывает? Если и продаст картину-другую, тут же все пропъет».

Страшнее всего, когда звонок громкий, резкий, а в трубке: «Гаварите с Юрусалимом». «Ну, как у тебя?» — спрашиваю у жены, а у самого ноги подкашиваются. «Четвертый сеанс прошел нормально, только волосы начали выпадать. Врачи говорят — лучше побриться и парик заказать» — «Ну и закажи, в чем дело?» — «Наплевать мне, зачем деньги тратить. Надену платок» — «Филя как?» — «В порядке. Я в больнице, а он у входа меня ждет, не капризничает».

13 января 1994. Не звонит телефон, молчит, не мешает работать. Но не работается.

20 февраля 1994. Густая, плотная тишина окружает меня со всех сторон. «Понятно, — говорю я себе, — все уехали». Но тут же спохватываюсь: «Да так уж и все?» Но молчит телефон, подтверждает статистику. И сидишь тут в гробовом молчании и мысленно благодаришь каждого, кто о тебе вспомнит. Никто не вспоминает. Уже неделю не вспоминает. Значит, надо исполнить зарок. Вот и исполняю.

После первой упаковки снотворных начало тошнить. Вскрыл вторую, запивать уже нечем, но и встать не могу. Запихнул в рот пригоршню, заглотнуть удалось только две таблетки. Ладно, может быть, хватит. Все...

24. СОСИСКИ У ПРЕЗИДЕНТА

В приемной российского президента, дорого и со вкусом обставленном зале, стоял полумрак. Тяжелые гардины, отгораживая посетителей от дневного света и внешнего мира, лишний раз подчеркивали, что здесь находится

вход в святая святых, в то самое место, где вершатся великие дела, решаются судьбы, выносятся приговоры. Для одних здесь начинается путь на Олимп, для других — дорога в небытие и забвение.

Ожидавшие — четыре министра, председатель Центробанка, два губернатора и два генерала сидели за отдельными столиками, работали с документами при свете настольных ламп или полупшепотом отдавали распоряжения по телефону. И только один посетитель, изящно одетый брюнет с большой лысиной и маленькими въедливыми глазками, устроился в углу на диванчике и, прижав к груди потрепанный портфель, думал о чем-то своем.

В два часа с четвертью дверь приемной приоткрылась. Секретарь, Дмитрий Дмитриевич, бывший журналист, известный тем, что написал биографию президента, прошелся взглядом по присутствующим и остановил его на чловеке с портфелем.

— Борис Вульфович, президент ждет.

Лысый господин вскочил с дивана, бочком просочился в приоткрытую дверь, извиняющейся походкой пробрался к большому письменному столу и осторожно уселся на стул для посетителей.

Президент выглядел официально, смотрел строго, руки неподвижно сложил на столе. Такой вид он принимал, когда собирался сказать что-то нелицеприятное или огласить суровый приговор.

— Что-то Щука в последние дни с экранов не сходит. Это как понимать, олигархи решили подстраховаться?

Хмельницкий понял хозяина с полуслова. Понял, что речь вовсе не о генерале Щуке, опасном сопернике Президента на предстоящих выборах, а о нем, Борисе Вульфовиче. Отпираться, отрицать, что дал деньги Щуке, глупо. Еще глупее сказать, что его вынудили — слабаков президент презирал.

— Это я дал ему деньги.

Президент дернулся, словно получил пощечину, сбросил с себя маску телевизионного истукана и с удивлением посмотрел на Хмельницкого.

— Не ожидал услышать такое от члена моего предвыборного штаба.

— Так ведь, Борис Николаевич, сейчас вопрос вопросов — третье место.

— Арифметику понимаю, — перебил его президент, — но Яблочкову вы почему-то денег не даете, хотя он с коммунистами ни при каких обстоятельствах не пойдет. А этот держиморда Шука и с красными, и с коричневыми может снюхаться.

— Зачем нам помогать Яблочкову? Предположим худшее. Выходит он на третье место, но вам не удастся с ним договориться. И что? Да его избиратели во втором туре все равно будут голосовать за вас!

— А если этот упрямец Яблочков призовет своих бойкотировать выборы? Тогда голосовать придет только лекторат коммунистов, и мы проиграли. Здесь и без высшей математики ясно: Яблочкова мы должны поддерживать, чего бы нам это ни стоило, — президент повысил голос и слегка ударил ладонью по столу.

— Нет и нет, Борис Николаевич! За Яблочковым демократы и интеллигенция. Что бы он им ни сказал, они придут на выборы; видеть в президентах коммуниста для них нестерпимо! А вот наш бравый генерал отбирает голоса у коммунистов. Многим он просто импонирует как сильная личность. С другой стороны, если Шука выйдет из игры, его избиратели в полном составе перейдут к коммунистам. Но если мы поможем Шуке выбиться на третье место и сразу после первого тура включим его в свою команду, тогда во втором туре у нас лекторат и Яблочкова, и Шуки.

Президент задумался. Все как будто было логично, но ни одному слову олигарха он не верил. Да у тебя наверняка заготовлено еще три-четыре варианта, с помощью которых ты в любой момент повернешь на 180 градусов, ду-

мал президент. Но труднее всего было изменить свое решение. А решение выгнать Хмельницкого президент принял сегодня утром, принял вовсе не из-за Шуки. Вчера, поздно вечером, начальник службы безопасности доложил о встрече семибанкирщины, на которой толстосумы договорились начать игру с коммунистами. Составили заявление для печати, так, мол, и так — отечественный капитал поддержит того кандидата, которого выберет народ. Хмельницкий заявления не подписал, но и не доложил. Ясно, ведет двойную игру. Правда, дочь и начальник администрации устроили истерику: «Выгнать Бориса Вульфовича — это самоубийство. С кем ты останешься, с пьяницами-опричниками? Это самодурство...» Да, да, его все считают самодуром, но он просто знает больше других, хотя источников своих никому не открывает. Так выгнать? Но, с другой стороны, остаться без противовеса...

Президент молчал, и по его лицу Борис Вульфович читал, как мучительно трудно этому властному человеку изменить свое решение. Пауза затягивалась, лицо президента мрачнело. Решающая минута неотвратимо приближалась. Пан или пропал:

— Борис Николаевич, умираю от голода, у меня с утра во рту крошки не было, может, прикажете пару сосисок принести?

Президент оторопел — это еще что такое! Но тут же сработал рефлекс хлебосола: когда его просят закусить или выпить, он не отказывает. Даже врагам.

Президент поднял руку. Словно из-под земли вырос секретарь.

— Принеси ему три сосиски с горчицей и... рюмку водки. Все трое знали: Хмельницкий водку не пьет.

POST SCRIPTUM

Безлюдным зимним вечером черный лимузин депутата Думы от Долгано-Ненецкого национального округа выле-

тел из Кремля, промчался по Кутузовскому проспекту, свернул на Успенско-Рублевское шоссе и мягко поплыл по его ухоженному асфальту. Неожиданно лимузин затормозил. Борис Вульфович, дремавший после шумного — в честь наступающего тысячелетия — приема в Кремле, инстинктивно потянулся к дверце. Охранник придержал его за локоть.

— Нет, нет, господин Хмельницкий, вам не здесь, это только Барвиха¹.

Хмельницкий очнулся от полудремы и подмигнул охраннику:

— Ты уверен, а может быть, мне именно здесь?

Оба улыбнулись.

25. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАБЛУДШИХ

На небеса я попал 30 июня. Слава Богу, с утра. Народа в Канцелярии было немного, я оторвал талончик, садиться не стал — авось, очередь пойдет быстро!

Очередь пошла быстро. Когда на табло загорелся мой номер, я вошел, сказал: «Шалом». Ангел, как две капли воды похожий на всех чиновников, которые встречались мне на земном пути, кивнул. Я сел, протянул ему даркон². Ангел взял его и начал лихо стучать по клавишам компьютерной клавиатуры; отбивал, надо думать, мое имя и фамилию. Прошла минута, на экране что-то вспыхнуло, ангел откинулся в кресле и с невозмутимым видом начал читать.

«Сейчас задергаешься», — подумал я. Ангел задергался. Уткнулся в экран, взял лист бумаги, окунул гусиное перо в чернильницу, стал что-то записывать. Потом отложил записи, вернулся к компьютеру. Что-то искал, морщился, ерзал и снова что-то записывал. Я ему сочувствовал.

¹ Барвиха — загородная резиденция президента России.

² Даркон — заграничный паспорт гражданина Израиля (*иврит*).

Прошло минут сорок. Ангел тяжело выдохнул и откинулся в кресле.

— Подождите в коридоре, вас вызовут.

Я вышел, сел, закрыл глаза и, видимо, задремал. Сквозь сон услышал свое имя, вскочил. Куда идти? Коридор опустел, спросить было не у кого. Вдруг одна из дверей приоткрылась — полная брюнетка с длинными волосами и коротенькими крылышками недовольно проворчала:

— Это вы, что ли?

Это был я. Мы вошли.

— Ваше дело ушло в производство. Когда будет решение, вас вызовут. А пока что вам выделена временная квартира на Центральном облаке. Переулок Левана Штатим, номер 12, квартира 10-а, вход со двора. Доедете на троллейбусе до площади Гелуй Шехина, там спросите. Распишитесь.

На улице было ясно и холодно. Добрел до остановки, дождался троллейбуса, сел, задремал и сквозь сон услышал: «Площадь Божественного откровения. Следующая...» Быстро поднялся и вышел.

— Не скажете, где здесь Второй Лунный переулок?

— Второй Лунный? Понятия не имею, — долговязый молодой человек развел руками.

— Как пройти ко Второму Лунному?

Сутулый мужчина лет шестидесяти поднял скорбные глаза:

— Почему вы решили, что это здесь? Не слыхал ни о каком Лунном переулке.

«Совсем как в Тель-Авиве, — подумал я, — никто ничего не может объяснить!» Наконец элегантно одетая дама приложила палец к виску:

— Второй Лунный, Второй Лунный... Что-то припоминаю. Возможно, это вот где: идите вверх до пересечения с улицей Элиягу ха-нави, там поверните налево. По правую руку будет переулок, что уходит в гору. Это, кажется, и есть Второй Лунный.

Я поблагодарил и пошел вверх к улице Ильи-Пророка. Она оказалась совсем рядом. Перешел на другую сторону и повернул налево. Неожиданно в глаза бросилась помпезная серая глыба — странное здание со слепыми стенами и массивными колоннами. На его крыше бледно светилась неоновая вязь «Кинотеатр “Эмет”». Мне показалось, что это здание я где-то видел. Тут же сообразил — нигде его не видел, просто так строили при Сталине и при Гитлере! Чертыхнулся и забыл посмотреть направо. Еще через десять минут уперся в большую площадь, посреди которой стоял гранитный памятник Илье-Пророку. На сем улица обрывалась. «Прошел», — подумал я и повернул обратно, заглядывая на этот раз в каждую расщелину между домами. По правую руку снова показался кинотеатр «Правда», а напротив него мошечная булыжником дорога уходила куда-то вверх. Мой, Второй Лунный?

Переулок петлял, поднимался все выше и выше, я уже начал сомневаться — он ли, но тут увидел табличку «Левана Штаим, 10». Прошел еще двести метров, а вот и он, номер двенадцать!

Дом был пятиэтажный, буржуазной постройки. Я вошел в подъезд. По обе стороны отделанной мрамором лестничной площадки возвышались высоченные резные двери. «Ага, — обрадовался я, — значит, ангел все-таки признал за мной какие-то заслуги!» Тут же вспомнил — вход-то со двора! Вышел на улицу и завернул в узкий длинный туннель, который привел меня во двор. Гаражи, гаражи, а где же квартира 10-а? Да вон она! К дальнему углу дома прилепилась небольшая каменная лестница, скрытая кустом сирени.

Осторожно раздвинул ветки, поднялся по ступеням. Облезлая фанерная дверь была не заперта. Я открыл ее, но тут же уперся в другую — массивную. Она была закрыта, ключ, однако, торчал в замке. Повернул ключ и вошел в малюсенькую прихожую. Она же была кухней. Напрасно там, в подъезде, обрадовался — дом был настоящим, а вот квартира...

Квартира была не настоящая. Большая темная комната заканчивалась нишей, в которой стоял широкий диван. Сбоку, перед нишей, открывалась овальная арка — вход в ванную. И все. Что ж, значит, лучшей не заслужил! Не раздеваясь, плюхнулся на диван.

Сколько я спал, не помню. Может быть, сутки, может быть, больше. Потом встал, полусонный побрел в ванную, принял холодный душ, проснулся окончательно и вспомнил, что давно ничего не ел. Нашел в холодильнике пару яиц, сделал яичницу, выпил чаю. Выйти, осмотреть окрестности?

Спустился до улицы Ильи-Пророка, повернул направо. А вот и надменные колонны кинотеатра «Правда». Интересно, что там идет? Шел фильм с Мэрлин Монро. Зайти? Зал был почти пуст. В заднем ряду обнимались парочки, в центре торчало несколько голов. Прошел вперед, сел недалеко от какой-то головы. Она была большой, седой и лежала на боку. Спит? Голова спала. Но, когда я, скрипнув сиденьем, уселся поблизости, голова поднялась и повернулась в мою сторону. Это был Бен-Гурион. Он чуть кивнул и тут же сделал вид, что внимательно смотрит фильм.

Когда сеанс окончился, Старик остался сидеть, надеялся, видимо, что я встану и уйду первым. Я не встал и не ушел.

— Понравилось?

— Что тут может понравиться? — не поворачивая головы, буркнул Старик.

— Ну все же, обаятельная женщина...

— Не вижу в ней никакого обаяния, обычная вертихвостка.

— Чего ж тогда пошел на этот фильм?

— Мне нужно вспомнить имя одной девушки. Больше века вспоминаю и не могу вспомнить. Теперь стараюсь пересмотреть как можно больше женских лиц — если встречу похожее, быть может, ее имя само всплывет в памяти.

— Эта твоя первая любовь?

Бен-Гурион посмотрел на меня с пленительной доверчивостью. Мне даже показалось, что передо мной ребенок, загримированный под старика.

— Ее звали Божена. Она была дочерью вашей служанки. У нее был острый носик, кожа молочного цвета и коса до пояса. Ей было двенадцать. Ты был на два года младше и на голову ниже ее. Ты был влюблен до беспамятства, ты...

— Вздор! — огромный лоб Старика сделался багровым, остатки седой шевелюры вздыбились по обе стороны лысины, словно у него выросли рога. Он вскочил, застегнул на все пуговицы роскошный плащ, натянул лайковые перчатки и направился к выходу. Я пошел за ним.

Он заложил руки за спину и медленно брел, давая мне возможность его догнать. Мы поравнялись и молча пошли в ногу.

— Ну что ты сердишься — ты же был влюблен в гойку еще до бар-мицвы. Тебя это ничуть не компрометирует.

— Не делай из меня идиота-фанатика. Впрочем, ты ведь всю жизнь только тем и занимался, что провоцировал, топтал чувства людей, поливал грязью всех и вся.

— Кроме этого, я еще кое-что делал.

— Например?

— Например, я воевал в Шестидневной войне.

— Это не считается, тогда все воевали. Но что ты писал потом, после войны? Помнишь? Это ведь была наша величайшая победа, мы ликовали, мы плакали от счастья. Только ты не почувствовал запаха горячей пыли с горы Сион, не услышал шелеста веков у Стены плача. Ты выл, как голодный шакал: «Отдайте арабам их земли, будет плохо, отдайте...»

— Но ведь отдали, через пятьдесят лет все отдали!

— Что бывает через пятьдесят лет, то бывает через пятьдесят лет. И не делай вид, будто сбылся твой прогноз. Ты всегда попадал пальцем в небо.

— Да? Но, кажется, я первым сказал, что из России к нам приедет миллион. И ты, и Эшкол, и Голда назвали меня фантазером.

— Не знаю, что ты сказал первым. Я помню, как в самый разгар борьбы за русскую алию ты стал шипеть, как ползучий гад: «Мост рухнул, русские евреи не хотят к нам ехать». А они взяли и приехали.

— Это получилось не благодаря нам, а вопреки. Советы рухнули, а Америка закрыла перед этими несчастными двери — им просто некуда было деться.

— Благодаря! Вопреки! Чушь! Дело делалось правильно, но ты его предал. Ты всегда всех предавал. Сначала прикидывался своим, а потом кусал в спину.

— Да, мне часто приходилось разочаровываться...

— Нет, нет, ты просто предатель.

— Предатель? Но у меня было много друзей и поклонников. Мне писали тысячи писем...

— Не заблуждайся, к тебе снисходительно относились только из-за отца. Он-то был золотой человек — никуда не лез, а делал великое дело.

— Ты не встречал его здесь?

— Не встречал, наверно, его сразу отправили на Верхнее облако.

— А тебя почему никуда не отправили?

— Не знаю. Может быть, дело мое затерялось, а может быть, все еще решают — у них ведь времени сколько угодно.

Старик пожал плечами, неожиданно остановился у ворот роскошного особняка и позвонил в колокольчик.

— Ты, я вижу, стал богатым человеком. Поздравляю.

— С чем ты меня поздравляешь? — Старик вдруг помрачнел и обмяк. — Мне наплевать на это богатство, мне ничего не нужно, мне нужно ее имя, понимаешь — ее имя!

По его щекам покатились слезы. Я попытался выдавить из себя слова утешения, но тут дверь открылась, ангел-прислужник поклонился и впустил Старика. Я побрел домой, плюхнулся на диван и тут же уснул.

Проснулся от стука в дверь. Встал, спросил «Кто там?» Никто не ответил. Открыл. На пороге лежала бумажка. Нагнулся, чтобы ее поднять, и в эту минуту увидел фигуру маленького человека с тросточкой, которая тут же исчезла в арке. Поднял бумажку. Это была повестка из Канцелярии — меня приглашали туда восьмого числа в одиннадцать часов тридцать минут.

Войдя в Канцелярию, я взглянул на повестку и обнаружил, что номер кабинета в ней не указан. Вздохнул и пошел в «Информацию».

Ангел-пенсионер надел очки, покрутил серый листок и так и сяк, затем поднял трубку телефона:

— Подпись? Тут не разборчиво. Что? Пусть идет в любой кабинет? Хорошо, так ему и скажу.

Поднялся на второй этаж — там было меньше народа, оторвал талончик и стал ждать. На табло загорелся мой номер. Вошел. Ангел молча взял повестку, повертел ее в руках, потом хмыкнул и с неудовольствием начал стучать по клавишам. На экране что-то выскочило. Ангел прочел, пожал плечами, почесал в затылке, потом куда-то позвонил.

— Повестка № 0785/06 у тебя зарегистрирована? Пять и семь, говоришь, есть, а шестого номера нет? Понял.

Ангел положил трубку.

— Кто вам принес эту повестку? Вы расписывались за нее?

Рассказал, как было.

— С тросточкой?

Ангел вдруг позеленел, заскрежетал зубами, вскочил и буквально влетел в дверь с табличкой «Архангел Сандальфон».

«Он, конечно, он..., шут гороховый... комедиант..., строит из себя...», донеслись до меня обрывки фраз.

Минут через пять потный, раскрасневшийся ангел вернулся в кабинет и прошипел сквозь зубы:

— Ждите в коридоре, вас вызовут.

Я вышел, устроился в кресле и, по всей видимости, задремал, ибо не заметил, как около меня оказался белокуроый херувим неопределенного возраста. Он делал какие-то странные движения своими острыми, сильно выщипанными крылышками.

— Это вы? Пойдемте за мной, Он вас ждет.

Мы долго шли по коридору, потом поднялись на лифте и снова шли по каким-то коридором и коридорчикам. Наконец херувим остановился возле огромных парадных дверей.

— Подождите здесь.

Через минуту он вернулся, держа в руках большой ключ. Мы снова поднялись на лифте и остановились около маленькой незаметной двери. Херувим отпер ее, мы... вышли на крышу. Осторожно шагая впереди, херувим повел меня по едва заметной дорожке, пока она не уперлась в стеклянную раздвижную дверь. Херувим постучал.

— Пусть войдет, — раздался голос изнутри.

Дверь раздвинулась.

— Идите, — сказал херувим, явно не собираясь переступать порог.

Я вошел.

Он был стар, худ, невысок и совсем не походил на того, каким виделся с Земли. Он сидел за хрустальным столом и, ерзая в большом кресле, буравил меня своими глубокими глазами-пуговками.

— Долго пришлось ждать? Я не виноват, такие уж у меня помощники — бездушные формалисты, кабинетные черви, бумагомаратели. Я их учу — смотрите в душу, а они смотрят в компьютер! Садись, как устроился?

— Хорошо, — пробормотал я.

— А то смотри, если тебя обидели, я им покажу, — Он поднял руку и вяло погрозил кому-то пальцем.

Я не мог оторвать от Него глаз.

— Я вот для чего тебя позвал, — Он смущенно опустил голову, — хочу порасспросить, как там у вас?

— Где — у нас?

— Где, где? В России.

— Что тебя интересует?

— Скажи, зачем ты вывел оттуда евреев, они ведь еще не сделали дело, ради которого Я их туда послал?

— Я вывел? Почему я? Я вообще никогда не был в России!

— Не был! Разве? Я помню твою статью «Сколько евреев уедет из России». Архангел Рафаэль тогда смеялся, а Я сразу понял — на этого парня надо обратить внимание. Так это не ты писал?

— Писал-то я. Но это было... предположение, сам я никого оттуда не выводил.

— Странно, кто же тогда их вывел?

— Ты, наверное.

— Я? Нет, Я не выводил. Во всяком случае, не помню. От этой России столько головной боли — всего не упомянешь! Вот как князя Игоря уговаривал, помню. Всякий раз ему говорил: «Кончай со своими Перунами, Сварогами и Велесами. Если в каждой деревне у тебя будет свой божок, никакого государства Я тебе не дам. Признай Меня, Единого, тогда получишь земли сколько угодно». Так нет, противился, не хотел. Только Владимира уговорил. Он, правда, к греко-православию примкнул, но Я так подумал: пусть под Константинополь идет, лишь бы от язычества отступился. Ну и дал ему Киев — правь во славу Мою! А Сам в Месопотамию уехал, мы там Гомера ставили. «Исаак и Авраам», помнишь эту трагедию?

— Нет у Гомера такой трагедии.

— Нет? Ты точно знаешь?

— Точно.

— Может быть, Я Сам ее написал? Впрочем, не важно. А о чем там, знаешь? Это как Я решил испытать одного старика — Авраама. Нашептал ему на ухо — за сценой,

правда, — убей сына своего, Исаака, Я так хочу! Он Мне внял, отыскал жертвенник недалеко от куста, разложил костер, усыпил сына вином и уже меч над ним занес, как Я шепнул ему из-за куста: «Довольно, Авраам, испытан ты. Теперь иди в свою страну. Я сделаю тебя прародителем Моего народа».

На какую-то долю секунды я закрыл глаза и увидел перед собой ночное небо пустыни, чуть озаренное догорающим костром, а около него безумный старик тащит на камень спящего мальчика, заносит над ним нож, но, услышав шорох со стороны куста, бросает нож и в страхе бежит прочь. Меня бросило в жар, я протер глаза. Он сидел за столом.

— Я, конечно, хотел сыграть Авраама. Подумаешь, куст — ерундовая роль! Но ведь актер, — Он сокрушенно покачал головой, — роли не выбирает.

К чему это Я? Ах да, Россия. Так вот, вернулся Я с гастролей, посмотрел и ужаснулся. Конечно, князья-то в Меня поверили, но вокруг — языческая вакханалия: люди поклоняются божкам, волхвам, колдунам. Осерчал и в сердцах позвонил Чингисхану. Проучи, говорю, этих язычников. Позвонил, а Сам на гастроли уехал, в Абиссинию. Мы там «Царицу Савскую» ставили. Я, конечно, хотел сыграть царя Соломона, но не пришлось...

Вернулся с гастролей, посмотрел вокруг, вижу, татары свое дело сделали. Теперь уж русичи за Меня хоть в огонь, хоть в воду, хоть куда, лишь бы во зло врагам! С тех пор на том и стоят, врагами держатся. Но не в этом беда — меры ни в чем не знают. Я великого князя Ивана Четвертого царем сделал — царствуй, говорю, расширяйся, язычников к вере в Меня приобщай! А он как вошел во вкус, что уж ничем другим не занимался, только и делал, что новые земли захватывал да головы отрубал. Или Петр Алексеевич. Говорю ему — Великим тебя сделаю, в императоры произведу, только начинай с Европой объединяться. Петр меня послушал, но как начал окно в Европу рубить, так щепки во все стороны и полетели.

После этого Я так рассудил: раз уж князья-славяне с вами не справились, поставлю вам на царство немцев. И Свой народ вам пошлю — на подмогу. Вызвал Екатерину, говорю: «На трон тебя посажу, Великой императрицей сделаю, только ты иностранцев и иноверцев в страну запусти. И Мой народ прими — он тебе поможет». Но слабая оказалась царица, слабая. Она Мой народ в Черту заперла, а сама на фаворитов опираться стала. А фаворитам-то что? Им лишь бы украсть!

Тут я не выдержал, перебил:

— А Ты не подумал, что посылаешь Свой народ на муки? Он сделал обиженное лицо.

— Мой народ, что хочу, то с ним и делаю.

От возмущения я привстал со стула, Он жестом приказал мне сесть.

— Не думай, Я не зложелатель. Я Александру Павловичу говорю — крестьян раскрепости и Мой народ из Черты выпусти. А он Мне: «Не могу, нашествия Супостата ожидаю». Ладно, — отвечаю. — Я тебе помогу Наполеона одолеть, ты только обещаешь, что наказ мой выполнишь. Он пообещал, и Я со спокойным сердцем уехал в Египет. Мы там Софокла ставили, «Исход».

— Нет у Софокла никакого «Исхода».

— Нет, говоришь? — Он стусевался. — Может быть, Я сам эту пьесу написал. Неважно. Важно, что Я там Моисея играл. Правда, в младенчестве, когда его в корзине египетская принцесса нашла.

Смотрю я на Него, а вижу раскаленное африканское небо, пальмы, склонившиеся к полноводному Нилу, корзинку с младенцем, что покачивается на волнах. Только лицо у младенца сморщенное, старческое. Зажмурился я от яркого солнца, а когда открыл глаза, передо мной — Он.

— Короче, вернулся Я с гастролей, а Александра Павловича уже нет. На престоле Николай — грубиян, солдафон. Я ему слово, он в ответ: «Смирно! Руки по швам!» Терпел Я, терпел, потом позвонил в Париж, Лондон и Истамбул. А ну, говорю, ребята, проучите этого хама!

Правда, Сашенька, сын его, прилежным мальчиком был, и, как на царство взошел, Меня слушаться стал. В одном не послушал. Я ему: «Дай полякам вольную — большой народ, строптивый, неприятностей с ним не оберешься». А он вместо этого на поляков войной пошел. Так вот реформы и погубил. И себя тоже.

Он с грустью покачал головой, умолк и долго смотрел в одну точку:

— Хуже всех был Николай Александрович. Злой, глупый, завистливый. С ним вообще ни о чем нельзя было договориться. Выслушает, во всем согласится, а сделает все наоборот. Понял Я — немцы мои выродились! Понял и тут же вызвал Ленина, Троцкого и Розу Люксембург. Говорю им: «Николай умом недалек, волей слаб, сердцем коварен. Ждать от него нечего. Давайте, ребята, готовьте революцию. Я скажу, когда начинать».

План у Меня был такой: сначала демократическая революция, чтоб все стало как у людей, потом — социалистическая, потом — коммунизм, ган-Эден на Земле.

— Ты серьезно насчет сада Эдемского?

— Конечно, серьезно. Ты разве не смотрел трагедию Эхила «Конец дней»?

— Нет у Эхила такой трагедии.

— Нет? Значит, забыл, кто автор, но слова оттуда хорошо помню: «К чему Мне множество жертв ваших? Пресыщен Я всесождениями онов и туком откормленного скота... Перестаньте делать зло, научитесь делать добро; ищите правды: спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдову».

Я вздрогнул. Недалеко от меня, на большом камне перед толпой коленапреклоненных людей стоял высокий худой человек в тунике. Длинные черные локоны падали на его плечи, посох легко скользил из одной руки в другую, словно дирижировал всей этой этой страстной декламацией.

Неожиданно длинноволосый оратор повернулся в мою сторону:

— Понял, что такое социализм?

Не успел я ответить, как Он снова повернулся к толпе. «И почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия... Тогда волк будет жить с ягненком, а барс лежать вместе с теленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе; и малое дитя будет водить их... ибо земля будет наполнена ведением Господа — значит, Моим, — как воды наполняют море».

Он улыбнулся: «Разве это не про Ленина?»

— Какой социализм? Какой Ленин? Да Ты такое чудовище сотворил, ничуть не лучше любого царя.

— Не кричи на Меня. Ничего Я плохого не сотворял. Это Левушка подвел. Он, конечно, умница, Я его «Перманентную революцию» пять раз читал. Но в него злой дух вселился. Эти духи где-то между облаками прячутся, а Мои органы безопасности все инакомыслящих выслеживают, до настоящих бандитов им дела нет. Так вот, злой дух Левушку изнутри подзуживал — действуй, действуй! Лев Давидович, возьми и захвати власть. Ленин тогда за границей был, и Я в Сирию на гастроли уехал. Мы там «Конец дней» ставили. «И будет в последствии дней: утвердится гора дома Господня во главе гор и возвысится над холмами; и потекут к ней все народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иакова, и научит Он нас Своим путям; и будем ходить по стезям Его... И будет Он судить народы и обличит многие племена; и перекуют они мечи свои на орала, и копыя свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать». Ну, разве это не коммунизм? — полный стариковской грации, он опустился в кресло.

— Коммунизм? Да Ты просто страну вверх ногами перевернул, все сломал, все опрокинул, братьев воевать друг против друга заставил...

— Знаю, знаю, социализм для тебя, что красное для быка. Это Меня всегда удивляло. Читаю, бывало, твои статьи, радуюсь, — хоть один человек на Земле Меня понимает, — но когда речь о социализме, тебя словно подменили.

А вот что революцию преждевременно сделали, это правда. Это Я понял, когда с гастролей вернулся. Послал Ленину на помощь инородцев и иностранцев и Своему народу наказал — помогайте! Не отказываться же Владимиру Ильичу от власти. Но исправить дело не удалось: революционеров-то у Ленина было — всего ничего, а остальное — амха!¹ И инородцы не на высоте оказались. Джугашвили, например. Трусливый был, сильно Меня боялся, но как во власть вошел, так просто помешался.

— Твой Сталин — палач и убийца. Как только Ты допустил...

— Не Мой он вовсе. Я на гастролях был, а когда вернулся, когда увидел, что он дело врачей затевает, тут же руку его остановил.

— Пока Ты его остановил, он миллионы, понимаешь — миллионы! — загубил.

— Да, — Он сокрушенно покачал головой, — ну что же Мне делать с этой Россией? Я и так и этак — все не во славу Мою. Просто не знаю, как быть.

Передо мной сидел дряхлый, болезненно покашливающий старик.

— А ты все-таки скажи, зачем вывел Мой народ из России как раз, когда Я снова решил все там перестроить? Народ вывел, а Хмельницкого оставил. Это же подло — Хмельницкий Россию до нитки обобрал!

— Не выводил я никого, нас оттуда просто выгнали. А Хмельницкий — это наша месть России. Не хотели Щупака — получите Хмельницкого!

— Никто вас оттуда не выгонял, скажи прямо, зачем ты это сделал?

¹ Амха — народ, простонародье (*иврит*).

Я не выдержал.

— Зачем? Да ведь Тебе лишь бы кашу заварить. Ты потом уедешь на гастроли, Россия вернется на круги своя, а Твоему народу расхлебывать! Лучше скажи, почему Ты всегда подставляешь Свой народ под удар, почему заставляешь его страдать?

Он удивился. Мне показалось — искренне.

— Так ведь на то он и избранный. На что же я его избирал?

— Ну уж нет, хватит! Пусть русские сами у себя все устраивают.

Он вспылил:

— Да ты, Я вижу, русофоб! Думал — вот человек, который меня понимает! И вообще, Я устал, — он замахал руками, — иди домой

Я встал, в нерешительности осмотрелся, но в ту же минуту услышал, как кто-то скребется по стеклу. Оглянулся. Херувим с общипанными крылышками манил меня пальчиком.

Было темно и тихо. Херувим шел впереди, освещая дорогу фонариком. Вдруг я услышал какие-то звуки, словно с крыши вспорхнула стая птиц, только вместо шума крыльев мне почудились слова: «Русофоб, не понимает, ничего не понимает».

Шесть дней я не мог спать, есть и думать о чем-то другом, кроме разговора с Ним. Я ругал себя нещадно — всю земную жизнь думал об этой встрече, готовился к ней, а когда она состоялась, разговора не получилось. Только обозлил Его. Теперь, наверное, отправит меня к ангелам мщения, и я уж никогда не узнаю тех тайн, постичь которые пытался всю жизнь. Я дошел до полного отчаяния, но в последний момент взял себя в руки. На седьмой день встал, помылся, оделся и выпил стакан чая. Решил — надо выйти на воздух.

Вышел, побрел к скамейке, что затерялась в парке на горе, но там кто-то сидел. Я повернулся, с трудом добрался до дома, рухнул на диван. Часа через два встал и заставил себя что-то съесть. На следующий день силы стали возвращаться, в воскресенье я отправился в кино. Когда я вернулся, на пороге лежала повестка из Канцелярии.

— Вспомнил, это Я вывел Мой народ из России. Вспомнил даже — почему.

— Почему?

— К концу брежневской эры Я впал в отчаяние и решил, что уже ничего не смогу там исправить. Пришла мысль — пусть так оно и будет! В конце концов, в каждом доме есть парадные комнаты и есть кладовка для хлама, в каждом дворе свой сарай и помойка. Конечно, все ценное из сарая надо вынести...

Я возмутился:

— Ты в самом деле решил превратить Россию в мировую помойку! Но ведь она же была частью мира, у русских заслуг перед Тобой не меньше, чем у других. К тому же, если Ты лишишь их шанса, они обозлятся, начнут войну, и все, что Ты сотворил, погибнет. У них ведь есть атомная бомба!

— Нет, нет, Я так думал только в момент отчаяния, но потом решил пойти другим путем, — Он поднял указательный палец и подмигнул. — Об этом я тебе еще расскажу. Но сначала ты мне скажи, как там русские евреи на Святой земле?

— Никак. Русские евреи сами по себе, Святая земля — сама по себе.

— Для чего же Я их туда вывел?

— Тебе лучше знать. Я-то вообще никогда не понимал, для чего Ты собрал нас на этом клочке земли. Признайся, мы Тебе больше не нужны, и Ты задумал нас уничтожить?

— Еретик! Кто дал тебе право так со Мной разговаривать?

— Кто? Холокост. Шесть миллионов, треть Твоего народа. Вот кто!

Лицо Его сделалось серым, Он закрыл его руками и заплакал.

— Я не хотел, поверь, не хотел. Я вернулся с гастролей, взглянул на Германию и ужаснулся. Мой народ там дошел до того, что перестал отличать себя от немцев. Ну ладно — придумали себе консервативную синагогу, ладно — реформистскую, но когда Я услышал: «Мы не евреи, мы — городская интеллигенция», Я сильно рассердился и решил поставить их на место. Позвал знакомого комедианта Шикльгрубера — он очень походил на Аммана, и мы всегда приглашали его играть пуримшпил¹. Кстати, ты знаешь, Я ведь и карьеру свою начал с пуримшпиля.

Так о чем это Я? Ах да, о Шикльгрубере. Говорю ему: «Адольф, разыграй пуримшпил, только не на сцене, а в жизни, пострашай Мой народ, пусть вспомнит, где его место». Шикльгрубер согласился, мы договорились, Я и уехал на гастроли в Трансиорданию. Там ставили мою драму «Пастухи Фараона».

— Твою драму?

— Да, Мою, — Он усмехнулся. — Я ведь тоже не последний драмодел. И роль там у Меня была главная. Представляешь, Я — фараон Рамсес II, сын Сети, хозяин Земли и Воды, повелитель людей и зверей, владыка золотых копий и несметных стад коз и овец. Беда только, что пасти моих коз некому — не поручать же эту презренную работу египтянам! Кто-то посоветовал позвать евреев — примитивных пастухов, что кочевали между Месопотамией и Синаем. Позвал, приставил надсмотрщиков — работайте и получайте свои лепешки! Первое поколение и работало. Лепешкам радовалось и против плетки не ропотало. Второе

¹ Пуримшпил (пуримское представление) — театрализованное представление, разыгрываемое по мотивам библейской книги Эстер, рассказывающей о счастливом спасении евреев Персии от гибели, которую им уготовил царский сановник, злодей Амман.

же поколение я направил на строительство пирамид. Правда, боялся — не справятся. Но нет, справились. Глыбы в каменоломнях добывали, тесали их, переносили и пирамиды складывали. Но вот когда это Чудо света сотворили, тут и началось! Только и слышишь: «Мы — не рабы... мы пирамиды своими руками построили... это и наша цивилизация... мы — часть этой цивилизации!» И в том же духе. Рассердился я, велел бить презренных пастухов палками. А потом, когда чума в Египте случилась, пришли ко мне жрецы и говорят: «Пока не изгонишь из страны этих прокаженных евреев, до тех пор не перестанут наши новорожденные умирать». Я и изгнал.

— Ладно, не хочу больше о Египте, скажи все-таки, как Ты допустил...

Он съезжился, свернулся в комок, сделался жалким и дряхлым.

— Вернулся Я с гастролей, увидел, что Шикльгрубер натворил, и пришел в ужас. Кричу ему: «Ты что, негодяй, сделал, я ведь тебя просил комедию сыграть, поугагать только». А он Мне: «Raus, Jüdisches Schwein!»¹ Знать тебя не знаю. Мне мой народ, мне французы, поляки, швейцарцы — все европейцы поручили сделать Европу *Jüden frei!*² Ты хотел превратить меня в комедианта, но европейцы сделали меня великим трагиком. Хайль Гитлер!»

Он закрыл лицо руками и снова заплакал:

— Я тут же проклял и Шикльгрубера, и чрево, родившее его. На всякий случай дал — через Мой народ — американцам и русским по атомной бомбе. А Европу решил хорошенько проучить. Послал туда черных и желтых, мусульман и буддистов, язычников и атеистов. Всех там перепутал и перемешал, чтоб никогда больше не было белой христианской Европы. Уничтожили горстку евреев, получите миллионы пришельцев со всего света!

¹ Убирайся, еврейская свинья! (нем.)

² Свободную от евреев! (нем.)

— Но Твоему-то народу от этого не легче!

— Свой народ Я тоже вознаградил, дал ему государство.

— Ничего не понимаю. Ты послал нас в мир учить народы Твоему закону и две тысячи лет не разрешал нам даже думать о своем государстве. А теперь сунул жалкий клочок земли и пытаешься выдать это за вознаграждение?

— Нет, нет, Я так думал только в момент отчаяния, но потом решил пойти другим путем. Он поднял указательный палец и подмигнул.

— Не знаю, что у Тебя за другой путь, но пока Ты зачихнул нас в такое место, где у нас нет шансов выжить.

Он поднял глаза и долго, испытующе смотрел на меня.

— Хочешь, чтобы Я открыл тебе Свою главную тайну?

Я пожал плечами.

— Хорошо, Я открою ее тебе. Так вот, когда Я сказал Адаму и Еве «плодитесь и размножайтесь», Я не думал, что дело пойдет так быстро. Но одно — плодиться и размножаться, совсем другое — приобщиться к образу Моему и подобию. Приобщение народов шло трудно и медленно. Тогда-то я и призвал Свой народ и поручил ему эту важную работу. Но что произошло? Через каких-то две тысячи лет душа Моего народа согнулась, ум одряхлел, силы оставили его. Теперь уже непонятно, кто кого приобщает: Мой народ другие народы или другие народы — Мой народ. Да, ты прав, еврейское государство просуществует недолго. Но Я так и задумал. Я решил пропустить через него как можно больше людей, придать им новые силы, закалить их дух, вдохнуть в них запас веры и снова послать во все концы света.

— Зачем?!

— Затем, чтобы создать из всех землян единый народ. У Меня ведь единственный ган-Эден, и если Я поселю в нем один, отдельно взятый народ, зависти, войнам и смутам не будет конца. Так что либо все народы услышат слово Мое, научатся ходить по стезям Моим и жить по закону Моему, либо...

— Либо?

— Переселять вас на другие планеты не буду. Мне некогда, у Меня гастроли.

Он замолчал, достал носовой платок, вытер лицо.

— Все. Иди. Я устал.

Я встал и направился к стеклянной двери. Херувим с выщипанными крылышками проводил меня до лифта.

— Найдете дорогу?

— Найду, — сказал я нерешительно.

— Может быть, дать вам путеводитель?

Я помотал головой и нажал кнопку «К». Лифт спустил меня на первый этаж, я вышел, но этаж оказался не первым. Я снова вызвал лифт, нажал на кнопку «Е», но и здесь все показалось мне незнакомым. Я поднимался и спускался на разные этажи, ходил и бродил по коридорам и коридорчикам.

Я и до сих пор там брожу.

Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ

1. «КАК НЕВКУСНО, т. ЛЕНИН!»	7
2. ГРЕЗЫ КРЫМСКОЙ НОЧИ	12
3. ВОРОВАННЫЙ ВОЗДУХ	16
4. СЕНАТОР И ГУБЕРНАТОР	22
5. РОДОСЛОВНАЯ АЛЬТРУИЗМА	27
6. О ТОМ, КАК ПОССОРИЛИСЬ ЗАЛМАН БОРУХОВИЧ И АВИГДОР ХАЙМОВИЧ	32
7. НАСЛЕДСТВО, КОТОРОЕ МЫ НЕ ВЫБИРАЕМ	37
8. КОНСТИТУЦИЯ ПО АЛЕКСАНДРУ	42
9. ТАМ ЛЕЖАТ МОИ НОГИ	48
10. «ПРЕЗРЕННЫЙ ЖИД, ПОЧТЕННЫЙ СОЛОМОН!»	55
11. ОСТРОВ ДЯДИ ОСИ	60
12. СЕСТЬ, СУД ИДЕТ!	72
13. ЗВЕНЯТ МНОГОТРУБНЫЕ ДАЛИ	85
14. УМРИ РАБОМ И СИРОТОЙ	93
15. В ПОГОНЕ ЗА КОСМИЧЕСКОЙ ЧАСТИЦЕЙ	101
16. ОДИН ДЕНЬ НАТАНА ВУЛЬФОВИЧА	113
17. САМОСОЗНАНИЕ НАЧАЛЬСТВА	120
18. ВЕРЕТЕНО ДИАЛЕКТИКИ	133
19. ЛИТОВСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ	144
20. КАМЕНЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ	156
21. ПО НЕДОСМОТРУ СУДЬБЫ	167
22. ИЗ ЛЕТОПИСЕЙ	182
23. ЕЩЕ Я ПОМНЮ...	191
24. ГАЛЕРЕЯ ЗЕРКАЛ	205
25. ГОЛУБАЯ ТЕНЬ	213
26. НЕИСТОВЫЙ РОЛАНД	229

КНИГА ВТОРАЯ

1. СПРОСИ ОТЦА ТВОЕГО	245
2. КОГДА МЕНЯЕТСЯ ЛИЦО ЗЕМЛИ	251
3. СЛЕЗЫ РАХИЛИ	263
4. ШАЛОМ, АХА!	273
5. КРОВАВАЯ ОБЛОЖКА	285
6. БАШНИ СОДОМА	294
7. ДОРОГА УХОДИТ ВДАЛЬ	302
8. АРИФМЕТИКА ВОЙНЫ	314
9. КОМАНДАРМ	317
10. УГОЛЕК И ЛЬДИНКА	318
11. СПИСКИ МАМЫ ГОЛДЫ	330
12. ОБЯНИЕ ЗЛА	340
13. ПРОКУРОР НАЦИИ	346
14. КОСОВОРОТКА ОТ ДИОРА	362
15. АЛГЕБРА ВОЙНЫ	375
16. МУСОР В ХРАМЕ	378
17. ДОМ БЕЗ ВЫВЕСКИ	389
18. ОПЕРАЦИЯ «ЖЕНИТЬБА»	395
19. МОИСЕЕМ РАБОТАЮ Я!	409
20. СОБАКА, КОТОРАЯ ГОНЯЕТСЯ ЗА МУХАМИ	415
21. КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ	427
22. ЗАГОВОРЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ	439
23. ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	448
24. СОСИСКИ У ПРЕЗИДЕНТА	454
25. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАБЛУДШИХ	458

Эйтан Финкельштейн
Пастухи фараона

Дизайнер *Т. Ларина*
Редактор *В. Дьяков*
Корректоры *И. Аветисова, М. Алхазова*
Верстка *С. Петров*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»

Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (495) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: <http://www.nlo.magazine.ru>

Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура Newton. Тираж 1500 экз. Печ. л. 15. Заказ № 0622620.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97



Эйтан Финкельштейн

Описываемые в этой книге события начинаются в первый день девятнадцатого века, а заканчиваются – в последний двадцатого. Исторические главы в ней перемежаются жизнеописанием главного героя, родившегося в России, жившего в Литве и Польше, участвовавшего во всех войнах Израиля, объездившего весь свет, но в конечном счете заблудившегося где-то в небесных коридорах. Все это происходит на фоне русской и еврейской истории, где действуют политики (от Екатерины Великой и сенатора Державина до Бен-Гуриона, Хрущева и Ельцина), а также раввины, революционеры, жандармы, ученые, адвокаты, чекисты, аферисты и разные прочие персонажи.

ISBN 5-86793-469-1



9 785867 934699 >